Мария Мелех

Сны Бога

Мария Мелех

Сны Бога

Издательские решения
По лицензии Ridero
2020

УДК 82-3
ББК 84-4
М47

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

Мелех Мария
М47 Сны Бога / Мария Мелех. — [б. м.] : Издательские решения, 2020. — 582 с.
ISBN 978-5-4483-6559-1

Они все время были на Земле — сновидцы и путешественники по иным мирам. Таков и Ник Фламинг — знаменитый, талантливый художник, любимец женщин. Но под маской благополучия спрятана мучительная тайна: он любит ту, что приходит к нему в видениях. Он ищет ее повсюду, оставляя свои картины, как знаки. Но возможно ли воплотить любовь среди лжи и ошибок, из которых герой выстроил реальную жизнь, пытаясь скрыть свой секрет? Существует ли Она на самом деле? Или это всего лишь муза очередного безумца?

УДК 82-3
ББК 84-4

18+ В соответствии с ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ

ISBN 978-5-4483-6559-1 © Мария Мелех, 2020

Бог спит и видит наш мир во сне.
И каждая жизнь, и всякое дыхание —
Его сон.
Всё существует, пока Бог видит сны.

(Индийская мудрость)

Предисновие

Глава 1

Утро первого января. Обычное серое утро первого января. Ночью мы с друзьями впустую растратили остатки рождественского волшебства в излюбленной пивнушке напротив моста. Я уже взрослый мальчик, но люблю Рождество. В моем детстве не было никаких дурацких историй, которые исковеркали бы представление о нем. Обычно, если в кино действие начинается с Рождества, обязательно находится кто-то, не выносящий его красно-зеленого боевого раскраса и елового аромата. Моя семья была до того правильной и благополучной, что я едва избежал угрозы засахариться к совершеннолетию. Впрочем, некоторые утверждают, что так оно и произошло. Но младенец Иисус исправно снабжал меня и моих сестер подарками, пока мы обходили городок, отвешивая праздничные поклоны родственникам и друзьям.

Рождество — это обещание чуда, не так ли? Апогей веры в свои мечты, экстракт надежды, питаемый юркими нейронами головного мозга, несущими воспоминания о детстве. Или жизнь меня все-таки пересластила? Ладно, оставим. Я могу часами рассуждать о волшебной пыльце, рассыпанной в морозном воздухе — той самой, что позволяет детям летать. О безмолвной тайне, застывшей в вышине — она творит единство и связывает сердца. Я ведь художник, я сотни раз рисовал это, по вдохновению и на заказ. Я талантливый жиголо, знающий пароли и такты, я все это — понарошку.

Новый год — совсем другая история. Это уже... (считаю на пальцах) ... седьмой день после надежды на чудо. Это рубеж, жестокий гонец, который ухмыляется недоброй рожей, бесцеремонно стучась в окно: ему, видите ли, лень было дойти до двери. Он всматривается в тебя бес-

пощадными глазами, будто хочет сказать: ну, что? Уже неделю отмахали, а чуда так и не произошло? Новый год начался, отсчет пошел — что будет у тебя в руках к следующему Рождеству? Или в тысячный раз ты загадаешь прежнее, на один вечер невесть откуда взяв силы вновь верить?

Я уже семь сочельников подряд произношу одно и то же имя. А как у вас обстоят дела?

Утро. Первое января. Проснувшись, я подошел к зеркалу. Увиденное требовало двух литров ледяной воды на голову и энергичного массажа ежовой рукавицей. После душа изображение оставалось почти тем же. Признаться, я не вынес и нескольких капель льда — может быть, в этом дело? Если впрыснуть безумной радости в зрачки и изобразить улыбку Чешира, я буду выглядеть, как раньше?

Когда — раньше? И откуда мне выкачать шприцом эту радость, неужто из сердца? Мне бы немного куража и жизни, и меня можно вновь презентовать публике. «Сегодня вашему вниманию мы представляем знаменитого мага и волшебника, шута всех королей... тьфу ты! Короля всех шутов...» Кто-нибудь желает быть очарованным? Кому сияние цвета и колдовство движения? Новые декорации к знаменитому спектаклю? Уличное шествие с цветочными платформами? Закат из розовых драпировок на мосту в Сан-Франциско? Я художник, детка. Я нарисую тебе все, что ты хочешь.

Снилась ли ты мне сегодня, милая?

Мое лицо изменилось, это тяжело осознавать. Я подолгу могу смотреть на себя в зеркало, как бы ни выглядело это со стороны. Я не нарцисс, я ищу тебя в своих глазах — они остались прежними. Я пытаюсь разгадать тайну своей физической оболочки: она прячет слишком многое. Может быть, в другом мире, после тысячной смерти она взорвется, наконец, и покажет Вселенной то,

чем я являюсь на самом деле? Но и в этой загнанной, заложенной дьяволу жизни мне все еще есть за что любить свое истраченное тело. Мы ведь с тобой так похожи, словно наколдованы алхимиками из одного звездного пламени, и экстракт его — в глазах. Я узнаю тебя по глазам, что бы ни происходило с тобой в эти годы.

Снилась ли ты мне сегодня, милая?

Какие сильные воины встречаются в книгах, у которых я вымаливаю помощь, найдя в них отсветы собственной боли! Да, о таких, как я, уже написаны огромные трактаты. Но созданы они по одним и тем же законам, предписывающим оградить страждущего читателя от неприглядных сторон темного пути. Кто изображен в них? Маги, волшебники, колдуны, умеющие прочитать и схватить цепкой рукой каждую секунду своей жизни. Как ловко смеются они над судьбой и увиливают от ее отравленных стрел! Я не такой. Даже если я признаюсь, что умею делать многое из того, что вытворяют они в своих знойных прериях и под тенистыми сводами дорогостоящих оазисов (а кто, спрашивается, оплачивал им все потусторонние развлечения?) ... Даже если я признаюсь — что толку? Я не смог освободиться, меня не манит вечность без моей любви. Я странный. Мне слишком часто говорили это. Чаще, чем бросали в лицо обвинения в недостатке мужественности.

Сейчас я найду красивое оправдание своим слабостям, подождите секунду, у меня это хорошо получается. Ах, вот оно! Мне всегда было интересно: если, согласно древним сказкам, душа Адама разбилась на шестьсот тысяч частей, откуда нас уже миллиарды?[1]

[1] По каббалистическим представлениям, изначально была создана одна душа, Первый Человек — Адам Ришон. В процессе развития она разбилась на 600 тысяч душ.

Да, я сам знаю ответ, но он вам не понравится. Каково это — уже в начале рассказа получить диагноз? А вы думали, это я слаб? Посмотрите-ка на свое отражение! Души продолжают разбиваться по сей день. От тех самых причуд человеческого эгоизма, именуемых в религиях противным словом *грех* (я его не люблю, кстати). Получается, что найти цельного человека — большая проблема. Еще один из древних ходил по улицам со светильником, я помню. И я тоже не целен. Мое отличие в том, что я могу забраться на трибуну и, держа в руках шутовской колпак, признаться в этом. А спустя секунду высмеять вас, тем самым еще больше обнажив свои комплексы и подтвердив неполноценность.

У меня только половинка души: вот страшная догадка, которая объясняет всю ненормальность и пародийность моей жизни. И я знаю, кому досталась вторая часть, причем лучшая! Ей не хватает лишь моего упрямства и сумасбродства — судя по тому, что она до сих пор до меня не дошла. А мне не хватает... всего остального. Я найду тебя, любовь моя, и заберу эту половинку себе.

Что ж я о себе так униженно и покорно? Обвисшие после попоек щеки не повод бичевать себя при свете рамп. Разве на меня сейчас не смотрят тысячи глаз? Итак, я сумасшедший, чокнутый. Но держусь на плаву и, наверное, многие завидуют моему счету в банке. У меня есть влиятельные друзья во всех европейских странах, я гражданин мира и владелец нескольких особняков... что там еще? Коллекция ретро-автомобилей и парочка сверхзвуковых новинок — этого достаточно, чтобы польстить моему мужскому самолюбию и успокоить зудящий снобизм? Этого хватит, чтобы полностью презентовать себя? На самом деле, я просто достаточно богат и успешен, жизнь сложилась, и мне не на что жаловаться, вот и все. Я известен в определенных кругах, не чуждых причудливой игры светотени. Я художник, пережив-

ший все, что дозволено — но главное! — велено пережить художнику. Меня зовут Николас Фламинг.

Это все портит? Как насмешка над судьбой, как слишком яркий фантик, обязывающий к изысканному и сочному содержанию. Моя заботливая матушка дала мне его. «Пусть он вырастет настоящим волшебником», — пожелала она, обрекая меня на неведомые ей самой мучения. Родители часто так поступают: не хотят тащить по жизни даже самих себя, а на плечи наследников взваливают весь мир, который остался ими не завоеван.

Утро, первое января, я стою в ванной комнате своего трехэтажного особняка в предместье Лондона. Вечером у меня самолет в Милан — совещание по одному забавному проекту, предчувствую: очень акварельному, лиловому, с красноватыми подтеками. Понятия не имею, откуда в моей жизни все это. Наверное, дураков Господь особенно любит и ведет их, глупых, бережно поддерживая под руку. Мне больно, больно от самого себя. Но я ничего не могу с этим поделать, я вынужден мириться. В отличие от всех остальных умников я точно знаю, что произойдет, если я выйду из Игры. Поэтому и терплю.

Снилась ли ты мне сегодня, милая?

О, знакомая настойчивая трель из кармана брошенного невесть где пиджака. Настырно, очень настырно. Могу поспорить, это Дорис. Энергия ее целеустремленности пробьет любые измерения. Она узнаваема, какая бы погода ни стояла на дворе. Вчера она была с нами в пабе — контролировала степень моего алкогольного опьянения и доступности женскому населению нашей планеты. Два месяца, как она официально моя секретарша, и порой мне кажется, что она претендует на большее. Кажется? Как смешно! Эта девица уже шесть лет — с тех пор, как прошел слух о моем грядущем разводе с Глэдис — выскакивает из-за всех углов со своей лучезарной улыбкой, как чертик из коробочки. Не знаю, чего больше

в этом коктейле: моих денег или ее детской мечты?

Погоди, солнышко мое, я отвечу ей и вернусь к мыслям о тебе.

— Да. (Господи, дай мне усталость всего мира в мой голос).

Заботливое щебетание в сотовом. Трепетный зяблик. Нежная куриная грудка в сливочном соусе. Экологически безопасная щетка для чистки самой дорогой мебели — извечно белая и пушистая, как заячий хвостик. Видишь, как я признателен тебе, Дорис? Это чувства, которые ты рождаешь во мне. Попробуй только сказать, что я неблагодарен!

Оказалось, ночью, по дороге домой, я соизволил жаловаться, что забыл перчатки на диване в кабаке, и мои руки замерзли. Теперь, видимо, не выживу без чудодейственного крема, доставшегося ей в наследство от бабки-ведуньи. «А крем-то заговоренный?» — спрашиваю я с нервным смешком. «Что?» — недоуменно переспрашивает она, не в силах понять то, что выходит за рамки ее дипломной работы по менеджменту. Все-таки соображает, заливается деланно серебристым смехом: «Ну что ты такое говоришь! У тебя потрескалась кожа, сейчас забегу, я неподалеку».

Она всегда неподалеку. Прилипчивая фея, готовая материализоваться по первому моему зову. Разве я ее звал? Я хочу отказаться от ее помощи, но вдруг понимаю, что услышу в ответ: не болит ли у меня голова после вчерашнего? Успею ли я перекусить перед тем, как отправиться в аэропорт? Позвонил ли я домработнице насчет своего кота и попугая? Подумал ли, что положу в чемодан?

Нет, черт возьми, я не подумал! Выходит, у меня тысячи причин сдаться ее заботе. Она все равно использует любую из них, и всей земной дипломатии не хватит, чтобы придумать красивый вежливый отказ, не разрушаю-

щий мой галантный образ.

Я переодеваюсь в джинсы (встречать Дорис в махровом халате равнозначно сексуальной капитуляции) и нахожу удобный выход: Джон и Анна, всегда готовые накормить меня излишне калорийным, но вкусным обедом. Теперь надо незаметно внедрить нужный каскад мыслей в голову моей помощницы — да так, чтобы она саму себя заподозрила в глупом расчете. Журчит домофон, и я впускаю зубную фею (слышите этот нервирующий жужжащий звук?) в свой замок. Вдруг понимаю, что забыл надеть рубашку, и с язвительной усмешкой, адресованной самому себе, признаюсь, что сделал это из чувства отборнейшей вредности.

Пока она втирает крем, с многозначительной пристальностью всматриваясь в мое лицо, я рассказываю ей о своих планах и сетую, что не успею уложить вещи и как следует пообедать. Дорис предлагает заказать пиццу. Заметив мой недовольный взгляд, спохватывается и торопливо перечисляет все меню ближайшего китайского ресторанчика. «Дорис, — терпеливо разъясняю я, — мой желудок не вынесет этой перченой ерунды после нашей вечеринки. Мне нужен хороший домашний обед. Я бы приготовил сам, но голова раскалывается...»

Я выпускаю всю обойму, припася напоследок домашних животных. Теперь у заботливой подруги не остается ходов: я заранее согласился со всем, предоставив ей возможность целиком и полностью заняться моей жизнью на сегодняшний день. У меня даже есть тайное оружие сарказма — быть может, она и не заметила, но оно одним залпом уничтожило ее попытки все контролировать. Дорис не умеет готовить! Она не подарит мне милую ароматную возню на кухне, пока я смогу отоспаться от своих дурных мыслей. А значит, не удержит меня рядом с собой. По крайней мере, сегодня. Ведь желудок уже сводит от болезненной пустоты, сожженной кислотой вчераш-

них коктейлей.

Сейчас мне уже начинает казаться, что так оно и есть, и я чувствую пряный дискомфорт в солнечном сплетении. Боже, когда ложь стала моей излюбленной мантрой? Я и сам отменно готовлю — лучше, чем все женщины, которых я знал.

«Джон, да, Джон, — говорю я, опережая ее догадки, — ты же знаешь, у них всегда найдется что-нибудь для меня». По ее лицу вороньим пухом пролетает тень ревности, но она вовремя возвращается к улыбке, жертва псевдо-психологической литературы.

Мы идем в спальню — о, какое опасное мероприятие задумал я, и как мечтательно обводит она затуманенным светлым взором синие тканевые обои в моем алькове — и я задумчиво рассуждаю вслух, какие костюмы и галстуки мне понадобятся. Я даже упоминаю о носках и белье — а почему нет? Я подпущу ее чуть ближе, и она, одурманенная моим доверием, исполнит любой каприз, будь то составление сметы или стакан с шипящим гейзером аспирина. Вываливая на постель свой театральный реквизит, обессилено сажусь на шелковое покрывало и опускаю голову на руки. «Не знаю, Дорис, — жалобно говорю я, — не знаю... Какая погода завтра в Милане?» Она не решается присесть рядом, но завороженно смотрит на ворох кашемировых свитеров, осторожно вытаскивает один: «Ник... Господи, как идет к твоим глазам!» Я вслепую выхватываю свитер из ее рук, встаю и натягиваю на себя: все равно скоро уходить к Джону, а моя спальня не предназначена для кувырков с секретаршей. Она, затаив дыхание и почти на цыпочках обходит меня, деликатно расправляя складки на плечах и груди.

— Ну так что, я могу доверить тебе это царство, дорогая?

— Конечно, Ники, — с придыханием уверяет она, — я все улажу и уложу, не беспокойся.

— И погоду? — улыбаюсь я. Дорис только разводит руками.

Мы спускаемся вниз, и я одеваюсь к выходу. Потянув собачку молнии, застреваю в собственной куртке, и помощница вмиг оказывается рядом, нежно вытаскивая меня из капкана. Она смотрит на меня снизу вверх, умудряясь уменьшиться в росте. До моего возвращения в город это ее последний шанс поймать желанное прикосновение. Я мог бы ее поцеловать, у нее приятное лицо и мягкие губы, и наверняка их влажность и податливость подберут нужные ключи к моему подсознанию — все это старо, как мир, но... Ничто не возбуждает меня так, как тайна, а придумывать фасон ее темного покрова, который подошел бы моей лучезарной секретарше, слишком утомительно. Все слишком просто в этих серо-голубых глазах, как сладкая мечта каждой девочки в этом городе, спрятанная в коробке для Барби. Я могу представить, как в Зазеркалье моей души она протягивает ко мне свои холеные пальцы — откуда-то снизу, из клубящегося мрака под моими ногами, там тебе и место, Дорис — и почти профессионально скользит ими вверх по моей ноге. Но мне... лень.

— О, нет...

— Что, Николас? — она терпеливо отступает в тень ожидания, как все эти годы, готовая выплеснуть свою страсть в любую мелочь, относящуюся ко мне.

— Фарух и Бимбо, я забыл о них. Ты сможешь приглядеть за ними, пока я в отъезде?

Дорис как-то странно смотрит, и я тороплюсь попрощаться, пока мой план сбежать от нее, заковав в цепи ее собственной влюбленности, не рухнул.

— Я все улажу, Ник. Я же сказала, — отвечает она без улыбки, и я, виновато скривившись, выскакиваю на улицу.

Издеваясь над моей неприязнью к Новому году, тихо

падает настоящий рождественский снег. До дома Джона и Анны рукой подать, и вскоре я уже воюю с обледенелым засовом их ограды, пугливо поджимая пальцы — перчатки я и впрямь не нашел дома. Подозреваю, они прячутся в сумочке у Дорис, как входной билет в музей моей одинокой жизни.

«Привет, малыш!». Джон внимательно смотрит на меня — как всегда. После некоторых событий он в буквальном смысле не спускает с меня глаз. Он всматривается в меня, пытаясь поймать оттенки настроения, и легкая досада подрагивает чешуйчатым хвостом на дне моей души: он так добр, но совершенно обычен, и его рецепты счастья написаны аккуратным округлым почерком с продавленными от усердия буквами — на дешевой бумаге, за стойкой местной аптеки, в которой лавандовый дух французских масел напрочь убит парами крепких настоек.

Но, несмотря на всю простоту друга, я не могу уловить в его крохотных зрачках свой диагноз — верит он мне, или его забота есть снисходительная жалость сильного самца к природному недоразумению? «Ники, мечтай, сколько хочешь, кто у тебя это отберет, но ведь хозяйка в доме не помешает?» — ласково спрашивает он меня, осторожно заглядывая в глаза. Его собственному браку с Анной всего год, и Джон преисполнен надежд на собственное перерождение: они пересмотрели еще не все милые сюжеты в уютной камере-обскуре. Если быть до конца искренним: я не вполне уверен, что мой друг не разобьет сердце своей избранницы. Даже пятнадцать фунтов, исправно прибавляемые каждый год, не мешали этому шумному белокурому гиганту согревать под своим одеялом целые гроздья разномастных девиц.

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты? Я попытаюсь прочувствовать синтонию наших душ — когда-нибудь, как-нибудь. Но любовное измерение — не та

плоскость, в которой мы поем в унисон. В общем-то, я не задумываюсь о нашей схожести или разнице. Джон мой лучший друг: быть может, эта античная формула работает на дополнениях? Он тот, кто подхватывает меня, когда мои колени подгибаются.

Анна хлопочет в столовой, а я поудобнее устраиваюсь в кресле в теплой гостиной.

— Дорис? — спрашивает он, слишком осведомленный о моей небогатой на непредсказуемость жизни.

— Да. Собирает мне чемодан. Надеюсь, ничего не перепутает.

— Будь уверен, — с подчеркнутой сухостью отвечает мой друг, — она отлично понимает, что тебе нужно.

— Джонни... Нет. Не начинай, прошу.

Я устало провожу рукой по лицу, прикрывая глаза, и ловлю себя на горькой мысли, что искренность этого жеста уже давно убита моей публичностью. А ведь мне именно этого и хочется — почти всегда! — просто закрыть глаза и отключиться.

— Я понимаю, что Дорис твоя приятельница, но пусть она навеки останется моей секретаршей, хорошо?

— Она может работать на тебя, если даже станет твоей подругой и, тем более, женой. Это глупые отговорки. Сколько можно жить бобылем? Твоей Глэдис давно уже наплевать на тебя!

Я отмахиваюсь от него: с тех пор, как Джон женился, у него в голове только растиражированные планы моего счастья. Может быть, все дело в скрытом чувстве вины — совершенно напрасном, на мой взгляд, ведь наши совместные походы по злачным местам не закончились вместе с его шумной свадьбой. Анна пока что удачно вписывается в навязанную ей роль все понимающей женушки заправского кутилы. Да и мое воспитание и характер не позволяют придать этим вечерним посиделкам в каба-

ках чрезмерную игривость — которую Джон, не будь рядом меня и супруги, в два щелчка своих крепких толстых пальцев довел бы до фарсового скандала.

— У нее есть бойфренд, ты все время забываешь об этом.

— Да, а твоя знаменитая порядочность не позволяет тебе этого сделать.

Джон грузно поднимается со своего кресла и подходит к бару. «Пропустим по стаканчику перед обедом?.. Анна, любимая! — орет он в невидимое пространство внизу, не обращая внимания на стены и пол. — Когда там уже?» С первого этажа доносится довольное чириканье, из которого мы понимаем, что «барашек почти поспел, но картошка еще томится». Джон довольно улыбается. У них свои пароли и секреты, свои роли в домашнем кино. И это ароматное тепло его обновленного человечьей любовью дома — ни что иное, как еще одна стрела, которую этот жирный купидон безыскусно и грубовато пытается всадить мне в сердце, видимо, путая его с терпеливым лоном своей жены. «Видишь... — лукаво подмигивает он, зная, что я слаб и зависим от комфорта и заботы, — к черту ее парня, Ник, ты же знаешь, что она в тебя влюблена!»

— Влюблена в меня. Уже шесть лет. И все это время спит с другим и водит его за нос, откладывая помолвку. А он, как последний неудачник, слеп и ничего этого не видит? Тебе не кажется, что это о многом в ней говорит, Джонни?

— А что бабе одной быть? — рассуждает он. — Что ж ей теперь, загнуться в холодной постели?

Мы слишком близко подобрались к любимой теме моего друга, но я уже не могу удержаться и подпускаю яду: «Действительно... Вдруг навыки потеряет?»

Джон гогочет, виски в его стакане ритмично отплясывает ирландский рил. Он доволен, его родная стихия

подчиняет себе весь мир, и в ее торжестве он готов не заметить, что ни на шаг не продвинулся к моей холостяцкой крепости. «Ну а что? — смачно громыхает он своей житейской мудростью. — Всем известно, что ты у нас привереда!»

Да, я большой привереда. Я знаю, что любовь профессионализмом не подделать.

— Да ладно! — с примирительной надеждой резюмирует он, — дело к концу близится. Стоит бабу в дом пустить, а к сердцу она ключ подберет. Дорис — умничка...

— Она всего лишь секретарша, пусть я и позволил ей рыться в моих вещах, — прерываю я его, а затем оттягиваю ворот свитера и поддеваю пальцем шнурок. — Вот этот ключ, и никто без моего разрешения... Ты понял?

— Это ключ от твоей мастерской, Николас, — отрезает Джон.

Я презрительно поджимаю губы: что бы знал этот любитель пива об устройстве моей души? Но за всем его грубоватым непониманием чувствуется решительная и жестокая нарочитость хирурга, определяющего границы плоти, пораженной болью. Он опять пытается донести до меня мысль, что я сплел в адский колтун пути, по которым бродят мое тело и сознание.

После неторопливого сытного обеда мы обнаруживаем, что пора отправляться в аэропорт, и я набираю номер Дорис: шофер должен забрать мой чемодан, пока мы с Джоном допиваем откупоренную коллекционную бутыль в машине. Я наивно надеюсь, что больше не увижу ее на этой неделе, что ей не взбредет в голову какая-нибудь особо романтичная идея попрощаться со мной в бензиновых парах моего роллс-ройса... «Я уже в Хитроу», — устало отвечает она.

Как? Почему? Я очухиваюсь от никчемного сна, похожего на серое напыление дня на ослепительном снегу, ощущая, как поводья сюжета выскальзывают из моих рук

со склизкой упругостью, словно черные щупальца осьминога.

«Николас, ты никогда не можешь рассчитать время, — тихо и покорно поясняет она, — и потом, ты даже не вспомнил о папке с предварительной сметой и бланками договоров». Тихая агрессия вкрадчивым облаком газа заполоняет мой мозг, я бросаюсь на защиту своей свободы: «Дорис, я летаю почти каждую неделю, меня быстро пропускают, к чему эта перестраховка? За папку спасибо. Скоро мы будем на месте, и я отпущу тебя домой».

И тут все становится на свои места.

— Я лечу с вами, Николас.

— Зачем?! — неприкрыто изумляюсь я.

Мне не до забот о галантности, я чувствую себя глупым зверем, попавшим в ловушку: как можно было доверить ей покупку билетов? Она даже не предупредила меня, что хочет полететь. «Я твоя секретарша, Ник, — шипит ее голос в динамике сотового, — ты и там можешь оставить все, что угодно: хоть договор, хоть чек оплаты. Не бойся, я не буду много мешать, в Милане полно магазинов». Ее звенящий свист сменяется гудками.

Черт возьми, когда мои отношения с секретаршей превратились в семейные? Что она себе позволяет? Мои мысли скачут от недоумения к ярости, пока машина мчится меж заснеженных полей и цветных поместий, но в конечном итоге я вынужден признать, что она идеально справилась со своими служебными обязанностями. Каменное русло справедливости заставляет меня сдавить эмоции в плотный комок, уже остывающий где-то на дне желудка, а вместе с ними я запрягаю в оправдания и безотчетный страх перед будущим, настойчиво скребущий игольным острием мое сердце.

Мы проходим регистрацию молча, и она все время

прячет от меня лицо. Я вижу, как подрагивает уголок ее рта, как судорожно сглатывает она свою обиду.

— Дорис! — не выдерживаю я. — Спасибо за все, правда. Надеюсь, таксист помог тебе вынести мои вещи? Надо было просто предупредить, что тоже летишь...

— Все нормально, Николас, — отвечает моя преследовательница, пытаясь улыбнуться, — и, кстати, я попросила домработницу как следует присмотреть за твоими питомцами. Это ты извини, мне не надо было срываться.

И тут же не вовремя замечает излишнее красноносое веселье Джона.

— Ты же говорил, что плохо себя чувствуешь, — с укоризной произносит она, не сводя с меня глаз.

— Нет, я не говорил такого, — я с отчаянной смелостью отвечаю ей тем же прямым взглядом.

— Нет, говорил, — не сдается Дорис, — ты жаловался, что у тебя болит голова, и... Ай, да ну вас!

Взмахивает рукой и вновь отворачивается, но на этот раз ее движения решительны, и она ловко лавирует в человеческом потоке, выбирая удобное место в зале ожидания. Оставшиеся полчаса до рейса мы проводим, время от времени перекидываясь ничего не значащими фразами, и Джон пыжится изо всех сил, чтобы начать, наконец, спектакль под названием «Ромео и Джульетта. Припозднившиеся». Но его клоунская маска недостаточно хорошо прорисована, и въедливая рожа деревенской свахи нет-нет, да и бесовски выглянет из-под нее. Да и само действо больше напоминает балаган на местной ярмарке. Слава Богу, на табло загораются долгожданные зеленые огни, и девушка в красной форме отдергивает штору, за которой открывается белоснежный, подрагивающий от нетерпения, коридор. Я просто взмываю к ней в предвкушении уединения в чертогах своего сознания и души.

Мне бы добраться до кресла в самолете и уснуть, залив в нутро дозволенную авиакомпанией порцию алко-

голя. Я не люблю сидеть у иллюминатора — страх перед полетами как магнит приковывает мой взгляд к смертельной пропасти под облаками. Но сегодня я вынужден пересилить себя: раз уж Дорис летит с нами, я попросил Джона побыть пограничной горой, защищая меня от жарких ветров ее любви, дующих через проход между рядами кресел. Иначе я просто не смогу погрузиться в сон.

Мой друг — один из немногих в этом мире, кто знает мой главный секрет, и я вполне могу доверить ему свое расслабленное тело. У меня к нему единственная претензия: он слишком любит снимать меня на камеру — в том числе, когда я сплю. Напиваясь, он начинает в красках рассказывать, какой фурор произведут его домашние архивы, если он решится выкинуть их в сеть, и сколько он сможет заработать на них, продав поклонникам моей масляной мазни. Но я знаю, как собственное имя, что он никогда этого не сделает. И понял я это еще пять лет назад, когда он сказал мне, проснувшемуся в судорогах и рыданиях: «Ники, ты не представляешь, как я рад быть всего лишь человеком, которому после плотного ужина с пивом и жареной картошкой снятся грудастые блондинки. Самое необычное в моих снах — это виски, сочащееся из их сосков. Вот это класс! А тебя, малыш, мне искренне жаль».

И когда стрекоза в форме стюардессы прекращает махать прозрачными крыльями, я сползаю в кресле, скрещиваю руки на груди и закрываю глаза. Правым виском я чую шевеление воздуха от беззвучных попыток Дорис в тысячный раз пробиться к моей душе, но Джон спасает меня, отвечая ей: «Тсс-сс, ты же знаешь, он устал, пусть отдохнет».

Впервые за шесть часов я вдруг осознаю, что мне так и не позволили погрузиться в мысли, занимавшие меня утром. Иррациональная обида ворочается болезненным

клубком над ключицей, и я действительно чувствую непостижимую усталость от всего, что со мной произошло в мире, называемом реальностью — сегодня, вчера, в прошлом году и за последние десять тысяч лет. Я цепляюсь за собственное дыхание и отзывчивыми ступнями нащупываю цепочку мыслей, порождающих необходимый эмоциональный поток. Я уплотняю эфир, я посылаю запрос, пеленгую космос внутри себя — другого и не существует, если вы хоть что-нибудь понимаете в этой жизни.

Для начала я ищу твой огонек, трепещущий на ветрах мироздания. Это уже счастье: знать, что ты жива. Затем я всматриваюсь в его цвет и, сам не понимая, как, соединяю провода, улавливая твое настроение. Если повезет — сольюсь с воздухом вокруг тебя и обниму твое тело. Может быть, ты будешь спать, и тогда я с настойчивостью, достойной Дорис, прорвусь в твое подсознание — но, к сожалению, ты успеешь обрядить меня в безопасные одежды и маски, так и не увидев моего лица. Хорошо, если ты танцуешь: ты теряешь контроль, не замечая этого, и я свободно сижу в тени, откровенно наслаждаясь тобой. Это ничего не дает, кроме обычных удовольствий падишаха, наблюдающего за своей одалиской, но в танце мне легче всего удержать твою душу, которую ты обязательно обронишь в каком-нибудь откровенном движении. Я бережно смыкаю пальцы в полупрозрачный кокон, и она трепещет, оставляя на мне свою пыльцу. После этого я смогу прожить еще несколько дней, растворяя эту разноцветную пыль в красках, рисуя биение твоего сердца, извлекая и выплескивая на полотна пейзажи из твоих зрачков. И я засыпаю, наконец провалившись в свой собственный мир.

Глава 2

В Милане дождит, что совершенно неудивительно для этого места и времени года. Вторя небесным струям, я отпускаю мысли течь вместе с ними, и позволяю себе не вникать в подробности и суть переговоров с полным, претенциозным итальянцем. Порой я только вижу, как шлепают его влажные красные губы, и в воздухе мелькает колесо жестов — а еще говорят, что мы предвзято относимся к иностранцам. В конце концов, у меня есть верная пастушка Дорис — пусть выполняет свою работу.

Краткое содержание его пафосных грез я улавливаю сразу: речь идет о какой-то крупной частной школе, и наш визави то ли ее директор, то ли заботливый отец одной из учениц. Близится выпускной бал, и его — ввиду некой особенной акустики (итальянцы, опять-таки!) — решили устроить в просторном, но заброшенном зале, которому требовалось нанести должный лоск. В моем распоряжении была целая вечность: полгода. Талантливый гордец во мне надменно усмехнулся: за это время я был способен сотворить мир, не то что паршивые декорации для дочерей местных воротил. Правда, мне уже с первых фраз не очень нравятся его идеи, в которые я все же вникаю под вкус традиционной пасты с томатным соусом в милом красно-зеленом ресторане (Рождество до сих пор не оставляет линию моей жизни). Заносчивый делец, видать, никогда не имел дела с художниками — хотя я уверен, что коллекции полотен в его особняке позавидовал бы любой знаток. «Мне необходимо посмотреть твой хваленый зал, болтун», — думаю я, но вслух говорю: «Когда вам будет удобно показать мне помещение?»

И вот мы уже едем на окраину города, где как-то совершенно внезапно, без предупреждения, приторма-

живаем в самом центре холодного тумана. Школа располагается в нескольких монастырских зданиях, раскинувшихся на каменистой террасе на берегу Ламбро. Территория монастыря обнесена традиционной оградой, за которой любопытным путешественникам видны кроны богатого и плодовитого сада — в этом я вас уверяю, как профессиональный художник, недовольный январем. Мы входим внутрь, и на меня сразу спускаются воспоминания об отроческих годах, проведенных в подобном заведении, откуда маленькие дарования вроде меня могли вырваться только на уикенд и каникулы. Вероятно, летом здесь также сходила с небес ночная мгла, дорожки в саду завивались причудливыми лабиринтами, а густые заросли перевоплощались в дрожащих от плотоядной алчности чудовищ, легкое прикосновение к которым грозило исчезновением в глубинах неизведанного. Не знаю, как обстояло дело с маленькими католичками, запертыми в сие помпезное заведение, но наши смятенные души эти сумрачные метаморфозы, как помнится, не удерживали от ночных прогулок — в паре, а то и в романтическом одиночестве.

Когда я стал довольно влиятельным и богатым человеком, то, забавы ради, попросил разрешения заглянуть в школярские летописи своего детства. Кажется, я пытался найти очередную дозу вдохновения в них — это безобиднее, чем повторять привычные экзерсисы с вытяжками из мексиканских трав. О, там значилось все разнообразие младенческих прегрешений: и слезы на скамье у лунного пруда, с томиком французских стихов в руках, и ухарские прыжки в воду, сопровождаемые истошными воплями ночных жаб, и череда первых поцелуев. И даже весьма предсказуемые темные обряды, с прочитанными задом наперед латинскими молитвами, и с обязательным присутствием жалкой стайки трепе-

щущих подростков в плащах с капюшонами, согнанными туда не то любопытством, не то страхом перед своим фанатичным вожаком.

Моей фамилии не было нигде, хоть я и участвовал во всех этих безобразиях — по крайней мере, их влажные ночные ароматы до сих пор стоят у меня в носу. «Ты был таким тихим и благоразумным мальчиком, Николас», — умильно прошептала моя постаревшая учительница.

Откуда же я все это помню?

Мы направляемся в замкнутый со всех сторон двор и входим в красивую галерею с острыми готическими сводами. Она кажется мне смутно знакомой, и я чуть отстаю от компании, внимательно оглядываясь по сторонам. Вот и кустистые, размашистые цветы в мраморных вазонах уже где-то встречались на моем жизненном пути. Дежавю? Мой мозг слишком активен и ежеминутно порождает такое количество образов, что спустя неделю я уже не могу вспомнить — было это на самом деле или приснилось, а то и вовсе родилось в вольной фантазии?

— Ники? — Дорис оборачивается, поджидая меня, как мать своего ребенка. Я покорно прибавляю шаг. Когда у тебя на поясе ключи от сотен миров, трудно управляться с реальностью. Поэтому я так легко доверяю указателям и диспетчерскому эхо своих земных проводников. У меня просто нет другого выбора.

...Зал огромный. У меня дух захватывает от размаха задумок, которые гудящим стоглавым роем ринулись в мои ослепленные масштабами глаза. Тридцать метров высоты, около ста пятидесяти в длину. Средневековый, прямоугольной формы — видимо, здесь когда-то был собор. Директор подтверждает мои догадки: во времена Муссолини, на волне передела собственности, храм лишили святынь, а поздние владельцы не тратили средства на восстановление справедливости. Тем более, что провинциальное священство не просило о ней, довольству-

ясь несколькими десятками действующих церквей в округе. Дворец оставили для проведения всевозможных торжеств.

Мне не требуется обходить все помещение, чтобы понять его характер. Достаточно нескольких взглядов: ввысь, вперед, и два — по диагонали. И, конечно же, прикосновения к ребристому камню спускающегося в ладонь свода. Но это мои личные секреты, я не могу тратить время на объяснение механизмов. Пожалуй, эмпаты поймут меня и по намекам. Это нечто вроде разворачивающегося перед глазами свитка, бабочки, выкарабкивающейся из кокона. Каждая вещь жаждет превращения и, прежде чем начать колдовать, лучше бы спросить у нее, во что она желает быть обращенной.

Но у этого палаццо непомерные амбиции. Возможно, их заразу оставили в каменном рисунке творцы мрачного великолепия; или же он сам подслушал грезы людей, приходящих сюда, а затем сплел из них кружево своих мечтаний. Теряя окончания фраз и захлебываясь в почти сбывшихся предвкушениях, он оглушает меня потоком своих фантазий, изрядно приправленных ядом мании величия.

«Стоп!» — говорю я ему. Мне надо разобраться. Заказчик пристально смотрит на меня, пожевывая толстыми губами. Повисает необычная для этого полуострова тишина. Я не слышу даже звука бряцающих колокольцев на откормленных шеях быков, бегущих за Европой... Да о чем я? Сегодня второе января, быки бессильны. Отсчет пошел. Спустя десять секунд мой профессионализм и привычка к вдохновению должны выдать гениальную идею, способную преобразить этот зал, вселив в его атомы мелодию, которая навеки останется в алчных сердцах этих маленьких дряней, рожденных в роскоши, живущих в ней и стремящихся — тоже к ней.

Судьба спасает меня в тысячный раз. Необычный

блик в глубине сумрачной дали, знакомый щелчок фотокамеры, и что-то из прошлого — будто и не прошло семнадцати лет. Пушистые светлые волосы, голубой джинсовый комбинезон, длинные ноги... Хорошо, вот мое признание: раз двадцать мне снился этот одуванчик вместо головы.

Я быстрым шагом направляюсь в гулкую глубь готического тоннеля. Это не может быть ошибкой. И даже больше — я не могу игнорировать столь непредвиденное послание Вселенной. Хотя в чем его смысл, я не понимаю ни сейчас, ни после. Все, что завертелось вокруг меня с этой минуты, лишь неприглядно высвечивает тщету моих попыток привести мир в соответствие с собственным замыслом. Может, это и есть тот урок, который я должен усвоить? Яркий луч софита, направленный на мою непомерную гордость? Отнюдь! Мне слишком часто дают это понять, чтобы я принял к сведению. Упрямство только разгорается — с каждым прожитым годом, с каждой нажитой нитью проседи в волосах.

— Памела! Не может быть! Какой приятный сюрприз. (Галантность — мой конек).

— Николас... — а она всегда умела сделать вид, что ничему не удивлена.

— Неужели ты меня узнала? Столько лет прошло, — я смеюсь и картинно провожу рукой по остриженным волосам.

— Изменился, — подтверждает она, — но узнаваем. Профиль, взгляд — никуда не денешь. И потом, не забывай... Я все-таки тоже... художник.

О, коллегиальная зависть, замешанная на сексе.

— И что же ты делаешь здесь?

— То же, что и ты. Проектирую.

— Та-ак... А я на что этому хмырю? — я киваю в сторону богатенького Риччи, надеясь, что он не силен в жаргоне моего родного языка.

— Не переживай, меня он пригласил уже из вежливости — давние знакомые, — она вздыхает и разводит руками.

— То есть, мы в какой-то мере соперники?

— Нет, что ты, — Памела мило улыбается, — я в какой-то мере... крот. После твоего появления гожусь лишь для репортажа.

— Ты ведь не украдешь мою идею?

— Сфотографировать твое сознание, Ники?

Она назвала меня домашним именем! Интересно, это близорукость, или же — дальнозоркость?

— Не сдавай меня раньше времени прессе, — я неосторожно царапаю ногтем объектив ее камеры, — не люблю, когда разглядывают пятна от соуса на моем домашнем халате.

За спиной раздается недовольный баритон.

— Мистер Фламинг, вы уже можете что-нибудь предложить? Макет и фото были высланы вам две недели назад.

Поначалу они все так разговаривают. Я оборачиваюсь с лучезарной улыбкой. Дорис, Джон, итальянец, непривычная светотень. Где-то здесь должны быть звуки, видения, духи. Где-то здесь — как и везде — временная спираль должна сойтись в одной точке. Это начало, отправной гудок для каждой моей идеи, которая, несомненно, уже живет внутри, занесенная пустынным ветром или октябрьским дождем.

Вот, гляньте — вдали, в замшевой пыли арочного проема мелькнули две детские фигуры в синей форме, и стремительно направились в сумрак, рисуя в нем всполохи ногами в белых гольфах.

Под выцветающую трель девичьих голосов и мягкое джинсовое шуршание комбинезона Памелы, я внезапно улавливаю легкое дуновение того самого ветра в глубине своего мозга. Затем — солнечная пыль, дрожащая в стре-

ле луча, проникшего в приоткрытую дверь. Так открываются ворота в космос. Впрочем, опять я вру! Откуда мне знать, как именно они открываются? Каждый раз это происходит по-новому. Сегодня — вот так. Возможно, старые своды призвали сюда этого вестника света, солнечный луч. Он связал воедино стремительно убегающее детство и зрелость, успокоенную шелестом трав над руинами грез.

Пожалуй, все действительно началось с этого луча. Взрезав плоть нечаянно набежавших туч, он ворвался в узкое оконце в торце длинного коридора, озарив новым смыслом старинный витраж, исполненный в сине-красных тонах. Постороннему наблюдателю, очеловеченному и заземленному, это призрачное путешествие показалось бы молниеносным, однако в светозарной реальности все обстояло совершенно иначе. Луч замер и медленно, на ощупь пробираясь по мраморным плитам пола, двинулся вперед, проявляя смарагды и рубины, золотую крошку и сиреневую муть в полупрозрачных облачках пыли; добежал до конца коридора и нырнул в арку зала, в котором замерли в ожидании чуда несколько человек.

Не знаю, что-то было в линии этого нарушенного равновесия... Скрип двухместных качелей из детства, магнитная стрелка судьбы, трепещущая меж полюсов противоречивых желаний. Вымарай хоть одну деталь из готовой картины — и врата в бесконечность закроются. Поймав себя в идеальном центре — не настоящем, а чуть смещенном к *настоящему*, я вспоминаю свой сон, увиденный в самую головокружительную весну юности, когда в голове шумит еще за пару месяцев до выпускного бала. Кстати, именно тогда она меня и бросила. Я имею в виду Пэм.

— Мистер Риччи... Э-ээ... — изображаю я diminuendo,[1] осознав неуверенность в том, что точно помню имя заказчика (обернулся к Дорис, она с поощ-

рительной улыбкой кивнула). — Вы меня простите, но, может быть, похерим то, что обсуждали ранее? Все эти благословляющие ангелы, свитки с премудростями. Поймите меня правильно, я сам христианин, но скоро Миллениум...

— М-мм... Есть что-то на примете? — он недоброжелательно зыркает на меня черными глазищами. Верно, уже подсчитывает убытки от потерянного дня.

— Да. Вот здесь, — стучу я пальцем себе по голове. — Это поколение, за которым надо бежать, мистер Риччи. Сколько вы ни приучайте их к катехизису, у них уже есть Интернет. Все достижения мира в их распоряжении. Они знают стоимость каждой машины на «Формуле-1» — потому что присматривают там себе женихов.

Я ожидаю резонанса и даже готов выслушать отповедь, но обычно эмоциональный итальянец лишь приподнимает бровь. «Ничего, — усмехаюсь я молча, — это только вступление».

— Мир меняется. Их юность отличается от нашей... От моей, по крайней мере, — поправляю я сам себя, внимательно присмотревшись к массивной челюсти своего будущего хозяина. — Все уже не так безоблачно. Знаете, небесные глазки — это не про них. У них во рту розовый леденец, а в глазах — серая хмурь.

(Дорис уже смотрит на меня с подозрением, Пэм втихую ухмыляется).

— Нужно что-то такое же, как они сами, — я вновь оглядываю зал, задрав голову. — Давайте оставим затею с небом, но затянем его тучами. Не целиком, с редкими лучами солнца, пробивающимися сквозь них.

[1] Диминуэндо (итал.) — музыкальный термин, обозначающий постепенное уменьшение силы звука.

Но не слишком много. Не должно быть слащавости, мы не на пляжах Ибицы. Это готический дворец, пусть и фреска будет темной. Но они все же полны надежд — такова юность. Их олицетворением будут птицы. Стая алых птиц. Взлетающих, сметающих, яростных, сопротивляющихся, достигающих. Яркие пятна, озаряющие больше, чем те самые лучи солнца.

— Алые птицы?

(Не помню, кто из них это спросил).

— Да. Около сотни. С учетом перспективы — разной величины. Удаляющиеся, приближающиеся. Неопределенного вида. Но острые, режущие и глаз, и предгрозовой воздух. Клубящиеся тучи, робкое солнце и кровавые птицы. Но это освященная кровь, понимаете?

И еще. Небольшой рекламный совет. Закройте зал на время работ, никого не пускайте, никому не рассказывайте. На бал все равно приедут репортеры, я так понимаю? Нет? Пригласите обязательно. Слишком много здесь у вас дочерей местных воротил. Это бонус школе. Представьте эффект, который произведет интерьер на девочек. Сияние в глазах, когда вы впустите их сюда. Это и будет недостающий свет. Они ожидали от вас тошнотворной пастилы с марципаном — вы уж простите, это особенность мировосприятия подростков — а получат образы из своих излюбленных темных фантазий. Ваш бал прославится на всю страну. Вы станете новатором. Детские психологи будут цитировать в своих книжках вашу напутственную речь.

— Сто тысяч чистыми, без материалов и подмоги, если вы нарисуете это так, как заставили меня увидеть.

Он уже трясет в экстазе мою руку.

Вот так я продаю свои сны. Кстати, он даже не заметил, как я обеспечил себе выступление на итальянском телевидении.

— Хотите остаться здесь до завтрашнего утра? —

предлагает мне Риччи, когда мы выходим во двор, ослепивший, несмотря на пасмурную погоду, дневным светом. — Посмотрите местность, может быть, вдохновитесь еще больше. У нас хорошие комнаты в гостинице. А какая рекреация! Памела вам расскажет, она каждый день плавает в нашем бассейне.

— Да, Николас, — вворачивает она тут же, — это место надо прочувствовать. А бассейн — просто сказка. Римская сказка. Эпоха Империи, не младше.

«Зачем мне это?» — думаю я, но вслух соглашаюсь:

— Почему нет? Дорис, Джон, вы, наверное, хотите уехать в город?

— Мне было бы интересно познакомиться с этим архитектурным комплексом ближе, — поспешно отвечает Дорис. Она всегда выражается так, будто ее остановили на улице журналисты с местного телеканала, чтобы узнать ее драгоценное и — конечно же! — лояльное мнение о текущих делах в городке.

— Не-еет, — решительно отрезает Джон, — нет-нет. Я в город, в отель. Мне монастыри не по нраву.

...Нам предложен гармоничный ужин, в котором присутствует все, что я люблю: разноцветие, разновкусие, изящная сервировка и умеренность. Мистер Риччи изволил отчалить по своим денежным делам, и его багровые щеки, оттененные природой смуглотой, не вступают в хоровой сговор с томатами черри, и тем самым не нарушают обозначенное равновесие.

Даже мой маленький эскорт, «Пэм и Дорис, блондинки», оказался на удивление послушным и воспитанным. Обе обрядились в шелка по случаю ужина в древних стенах, в тусклом сиянии свечей в бронзовых канделябрах. На старшей было светло-зеленое платье в легких брызгах крохотных белоснежных цветов, тонкие лямки открывали красивые крепкие плечи с едва заметным узором веснушек. Признаться, наряд ей шел, но — Боже мой! — со-

крушаюсь я над несовершенством мира, какой звонкий ведьмовской дурман он источал бы на рыжеволосой. Дорис оделась в однотонное голубое, с эффектным лифом и полностью оголенными плечами — также не подозревая, как восхитительно подчеркивает небесный цвет золотую кожу брюнеток.

Мы ужинаем, изредка вспоминая о правилах светской беседы и анализируя окружающий интерьер. Я надеюсь, поднявшись из-за стола, отправиться в отведенный мне номер на третьем этаже гостевого особняка. Признаться, я бы предпочел, чтобы меня поселили в опустевшие на время рождественских каникул комнаты девочек — я ужасно скучаю по школьной атмосфере, утраченной навсегда. И мою ностальгию только усугубляет воспоминание о тебе, твоих учебниках, стоявших на полке, игрушках, сидевших в изголовье кровати. Но администратор, сменивший заказчика, объяснил, что комнаты не освобождаются детьми — дабы они могли возвращаться в школу, как в родной дом. Здесь не слишком-то строго обходились с такими пташками, как ты, моя милая.

Впрочем, я не стал расспрашивать его дальше — он и так косо посмотрел на меня, видимо, предположив в моей персоне одного из тех извращенцев, что любят в вечернее время ошиваться у подобных райских кущ. Пэм тоже настороженно взглянула, по своей птичьей манере чуть наклонив голову набок — будто прислушиваясь к одному ей шепчущему голосу. Да, дорогуша, это было после тебя, и тебе — неведомо. Дорис вообще никак не реагировала: она не обращала внимания на подобные мелочи, которые для другой стали бы препятствием на пути к цели. По-своему очень умная девица: всегда держит взгляд на мишени. Порой мне доставляет истинное удовольствие развлекаться, проверяя ее выдержку и гибкость мышления. Подобными экспериментами я выяснил, что ее способность усваивать самые неудобова-

римые вещи воистину превосходна. Или... Она просто не принимала меня всерьез, отметая в сторону все, что не укладывалось в мой идеальный портрет?

Однако мне не удалось заняться любимым делом, погрузившись в вязкий туман грез о тебе — столь осязаемых, что с лихвой заменяли мне реальность. «Ники! — окликает меня Памела, — Так что насчет бассейна?»

— Во сколько? — спрашиваю я, коварно просчитывая свое опоздание и надеясь на понимание ситуации, которое не позволит ей уронить достоинство, колотя в мою дверь.

— Часа через два? — вопросительно соглашается Пэм.

Дорис изящно прикладывает к губам салфетку, опустив глаза. «Записала в ежедневник: вторник, 2 января, 22.00», — догадываюсь я.

— Договорились, девчонки, — я подмигиваю, давая понять секретарше, что в очередной раз прочитал ее мысли. Она чуть вздрагивает, но лишь улыбается в ответ.

Я не собираюсь принимать водные процедуры, да еще и в компании двух женщин, каждая из которых претендует на власть над моей персоной. Одна желает доказать, что прошлое имеет значение и для меня; другая — что мое будущее подчинено ей. Хорошо, возможно, я слишком обостренно реагирую на подобные ситуации. Простите мне эту слабость: моя молодость была беспрестанной битвой за личное пространство. Однажды, в мгновение ока, я оказался знаменитостью, маленькой фигуркой, повисшей в открытом космосе, в беспощадных лучах прожекторов. Конечно, моя слава несравнима с известностью «звезд» музыки или кино, но и на талантливого художника в современном мире мультимедиа приходятся свои тридцать тысяч почитателей. Тем более, мне довольно быстро удалось стать миллионером, включив себя в список завидных женихов Европы. И все это

было совершенно некстати: я был счастливо женат, и не собирался бросать свою супругу.

Двадцатилетний мальчишка, отчаянно кричащий о своей любви, пытающийся защититься ею от алчных рук и губ... Иногда я просыпаюсь от одного и того же кошмарного сна: я стою в толпе, каждый из которой тянется ко мне, моя грудная клетка разорвана и, опустив взгляд, я вижу, как пульсирует в ней окровавленное сердце. Я пытаюсь сказать им, что у меня есть сердце, а в нем — любовь, но все тщетно. Кто-то из толпы орет мне прямо в ухо, и этот ужасный голос не лишен интонаций глубоко ненавидимой мной житейской мудрости: «Это жизнь, малыш! Это жизнь! Ты нам должен. Ты должен хотеть быть с нами!»

Пока еще, на этой странице, мое повествование может показаться исповедью Нарцисса, но я постараюсь наглядно продемонстрировать процесс превращения гадкого утенка в лебедя. Я не Нарцисс, я какое-то другое редкое растение. И тем неприглядней смотрюсь в прокрустовом ложе нашего времени, что я — мужчина, которому от природы должно быть неразборчивым и любвеобильным. Моя проблема в том, что я всегда хотел настоящего. Но мое представление о *настоящем* почему-то не совпадает с общепринятым.

Меня считают мечтателем, в то время как я истекаю презрением, наблюдая жалкие человеческие попытки жить иллюзиями. Растиражированные сценарии жизни — разве это не самая великая иллюзия? Получать образование, веруя, что оно есть признак истинного ума. Зарабатывать деньги, как свидетельство своего дара. Создавать семьи, которые развалятся через пять лет, но убеждать при этом и себя, и всех вокруг, что это — та самая, вечная любовь. Гнаться за воплощением мечты, думая, что она принесет окончательное счастье. Без иллюзии нет действия. Человек, лишенный иллюзий, впа-

дает в ступор от осознания бессмысленности своей жизни. Человек, умеющий двигаться вперед без них — уже больше, чем человек. Я себя к таковым не отношу, увы.

Ты — та же иллюзия, и я лишь смею надеяться, что твоего зелья мне хватит до конца дней, и я никогда не проснусь отрезвленным.

Но подверженность иллюзиям не освобождает меня от их осознания, и это болезненный парадокс. Я раскаиваюсь, как алкоголик, признавший свою слабость, но продолжаю хлебать отраву. На сегодняшний день я свел к минимуму свои заблуждения, оставив из их огромного числа только самое любимое — тебя. Остальное мне оказалось не под силу: пытаясь сделать то, что и все, я ощущаю во рту нарастающий привкус горькой желчи, поднимающейся из нутра. Все простое и человеческое — яд для меня.

Так было не всегда, я родился другим — не в той золотой середине, где живет большинство, а сразу в двух обличиях, одно из которых находилось в противоположной от меня сегодняшнего, крайности. Попадая в поле зрения людей, я становился приспособленцем, хитрецом, лицемером, желавшим лишь одного — славы и богатства. Теперь я люблю оправдывать себя тем, что все это было неспроста, и необходимо для того, чтобы ты узнала обо мне. Но когда я встретил тебя, то испил из столь чистого и звонкого источника, что все остальные родники кажутся мне либо пресными, либо испорченными. Прикосновение к тебе вселило в мою душу точное знание вещей. Что такое любовь. Что такое смерть. Что такое смысл. Что такое путь. И теперь тени на полу не могут меня обмануть — я всегда ищу предмет, их отбросивший.

Я потерял самую важную способность для выживания: умение играть в театре отсветов и отражений. В качестве спасения осталась лишь крепость гордыни: иначе я давно бы погиб, растратив все свое состояние и сердце.

Я построил неприступные стены вокруг себя, настоящего, когда понял, что таковым никому не нужен. И за пределами этих стен я делаю вид, что играю — но им, людям, кажется, что по общепринятым правилам. На самом деле, я потчую их настоями, приготовленными в моей крепости. Они спрашивают, откуда они, но я не раскрываю секрета, прячась за профессионализмом и понятными всем формулировками.

Итак, я сижу в весьма уютной казенной спаленке и придумываю, как далеко могу уйти в свои грезы — на тот случай, если подружкам захочется громче стучать в мою дверь. Шуршание дождя по старому монастырскому камню вынуждает меня подойти к небольшому окну, глубоко посаженному в стену. Когда-то я любил солнце, но с некоторых пор оно перестало меня вдохновлять, и теперь все мои кисти подчинены либо движению небесных струй, либо тайнам ночи. Сейчас и то, и другое уже почти слилось, и я всматриваюсь во мглу за окном. На какое-то мгновение я ловлю себя на странном, утерянном ощущении: оно родом из детства, наполненного гораздо большей старческой мудростью, чем зрелость. Я вдруг понимаю, что этот дождь, и поздний вечер, и густая серость за окном — уже были. Словно конский волос, впивается в мою душу спираль воспоминаний, болезненно и беспощадно вворачиваясь в ее податливую плоть, и я ловлю тот миг, когда ливень за окном казался для меня даром небес. Вместе с этим, вновь прочувствованным вкусом, вливается пронзительная тоска, которую я привычно пытаюсь поймать на кончик воображаемой кисти: пока она не успела смертельно ранить, ее можно выплеснуть на ментальный холст, а затем создать его в реальности.

Но пейзаж за окном и история, дышащая сквозь поры старины, зовут меня поиграть — переплести нити наших судеб, коварно подхватив на крючок тонкий луч

и твоей жизни. В течение последних восьми лет я страдаю от невозможности подарить тебе что-нибудь осязаемое, реальное — но могу наполнить царство моей души, в котором ты живешь. Я собираю в него впечатления, события, и примеряю их на тебя. Везде, где бы я ни был, я обрываю острые шипы и закругляю опасные углы, я запоминаю, зарабатываю и поддерживаю связь, чтобы однажды наградить тебя за озарение и вдохновение, которые ты даришь мне.

На часах половина девятого: у меня еще достаточно времени, чтобы ознакомиться с хваленными красотами здешних мест, пока мои готовые на все нимфы спустятся к водопою. Облачившись в плавки и прихватив все необходимое, я торопливо иду в разрекламированный бассейн.

Он оказывается подвалом, в котором за невзрачной коричневой дверцей прячется бело-синий античный мираж: сеть прямоугольных, до гулкости огромных помещений, сопряженных между собой арками и пронизанных точными стрелами высоких колонн. Прикосновение обнаженных ступней к мраморному полу и мощь свежего воздуха, прохладой и особым ароматом чистой влаги врывающегося в ноздри, отзываются во мне изысканным чувственным удовольствием. Высота арочных сводов не подавляет, а открывает просторы, повсюду действительно царит эллинское великолепие.

Синяя и голубая мозаика с редким, но броским вкраплением багряностей светится из глубины бассейна, играя с подступающим лунным светом, распыленным сквозь призрачные витражи высоких, величественных в своей открытости окон. Сюжет картин искусно вплетен в пространные, неопределенные пейзажи, занимающие большую часть каждого окна, а потому истории, рассказанные неизвестными мастерами, остались для меня неузнанными. Я уяснил лишь, что на них было много

моря, гор и неба.

В этом чудесном мире смущает лишь одно — невозможность контролировать пространство, изломанное двумя угловыми переходами и образующее теневые провалы с помощью колонн. Но я уже понимаю, что не прогадал, поддавшись мимолетному настроению: в мои легкие влито столько света и воздуха, что его, вкупе с твоим взглядом, который я обязательно инкрустирую древностью, хватит на целый вернисаж.

И потом — если даже забыть о практической пользе — я так хочу окунуть тебя в эту лазоревую воду.

Я оглядываюсь вокруг — уже восхищенный великолепием, уже зависимый от приятного запаха сырости, и устраиваюсь удобнее на гладком мраморе, в одном шаге от воды, чтобы впитать картинку в себя, вписать ее в формулу своих заклинаний, которыми затем продолжу творить собственный мир. В надежде, что когда-нибудь он, послушный моей кисти и мановению руки, воплотится в том, что остальные именуют реальностью.

Я спускаюсь в воду — она приятно теплохладна, она готова принять меня без сопротивления, она рада излучению моего тела. Может быть, с этого начнется очередной виток волшебства... Если мне удастся сосредоточиться, завтра я весь день буду пьян воспоминаниями: мой дар грезить настолько силен, что его плоды порой заменяют мне пресное тесто повседневности. Я буду ощущать это, как осознанное сновидение, и на него отреагируют не только самые порочные в своей слабости части тела — даже рецепторы моего языка смогут почувствовать вкус твоей кожи, заставив железы выплеснуть маленькую порцию опьяневшей слюны. Впрочем, об этих вещах не принято писать, хотя они касаются каждого. Не всякий достигает таких высот, но все используют свою способность мечтать — и таким образом тоже.

Если бы вы хоть однажды добрались до сияющих вершин искусства потустороннего путешествия, когда ваше тело продолжает нести на себе его следы и по пробуждении, когда столь явственно чувствуете на своей коже прикосновения! А иные (я читал, например, о Наполеоне) умеют прихватить из него и пару драгоценных вещиц. После этого вы никогда бы не отозвались пренебрежительно о мечтателях. Вы поняли бы, что это такое же искусство, как и все остальное. И есть начинающие поэты, судорожно разыскивающие сбежавшую рифму, маленькие художники, не справляющиеся с лужицей краски, будущий призер, пытающийся растянуть крохотные пальчики на клавиатуре рояля — а есть и те, кто уже все получил. Разве тогда вы назвали бы эти достижения выдумкой?

Знакомый потусторонний транс врывается в мое существо, захватывая подсознание. Я наблюдаю привычную перемену тональности в токе крови и, отыскав тебя в космосе, со всей внезапностью обнимаю усмиренной мрамором водной стихией. Ты чуть удивленно съеживаешься, сидя на своем диване. Подняв взгляд от книги, устремляешь его в окно, пытаясь за ним найти ответ. Но там все по-прежнему — это январский вечер. В углу комнаты поблескивает своими драгоценностями елка, и ты стараешься сосредоточиться, отгоняя невесть откуда взявшуюся ностальгию по теплому морю. Ты опять сопротивляешься — как всегда. Но я настойчив, и даже если сейчас мне придется порхать вокруг в оглушительном молчании, мои грезы и желания настигнут тебя глубокой ночью, когда ты не сможешь контролировать защиту. Ты уже ничего не помнишь. Ты забыла, как мы играли и ловили звезды в свои карманы. Ты умудрилась растерять силу, твои глаза закрылись, и теперь ты даже не понимаешь, откуда вдруг берутся эти далекие образы и стремления в твоем сознании...

— Николас! Ты уже здесь?!

Изумление в женском голосе вонзается ножом в солнечное сплетение и проворачивает дыру через грудь до горла. Все-таки я был прав насчет дурацких замыслов древних архитекторов: две кошки прокрались сюда из будущего марта, а я даже не заметил. Хорошо, что они стоят за моей спиной — выражение лица сейчас у меня, видимо, презабавнейшее.

— А вы что так рано, дорогуши?

Обе в купальниках и парео, будто мы в Сан-Тропе.

— Вам не холодно было идти сюда в таких нарядах, девочки?

Они хихикнули, как заводные куклы одной фабричной партии.

— Ну, присоединяйтесь, — я обреченно вздыхаю, сопроводив это широкой улыбкой. Из-за нее они все равно ничего не заметят.

Пэм не надо было долго упрашивать — возможно, она просто хотела размять свое натренированное тело в воде. Я не упускаю возможности обогатить опыт художника, и пристально разглядываю ее, пока она спускается ко мне: это тем более интересно, что я помню каждую ее родинку и шероховатость. Она, конечно, изменилась. Больше нет той юношеской тонкости, хотя и тогда ее ладный шведский скелет обещал быть весьма удобным для продолжения рода. Оказывается, прежней осталась только привычная джинсовая униформа, а под ней спрятаны от любопытных глаз зрелые материнские бедра. Да и грудь явно потревожена алчным ртом неизвестного мне младенца.

Это заметно не только мне. Вот и Дорис не сразу окунулась в воду, изящно прогулявшись вокруг бассейна, демонстрируя оттененное солярием молодое стройное тело. Да и затем, войдя в голубую прохладу, не забыла картинно, в лучших традициях дешевых студий

Голливуда, пригладить волосы, очертив крепкий череп пловчихи. Я решаюсь включиться в сет, нарушив зыбкое равновесие, которое до сих пор поддерживалось лишь моим благородным молчанием. То, что я делаю — не по-джентльменски, но я уже знаю наперед, чем закончу сегодняшний вечер. Маленькая мышка по имени Пэм может и потерпеть: я выведу ее из лабиринта, и дам-таки лакомый кусочек сыра. Нет, я подарю ей гораздо больше — его тонкий аромат. И тогда она сможет делать с ним все, что захочет.

— Пэм, — ласково спрашиваю я ее, как старую знакомую, — у тебя ведь есть дети?

— Да, — шелестит она, словно стесняясь своей жизни, — дочь. Ей тринадцать.

И сползает еще ниже, тщетно пытаясь укрыть грудь в прозрачной воде.

— Ох, слава Богу... А то я уж подумал... — я подмигиваю ей, и она растерянно улыбается, распавшись на атомы от моих бесконечных опытов и химических реакций.

— А расскажите, как вы познакомились? — щебечет Дорис, подплывая близко... Слишком близко. Милая, ты не девственница, чтобы я принимал ванну после тебя, желая омолодиться.

Памела молчит, выжидая, когда я приду на помощь. Я не иду — лечу!

— О, это было давно... На маленьком пленере. Да, Памела?

Она кивает.

— И что, — с въедливой неприкрытой иронией продолжает Дорис, — сразу стали встречаться?

— На следующий день, — четко выстреливает Пэм.

Она уже разобралась в ситуации. Неужели Дорис допустила оплошность и чем-то выдала долгий срок пребывания в роли моей тени? Моя секретарша не справляется с эмоциями и поджимает губы: на следующий день!

«Да, — молча злорадствую я, — а ты бродишь возле моего дома уже шестой год!» Моя первая женщина, тем временем, невозмутимо продолжает:

— Я была так удивлена! Я всего лишь заинтересовалась беседой с Ником, он был развит не по годам. Позвала его на чашечку кофе, а спустя три часа он отвозил меня домой и не отпустил без поцелуя... Ты знаешь, что он такой настойчивый?

Бедная девочка совсем раздавлена. Криво улыбнувшись, она готова и дальше выслушивать счастливую историю чужой любви. В моей голове вдруг вспыхивает озарение: эта циничность вот-вот обернется против меня. Сейчас моя бывшая подружка начнет рассказывать, как мы предавались романтическим утехам, а затем... Таким же точным выстрелом убьет наповал и мой образ в глазах Дорис: «А потом я сказала ему, что нам лучше расстаться».

Кому я мщу? Джону за его настойчивость в обустройстве моей личной жизни? Или — ему же — за предательство дружбы ради мещанского семейного счастья? Впрочем, вряд ли второе: я никогда не претендовал на право собственности на своих друзей. Он бы удивился и оскорбился, если бы однажды понял, как тщательно я отмеряю дозировку общения с ним и ему подобными.

Дорис? Она всего лишь жертва моих чар и своего эгоизма. Она заперта в картонную коробку, оклеенную розовой бумагой. Там, вместе с ее личностью, лежат вырезки из глянцевых журналов — все по последней моде на магию мысли и намерения. Тут тебе и вилла на престижном берегу, и авто в цвет губной помады, и принц (может быть, даже два — на всякий случай). Пусть на другом уровне, но она чувствует то же самое, что и я: непреодолимый магнетизм своей цели. Она — словно мое отражение в нижнем мире: вправе ли я пенять на ее настойчивость, если сам с маниакальным упорством во-

площаю свой замысел?

Или это моя месть тебе, за твою бездумную юную жестокость? Я гоню эту мысль прочь, не желая поднимать из глубин свою темную сторону. Я не знаю, кому приношу эти клятвы в нежности. Столько боли и отчаяния — удержу ли я свои пальцы в миллиметре от судорог на твоей шее, когда встречу тебя? Как только рождается этот вопрос, вопль несогласия рвется из моей души: я не хочу знать этого о себе! Я лучше буду думать, что отыгрываюсь на них: только за то, что они — это не ты, а сплошная живая стена, колышущаяся масса целеустремленных тел, практических расчетов и ничтожных эмоций. Они искушают меня, призывая присоединиться к всеобщему земному пиру. Они подчеркивают мое одиночество, сбиваясь в стада. Они соблазняют меня своими телами, изготовленными на современной фабрике жизни, оборудованной железными машинами, ультрафиолетовыми излучениями, шелкоткацкими станками. Я потерян в мире, который мне не подходит, у меня срабатывает инстинкт самосохранения, и ни один ангел не взял на себя смелость утверждать, что пульсация в моем сердце — истинна.

Но я до сих пор боюсь прикоснуться к ним: они оставят на моих руках и губах свой ядовитый налет, и он покроет волшебную пыльцу, оброненную тобой. Каждое их касание будет уносить меня все дальше от тебя, ввергать в забвение, стирать твой аромат с моей кожи. Это еще один способ потерять тебя — а ты продемонстрировала мне десятки других. Я не хочу. Я сбегаю.

За этими размышлениями я пропустил самодовольное мелодичное журчание Памелы, но мне чертовски везет: я подхватываю его как раз в тот опасный момент, когда она, выразительно глянув на меня, собирается поведать моей секретарше о том, как выставила за дверь влюбленного самонадеянного семнадцатилетнего паренька (может, писать это слитно, как биологический

вид?)

— Но первая любовь долго не живет, не так ли, Пэм? — перебиваю я ее. — Тем более, что я у тебя был и не совсем уж первым.

— Здесь так романтично, — говорит моя помощница, — а от твоих рассказов, Памела, вообще голова закружилась. Я так и представила юного Николаса, страстно влюбленного, и ту весну. У меня идея: давайте я принесу плавающие свечки, я как раз купила их сегодня... И у нас где-то оставалось шампанское, да?

Она ловко выныривает и подтягивается на бортик. Внутренне застонав, я слежу за новоявленной русалкой, убежавшей прочь, оставив мокрые следы на мраморе, а затем и камне лестничных пролетов. «Пожалуйста, не возвращайся!» — умоляю я. Почему Вселенная издевается надо мной? Вместо желанного одиночества я опять втянут в человечьи игры. Что за обязанность — сопрягаться и строить пары?

— Тебя что-то гнетет, Ники, я вижу, — Пэм оборачивается ко мне.

Я отмалчиваюсь (что в этом удивительного? Это так мужественно), и она продолжает:

— Тоскуешь по ней?

Я вздрагиваю. Миллион электрических разрядов пронзает мое тело. Поднимаю глаза на блондинку.

— В газетах писали, что она тебя бросила... Сколько лет уже прошло?

— Ты не очень деликатна, Пэм. Все-таки изменилась.

— Прости, но я не со зла. Мне жаль тебя.

— Меня все жалеют. А зря. Они и понятия не имеют, о чем именно надо жалеть.

— Так сколько времени прошло?

— Шесть лет, — лгу я, назвав растиражированную официальную дату. Запах свежих газет из далеких дней ударяет в нос.

— Это много... У тебя до сих пор нет подружки?

— У меня бывают женщины. Этого достаточно.

Опять ложь. Нечистая ложь, чтобы скрыть еще более постыдную правду.

— Женщины? Не ври мне. Ты любишь отношения, а не бесцельный секс.

— Я тоже переменился, — сухо отвечаю я ей.

Раздается звонкий топот быстрых ног, и в зал врывается разрумянившаяся Дорис с нарядной коробкой в одной руке, и не менее праздничной бутылкой шампанского — в другой. В этот миг она еще столь непосредственна, подчинена своим самым искренним желаниям, что я невольно любуюсь ее молодостью. Но вот она подходит ближе, и ореол *настоящего* рассеивается, тонким джинном уходя в иные миры. Передо мной опять девушка из журнала, знающая, как к месту и вовремя использовать советы с тридцать седьмой страницы.

— О чем вы? Почему шеф такой грустный? Стоило оставить... Пэм, ты на него тоску болотную нагнала? Вода уже застоялась. Давайте-ка ее оживим свечами.

Признаться, это звучит возбуждающе — шеф.

Она бросает нам по зажигалке, и мы отправляем в путь маленькие лучезарные корабли.

— Я спросила у Николаса о Глэдис.

— Хм, — Дорис «обаятельно» морщит носик, — он не любит этих разговоров, это ты зря.

Странный эффект: они будто уплывают вместе со свечами из моего мира. Воздух сгущается между нами, и я слышу, как их голоса доносятся издалека. Мы под гипнозом. Девушки продолжают разговор о моей бывшей жене, зная — но уже не помня — что причиняют мне боль. Я, заведенной куклой, время от времени поддакиваю и вставляю ничего не значащие замечания. Слова теряют смысл, пространство насыщается идеей. Чьи-то чары окутывают нас, и мы теряем счет минутам.

Нет, точнее: *я* теряю им счет.

Десяток маленьких свечей озаряет бликами воду, чуть тревожную от нашего дыхания, в дальних углах гулкого зала уже уплотняются тени детских страхов, и темнота, которая только что была простыми потемками, превращается в зыбкий мрак под действием моего (или общего?) подсознания. Последнее слово тяжелой каплей падает в воду, и воцаряется тишина, столь необычная для компании трех взрослых людей, двое из которых хотят заняться сексом. «Что бы сделал сейчас Джереми? — с легкой тоской думаю я. — И почему я не могу этого сделать?». Что за обязательства лежат на мне, какое проклятие? Разумеется, если бы одна из них, или сразу обе, сейчас подплыли ко мне и осмелились прикоснуться — я бы не устоял. Но начинать игру сам я не собираюсь. Видите ли, это не было *моим* желанием.

Однако, нельзя превращать это в подростковый фарс, ожидая, когда привидение вдруг выскочит из сумрака, заставив подругу прижаться к своему Ромео.

— Пожалуй, я пойду спать, девчонки, — говорю я, рассчитывая на свою внезапность. Пара взмахов крыльями — и я уже у поручней. Я не обращаю внимания на их лица и безмолвные вопли возмущения, взрезавшие воздух: мне пора в свое волшебное королевство. Подобрав полотенце, я ухожу. И тут замечаю нечто необыкновенное в клубке теней, в нише, образованной двумя колоннами.

Зеркало. Прекрасное зеркало старинной работы, не слишком широкое — метра полтора, не больше, но неимоверной высоты: всего двух футов не хватает до потолка, отчего в нем, как в магическом коридоре, отражается и пропадает все окружающее мраморное великолепие. Я заворожено подхожу ближе — мой абрис кажется потусторонним и беззащитным, и ослепительной фотографической вспышкой в память врывается тот мо-

мент, когда мы с тобой вот так же смотрелись в зеркало. То было обычное старое трюмо в сельском доме, но как двойникам в нем не хватало этого античного великолепия, ведь наши тела несли отнюдь не житейские идеи. Почти одинакового роста, с длинными волосами одного и того же оттенка (как и полагается всем богемным эльфам, я в то время любил шокировать своей внешностью мирных жителей), похожие, как брат и сестра, и даже кожа излучала общее на двоих сияние. Я бы продал душу, лишь бы сейчас увидеть тебя рядом со мной — как тогда.

Но ко мне подходит Дорис и встает — справа, не на твое место. Подбоченясь, разглядывает наши отражения. Сексуальность контрастов пришла на смену божественной гармонии. Я не хочу даже разговаривать с ней, внезапно почувствовав смертельную усталость от ее постоянного присутствия. Почему она все время рядом? От нее веет дурным предзнаменованием. И я с невежливой резкостью отворачиваюсь.

— Пэм! Пройдемся, я хотел поговорить кое о чем.

Дорис на сей раз не может скрыть агрессивного удивления: она смотрит на меня почти с отвращением. Пэм чуть вальяжно собирается, вытирая красивое мускулистое тело большим полотенцем, и мы направляемся к выходу. Она чувствует себя победительницей, и чтобы еще больше увлечь ее этим спектаклем, я оборачиваюсь и говорю секретарше, которая уже стоит к нам спиной, нервными движениями расправляясь с одеждой: «Дорис, дорогая, завтра в полдень мы встречаемся с мистером Риччи, я уверен, что ты подготовишь все необходимое». Бедняжка даже не находит в себе сил ответить, но, в конце концов, она всего лишь работает на меня. Довольный собой, я обнимаю свою первую любовницу, и мы выходим в продуваемый сквозняками космос школьных коридоров.

Нам надо на третий этаж, и все это время я намерева-

юсь молчать. Я убираю руку с плеча Памелы, как только мы одолеваем два лестничных пролета, вынесших нас из подземелья. Если бы я сделал это позже, то породил бы мучительный намек: в нем была бы нерешительность претендента, накаляющееся желание, сопряженное с необходимостью предоставить ей свободу. Это так легко вообразить: мы почти у двери, я чуть отстраняюсь, ухожу в смущенную замкнутость, чтобы дать Пэм возможность самой привлечь меня...

Но я не хочу этого. Поэтому бросаю ее в этих сквозняках раньше, чем на полпути. Она все понимает — это был фарс, ее использовали, чтобы избавиться от еще более назойливой соперницы. Разговаривать теперь точно не обязательно, и мы доходим до своих дверей (они почти по соседству) в полном молчании. Я поворачиваю ключ и останавливаюсь, чтобы дать финальную сцену.

— Ты должна быть довольна, Памела. Дорис никогда не узнает, что ты спала сегодня в одиночестве. Ты одержала над ней победу, мы в одной коалиции. Я короновал тебя, — я подмигиваю ей.

— Когда-то ты был милым мальчиком, — довольно спокойно отвечает она. — Но я уже не впервые сталкиваюсь с новым Ником.

Да, Памела повзрослела, и в глубине души я вдруг чувствую себя проигравшим. Она так хорошо держится, что в мою душу закрадывается сомнение: а нужен ли я был ей вообще — сегодня? Или эта мысль прилетела из далекой юности, пропитанной сочным запахом свежей майской листвы?

Мне больше нечего сказать. Я улыбаюсь и закрываю за собой дверь. У меня нет ни секунды на размышление: уже полчаса, как я чувствую твой зов, и не хочу рисковать — не знаю, что может произойти, если я вовремя не откликнусь. Есть хорошее выражение: держать лицо. Так вот, я в буквальном смысле не смогу его держать, ес-

ли тотчас же не упаду в эти чары. По крайней мере, для посторонних оно не предназначено.

3 января, глубокая ночь, чужой город, далекая страна.

Мне необходимо обратиться к психиатру, черт подери... Но как я расскажу эту историю, пусть даже и буду лежать на кушетке у специалиста? Диагноз готов: я шизофреник. Поехать к китайским или мексиканским шаманам? Они бы мне объяснили, в чем дело. И потом... я так боюсь потерять эти ощущения. Хотя каждый раз обливаюсь слезами раскаяния: то, что происходит, так не похоже на мой волшебный сон, длившийся девятьсот дней и ночей, почти восемь лет назад.

После я сижу на постели, оцепенев, и словно со стороны наблюдаю бесконечную адскую суету электрических импульсов своего тела. Каждая его клеточка вибрирует, перенасыщенная тобой. Я чувствую себя негодяем, маньяком, насильником. Я осквернен самим собой — не тобой, нет, конечно. Но я сижу и вдыхаю запах собственной ненормальности, оттягивая момент, когда придется идти в душ. Я готов собирать в ладони собственный пот — мне все чудится, что в конце его гаммы, на том краю вселенной, я встречу твой аромат.

Но почему все облечено в такую ужасную форму? Я не понимаю, что происходит, это началось несколько месяцев назад. Я могу объяснить свою алчность и ненасытность, но нет оправдания тому, какие жестокие личины она принимает. И почему ты зовешь меня — такого? В мой разум закралось стойкое подозрение: ты не понимаешь, что происходит, не помнишь меня и путаешь с кем-то. Я вижу чужое имя и мысли о нем в твоем сердце. И зверь внутри меня находит свою неуправляемую тень в этом факте. Это так легко — разозлить его, раздразнить ревностью. И он, ведомый чувством собственности, бросается на тебя, как на законную добычу.

Когда это прекратится? Это мучает меня. Мое тело получает долгожданный дар, но разве об этом я мечтал? Под моими когтями больше твоей плоти и ее вкуса, чем на моих губах. Я хочу нежить тебя, девочка моя, а вместо этого ты разряжаешь в меня молнию и подчиняешь своему сюжету.

Ты не видишь меня, ты просто чувствуешь силу. Раньше ты гнала меня прочь, называя бесом. Нынче — замерев и трепеща, ждешь этого беса в сгустившейся тьме, даже не спрашивая, откуда он пришел. Что с тобой стало? И во что превратился я?

Впрочем, все это может еще оказаться и меньшим злом — моей психической ненормальностью. Странно, правда, что я так хорошо справляюсь со своими обязанностями в социуме. Небольшая рассеянность и безответственность, присущая всем богемным жителям, не в счет, не так ли?

Я прячу, все время прячу себя от человеческих глаз. У меня вечный страх перед ясновидящими, хотя само признание факта их существования иным может показаться сумасбродным. А я все боюсь: вдруг они прочитают мои тайные мысли? Я сплел удивительный узор из притворства и лжи, и пройду любой врачебный тест, поразив всех разумностью и прагматичностью. Я не знаю, что происходит со мной. Я везде ношу эти страхи — вместе со своим благополучием.

Глава 3

Все было покрыто хмурью на следующее утро — мое настроение, серая влажная дорога, монастырские крыши, показавшиеся вдруг склизкими и опасными, каменные громады, в которых мне еще предстояло работать. Воспоминание о лазурном лучезарном бассейне было навеки похоронено под их землистой тяжестью. Будто и не было. Очередной сон. Да разве и нет? Я был там, но мне не дали насладиться и присвоить это чудо, вписать его в узор собственной жизни. Как такое случается? Этот вопрос я не перестаю задавать себе. Разве не достаточно сил я вкладываю в судьбу, чтобы по праву называться богом самому себе? Почему все сбывается, как пошлая подделка?

Почему я так страдаю от обычного течения жизни? Почему придаю столь огромное значение формам и краскам вокруг себя? Только ли потому, что я — художник? Отнюдь. Мой дар рисовать вторичен, он всего лишь средство достижения куда больших ценностей. Он, как и кисть в моей руке — инструмент.

А чувствую я в себе несоизмеримо великое: то, за что иные в прошлые века попадали на костры и эшафоты. Я с детства несу в себе это знание, и оно лишь развивается и подтверждается всем, что происходит со мной. Я — творец. Я могу созидать вселенную. Я — образ и подобие Господа. Потому-то мне так и важен материал, попадающийся на моем пути: красивый пейзаж, старинный замок, лесная поляна в дымке первоцветов, облаченный в мрамор бассейн. Мне все время мнится: еще одно небольшое усилие, прорыв воли — и откроется тайная дверца, в которую я втащу в свой мир то, ради чего пришел на планету.

И каждый раз мне мешают.

Но, погружаясь в раздумья, я все равно вижу лишь то, что другие давно заприметили: моя душа скособочена, согнута, понура и неопределенна, как знак вопроса, стоящий в конце каждой моей мысли.

Обе мои девицы сегодня не разговаривают со мной, сами не подозревая, какое удовольствие мне доставляют этим. Пэм почему-то собралась домой — если бы мной не овладела безразличная ко всему лень, я бы подумал, что она и приезжала-то ради меня. Я уже давно потерян, не только для нее и остальных, но и для самого себя. Отчаяние столь нестерпимо, что иногда я подумываю о том, чтобы вернуться к Джереми, чем бы ни грозило это сумасбродство моей мужской гордости. Да, вы пока не знаете, кто это — Джереми. Всему свое время. А сегодня я просто теряюсь в догадках: почему и зачем мне напомнили о днях глупой юности? Уже не осталось ничего от мальчишки, которым я был когда-то.

Ох, Пэм, Пэм... Как я ждал тех удивительных дней и ночей, которые ты мне дарила. И когда все закончилось, не мог взять в толк: почему так произошло со мной? По сути, самая обычная история — но в этом-то и все дело! Разве я не заслуживал чего-то *необычного*, неординарного? Я, со своими мечтами, ожиданиями и надеждами — и такая банальность.

Позже я стал серьезно задумываться над жизнью и пытаться понять, где исток всех странностей, проявлявшихся в моем сознании и душе, выскакивавших на пути, как чертик из коробочки. Тогда я нашел в библиотеках планеты немало книг, посвященных учению о карме, и приложил его к своей жизни: все сразу становилось на свои места. В том смысле, что всему находилось оправдание. Но не объяснение.

Разве мог я вспомнить, какую провинность совершил в прошлом воплощении? Какой изуверский перекос

произошел в моей судьбе: все, чего я заслуживал, о чем грезил, и — главное! — что был способен дать возлюбленной, осталось лишь в снах и мыслях. То, что я получил в реальности, напоминало дырявый сосуд, который был не в состоянии вместить мою любовь. Пропускная способность человеческих сердец ничтожно мала в сравнении с моим желанием любить. Вечная любовь, настоящая преданность, потусторонняя связь — все это им чуждо и непонятно. Или я не вправе обвинять тех, кто всего лишь не подошел к моему пазлу расцветкой и линиями долин и холмов?

Я рано задумался о любви. Иначе и быть не могло: я готовился стать художником, и в моем распоряжении оказалась любовная горячка и нежные истории всех мастеров. Все в моем мире было пропитано любовью, романтической и плотской.

Мысль о том, что пора завести нежную дружбу с противоположным полом, закралась в мою бедовую голову лет в двенадцать. У меня была обманчивая внешность: ниже всех в классе, не только мальчиков, но и девочек, подвижный, хрупкий и кукольный. Учителя ставили мне отметки «за красивые глазки» и опрятный вид. Меня любили тискать знакомые старшеклассницы в коридорах, называя «игрушечкой», пока я пытался запечатлеть в памяти запах их дешевых духов и разобрать его на ингредиенты.

Мои поиски начались приблизительно в то время. В гуманитарном классе, где я очутился со своими талантами, попав под жернова новомодной образовательной программы, было не так много мальчишек, и я счел, что вправе рассчитывать на десерт. Подростковая пошлость под гнетом сотен шедевров мирового искусства быстро мутировала во мне в трепетный и осторожный интерес к женскому телу. Понимаете, я *должен, обязан* был рисовать — моя душа не оставляла мне иного выбора. А как я

мог творить нечто, что не вызывало бы во мне восхищения и не отзывалось самыми прекрасными струнами? В меня впаяны высокие стандарты красоты — и я имею в виду вовсе не вечный спор о параметрах и пропорциях. Все, что уже было излито на холсты моими предшественниками — освящено, а женской плоти там немало. Разве мог я со смешками отнестись к творениям, у которых учился? И, чтобы продолжить начинания великих, мне требовалось найти отражения в реальном мире. Вокруг столько красоты — я впитывал ее, как губка, и мне было не до пошлости.

На первый взгляд, все развивалось просто идеально. Мне нравилось общаться с девочками, и они платили взаимностью, почти никогда не оставляя меня одного. Мы забавлялись обычными подростковыми играми, но я не мог позволить себе воплотить свои робкие мечты в реальность. Даже эти грезы — и те были неумелыми. Мне не хватало материала, но я проявлял необычайную осознанность, не желая торопить события, боясь все разрушить жадной неопытностью. Несмотря на различные провокации со стороны одноклассников, я предпочитал не принимать участие в коллективных вылазках по подглядыванию за девочками в их раздевалках.

Как любого нормального подростка, меня до спазмов в животе волновали вопросы секса. Но неким внутренним чутьем я оберегал себя от потрясений до тех пор, пока в моем сердце и голове не сложилось точное представление о том, как эти знания использовать, чтобы не растерять присущее любви восхищение и романтику. Я сторонился вульгарности и примитивности, отказываясь привыкать к их быстрорастворимой и легкодоступной глюкозе. Я рисовал девичьи портреты, хорошо танцевал и всегда очень ласково поправлял мягкие прядки, выбившиеся из их кос. Меня любили за нежность, понятливость и полнейшее отсутствие

привычного для всех мальчишек жестокого желания изведать границы женского всепрощения. И потому я всегда мог передавать кому-то тайные записки и обмениваться неумелыми скользкими поцелуями в ночной темноте, у каменной стены старой помещичьей усадьбы.

Все было так — пока не появлялся какой-нибудь рослый, косая сажень в плечах, юный нахал, который не просто знал, что следует за поцелуями, но и ничуть не боялся потребовать этого у моих смущающихся и таких покорных подружек. И я сразу превращался в хорошего друга, во второй номер, чья очередь наступала, когда обещания негодяя рассеивались, словно сентябрьский туман — в лучшем случае. В худшем — превращались в насмешки и улюлюканья, раздававшиеся каждый раз, когда использованная им девочка проходила мимо стаи и ее вожака.

Таким образом, все обстояло в моих родных краях и моем отрочестве так же, как и на всей планете: мальчики соперничали, уступая добычу сильнейшему, девочки постигали, что такое — быть женщинами. Только я вот никак не мог взять в толк, почему добродетель и такт не приносят своих плодов, и какая высшая цель стоит за общей мужской необходимостью топтать доверие женщин. Уже тогда я вкусил горечь первых насмешек над недостатком мужественности в себе, и даже уверовал в это. После того, как за день до выпускного торжества меня бросила Пэм, я прекратил тщетные попытки понять, из чего сделаны женские сердца.

Какой идиот не вспоминал о первой любви? Сколько растиражированных фраз, оправдывающих это состояние, я встречал: дескать, она на всю жизнь, и формирует будущие привязанности... Как бы не так! Или я опять запутался в своей лжи? Допустим такую шальную мысль: моя реальная жизнь и впрямь отражает начало моих поисков. Все мои женщины, о которых я позволил

узнать окружающим, так или иначе напоминали Памелу: ростом, цветом волос, глаз и даже характером. Но означает ли это, что какая-то расчетливая и притом легкомысленная девчонка из далекой юности оказалась божеством, определившим мою дальнейшую жизнь? В каких глубинах неосознанности надобно плавать, чтобы признать справедливость этого утверждения?

Я давно понял, что обычная человеческая психология не для меня. Пару раз я экспериментировал с сеансами психоанализа, и каждый раз чувствовал себя одураченным. Точнее сказать — униженным. Меня не только разрезали на кусочки слишком однозначного цвета и формы, но и не учитывали переливчатости и текучести энергии, из которой я соткан. И мне интересно — ведь из нее созданы и все остальные, но как они умудряются находить объяснения в разлинованных выкладках простейших взаимосвязей?

Не вернее ли будет сказать, что я уже родился с предрасположенностью к тому или иному типу людей, которыми пытаюсь себя окружить? И, более того, эта предрасположенность вовсе не является залогом моего счастья и благополучного завершения чистки души от земных шлаков. Иными словами, это — моя карма, которую я должен учитывать и перерабатывать. Есть и еще более жесткие формулировки: если я пришел из другого мира слабаком, брезгливо воротящим нос от всякой ответственности, означает ли это, что я должен воспринимать сильных и решительных женщин, как дар свыше? Или это — бесовская ловушка, с мягкой периной на дне, на которую так удобно падать? Любовь в моем представлении всегда была сладким головокружением (пока ты бессовестно не прогнала меня), и я не хотел страдать. Более того — я до сих пор желаю быть Богом и творить собственную реальность. Я хочу доказать себе и всем вокруг, что счастлив в любви. Что мне

нужно для этого? То, что я всегда брал от жизни.

Я встретил то, что называют первой любовью, на обычном пленере художников и фотографов. Мне было семнадцать и, как все мальчишки, я (на самом-то деле!) не мог думать ни о чем, кроме секса. А если это было облачено в оправдательные и обезоруживающие одежды влюбленности — лучше и придумать нельзя! Я прятал свои желания за плотным занавесом постоянной занятости в студии, увлеченным просмотром многочисленных альбомов с репродукциями художников, одержимостью вечными идеями. Я держал в ладонях эту сказочную субстанцию, экстракт лучшего, что породили человеческие умы и сердца, и готовился короновать свою первую принцессу.

Я не знаю всех разновидностей первой любви — у меня она была единственной, как и у вас, и мне не с чем сравнивать пережитые эмоции. На вскидку, по наблюдениям за одноклассниками и друзьями, могу выделить два основных сценария, по которым обычно развиваются отношения.

Первый расцветает в особых нежных условиях — оранжерейных, можно сказать, и со временем грозит предъявить результат как в виде хрупких цветов палевых оттенков, так и ядовитыми орхидеями, порожденными чересчур крепким настоем нереализованных чувств. Я имею в виду ту распространенную болезнь, когда мальчик внезапно видит совершенно необыкновенный (и необыкновенно совершенный) отблеск солнечного луча в тугой косичке девочки за соседним столом. Или сережки в ушках при ходьбе танцуют космические тайны, столь созвучные форме ее мочек, что влюбленность предрешена. Может быть, ее тонкий профиль — судьбоносное заимствование с волшебной картинки на обложке сборника сказок, который держала в руках его мать в свете ночной лампы, рисуя чудесное в притихшем со-

знании своего дитяти.

Дальше происходит следующее. Либо объект воздыханий откликается на чувства, и вы проходите этот путь сначала в тихой радости, затем в бурной, после скатываетесь на юношеский садомазохизм и, наконец, разлетаетесь в разные стороны — как осколки взорвавшейся гранаты, так ничему и не научившись. Или же трусливо и на цыпочках уходите, осознав, пережевав, усвоив и внезапно наполнившись мудростью.

Либо же (и этот путь порождает маньяков и гениев), маленькой стерве наплевать на тебя — нет, хуже! — она с удовольствием жрет твое сердце и душу, умело укорачивая и вновь разматывая длину поводка. И кровь в твоих жилах превращается в сладкий яд, которым отныне ты будешь травить всех, кто хотя бы тенью напомнит о ней.

Нет, мне не знакома такая *первая* любовь. Судьба была благосклонна ко мне, и события развивались по другому сценарию. Страдания обрушились только спустя полгода, когда все стало быстро заканчиваться. И также скоро схлынули, оставив на всю жизнь пару-тройку вполне терпимых комплексов. Иначе говоря, это был тот случай, когда девушка решает, с кем ей спать. И разве я мог не влюбиться в добычу, которая сама шла в мои вспотевшие от волнения руки? Разумеется, я влюбился — по определению самого счастливого случая.

В то прекрасное сентябрьское утро я первым пришел на берег реки и выбрал самое удачное место для наблюдений — и за ласточками, парящими над водой в предвкушении ночного дождя, и за остальными ребятами. Барышни подходили одна за другой, и через час в моем мозгу уже поселилось пять персонажей из знаменитой на весь мир игры «С кем бы ты мог?». Пэм, стройная девчонка с пушистыми светлыми волосами и озорным профилем — была одной из них. Игра могла провалиться в очередной раз: юношеская придирчивость, как извест-

но, не залог успеха. Но, заметив мои взгляды в свою сторону, Пэм подошла ко мне перед очередным кофе-брейком и похвалила мазню, зеленым и желтым расцветшую на мольберте.

Мы провели вместе целый день, и я не оплошал, запудрив ей мозги болтовней о витрувианском человеке, линиях и перспективах на полотнах Джотто, невидимых каплях дождя у Моне. Она оказалась старше меня на четыре с половиной года, и как раз подумывала расстаться со своим парнем. Он болтался тут же, неподалеку, снисходительно поглядывая в мою сторону и, очевидно, не принимая всерьез. Но мы обменялись номерами телефонов, и когда она — сама! — позвонила на следующий день и назначила свидание, я всей лимфой прочувствовал сладострастную желчь мужского соперничества. Она переметнулась ко мне. Наверное, подумала: чем черт не шутит? Да, дорогая?

Несмотря на оторванность от жизни и склонность к *грезотворчеству*, я оказался ребенком своего времени, и уже на третьем свидании мое любопытство, касающееся постельных утех любви, было удовлетворено. У меня не было причин жаловаться на жизнь — вот что я могу сказать сегодня об этом. Мне даже не пришлось притворяться и разыгрывать из себя прожженного пройдоху и ловеласа: по детской пухлости, которая тогда еще не покинула моих щек, Пэм читала, как студентка по букварю. Она оказалась хорошей учительницей и помогла мне благополучно избежать самых страшных рифов юной поры. По крайней мере, так мне тогда почудилось.

Мы провели вместе более полугода, и я был очень горд тем, что у меня взрослая подружка, с которой не надо смотреть по вечерам дурацкие телевизионные сериалы, болеть за местную команду волейболистов и ссориться из-за порции попкорна в кино. Родители, кажется, все

поняли, но ласково потворствовали моей сбивчивой и мучительно стыдной лжи о ночевках в квартире лучшего друга.

Я рассказал Памеле о планах на будущее, и она талантливо сделала вид, что одобряет их. Я собирался зарабатывать деньги своим творчеством, и уже прикидывал количество цветов и канделябров на свадьбе, которое может себе позволить начинающий художник вроде меня. Да-да! Я хотел на ней жениться, а что в этом удивительного? Разве я не рассказывал, что рос с ощущением того, что я — ни много, ни мало — наследный принц, злою волею судеб заброшенный в английское захолустье? У меня все было серьезно, я не намеревался тратить свою жизнь на бесконечные любовные приключения — они лишь отвлекали бы меня от творчества. Пэм могла стать моей поддержкой и помощницей, а я (в недалеком будущем) — великим художником, исполненным достоинства, добродетели и чувства прекрасного. Я созидал собственное королевство, и мне не пристало быть шутом.

Но Памела стала первой, кто стряхнул корону с моей головы и напялил вместо нее колпак с колокольцами. В конце мая она напрямую заявила мне, что пора расстаться. Это был гром среди ясного неба — я как раз собирался обговорить с ней цвет гардин в нашем будущем поместье, которое, несомненно, прикуплю годика через два, продав сотню гениальных полотен. Мне хотелось бежевый. Это так, к слову.

— Ники, мы слишком разные, — подытожила она, поджав упрямую нижнюю губку и по-птичьи наклонив пушистую голову.

— Еще вчера мы были одинаковыми! — в отчаянии вскричал я. Или угрюмо пробурчал?

— Вообще-то... — она скорчила неприятную улыбчивую гримаску, — я уже несколько месяцев, как собиралась тебе *это* сказать...

— Что — *это?* — я действительно оторопел. У меня было чувство, что я лечу в пропасть: моя память о недавнем прошлом стремительно исчезала в прожорливой пасти чужой реальности.

— Ты для меня слишком юн и утончен, Николас. Ты же знаешь, я сама фотограф. Мне нужен мужчина, который смог бы взять ответственность за мое будущее.

(Ей нужен был меценат, готовый оплачивать ее бездарные эксперименты со светотенью).

— И я хочу, чтобы между нами все было честно. Поэтому приготовься услышать неприятное.

Что еще могло быть неприятнее? Моя жизнь рушилась.

— Я уже месяц встречаюсь со своим бывшим парнем. Ну, ты помнишь его...

Я отлично помнил. И еще (наконец-то!) уяснил себе, что такое «честно», и каков у него необходимый срок выдержки.

Она еще что-то говорила, а я уже не слушал, и думал, думал... У этого мира и у меня были странно разные представления о мужественности и женственности. Мне-то, дураку, казалось: если я буду с уважением и нежностью относиться к своей избраннице, то и она ответит мне тем же. Я наивно полагал, что вопрос о том, чье творчество необходимо поддерживать, не стоит в нашем маленьком обществе, раз даже в Библии написано, что жена дана мужу в помощницы.

А еще мне почудилось: то, что происходило между нами, когда над городом всплывала Луна, было прекрасным.

Поскольку именно это, подлунное, и было для меня определяющим в то время... Стоп, я опять лгу. Заново. Поскольку именно оно и является для меня определяющим, из него выросли мириады сомнений, которые изгрызли меня на протяжении следующих нескольких ме-

сяцев. Сначала пришло цунами отчаяния и неверия в то, что она порвала со мной. Мне казалось — это какой-то злой фарс, обряд инициации, который я должен пройти, чтобы получить доступ к высшему уровню. Тайное знание, которым она уже владеет, и может передать мне лишь таким жестоким способом. Я метался по замкнутому пространству, в тюрьме своей привязанности, жадно выискивая глазами ключ, который позволит мне открыть дверь в общее прошлое — и не находил его. Жалкие, унизительные надежды. Я отказывался принять факт, что моя юность и непрактичность отвернули ее от меня. Я готов был пересмотреть свои взгляды на жизнь: что вскоре и сделал, превратившись в одного из самых хитрых стяжателей Европы, заключив сделку с самим дьяволом, пропитавшим мои полотна ароматом своих миражей.

Затем нахлынула злость. Боюсь, в тот момент я не избежал соблазнительной мысли о глупости всего женского рода. И еще какое-то время покрывал тонким слоем этого приятного на ощупь оправдания беспокойство о собственной мужественности и привлекательности. Я даже иногда выбирался на охоту вместе с друзьями, чтобы доказать самому себе низость и предсказуемость всех этих шлюшек, отирающихся по придорожным барам. Как будто это нуждалось в доказательстве!

Ну, а уже потом на Божий свет вылезло то, что возилось внутри мелким склизким гадом: понимание, что я не устраивал свою подружку, как мужчина. Подозрение, что она талантливо разыгрывала восторги любви. Осознание своей ужасающей неопытности и самонадеянности, не позволившей увидеть со стороны банальную картину плохонького романчика между вчерашним девственником и расчетливой девицей, не пожелавшей одиноко скучать в перерыве между *настоящими* любовниками.

...Когда она закончила свою речь в тот вечер, то по-

пыталась вновь затащить меня в постель. У молодежи это называется «прощальная ночь». Изысканное издевательство над душой, которую уже ничего не связывает, и все только ради секса. Вроде как примирительный акт, чтобы остаться друзьями. Оскорбленный в своих лучших чувствах, я сбежал, оттолкнув ее. Или остался, чтобы еще раз насладиться мистерией плотской любви? Я не помню. И то, и другое — так похоже на меня.

Я хочу сказать, что именно тогда перестал понимать, что я такое.

Слава Всевышнему, прошел год, и я встретил свою будущую жену. В ее сердце была такая гулкая и зияющая пустота — голодная, жадная до любви, что я быстро забыл о страхах, с готовностью отдав ей все, что придирчиво и скрупулезно собирал с тех пор, как в младенчестве впервые почувствовал опасную и сладкую разделенность человеческой природы.

Кстати, я забыл сказать. Я никогда не признавался Памеле в любви. Кто-то внутри меня заливисто хохотал над моими бесплодными мечтами о долгом и счастливом браке «с первого взгляда». Кто-то знал, что она — всего лишь взлетная площадка, тренировочное поле, на котором мне надо отработать то, что я позже подарю более достойным. И главное — тебе. Всю жизнь я разрываюсь между врожденной брезгливостью и не менее природной чувственностью, а после встречи с тобой меня обуяло непреодолимое желание сосредоточить в своих руках все богатства любовного мира, чтобы затем положить их к твоим ногам. Для этого, любимая, я готов был даже изменять, лишь бы выучить все необходимые заклинания, собрать все рецепты зелий.

Вот только кто-то внутри меня не позволял мне воплощать эти сладострастные планы. Наверное, это был тот, кто насмехался над моей придуманной любовью к реальной Памеле. Он и был ангелом-хранителем моей

реальной любви к тебе, привидевшейся и додуманной.

Знаете, что сказал мне однажды друг, увалень Джон? Выслушав мои пьяные откровения, он посмотрел на меня — пристально и, впервые за все время нашей дружбы, беспощадно — и изрек глубокомысленную вещь: «Ты так и не научился любить, Ники».

Нет, вы представляете? И кто мне об этом говорит?

Глава 4

Я родился в крошечном городке в графстве Стаффордшир — маленьком оазисе традиций в зеленой ячейке сети, сплетенной из железнодорожного полотна и автомобильных дорог. Наша семья жила в старом двухэтажном доме из красного кирпича, необычайно добротном и терпеливом, несмотря на полуторавековой юбилей, встреченный вместе с моим двадцатилетием. Мы были не богаты, но и не бедны: всегда хватало на провинциальную жизнь и оплату обычных желаний. Никто в моей семье не виноват в том, что однажды у них появился чудаковатый малый, решивший, что ему предначертано завоевать мир, а потому брезгливо отвернувший точеный нос от размеренного местечкового снобизма и лаконичной претенциозности деревенских сквайров. Все проходит, и это прошло. Оставшись в гулкой пустоте, наедине со своей памятью и сундуками с золотом, я приполз на ближайший рождественский ужин к родственникам: молчание будущего было столь невыносимо, что мне быстро захотелось пряного аромата прошлого. Меня приняли, и даже ни о чем не спросили, накормив и уложив спать в моей детской комнате, а теперь — плохо отапливаемой мансарде, прохлада которой показалась моему сердцу огнем катарсиса. Это было год назад. Всего лишь.

Однако теплая, цветущая пыльцой вода воспоминаний не в силах затопить мой прагматичный разум целиком. Мое детство и то, что смогли дать мне родители, было самым обычным. А все волшебное в него привнес я сам.

Я был вторым ребенком из четверых, рожденных в нашей семье. И единственным мальчишкой, что, впро-

чем, почти никак не повлияло на мое воспитание. Одна из сестер была старше меня на семь лет, другая моложе на столько же, третья умерла, пару дней не дожив до полугода, когда мне исполнилось двенадцать.

Отец исполнял обязанности крупного менеджера в градообразующей компании, и по совместительству носил гордое звание местного старосты, что приобретало особенную важность в воскресенье или ближе к крупным церковным праздникам, когда от него требовалась вся мощь организаторских способностей — совершенно мне не передавшихся, кстати.

Мать была домохозяйкой и уважаемым членом дамского общественного совета. Она пекла вкуснейшие вишневые пироги и носила свой костюм от Шанель, как ни одна другая леди в нашем городе.

Мы исповедовали англиканство, и имели свой скромный титул и герб, висевший над входом в дом. Хотя попытки деда сохранить традиции сквайрства в повседневной рутине, воплощая их в высоких кожаных сапогах, охотничьей амуниции и ежедневной конной прогулке по уже не существующим владениям, так и не убедили моего отца в своем послевкусии. В свободное от белых воротничков время он предпочитал участвовать в городских стройках и автомобильно-монтажных экспериментах, проводимых в гаражах.

Когда я вспоминаю детство, во всем теле разливается непонятная и почти нестерпимая нервная тяжесть, которую я, несмотря на старания психоаналитиков и даже знакомых шаманов, не могу проработать и изгнать, как бы ни пытался. Нет, ничего исключительного, заставляющего с театральной нотой испуга вздрагивать иных истеричных мамаш, в нем не было. До сахарности порядочная семья. Строгий, но спокойный и уравновешенный отец. Все успевающая, ласковая, но принципиальная и последовательная мать. Родители никогда

не ударили ни одного из своих детей. Соседи прислушивались к их авторитету. Родственники все, как на подбор, были из той же ровной, гладкой, лоснящейся породы.

И вот родился я. И уже к первому школьному звонку угодил в список редко встречающихся в здешних местах деревенских дурачков.

Все со мной было не так. Возможно, чрезмерный снобизм родителей и стремление везде и во всем сохранить лицо лишили меня столь необходимых каждому мальчишке навыков, как умение ударить обидчика — и просто более слабого. Находить сгустки и скопления ценнейших видов дорожной грязи — и приносить ее на себе в дом. Осыпать друг друга отборнейшей бранью. Раскуривать папиросы. Распивать портвейн на окраинном пустыре.

Я рос послушным мальчиком, исправно помогавшим маме на кухне и в воспитании младших детей. Отец нередко заводил нравоучительные беседы не только со мной, но и с ней, пытаясь втолковать, что строительный раствор, последние модели бензопилы, холодный туман над утренним озером, трепетный поплавок и просто, черт подери, конструирование самолетов — это именно то, что нужно мальчишке из семьи Фламингов.

Он плохо знал историю рода. Наш далекий предок перебрался на Альбион из Фландрии, прихватив с собой коллекцию собственноручно изготовленных восхитительных гобеленов и почти тайное знание особого метода окраса нитей для них. До таких глубинных истоков наша семья, гордившаяся каждой загогулиной на скромном гербе, не добралась — возможно, следуя инстинкту самосохранения, ибо тогда им пришлось бы признать право на существование таланта, поглотившего меня целиком уже с трехлетнего возраста.

И это был второй пункт в анамнезе, подтверждающем мою ненормальность.

Уже будучи взрослым, обладая связями и деньгами, позволяющими мне оплести своей паутиной всю Европу, я разыскал недостающие звенья генеалогического древа, и даже выкупил у дальних родственников, внезапно обнаруженных в Голландии, пять гобеленов. Они хранились в чулане, где-то на полпути к развалившейся мельнице, в горе хлама, стыдливо прикрытые картонными футлярами. Небрежность, с которой хозяева кладовой упомянули эти произведения искусства, поначалу позволила мне предположить, что они отдадут их почти даром. Однако, заметив в моих глазах потусторонний блеск, просочившийся в реальность, как только я увидал рыжепалевые, коричневатые, с приглушенным золотом и каплями зеленого, библейские сюжеты в сплетении нитей, они сразу нагнали цену. Я не спорил. Это было доказательство, которое я собирался отправить волшебной посылкой маленькому Ники, чтобы хоть немного поддержать его и ободрить, пока взрослые с довольной, но снисходительной усмешкой вслушивались в его увлеченное сопение над первым в жизни альбомом акварели.

Итак, это настигло меня еще до первого причастия. Шальная мысль закрадывается в мою привычную к покаянию голову: а не имеет ли мой талант нечто общее с занесенным несчастному младенцу вирусом одержимости, подхваченным майским ветром вместе с пылью на ступенях старого собора? Может, это какой-то настырный дух, влетевший в меня? Но к чему эти вопросы? Будь у меня смелость назвать себя гением — не возникла бы и необходимость оправдывать свою одержимость.

Все произошло случайно, в спокойном течении обычного воспитательного процесса. Мать усадила меня за стол, на котором уже был разложен беззащитный в своей белоснежности лист бумаги, стоял стакан с прозрачной водой, лежала приветливо распахнутая коробка с яркими, сочными, ягодными, съедобными, мармеладными

квадратами красок. Конечно, в беспамятном младенчестве я уже имел опыт общения со штрихами и линиями, которые даже мог обернуть в череду концентрических кругов. Но их сюрреалистичный смысл не проник в мою душу и не оставил в ней графитных следов.

Я помню, как если бы это происходило мгновение назад: мама ласковым движением направляет мою руку, пальцы которой в судорожном испуге обхватили кисть... Динь-звяк! — металлический ободок, сжимающий пушистый хвостик, ударяется о стекло и, ведомые единым духом, мы выбираем пурпурный, обмакнув в него мокрый мех. Краска почти стекает с ворса — моя скованность не позволила фее-родительнице выверить количество капель воды — но мы успеваем донести кисть до листа, и с мягким нажимом, скользко, влажно, распространяя едва уловимый сладкий аромат, рождается линия. Она вспарывает невинность бумаги, сначала проступая насыщенным огнем, затем превращаясь в лилово-красную реку, воды которой с каждым миллиметром становятся все более прозрачными. Этот пурпурный поток пересекает карту листа слева направо, чуть по диагонали вверх. Где-то на середине кисть заваливается набок, линия скручивается в ленту, и я, затаив дыхание, наблюдаю геометрическое чудо, превратившее двухмерную плоскость в иллюзию трехмерного пространства.

Я не сразу решился повторить эксперимент самостоятельно. Как только мама встряхнула мою руку над водой и осушила кисть маленьким лоскутком, приготовленным заранее, мои ладошки нырнули в коленки и спрятались там, прижавшись друг к другу. То, что произошло, показалось мне не иначе, как магией, и я еще не знал, как на это реагировать. Может быть, это теперь станет нашей общей тайной? Или только моей? Мне очень хотелось, чтобы она ответила мне: «Это нечто вроде Рождества. Приходит редко и только к тем, кто хорошо себя вел».

Но мама сказала: «Ты можешь срисовать что-нибудь, или изобразить по памяти. Цветок, домик, кошку — что захочешь».

Значит, так делают все?..

Как такая удивительная вещь может принадлежать всем?

«Это называется рисование», — ответила она на немое изумление в моих глазах.

Итак, она бесстрашно вручила мне это чудо, и я испытал священный страх: что теперь делать с этим? Вдруг у меня не получится? Мне почему-то казалось, что между красками, бумагой и кистью уже существует потусторонний договор, и если я буду неумелым и не уловлю его, случайно направив руку не в ту сторону, меня поразит какая-нибудь небесная кара. Может быть, в ту минуту во мне впервые вспыхнула вера в собственное, персональное волшебство: то, что я нарисую — либо уже существует, либо воплотится.

Странно, но уже в тот далекий день мне ни разу не пришла в голову мысль, что рисование можно просто отложить в сторону, в ящик стола, и вынимать лишь по настроению, как очередной вид развлечения.

...Мама нежно чмокнула меня в макушку и отошла, присев на диван, поняв, что мне необходимо привыкнуть к новому состоянию. Какое-то время я оторопело смотрел на пурпурную линию, теперь показавшуюся мне и рекой, и дорогой, и змеей одновременно. Что мне делать с этим дальше? Задорный хвостик кисточки по-прежнему хранил память о маминых пальцах. Вода в стакане едва отливала розовым. Краски в коробке были приглушены и напряжены в ожидании — кроме одной, уже омытой человеческим интересом, и влажно блестевшей, то ли от счастья, то ли от стыда перед нетронутыми подругами.

Медленно я протянул руку к кисти, вновь окунул ее

в воду и выбрал синий. Еще одна лента. Затем зеленый. Красный. Внезапно желтый. Бирюзовый. Розовый.

Чистый лист бумаги. Первое, что я нарисовал в своей жизни, была радуга. Из тех цветов, которые я сам для нее определил.

После этого я не мыслил ни дня без нового занятия. Поначалу родители активно поощряли меня, предполагая, что развитие моторики рук хорошо скажется на моем общем состоянии. С их помощью я постигал простейшую технику рисования, феномен четкости линий, сочетания цветов, перспективы и даже светотени. Цветовой спектр был самой удивительной из всех загадок. Его однозначная градуировка быстро показала свой коварный лик.

— Трава?

— Зеленая!

— Разве?

— Зеленая! (упрямо)

— А под тем деревом, там, где тень?

— Зеленая!

— Присмотрись...

Так я еще в младенчестве избавился от неприятной болезни человеческого сознания — способности мыслить заранее данными определениями и шаблонами. Оказалось, если правильно взглянуть на мир, его картина, представлявшаяся такой стройной и логичной, рассыпается в прах. Оказалось, мы не видим и половины, или даже вовсе не то, и наше восприятие следует программным ожиданиями. Если бы родители знали, к чему подтолкнули меня своей помощью — быть может, никогда бы не подвели сына к столь опасному дару.

— Трава под деревом?

— Черная? (Изумленно). Нет, серая!... Прозрачно-черная?

— А там, в центре лужайки?

— Желтое пятно! Лимонное, почти белое! Там солнце!
— Кора дерева?
— Я ее рисовал коричневым...
— А она...?
— Серо-зеленая.
— Небо?
— Голубое, даже без облаков. Не обманешь меня!
— Такое же голубое, как вчера?
— Я не помню.
— Подбери цвет и нарисуй. А завтра сверь.

На следующий день было столь же ясно, но мой насыщенный голубой не подошел: небо уже испепелилось солнцем, и безнадежно выцветало.

Проблемы начались позже, годам к шести, когда всем окружающим стало ясно: в общем-то, ничего, кроме рисования, меня и не интересует. Я даже не мог попросту разделить забавы своих сверстников. Абсолютно все мне необходимо было переосмыслить в царстве своей комнатки, с кисточкой в руках. Я был замкнутым, настороженным малышом, тихоней, про которого все говорят: «Себе на уме». А на уме у меня были самые невозможные миры, населенные разноцветными существами, впитавшими в себя признаки всего и вся, что я успел увидеть и почувствовать.

Но по-настоящему я превратился в трудного ребенка, когда пошел в школу. К тому времени у меня была уже собственная маленькая мастерская, наполненная подарками родственников, познавших о моем увлечении. И только я собирался погрузиться в свой мир, приобретший, наконец, все желанные атрибуты, как появилась она.

Я сразу понял, что испытываю к ней тихую, но лютую ненависть. Она отнимала драгоценное время у мира красок, наполненного душистыми маслами и россыпью разноцветной пыльцы, у шелковой нежности кистей,

даривший рукам ни с чем не сравнимое чувственное удовольствие мягкого, но упрямого прикосновения к холсту. Вдохновение и фантазия, приходящие свыше, пронизывающие вены и струившиеся из кончиков пальцев, не нуждались в доказательстве своего превосходства над скучным набором школьных дисциплин, читаемых престарелыми ли, молодыми ли, но одинаково безынтересными, будто пустые жестянки, учителями. Грамотность была моей врожденной особенностью, считал я молниеносно, не прибегая к помощи калькуляторов. Если меня интересовала какая-нибудь история из жизни королей, городов, художников и менестрелей, я всегда мог взять подходящую книгу в библиотеке. Зачем нужна была эта школа?

После уроков я со всех ног несся к дому, дабы, забросив сумку с учебниками, взлететь вверх по лестнице в свою комнату, наглухо захлопнуть дверь и наконец вдохнуть сладковатый аромат мечты, тюбиками, коробочками, мольбертами и эскизами пленившей пространство детской. Для меня, всегда тщательно хранившего свой благовоспитанный образ, это был единственный повод прибавить шаг на узких улочках родного городка.

Домашние задания, строго наказанные педагогами, жертвами традиционной английской образовательной системы, были настоящим испытанием. Я делал их наспех, не особо стремясь в первые ряды класса, с лихвой компенсируя недостаток прилежания наивным взглядом широко распахнутых глаз. Нельзя сказать, что я был любимчиком учителей — нет, они не заостряли на мне внимание, несмотря на мою нездешнюю внешность и необычайную воспитанность. Как я уже говорил, мне удалось создать нужное впечатление, что все колючки, впадины и ухабы пубертатного периода загадочным образом миновали мой путь. Я не вызывал агрессии со стороны преподавателей — а это было мне, маленькому

мечтателю, только на руку. С родителями я заключил выгодный договор, в одной части которого значились мои домашние обязанности и примерное поведение, в другой — право не подавать надежд на блистательные стипендии университетов, ждущих в свои объятия.

Вот это и стало предметом долгой холодной войны между поколениями в нашей семье. Я по-прежнему был окружен лаской и заботой. Матушка, как и раньше, поощряла мои не мальчишеские занятия, в которых я всячески старался помочь ей по дому, и даже выучился печь почти такие же вкусные торты, как и она. Но трудности, появившиеся в школе, были дурным предзнаменованием смысла жизни, поджидавшего меня за следующим крутым поворотом. Я, кажется, начинал понимать, к чему меня готовили родители. Больше: зачем меня вообще произвели на свет.

Должность клерка в отцовском офисе. С перспективой карьерного роста и постепенным постижением основ мастерства. Его кресло к тому моменту, когда он сам уже не сможет достойно выполнять свой служебный долг. Невеста из богатого семейства, проживающего на соседней улице. Собственные дети. Возможно, собака. Престижная марка авто. Престижная, но не слишком вычурная. Гипертонические кризы. Простатит. Язва желудка? Внуки. Единственная доступная радость — семейные торжества. Сын, занявший мое место в конторе...

«Хватит!» — завопила в моей голове память о будущем.

В этом мире, помимо семьи, не было ничего по-настоящему ценного для меня.

Кроме рассветов, пробивающихся прохладными розовыми лучами в окно моей спаленки. Ярких и пасмурных дней, наполненных бесконечным чудом познания природы. Закатов, особенно летних, полыхающих алым шелком на горизонте. Звездопадов, которых мы все так

ждали августовскими вечерами, сидя на заднем крыльце, откуда открывался вид на необъятный небосклон. Что еще? Дельфины, увиденные однажды в журнале. Вкрадчивая, грациозная нежность домашней кошки. Радуга, выраставшая после дождя всегда на одном и том же месте, чуть поодаль опушки, над рекой. Много, много чего, не имеющего никакого отношения к человеческому миру, который теперь почему-то встал во главу угла.

И, конечно, кроме красок, которые можно нанести на холст, чтобы изобразить то драгоценное, присвоенное, украденное, позаимствованное, полученное в дар у самого Бога.

Я буду заниматься только этим. И заработаю много денег, потому что мои картины будут столь хороши, что каждый уважающий себя аристократ и нувориш Старого Света (по меньшей мере!) будет считать делом чести приобрести хотя бы одну из них.

Мои родители позволяли мне быть тем, кем мне хотелось быть. И не больше. Как бы я ни напрягал свою память и воображение, не могу нарисовать картинку пламенной веры в мой талант, изливающейся со стороны матери или отца. У меня всегда были лучшие наборы красок, и они с охотой оплачивали мои уроки, но за их добрыми улыбками таилась крадущаяся на цыпочках мысль: он сам разберется, что к чему. Он сам поймет, что на этом денег не заработать. Переиграет, перебродит, перебесится.

Их мировоззрение ничуть не мешало мне жить, но так и не отпустило. Будто липкие путы, извергнутые мохнатым пауком — оплетающие, вязкие, стесняющие движения: необходимость всегда и всюду доказывать право на свое существование. Долгое время, до тех пор, пока я не встретил Глэдис, в моей жизни не было ни одного человека, который выдал бы мне веру в мой талант авансом. И это притом что — непреложная истина! — де-

ти являются источником надежд.

Нет, эти авансы раздавал я.

— Мама, папа, наш учитель рисования обещал показать мои работы своему знакомому, настоящему художнику из Лондона.

Так у меня появилась вторая комната в доме, отведенная под студию. И теперь я нередко путал ее со спальней, чему способствовал уютный синий диванчик, который я, ведомый своим странным вкусом, почему-то передвинул в самый центр пространства.

— Здравствуйте, Мистер Знакомый Настоящий Художник Из Лондона. Вот мои эскизы... Разве они не интересуют вас? Да, у меня уже была выставка в крупнейшем городе графства. Да, наш шериф немало поспособствовал этому.

Так у меня в кармане оказался контракт на участие в фестивале юниоров.

— Сэр... — (на ковре у директора школы). — Не соблаговолите ли Вы отпустить меня на две недели в этом семестре? Я должен участвовать в выставке... Нет, это не моя личная блажь. Да, это приглашение от Мистера Знакомого Настоящего Художника Из Лондона.

И, если уж я вернулся победителем, которого даже на радиостанциях объявили «воплощением волшебства юности, самым, пожалуй, ярким представителем нового поколения вундеркиндов» — то почему нельзя было просто посмотреть на мои картины? Неужели без поручительств и нужных знакомств они ничего не значили сами по себе?

А вот теперь перейдем к настоящему волшебству, объявленному в моей жизни Кем-то, куда более интересным и могущественным, нежели местечковые радиоведущие. Затрудняюсь сказать, что из этих двух маниакальных наваждений является наиболее веским определением моей натуры. Они переплелись в канве судьбы и бездонного

мира психики, как змеи на кадуцее, и зелье сотворено из яда обеих. Итак, помимо живописи, я с младенчества освоил опасную, зыбкую и переливчатую науку сотворения снов и запредельных путешествий.

Впервые это произошло очень давно, в шестилетнем возрасте. Я помню, что провел насыщенный день, полный запахов трав и едва уловимого шелеста крыльев бабочек. Бегал по полянам все утро, вовремя взлетая над острыми камешками, норовившими изранить ступни, еще не привыкшие к земной поверхности. Дразнил ледяную воду в лесном ручье за домом, взбивая гибким прутом мириады хрустальных брызг. Пробовал уследить за беличьим хвостом, мелькавшим в дубовой листве. После обеда, когда за столом собиралась вся семья — даже наш строгий отец возвращался из конторы, чтобы не нарушать обычай и отдать частицу сдержанного тепла домочадцам — я отправился наверх, в свою комнату. Заведенными правилами мне полагалось поспать, чтобы затем продолжить беззаботное изучение мира. Других обязанностей, кроме добровольной помощи матери, к которой я испытывал сильную детскую привязанность, у меня пока не было.

Но я, как всегда, схитрил. Дождавшись пока смолкнут голоса внизу (мать и сестра разбредались по углам, чтобы заняться вышивкой, чтением и прочими тихими делами, требовавшими сосредоточения), выскользнул из кроватки и на цыпочках пробрался к своему столу, с поверхности которого никогда не исчезал лист бумаги, россыпь карандашей и тюбиков с краской. Мне хотелось запечатлеть что-нибудь самое яркое, самое неправдоподобное, и в то же время — истинное из пролетевшей половины дня. Лоснящийся испод тела бабочки, которых я особенно любил за их схожесть с клочком тонкой бумаги, покрытой радугой пастели; всплеск листвы, отраженный в капле воды, словно в изогнутой линзе; пламя беличьей

шерсти, взметнувшееся на восток под порывом ветра.

Я обмакнул кисть в баночку с водой, сожалея, что не сменил ее заранее — как недовольно предупреждали меня родители, забывчивость и рассеянность в быту действительно остались со мной на всю жизнь — и набрал на ее шелковистый ворс густой оранжевой краски. Я уже знал, что мне не нужна вся белка — только хвост, брызжущий обжигающим весельем в прохладном мраке деревьев. У меня быстро стало получаться: к этому возрасту уже проявилась та самая, моя особая, врожденная техника, в которой даже яркие пятна красок меняли интенсивность, накал чувств и пронизывались штриховкой тени. Одной кисточкой, одним цветом я мог изрисовать все полотно так, что в нем не встречалось мазка, похожего на соседний. Позже, когда я довел свое умение до совершенства, критики подарили моему стилю прекрасное название — «светящийся бархат». Цвет и фактура моих картин и впрямь напоминает лоскут бархата, оставленный в ночи и озаренный неизвестным источником света, будь то свеча или звезды.

Я не заметил, как заснул, склонив голову на руки, хотя потусторонним чутьем ревнивого творца за полминуты до этого отодвинул к окну банку с водой, приобретшей охровый оттенок, и альбомный лист с глянцевыми, невысохшими всполохами краски. Настойчивый горячий луч послеполуденного солнца, бьющий в лоб через оконное стекло, знойное жужжание заблудившегося в этажах и форточках шмеля, да и сама поза, не предоставили мне возможности погрузиться в обычный глубокий сон, и я застрял где-то на полпути к темной синеве своего подсознания — в состоянии, называемом *дремой*. Будто дополнительной парой ушей, позаимствованной у какого-то сказочного зверя, я слышал все, что происходило в доме и в саду, в то время, как мой слух был обращен в причудливую, неясную полу-реальность сна.

Поначалу он не был даже цветным, напоминая старую фотографию, сепию с коричневатыми разводами и подпалинами. Я долго не мог определить его интерьер или пейзаж, пока вдруг явственно не ощутил постороннее присутствие. Что-то плохо осознаваемое, неуловимое, но имеющее плоть и дыхание, мелькало то в одном, то в другом углу моей временной вселенной. Легкий дискомфорт и сладкий тихий ужас в солнечном сплетении позволили понять, что сущность также находится и в том, настоящем мире, где на высоком стульчике, за столом у небольшого окна оставлено мое физическое тело. *Оно* шныряло по комнате, оставляя волны ветерка на плечах, шевеля волосы на затылке, вынюхивая и вычерчивая своим движением одному *ему* понятные знаки.

Страх с каждой секундой усиливался, и я, мечась между явью и сном, не зная, в какую сторону — и в какой мир! — мне стоит вглядеться пристальнее, чтобы обезопасить тело и душу, вынырнул на поверхность сознания, почти захлебываясь судорожными вдохами, как будто и впрямь поднимался к свету из глубин океана. Распахнув глаза, резко обернулся. Комната, не желая выдавать секреты, мгновенно приняла прежний вид, изгнав из себя чудовище, с которым наверняка уже заключила коварный договор. Я поднялся со стула и медленно, на дрожащих ногах, подкрался к кровати. В таком же замедленном темпе забрался под одеяло и, не моргая, затаив дыхание, не спускал глаз ни с одного дюйма своего реального мира. Все было тихо и спокойно, лишь где-то вдалеке позвякивал колокольчик уставшего от солнца племенного быка.

Паника быстро прошла: я обладал пусть не столь выраженной, как у других мальчишек, но необычной в своем проявлении отвагой. Это была смелость разума, дерзость исследователя ночных теней и замков с привидениями. Ни в детстве, ни в последующей жизни я не бравировал, не кричал о ней, не налетал на обидчи-

ков с кулаками, но никогда не отступал перед лицом того, что осталось непонятым и не объясненным. Разум и анализаторские способности всегда были моей первой реакцией и главным оружием против неизведанного и пугающего. И сейчас я просто задумался над увиденным и прочувствованным.

Справляться с детскими страхами и непокоренными мирами помогало и то, что я никогда не подвергал сомнению собственную личность, переживания своей души. Космос фантазий, который взрослые с такой охотой всегда прощают несмышленым детям, был для меня реален — как и для остальных малышей. Но я уже в том возрасте обратил внимание на болезненную в своей неуклюжести очевидность: между моим восприятием и остальными сверстниками существовала незаметная и неизвестная никому пропасть, скрытая в наивном блеске глаз. Я был необыкновенно осознанным ребенком. Мать до сих пор жалуется, что на моем лице чаще появлялась гримаска неодобрения взрослых поступков и неуклюже сконструированного ими мира, нежели легкомысленного доверия к нему. И к тому, что возникало в моей голове, или диктовалось сердечным магнитом, я относился с предельной серьезностью, без всяких «как будто» и «понарошку».

Я, видите ли, был художником. С четырех лет я принял эту мысль о своем призвании, и для меня — пусть я еще и не выражал настроение такими словами — отвергать фантазию, мечту, случайно схваченный образ, было бы кощунством и предательством самого себя. Эта постоянная готовность верить и принимать позволила мне сделать неоспоримый вывод: сила, которую я почуял в своем коротком сне, может появиться вновь — если правильно повторить путь к ней. И тогда я смогу понять, что именно произошло, и может ли это стать для меня полезным. Может быть... я даже смогу это нарисовать?..

Открытие не заставило себя долго ждать. Огромная мощь детского намерения и любопытства в ту же ночь привела меня в похожее состояние. Играя и выполняя свои обязанности по дому в остаток дня, я непрестанно размышлял над случившимся, интуитивно дойдя до одного из самых крупных зерен ситуации: сон, в который я погрузился, сидя за столом, нельзя было назвать полноценным. А значит, именно этой половинчатости мне и необходимо добиться, чтобы проверить — действительно ли кто-то населяет соседний мир? И что там есть еще? И можно ли в этом сне выйти во двор, на луг, в лес, в соседний город, страну, на другую планету? В другое время?

«Стоп! — сказал я себе, — Сначала проверим, как это работает». Вот она, моя двойственность, о которой я, возможно, буду часто вспоминать: эмоциональность и холодность отхватили в моей личности ровно по половине территории, и не отдают друг другу ни пяди, ни цветка.[1] Но без ложной скромности скажу — видимо, terra incognita[2] моей души столь велика, что каждая половина кажется стороннему наблюдателю необъятной. Потому одним я представляюсь чересчур эмоциональным человеком, с которым трудно рассуждать о делах; другие же спорят с ними, с неприятным удивлением подмечая, что я до крайности рассудителен и до отвращения прагматичен. И только самые близкие знают, что я ранимый, чувственный, алчный и меркантильный стяжатель-

[1] Историческая отсылка к коронационным клятвам французских монархов, обещавших при вступлении на престол не уступать «ни пяди, ни цветка» в международных и государственных конфликтах.

[2] Терра инкогнита (лат.) — неизвестная земля, неизведанная страна. На старинных географических картах так обозначались неисследованные части земной поверхности.

фантазер. И моя расчетливость касается не только материального мира сделок и биржевых акций, но и заоблачных грез. Я на каждую из них поставил клеймо собственности, и не позволю другим мечтателям прикоснуться к ним без моего ведома.

Но вернемся к позднему летнему вечеру, когда усталость наконец-то позволила мне притихнуть в прохладной постели, под зазывный присвист ночных сверчков и в настоявшихся за день дурманах ближайших лугов. Мне каким-то образом удалось зафиксировать свое сознание в полудреме. Может быть, сейчас я путаю последовательность событий, и это далось мне не сразу, не в тот вечер, но началось все именно так. В какой-то момент я понял: несмотря на видимую погруженность в сон, я по-прежнему способен осознавать то, что происходит, и управлять собой. Или — частью себя?.. Я будто открыл глаза внутри сна и увидел собственную комнату — чуть искаженную в еще зыбкой дымке неосвоенного мира, но узнаваемую. Ее очертания и наполненность предметами приобрели мягкость подводного мира, и мое присутствие в ней ощущалось телесным и плавучим.

Никого не было. Ни одна посторонняя и потусторонняя сущность не вторгалась в мой сон. На глаза мне попалась форточка, и в голову пришла шальная мысль: а не прогуляться ли по улице? Какой она предстанет предо мной в этой новой реальности? Смогу ли я заглянуть в гости к своим друзьям и пошалить в вязкой темноте их домов? Усилием воли я совершил некий рывок, и мне показалось, что мое тело всплыло в воздух и точным движением было направлено к окну. Я обернулся. Мое тело... лежало на кровати! Я спал в своей кроватке! Но что тогда происходит здесь? Со мной? Это — и есть я? Или я остался лежать? Мысли серым суматошным роем ринулись в голову, и я с резкой досадой почувствовал, что меня неумолимо выносит на поверхность запредельного

океана, в котором я оказался. Я выныривал из своего сна, жестоко и неминуемо, успев осознать, что нить рвется от тяжести понимания — точнее, наименования, данного мной происходящему: «Я — сплю». И я открыл глаза, в которые сразу хлынул теплый мрак реальной ночи.

Мне даже показалось, что какая-то часть меня наблюдает за этим процессом со стороны: маленькая человекоподобная форма сине-голубых оттенков, зависшая у окна моей спаленки, вдруг начала сворачиваться в спираль, теряя в ее витках свои очертания. Этот непонятный сгусток энергии стремительно взвился ввысь, словно его втянул в себя невидимый пылесос. И все, все вокруг — темнота, комната, окно, сама фактура и материя холста, на котором была написана эта картина — взорвалось и рассыпалось на мириады отдельных пазлов. И я одновременно лицезрел и безумное в своей скорости движение, и прекрасный момент, схваченный клеем времени: застывшие в пространстве осколки — в позициях причудливых, но выверенных с математической точностью вселенских формул.

Так я начал бесконечные упражнения в дисциплинах, которые волшебниками всего мира называются осознанными сновидениями и астральными путешествиями. Я этих взрослых определений не знал, и просто наслаждался увлекательной игрой сознания и души, постепенно укрепляясь в вере в наличие иных реальностей, кроме той, где существовало мое физическое тело. А почему бы и нет? Настроение, которое кристаллизовалось во мне под влиянием этих «прогулок», оставалось со мной на весь следующий день, формируя и пестуя его, помогая творить. Чуть позже я научился вылавливать из бесконечной матрешки потустороннего идеи для своих рисунков. А еще позже — уткнулся лбом в неоспоримую взаимосвязь ряда сюжетных линий, подсмотренных в Зазеркалье, и событий своего будущего. Иными словами, я стал

использовать не только пространство, но и время для собственной выгоды (если вообще имеет смысл разделять эти понятия). Я не просто доверял снизошедшим на меня вещим снам, но сознательно отправлялся в интересующий меня промежуток времени, чтобы увидеть наиболее возможные варианты развития событий.

В следующем полусне я сумел выбраться из дома через форточку, попросту вылетев в нее. Затем научился гулять по родному городку, и действительно заглядывать в дома своих друзей, и даже разбил пару чашек в буфете у одного из них. Как мне показалось, последовал легкий шорох со стороны спальни родителей моего приятеля. Я быстро ретировался, опять использовав для этого окно: в моих снах они распахивались по малейшему дуновению мысли. Днем я попытался выяснить у друга, не произошло ли чего-нибудь странного у них на кухне. В силу своей искренности и веры в волшебство, я сформулировал вопрос слишком прямолинейно, и ответом мне был лишь недоуменно-настороженный взгляд, да безмолвный, необъявленный разрыв отношений с этим мальчишкой, сопровождаемый перешептыванием и смешками за моей спиной.

Тогда я получил еще один урок: дети быстро вырастают, и многие из них уже к семилетнему возрасту превращаются в рассудительных взрослых, не терпящих эльфовского инакомыслия.

Произошедшее отозвалось болью в сердце, и на несколько дней я погрузился в пучину недоверия к самому себе. Неизбежным следствием стала невозможность контролировать свои сны: едва направив волю к тонкому лучу слабого потустороннего свечения, я погружался в глубокий омут бессознательности, и просыпался только утром — бодрый, отдохнувший, но не помнящий ни одного блика или тени из прошедшей ночи. Феи не прощают безверия.

Долго я не выдержал. Очищение пришло со слезами на глазах. Я готов был смириться с предположением о собственной ненормальности и отверженности. Но то, что поселилось внутри, было важнее и придавало куда как больше сил, чем слащавое успокоение при мысли, что я похож на других и понят ими. Я помню, что сидел, прижавшись спиной к нагретому большому камню у кромки леса, обдумывая нечто большее, чем жизнь: Самого Себя. Мне было страшно, обидно, горько, но сквозь пелену этих чувств острым клинком вывинчивалась, пробуждалась добротная злость: я не обязан прислушиваться к чужому мнению, и нет ничего в жизнях других людей, что могло бы прельстить меня. Они лишены вкусовых ощущений, запаха, цвета. Игры моих сверстников словно списаны с одной и той же брошюры, цели всех взрослых отлиты на одном станке. Удивительно, как они еще не перегрызли друг другу глотки — ведь при такой одинаковости направления, им неминуемо не хватит места там, куда они все стремятся.

Приблизительно так я не думал, но чувствовал. Это сейчас взрослый Николас помогает маленькому Ники оформить поток отчаянных рыданий в стройные обвинительные формулы заклинаний и самозащиты. Тогда же это было чем-то большим, нежели психологизм. Чем-то, парящим между жизнью и смертью. Точкой отсчета моей настоящей судьбы: отвага, упрямство, последовательность, справедливость, готовность к борьбе за свою правду. Еще не увидав всех чудес, уготованных мне Богом на этом странном пути, похожем на дрожащую в полуденной солнечной пыли лесную тропинку, (или на нее же — во влажном ночном сумраке), я предчувствовал их несметные залежи, и не мог примириться с потерей.

Тогда я решил принять за аксиому необходимость скрывать свой внутренний мир от посторонних взглядов,

скользких и лживых. Жизнь была благосклонна, но и невероятно жестока ко мне, быстро рассеяв по ветру малейшие иллюзии о природе человека. Уже ребенком я уяснил одну страшную истину: люди добры лишь до тех пор, пока твое сияние не упадет на них и не выявит шероховатости и несовершенства их собственной натуры. Ты можешь не заявлять о своем превосходстве, и даже смиренно склонять голову перед чужим опытом и талантом, но им достаточно видеть — и они не простят.

Далее, еще страшнее. Они способны завидовать не только тому, что уже удалось воплотить, но и твоим мечтам, если они окрыляют тебя и добавляют целебный эликсир счастья в твои вены. Они, конечно, не виноваты в этом — просто сильно изранены. Но ты не можешь исцелить всех, кто попадается на твоем пути. И, главное: их израненные души не означают, что ты не имеешь права быть собой.

В течение нескольких лет я учился лгать, в то время, как постижение тайных знаний и мира духов давалось мне гораздо проще и веселее. Я пытался спрятать от людей свои настоящие интересы, но это оказалось нелегко. Видите ли, чем дальше я уходил по своей волшебной дороге, тем более серым, неясным и пресным казался мне эскиз настоящего мира, оставленного за спиной. Можно укрыть свое сердце и душу, но как разыграть подлинный интерес к тому, что не является для тебя таковым? Нет, это было мне почти не под силу. Поэтому я довольно быстро прослыл странным и высокомерным мальчиком, сторонящимся житейской простоты и ее благословенных нечистот.

Истинным спасением стала живопись. Во-первых, талант оказался неплохим прикрытием: я мог официально носить ярлык «не от мира сего». Это моя вечная и совершенно лживая усмешка, адресованная всем, кто меня не слишком-то хорошо знает: может быть, я и люблю пу-

тешествовать по Зазеркалью, но ключи и драгоценности, которые ворую оттуда, напрямую использую в повседневности. Как любой маг темной масти, я привязан к течению жизни и необыкновенно алчен до всех ее проявлений.

Во-вторых, отныне рисовать для меня означало нечто большее, чем младенческое эмоциональное и плотское удовлетворение от прикосновения влажной кисти к листу бумаги (позже — холсту), и цветение образа на ее чистоте. Теперь это было средство выражения истины, которую я постигал. Дневник моей жизни. Собрание мудрости, о которой я, не дай Бог, могу ненароком забыть, на мгновение уверившись в превосходстве материи. Мой личный метод коммуникации, связующая нить между вселенными. Моя душа, мое сердце. Я.

Следующие открытия позволили мне еще глубже изучить скользкую ткань мира грез. Я не говорю о такой ерунде, доступной всем, как внезапное осознание, приходящее во сне в минуту опасности, воплощенной в отвратительном существе, или зубастой акуле, в падающем в пропасть поезде и прочих многочисленных неприятностях, которые поджидают нас там в еще большей степени, нежели в реальном мире. Все мы однажды спохватывались и приказывали себе: «Проснись, это сон!».

То же можно сказать и о наслаждении безнаказанностью полета, отчаянного прыжка с небоскреба — дабы почувствовать себя несоизмеримо большим, чем человек. Или о непристойных действиях с незнакомкой в общественном месте, бесстыдного обнажения на переполненной людьми улице — с целью достижения вполне определенного и донельзя земного физиологического состояния. Я так делал. Многие так делают.

А как, например, вам такое искусство: возвращение в один и тот же сон на протяжении долгого времени? О, за этот дар я особо благодарю Господа. Он подобен чу-

тью географа, нюху капитана корабля, интуиции звездочета. Тропинки в тех мирах — словно обманчивые канаты, сотканные из света и провалов тьмы. Широкие дороги при ближайшем рассмотрении оказываются коварными вихрями Млечного Пути, обрывающимися в бездну абсолютного небытия. Можно скакать по каменной гряде через озеро Печали — но где гарантия, что очередной булыжник под ногами не окажется лысой головой прошлогоднего утопленника?

Этот дар стал залогом моего нынешнего счастливого безумия. Он раскрывался передо мной постепенно, и я отбрасывал в сторону грубую оберточную бумагу, добираясь до более тонких и прозрачных одежд. Сегодня я могу в пять секунд вернуться в любую точку Вселенной, случайно открытую мной в сновидениях. А когда-то все началось со смутной догадки, переросшей во внезапное озарение.

Однажды во сне я забрел в лес, спиной к которому стоял наш дом. Дабы проверить точность изображения, отыскал в нем одно из своих любимых деревьев — дуб с довольно большим дуплом, в котором еще пару лет назад я сам мог поместиться. Крученые корни, выпирающие из земли, как жилы из натруженных ног, позволяли дотянуться до этой норы, и ее темный провал заставил меня задуматься: а что, если...

Тут я позволю себе сделать отступление и пояснить: вполне возможно, что все знакомые мне абрисы, предметы и ощущения я не «находил», а создавал в новой реальности сам, проецируя их из своего сознания, уже знакомого с ними. Но это, согласитесь, было бы весьма скучным объяснением, в которое мне не очень-то хочется верить, ибо я, сколько ни стараюсь, не могу припомнить, где и когда подглядел столь нежные подробности своего любимого сна, как родимое пятно, украсившее цветком лилейное плечо, да пара родинок — последних

указателей, оставленных Создателем уж совсем вблизи ворот рая.

Но мы оставили старый дуб в августовском лесу. Хорошенько подумав, я пошарил в кармане вдруг обнаруженных на себе джинсов, и вытянул оттуда пустую обертку жевательной резинки. Конечно, было бы неплохо вручить мятный подарок самому себе, но для метки годился и кусочек фольги. Скатав из него шарик, я аккуратно уложил его в удобную выемку на дне дупла — теперь ни космический ветер, ни мохнатые зеленые чудовища из глубин воображения не могли бы так легко найти мой секрет.

Кажется мне, или в следующие ночи я далеко не сразу вспомнил о своей задумке? Как бы то ни было, я затем отыскал дерево — кстати, погодные условия и густота ночного мрака всегда соответствовали «действительности». Запустив пятерню в опасный провал дупла (вообще-то, там могло оказаться что и кто угодно, как вы сами понимаете), я с восторгом нащупал колючую плоть серебристого комка. На какое-то время это место стало для меня главным тайником, в котором я, не слишком чистый на руку озорник, прятал свои маленькие драгоценности, позаимствованные или откровенно утащенные из чужих миров.

Рассказывая о детстве, я не могу пройти мимо еще одной удивительной находки. Я постараюсь придержать свое взрослое сознание и не давать ей точных определений, отраженных во множестве религий и учений — предостерегавших от нее, или же, наоборот, поощрявших. Вы можете сами составить необходимые вашим страхам суждения.

Однажды, успешно зависнув между явью и сном, и с удовлетворением почувствовав ладность и сработанность панели управления, имеющейся в моем мозгу, я хотел было направить свой астральный (ну вот, не удер-

жался от терминологии) корабль в интересующий меня дом, в котором жила приглянувшаяся мне девочка. Как вдруг, с болезненным испугом и неприятным подвохом, меня выбросило на поверхность, и я резко распахнул глаза. Только что я висел над дорогой, ведущей меня к цели, но внезапно она скрылась из виду, загороженная невесть откуда взявшейся, со скоростью звука приблизившейся ко мне, беспощадной, бессмысленной, бездушной тварью с отвратительным лицом. Светлая картинка сменилась безобразным изображением, напугавшим меня. Это выглядело, как если бы кто-то просто сунулся к самому вашему носу, уставившись прямо в глаза. Тогда в памяти вспыхнула та дневная дрема, с которой и начался мой интерес к потустороннему.

Было это именно то существо, или какое-нибудь другое? Тогда это беспрестанно волновало меня — ребенка, решившего, что он столкнулся с настоящим врагом. Сейчас, как мы все понимаем, это уже не так важно.

Но я не мог отступить, какой бы силы страх не овладевал моим детским сердцем. Не мог позволить себе воспринимать эту тварь, как злобного сторожа, охранявшего от меня уже полюбившиеся тропинки, луга, леса и чудесные замки. Там, за его рожей, представлявшей омерзительную пародию на человеческое лицо, оставался мой мир. Выйти сражаться за него, заточив игрушечный меч? Тренироваться в стрельбе из лука? Попросить отца показать безошибочный боксерский удар? Все это означало бы панику. Я, как всегда, решил одолеть его упорством и молчаливым бесстрашием.

Вновь погрузившись в сон, я увидал его. На сей раз, неимоверным усилием воли, я удержался, вцепившись в тонкую ткань астрального света. Существо не исчезало, но и не причиняло мне вреда. Страх уходил, а вместе с ним преобразовывалась и личина неизведанного. Да, оно по-прежнему было недочеловеком, но угроза и без-

образие словно смягчились в безумном взоре и искривленных чертах. И тогда я спросил его: «Кто ты?» Ухмыляющееся молчание запредельного было мне ответом. Я не отступал. «Зачем ты здесь?» Та же реакция. И тут включилась моя врожденная наглость. «Знаешь что, — заявил я, — мне нужно к Хельге, она новенькая в нашей школе. Веди меня, если уж загораживаешь путь!»

Следующее мгновение было совсем другим. Страшная личина исчезла, как по волшебству, словно распавшись на атомы — но из них соткалась новая реальность, и я стоял перед дверью в комнату, в которую так хотел попасть.

В течение всех этих лет я время от времени пользовался услугами странных и корыстолюбивых существ, сторожащих дорожки иных миров. Не всегда мне хватало сил, чтобы самому переместить себя на другой конец галактики или новый виток временной спирали, и тогда помогали они. Постепенно я разобрался в их повадках и стоимости услуг, но, несмотря на знакомство с христианской религиозной традицией, предпочитал не задумываться о последствиях. Долгие годы мне казалось, что я успешно справляюсь с их алчностью. Моя жизнь была под контролем, и пусть радость неизбежно сменилась обычной любовной горечью — я не замечал страшных симптомов, ведущих на прием к экзорцисту. И только в последние месяцы... Впрочем, об этом пока рано рассказывать. Я и так подозреваю каждого, кто прикоснется к моей тайне, изложенной здесь, в ханжестве и пособничеству инквизиции. Люди любят выискивать в других признаки болезни, ненормальности или одержимости, не подозревая об одном из самых главных секретов человеческого бытия: нас, самих по себе, чаще всего и не существует, а дух Святой стяжают только избранные. Это заставляет задуматься, не так ли?

Пожалуй, я на время приостановлю свой рассказ

о постижении сновидческих вселенных. Этих драгоценностей уже хватит, чтобы оплатить дальнейший путь, а за остальными мы будем сворачивать на обочину по мере надобности. Здесь я могу добавить лишь то, что обычно входит в обязательный курс практической магии: несколько слов об искусстве намерения. Прекрасное состояние желания, сплетенного с уверенностью и бесстрашием. Готовность получить и потерять, не прикоснувшись. Умение жаждать и освобождаться от пут зависимости. Элементарная формула — «Хочу, значит, будет. Ибо достоин». Достоинство идет по разной стоимости — у каждого своя, и за все приходится платить. Но об этом не принято говорить в начальных классах столь популярной ныне Академии волшебства: иначе учиться в нее придут одни лишь злодеи и, как ни странно, атеисты.

Что такое «намерение», я случайно понял, когда несколько недель подряд мечтал перед сном о ярко-зеленом велосипеде, подмигнувшем мне хромированным звоночком из витрины местного магазина — и этого было достаточно, чтобы я влюбился. Через месяц родители, которым я, ведомый любопытством экспериментатора, ни словом ни обмолвился о своем желании, спросили меня во время обеда — не хочу ли я присоединиться к той огромной стае отважных мальчишек, что летят по улицам, взметая клубы пыли, на своих железных конях? С учетом, разумеется, того, что я буду делать это в стократ осторожнее. Я просиял глазами и молча кивнул, чтобы наверняка не спугнуть магию.

На следующий день отец уже учил меня кататься на велосипеде, придерживая сзади за кожаный круп седла, и однажды попросту отпустив. Я проехал в одиночестве двадцать метров, а потом сообразил, что не слышу шуршащих шагов позади. Оглянулся, и тотчас же свалился от удивления и испуга. Отец стоял поодаль и счастли-

во смеялся. С той поры я умел летать на этой чудесной машине детства, ловко поворачивая руль и чувствуя педали, как продолжение тела. Велосипедными прогулками по родному городу я не брезгую и по сей день, несмотря на уже упоминавшуюся коллекцию автомобилей.

Повзрослев, я интуитивно ощутил силу излучаемого мной намерения, и тесно переплел его с практикой сновидений. С каждым годом я достигал все больших успехов в контроле за своим сознанием и выстраивании сновидческой реальности. Я знал, что многие используют визуализацию, как метод достижения целей, но усовершенствовал ее, перенеся процесс в ткань управляемых сновидений. Во мне проявилось внутреннее знание, шепнувшее, что концентрат энергии, образуемый при воплощении желаемого во сне, многократно превосходит по мощи поле, создаваемое мозгом при простом сеансе целенаправленного мечтания. Но достичь таких высот было непросто. Хотя во мне живет стойкое убеждение: если бы подобные открытия произошли со мной во взрослом возрасте, было бы гораздо труднее научиться всему этому. Будучи ребенком, я воспринимал это обучение не как мучительную жажду тайных знаний и власти над жизнью — как это происходит со взрослым человеком, а как увлекательную игру, путешествие по другим мирам, вдруг обнаруженным мной.

На приступах созидательной полудремы мои странности не заканчивались. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы обнаружить несколько очевидностей: я словно носом чуял погоду на ближайшие дни; с моими врагами, в конце концов, приключалось что-нибудь до оторопи плохое; все, чего я желал человеку — сбывалось; я непонятно каким образом улавливал чужое настроение, и волны его в моем мозгу сворачивались в слова, которыми я мог описать состояние собеседника

и даже случайного прохожего.

К счастью, мне не часто приходилось применять свои способности в качестве оружия, защищавшего меня от несовершенства мира, в котором я оказался — то ли по воле Бога, то ли по собственной глупости. Если что-нибудь из моих воспоминаний удачно ввернется в узор повествования, обещаю не забыть об этом. А пока довольно откровенных признаний — их и так уже достаточно, чтобы поставить меня в неловкую, но привычную ситуацию, заперев в клетке на всеобщем обозрении, как уродца из кунсткамеры.

Глава 5

Кажется, мой предыдущий рассказ ничего не расставил по своим местам, лишь вывалив на головы внимающих ту огромную тяжесть, которая когда-то придавила и меня. Назойливая попытка объясниться, а может быть — предостерегающая табличка в руках: «Пожалуйста, осторожней. Я очень раним. И невменяем от сильной боли». Ребенок, искренне поверивший в свои фантазии? Но что произойдет, станет ли ваш взгляд менее насмешливым, если я напомню, что заранее планирую события своей жизни, занося их в графы потустороннего органайзера? Или проще выиграть в карты у вашей компании?

Вернемся к недосказанному о моей семье — там еще остались некоторые болезненные штрихи, способные сделать мой портрет чуть более ясным. В первую очередь, для самого себя. Всего лишь строки о том, как тяжело не видеть сходства между собой и другими. Не те глупые гуманистические (ставь знак равенства) рассуждения об индивидуальности, которыми обычно оправдывают собственные слабости и неудачи, а глубинные отличия самих основ психики, заставляющие однажды поверить в неприглядную для большинства теорию эволюции — *необрезанную* теорию эволюции, повествующую о том, что она не прекратилась, ее ничто не в силах остановить, как саму Лилу,[1] вечное течение Игры. В бисер,[2] если вы

[1] Лила (санскрит) — термин, в буквальном переводе означающий «игра», «времяпрепровождение». Важное философское понятие в индуизме.

[2] Отсылка к знаменитому роману Германа Гессе «Игра в бисер». Язык

эстет и вам так угодно. И если все постоянно находится в движении — не значит ли это, что на планете одновременно существует несколько биологических видов, объединенных названием Homo Sapiens?

Моя старшая сестра, например, была самой обычной девочкой, похожей на всех вокруг. Затем она стала самой обычной девушкой, похожей на всех вокруг. Сейчас она — самая обычная женщина, хоть и уехала к своему мужу в совершенно другую страну, но и там похожа на всех вокруг. И эти слова ничуть не умаляют моей любви к ней и впаянной в кровь родственной привязанности.

Но я не могу лгать себе и вам, и не вправе искажать собственный образ, не так ли? Научившись осознавать себя, я быстро раскусил, что к чему, и ощущение было не из приятных. Мало того, что одержимость мечтами и собственным даром делала меня совершенно безоружным в своей искренности, превращая в деревенского дурачка с затуманенным взором, так я еще и не мог спрятаться в привычной для здешних мест оболочке. Невесть откуда взявшиеся южные гены разносили мой сандаловый запах на всю округу. И я очень хотел, чтобы в моем маленьком мирке нашелся кто-то, похожий на меня.

А потому с нетерпением ждал появления на свет младшей сестренки. Мама была на третьем месяце, когда отец с загадочным видом собрал всех в столовой (я, сестра, двоюродное семейство из соседней деревни, два кота, собака, парочка друзей клана и сама виновница торжества) и прочитал новый свод правил, принятых на ближайший год. Нельзя было шуметь, приносить плохие от-

игры в бисер — тонкая комбинация музыки и математики, а главные герои романа — представители ордена интеллектуалов.

метки из школы, быть стекла и хулиганить (интересно, кто бы стал это делать?), ругаться, неожиданно выскакивать из-за угла, отлынивать от домашних обязанностей... И еще тысяча пунктов, суть которых сводилась к словам «забота, комфорт и тишина». В общем, нельзя было делать то, чего мы и так никогда себе не позволяли. Я внимательно слушал и вытаращенными глазами разглядывал мамин живот, в котором поселилось странное существо, обещавшее стать человеком. Еще недавно я подманивал всех аистов графства, и вот теперь кто-то из них прокрался на тонких длинных ногах в наш дом. И что мне делать с этим чудом? Будет ли оно похоже на то, что рисовалось моему воображению перед сном? Маленькая прекрасная принцесса, тихая, улыбчивая, со звездным сиянием в глазах? Иногда шаловливая и капризная, но чаще — понимающая меня с полуслова?

«И вообще, Николас, — сердито прервал мои размышления отец, — кто тебе сказал, что это будет девочка?»

Неужели я опять задавал свои глупые вопросы вслух? Судя по хихиканью старшей сестры — да. Я встал и обиженно ушел к себе наверх, напоследок еще разок скосив глаза в сторону мамы и ее невидимого ребенка. Я был готов отдать свою любовь и заботу крошечной девочке, но терпеть рядом противного орущего младенца мужского пола... Увольте! Просто в нашей семье прибавится еще один, кто будет смеяться над моей болтовней и прогулками во сне.

Решив не делать далеко идущих выводов и мудро подождать, я хотел смягчить неопределенность безобидной местью, но она обернулась против меня самого. В городской библиотеке я тайком пробрался в секцию для взрослых и, вскарабкавшись на удачно подвернувшуюся стремянку, отыскал на одной из полок анатомический атлас. То, что я увидел, поразило меня до глубины души. Ника-

ких тебе ангелочков с крылышками! Ничего, хотя бы отдаленно напоминающее бесподобное совершенство человеческой природы и сладкое обаяние младенчества. Нечто, представляющее собой генетическую смесь саламандры, морского конька и головастика. Вот что живет сейчас в животе моей матери. Вот что плавает в маленькой вселенной ее тела.

Примерно неделю я обходил маму стороной.

Затем, весьма внезапно, озарился откровением: я тоже когда-то жил в таком странном обличии? Я тоже был отвратительным головастиком с несоразмерно большим жадным носом, который и вдыхать-то ничего не может? Крохотный организм, паразитирующий на соках своей богини? Инопланетный вирус в капсуле из живой плоти?

Принципы эволюции так и не уместились тогда в моем сознании. Хотя родители, заметив мое нездоровое смятение, окрасившее лицо в муторную бледность, вытянули из меня признание и попытались подцветить его привычным набором образовательных и воспитательных формул. Я сидел, вцепившись пальцами в край стула, но мысленно затыкал ими уши. Я ничего не хотел знать о развитии плода и не верил в возможность сказочного превращения подсмотренного чудища в прелестное создание, появления которого я так ждал. И решил для себя, что буду верить в ангела, поселившегося в маме. «Может быть, — подумал я, — все, что написано в этой мерзкой книжке, и касается людей, но мы — особенные, и у нас все по-другому». У меня оставался еще один вопрос, и я его задал.

«Папа, мама, а при чем здесь аисты? Оно... *Он* больше на рыбу похож».

Родители переглянулись, и в следующие десять минут я узнал о некоторых основах брачно-семейных отношений. В невинных и стыдливо завуалированных выражениях, конечно. Какая-то часть моего детского сознания

все поняла, собрав воедино отдельные обрывки слов, звуков, взглядов, картинок, но...

«Я устал. Пойду, порисую, — сказал я им. — Спасибо большое, мне полегчало».

Я действительно почувствовал невероятную усталость от жизни в тот момент. Пожалуй, такое было впервые. Рисовать я не смог: в голову лезли только расплывшиеся акварельные образы лиловых, розовых и красных оттенков. Мне не хотелось воплощать их на бумаге, ведь теперь я знал наверняка, что они и так существуют.

В конце апреля она родилась, и была наречена — Мэгги. Когда ее принесли домой, я уже нетерпеливо отирался о косяки родительской спальни, в которой на первых порах должна была стоять ее кроватка. Ее уложили, и меня наконец-то позвали. На красивом розовом одеяльце лежал сверток, похожий на крохотную мумию, в верхней части которой из тугого кокона ткани проступало красное личико, больше напоминавшее мордочку новорожденного котенка или обезьянки. Казалось, все лицо состоит только из рта и носа, алчно тянувшихся к невидимому соску — хотя девочка спала. В тот момент в ней не было ничего, кроме оглушительного физического желания выжить. «Сосунок», — подумал я, и тут же шальная мысль пошатнула мою невинность: «Может быть, она и была тем странным существом в мамином животе».

Больше меня это не волновало. Я почти окончательно принял ничтожество положения, коим было вочеловечение. Матери требовалась помощь, и я смог выплеснуть накопившуюся потребность заботиться о ком-то. Я ухаживал за малышкой, и она росла фактически на моих руках. Родители не могли нарадоваться на меня, хотя отец предпочел бы видеть мою заинтересованность где-нибудь в гараже или на ежегодной выставке рыболовной снасти. Старшей сестренке было уже не до нас: она по-

стигала азы взаимоотношений с противоположным полом.

Какое-то время я еще питал надежду, что увижу превращение гусеницы в бабочку. Я внимательно всматривался в проступавшие из полуживотной младенческой невнятности черты ее будущего лица, пытаясь понять, чем и на кого она похожа. Игра была увлекательной, но задорная простота профиля и масти, проявившаяся уже через пару месяцев, разбила мои иллюзии: Мэгги была похожа на родителей и все наше семейство. На соседей и моих школьных друзей. На тех, кого я видел по телевизору, в журналах и газетах. На всех. Кроме меня.

К тому моменту, как ей исполнилось пять, я растерял остатки своего необыкновенного интереса к ней, поняв окончательно: это — не мое личное чудо. Это — моя семья. Я катал ее на велосипеде и помогал печь куличики. Я приделывал отвалившиеся руки, ноги и головы ее куклам. Я даже пытался научить ее рисовать, правда, безуспешно. Но мне совсем не было жаль красок, и лишь чуть-чуть — дорогой шероховатой бумаги, привезенной отцом прямо из Лондона. Я любил своих сестер. Смирение входит в нашу жизнь, порой принимая не слишком привлекательные формы. Но они — лишь отражение пороков и эгоистичных иллюзий, которые мы теряем, как змея свою морщинистую ссохшуюся кожу.

И только я примирился с тем, что у меня никогда не будет идеального друга, воплощенного в образе нарисованной феи, как отец опять собрал нас. Теперь я сидел с каменным лицом, нарочито игнорируя живот матери и ее вновь засиявшие особой нежностью глаза. Вряд ли я был разочарован и умудрен опытом. Скорее, просто экспериментировал с земной магией: возможно, если на сей раз я не накачаю свое ожидание надеждой и предположениями, все будет иначе?

Июнь. Аромат белых цветов в воздухе. Пряная све-

жесть листвы — еще без золотого напыления жары и магистрального смога. Мне достаточно было одного взгляда на маленькую Элизабет, чтобы понять: она — нечто иное, нежели остальные. Она... действительно похожа на меня?

Уже не было необходимости доказывать свою состоятельность как няньки для новоиспеченного на углях рая младенца: Лиз доверили мне с радостью. Дыхание спирало, я преисполнялся гордости, когда тащил ее на руках в сад и прогуливался у ажурной решетки, позволяя проходящим мимо соседям умиляться на пасторальную картинку.

Мы разговаривали с ней глазами и прикосновениями. Она была тихим и сообразительным ребенком, с необыкновенно осмысленным звездным взглядом, всегда готовая улыбнуться и схватить меня за палец. От нее пахло чем-то сладким, что напоминало о вечном Сочельнике — молоко, печенье, ваниль. Несмотря на покладистость и сияние доброты, она не любила спать по ночам, и родители намучились, пытаясь уговорить ее принять горизонтальное положение в кроватке — проблемы начались, как только она научилась сидеть. Она редко капризничала. Но иногда на нее находило странное состояние, и тихие слезы, капнувшие из больших блестящих глаз, вытягивали за собой целый поток, и девочка начинала заходиться в непонятном, пугающе горьком плаче, запрокидывая головку и синея с каждой минутой. Когда она наконец утихала, мама долго стояла над ней и озабоченно вглядывалась в ее личико, и спустя несколько месяцев глубокая морщинка пролегла поперек ее лба.

Как только пелена потусторонности спала с глаз Элизабет, а пух на ее голове стал приобретать отчетливый нездешний окрас, отец вынес свой вердикт: «Что ж, кажется, она пошла в породу матери. Как и ты, Николас, похожа на деда. По крайней мере, не будет проблем с же-

нихами: вырастет экзотичная красотка».

Она умерла в декабре, за две недели до Рождества, так и не успев сказать мне ни слова.

Мама немного поплакала, отец поддерживал ее ласковым молчанием. На какой-то промежуток времени в доме воцарилась необычайная тишина, доселе незнакомая мне. Мы осторожно ходили по лестницам, тайно умоляя их воздержаться от скрипа. Тихо спускались к обеду и ужину и старались не стучать столовыми приборами. Научились самостоятельно решать свои проблемы и справляться с делами — будь это завершение семестра в школе, ветрянка, неожиданно поздно захватившая Мэгги в пятнистый плен, или покупка акций нового предприятия, еще никак себя не зарекомендовавшего. Но Рождество, пусть даже оно и прошло на цыпочках по нашему дому, было по-прежнему волшебным: родители улыбались, подарочная упаковка шуршала, ель источала освежающий эфир, индейка скворчала на противне в духовке.

В Сочельник, часов в шесть вечера, когда чародейское зимнее зелье было почти готово, дожидаясь последних ингредиентов, струйками ароматов сочившихся из кухни и оцепивших весь дом, отец подошел ко мне, сидящему в кресле в гостиной, в тени еловых лап и мерцании свечей. «Все в порядке, малыш», — сказал он и потрепал меня по волосам. Я улыбнулся в ответ. «Все в порядке, — повторил он, — мы не успели привыкнуть... к ней. Поэтому скоро все забудется».

Я вновь улыбнулся. Да, это правда — все было в порядке, и я тоже не проронил ни слезинки. Но для меня не существовало временных перегородок и линейности — этого ни он, ни кто-то еще не могли знать. И потому я привязался к ней всем сердцем, уже побывав на ее первом причастии, выловив лучшие из персеидов на августовском небе, и даже успев по-братски приревновать

к обаятельному однокласснику, заинтересовавшему ее. И вот она ушла, а они так и не узнали, кем она могла быть.

В тот вечер я впервые отчетливо осознал, что никогда и, похоже, почти ни с кем не найду взаимопонимания. Внутри меня, в голове ли, в сердце или душе (я не знал точно), было слишком много того, что я с трудом мог выложить в мозаику слов, чтобы донести до людей. А если бы и сумел — они не поняли бы этого орнамента. Меня словно укладывали на Прокрустово ложе, крепко спаянное из железных прутьев человеческой психики, а я не умещался, страдал от непреодолимого желания вытянуться и выгнуться под гнетом этих массивных цепей. Мои кости ломались, мышцы разрывались, кожа лопалась, но никто не видел моей боли и отчаяния. Где лежали тома с законами того мира, из которого я пришел в этот, я не знал. Мне приходилось высчитывать и угадывать их интуитивно, шаг за шагом, и прятать открытия от других. Речь шла о выживании.

Пока Санта, смущенный тишиной нашего дома, робко топтался на припорошенном снегом крыльце, я выскользнул из гостиной и, пробравшись наверх, заперся в своей комнате. Я выбрал небольшой лист для магического ритуала: чтобы воплотить маленькую и хрупкую Грезу, не требовалось много пространства. Я рисовал быстро и уверенно, поскольку не раз выкликивал ее в сновидческих путешествиях. Подросшая Элизабет, разорвавшая родственные путы, связывающие ее со мной — так было безопаснее, ибо в глубине души уже зародилось чувство вины за слишком навязчивое стремление заполучить друга-двойника. Мне казалось, что Бог карает меня за нарушение равновесия, подарив и забрав у семьи мой же замысел. «Будет надежнее, если она родится подальше от меня, — думал я. — Может быть, она

странным образом не помещается в нашу семью, а я слишком сильно вымаливаю ее, и тем самым подвергаю опасности».

Через час правдоподобный портрет несбывшейся Лиз был готов. Я нарядил ее в лиловое платье, так подходившее к волосам и оттенку кожи. Пустота вокруг образа пугала меня, напоминая о ее недавней *развоплощенности*, и немного поразмыслив, я поместил девочку в лавандовое поле. Судя по отсветам неба и тональности цветов, дело происходило в рассветный час.

Теперь предстояло сделать самое трудное: отказаться от того, что любишь. Приспособленный к невероятным приключениям, я легко справился с большим металлическим подносом, прислоненным к дальней стенке столового буфета. Вытащив его и удачно, без единого звука, миновав фарфоровые баррикады сервиза, выбрался с ним и своим рисунком на крышу через чердачное окно.

Разница восприятия мира поначалу чуть не сбила меня с ног, и я пошатнулся под порывом невидимого ветра, испуганный внезапно обнаруженной высотой и по-настоящему сказочной тишиной Сочельника, спустившегося на городок. Наш дом не был самым большим в округе, но холм, на котором он стоял, в обрамлении зимы и мрака, приукрашенного каплями янтарных фонарей, проявлял неподдельное превосходство над своими соседями. Раньше я выходил сюда только в теплое время года, когда черепица хорошо ощущалась босыми ступнями, и была понятной и покладистой, разморившись под лучами солнца. Теперь же ноги утопали в снегу выше щиколоток, и где-то там, под ним, в невидимом мире прошлогоднего лета, подошвы ботинок опасно скользили по озлобленной обманом природы крыше. Я нанизал все эти противоречивые эмоции на ожерелье своих ожиданий, втайне надеясь, что их сила послужит верно подобранным реактивом.

Время поджимало, и я вытащил из кармана джинсов увесистую кремниевую зажигалку с длинной ручкой: трофей, доставшийся в наследство от дедушки-моряка. Мне почему-то показалось — если я воспользуюсь именно ею, мечта получит больше шансов на воплощение. Ведь мой бородатый предок в настоящем боцманском кителе обогнул мир не менее ста раз. А значит, опутал своим духом всю планету, и теперь эта магия обязательно должна помочь мне, его внуку. Знать бы мне тогда, какие искаженные формы — словно насмешка в лабиринте кривых зеркал! — примет этот концентрат энергии в будущем: к сегодняшнему утру я объездил, облетел и обшарил этот мир уже тысячекратно больше, чем дед.

Рука не поднялась разорвать рисунок на несколько частей, чтобы облегчить работу огню, неспокойному в открытом космосе позднего вечера. Я даже не смог скомкать его в дрожащей вспотевшей ладони, тыльная сторона которой мгновенно расплавляла неосторожные снежинки, приземлившиеся на мою кожу. Опасаясь резкости ветра — редкого, почти не нарушавшего рождественскую идиллию, но беспощадного в своей ничтожной дозволенности — я все же положил лист на поднос и аккуратно поджег правый нижний угол. К моему удивлению, плотная бумага схватилась ровно, и наколдованный образ стал уходить в неизвестность, скрываясь под темными пятнами и шафрановым пламенем.

В какой-то миг я почувствовал безысходную тоску, и мне захотелось выхватить остаток тонкого абриса из пасти неумолимой стихии — словно я был великаном, и у моих ног неизвестные крохотные и злобные существа творили аутодафе над моей сестрой, уличенной в нездешнем очаровании. Но боль тут же отпустила: кто-то, неминуемо взрослевший внутри меня, твердо решил, что лучше воплотить свое желание в будущем, чем насладиться его осколками и невнятными намеками в настоя-

щем.

...Я не должен лукавить в своей главной исповеди, поэтому скажу прямо: прошло не так много времени, года два-три, и детские мечты остались в том вечере, когда Рождество еще действительно означало веру в чудо. Я рос, наливался амбициями, во мне вызревали новые грезы, и я видел уже совершенно другие сны. Порой яркая реальность, даривша настоящий успех, позволяющая манипулировать человеческими душами, становилась предпочтительней зыбкого мира надежд, который, может быть, и научил меня летать, но не оставлял для других никаких доказательств по пробуждении. Говорят, в бурные годы молодости, когда мы преисполняемся гордыни и самоуверенности, Ангел-Хранитель отступает от нас, позволяя совершать ошибки — не лишающие права жизни, но превращающие путь в неопрятный колтун, болезненность которого начинает ощущаться лишь после тридцати, когда: «Земную жизнь пройдя до половины...». Не знаю, правдива ли эта формула для чужих судеб, но с моей она была беспощадна. Даже достигнув небывалых высот мистического опыта, я не смог избавиться от черных щупалец собственного Эго, и задушил все прекрасное, что было открыто мне. Я просто слишком сильно пытался удержать его в своих руках.

Но до того времени поводы забыть о духе и душе являлись каждый день, посланные специально для меня из преисподней. Мне было восемнадцать, когда стало исполняться все, что было увидено и придумано мной в лихорадке ранней юности. Обрывки сюжетов, манящие сладостью и удачей, картинки, оставшиеся от неземных путешествий, сложились в моей голове в точную карту, которая вспыхивала маяками каждый раз, когда мне следовало сделать выбор и принять то или иное решение. К сожалению, искус не обошелся без обмана. И, как водится в старых легендах из протоколов инквизиции, зо-

лото, подаренное обаятельными демонами, спустя несколько миль пути превращалось в золу, высыпаясь сквозь прутья корзины и оставляя, как улику, отчетливый и отвратительный след, тянущийся за мной. Упиваясь воплощенным волшебством, я не предугадал ничего из той порции боли, страданий и нечистот, что поджидали меня. Но до сих пор помню пунктир своей тропы, ее опознавательные знаки и живительные колодцы в тенистых рощах.

Алая полоса ленты, распадающейся под точным движением тяжелых ножниц в моих руках. Бесконечные ряды картин — в таких же бесконечных вариациях интерьеров. Аплодисменты, вспышки и щелчки фотокамер, глянцевые развороты журналов с моим именем. Показы модных коллекций одежды, навеянных моим творчеством и изобретенным только мной переливом цвета. Широкая улыбка, веснушки, крепкое рукопожатие — это он, вероломный и корыстный жрец моего культа, вознесший свое божество на небывалую для современного художника высоту, и развенчавший его прилюдно. Рыжеволосая аристократка с тонким фруктовым ароматом и искристым колье на изящных ключицах — неужели она целует меня? Видимо, это девушка, в которую я буду безумно влюблен. Ленты дорог, тающие перед мощью моих блистающих автомобилей. Прибой океана и морские отливы, белый песок, похожий на сахарную пудру, прилипшую к мокрым ступням. Бесконечный дождь из цветов, превращающийся в наводнение, способное погубить. Лестница из банкнот, ведущая прямо в облака. Шелк простыней и жар поленьев, потрескивающих в камине — где-то в сердцевине Альп. Клетчатый, полосатый, еловый и кудрявый узор планеты, исчезающий в белесой пелене небес подо мной. Блестящие глаза, наполненные любовью, и... Нет, я же сказал, что не догадывался, как это все закончится.

Так что, у меня не было причин вспоминать детские утраты и глупые мечты о друге, читающем мои мысли и чувствующем мое сердце. Все, что перечислено выше — сбылось. Но по мере того, как душа обрастала самонадеянной плотью, не признающей поражений и молитв, в глубинах подсознания все отчетливее слышалась пульсация и всплески переживаний, живущих вне зависимости от моей воли, сами по себе. Поначалу я пытался игнорировать это явление. Затем привык к нему и стал считать побочным эффектом остальных своих особенностей. Иногда я сомневался в лучезарности происходящего и мыслил христианскими терминами, ужасаясь и предполагая за собой одержимость. Но ничто не мешало мне наслаждаться жизнью и творить, и чувство опасности быстро притуплялось.

Ощущалось это, как биение чьего-то сердца и поток эмоций, текущий сквозь мое сознание. Впервые оно снизошло на меня летом, когда мне было четырнадцать, и я летел на послушном и легком велосипеде по проселочной дороге. Больше мне нечего об этом сказать: я еще не дошел до тех слов, которые с жестокой точностью кисти мастера отразят всю правду.

Май. Весна переходит в лето, горло сжимается, сердце начинает бешено колотиться, ногти впиваются в ладони. Я не могу признаться тебе, хотя все вскоре станет явным. И пусть ты беспощадно игнорируешь мое присутствие на Земле, я боюсь, что ты каким-либо способом узнаешь об этом. Вдруг тебе попадется в руки дурацкий журнал, или третьесортный телевизионный канал вспомнит о покинутом всеми художнике, которого когда-то так украшала его юность. Но то, что кажется чудесным на заре молодости, уже не козырная карта зрелости, не так ли?

Мне горько, но под волной удушливого стыда я чувствую безжалостные уколы злости: а что мне оставалось де-

лать?! Ты оставила меня, и я вынужден выслушивать твой бред о том, насколько замечателен тот, кого ты теперь любишь. Возможен ли хотя бы зыбкий паритет между мной, небезызвестным мечтателем-миллионером, и тобой — потерянной для меня и мира слабой девчонкой, творящей то, что я себе запрещаю? Ты унизила меня, и хвала Господу, что наша история спрятана там, где ее никто не найдет.

Но я пока что не могу тебе признаться. Так что позволь рассказать о другом секрете.

Я не сразу вспомнил об умершей сестре, когда увидел тебя. К тому времени она превратилась в мимолетный эпизод, и взрослый Николас забыл о магических пассах маленького Ники, поверив словам отца, убеждавшего в том, что никто не успел привыкнуть. Теперь она и для меня существовала, как младенец, не выбравшийся из своей колыбели. Мои фантазии, предположения и рисунки были забыты. И даже больше: озарение настигло, когда ты уже отвергла меня. Впрочем, в этом нет ничего странного. Очередная закономерность невыученного урока: только потеря заставила меня вспомнить о другой потере. И в тот момент моя боль удвоилась. Нет, не потому, что я вдруг заново пережил внезапную смерть маленькой Лиз, на которую я возлагал такие большие надежды — может, она и умерла от их тяжести? Но потому, что моя мечта во второй раз ушла в небытие.

Так постыдно все это... Мои слова, признания, моя непостижимая любовь к тебе. Какая тяжелая кара за собственное могущество — быть разделенным надвое. Обладая силой, которая другим видится только в фантастических фильмах и сказочных повестях, я выгляжу по-настоящему ничтожным, однoруким, кособоким, полуслепым. Я не могу жить для других, охватывать своей заботой больше людей, искоренять болячки общества, участвовать в политических марафонах, спасать детей и взрослых, испытывать патриотические чувства, развлекать себя грубыми муж-

скими играми. Быть мужчиной, пока тебя нет рядом. Ты — сердце, которое необходимо пересадить в мою грудную клетку. И пока этого не произошло, разве я могу стремиться к чему-то иному? Я проклят любовью — и это в наш, последний перед финишной чертой, век, когда она считается атавизмом, унизительно нарушающим работу человеческого организма. Разве можно представить, чтобы настоящий мужчина произносил такие слова: я проклят любовью?

Глава 6

У меня есть серьезные опасения, что не хватит и сотни страниц для рассказа о ней. Придется заимствовать слова у великих сказочников и отпетых романтиков, чтобы объяснить, *как* такое стало возможным. Как в жизни малоопытного, хоть и талантливого юнца, воплотилось все, о чем только можно мечтать? Эта любовь — моя настоящая первая любовь — имеет странное свойство стремительно возвращать меня в прошлое, и я словно проваливаюсь в вихреобразную воронку, беспощадную, не желающую знать, есть ли у меня причины уйти и больше здесь не появляться. Я ощущаю нашу с Глэдис историю, как незавершенную мелодию, оборвавшуюся нить, концы которой разметаны космическими ветрами, и в ближайшее тысячелетие вряд ли найдут друг друга. Но где-то, на расстоянии многих миль от меня, в апогее своей юности, стоит прежний Николас Фламинг, готовый раз за разом признаваться ей в любви. Пусть он заблуждается, пусть его нежные слова суть будущая жестокость — но в том радужном мареве он искренне верит в них.

Я чувствую неискоренимую вину перед ней, ведь мне пришлось сыграть роль Странника, летящего над поверхностью земли и увлекающего за собой тех, кто попадается на его пути. Это настоящий фатум, неизбежная боль. Я не мог поступить иначе — это означало бы остановку движения, нарушение высшего замысла.

Пустые слова. Я заставил страдать свою прекрасную принцессу. Мне было дано все: уже к двадцати пяти годам я стал обладателем огромных денег и славы. Но как чудовищно обманула меня жизнь, выбросив на поляну в том ослепительно сияющем саду — вместо того, чтобы

просто зажечь свет в моем сердце.

Я полюбил сказочное королевство, а думал, что... полюбил.

Если бы сейчас она была счастлива, а не посвятила свои оставшиеся дни стремлению показать всем мое бессердечие — вне всякого сомнения, я бы смог вынуть этот ржавый гвоздь из души. Но она живет одна, мучая меня подозрениями, что брачные клятвы, данные нами у алтаря, действительно чего-то стоили. А может быть, я идеализирую ее образ, подвергая ностальгической ретуши — всегда хочется думать, что в прошлом и звезды сияли ярче. Возможно, на том перекрестке, где осталась полузабытая часть меня, отколотая и почти не мешающая идти вперед — стоит и она, Глэдис, но в полный рост. Истекающая горечью, не пожелавшая покинуть свою материализовавшуюся мечту.

...Майская ночь, гроза, пустынная дорога к Кингсвуду. Мрак, время от времени взрезаемый фарами проносящихся машин. Золотистая матрица дождевых капель, обнажаемая их светом. Фонтаны брызг, аромат придорожных трав, выстлавших бескрайние луга. И, разумеется — я, бредущий по направлению к студенческому хостелу.

Но для начала придется объяснить, как я там оказался. Мне было восемнадцать. Как у всякого идиота, получившего аттестат зрелости и зачисленного в сносной престижности университет, у меня имелась парочка друзей, всегда готовых помочь в деле убийства собственного здоровья, репутации и жизни в целом. Вот и сейчас я с трудом отличал броуновское движение алкоголя в своей крови от мельтешения дождя перед глазами. Голова кружилась, но я твердо знал, в каком направлении идти, и делал это весьма уверенно, если не сказать — прямолинейно. Я возвращался с очередной вечеринки, которые стали для меня отдушиной после разрыва с Памелой.

Адаптироваться к взрослой жизни мне помогал приятель по имени Джон, занимавший должность лучшего друга тридцать лет, а после изгнанный за изящный, но сокрушительной силы обман.

Джон предстал передо мной, как расплата за грехи предыдущей реинкарнации — по-другому я поначалу не мог его воспринимать. Попросту ввалился своим огромным телом, рано начавшим расползаться, в только что облюбованную мной комнату хостела. Тело венчалось столь же большой белобрысой головой с яркими голубыми глазами. А ведь я тщательно выбирал место обитания, присмотрев уединенный номер в конце коридора, в едва заметном закутке, принимаемом всеми за подсобное помещение. Идея поступления в университет исходила от родителей, не подозревавших, что моей целеустремленности не хватит и на один курс никчемной белиберды — но вполне достаточно на всю жизнь, наполненную призванием. Скоро, скоро уже пробьет тот заветный час, который изменит мой путь, выправив его и вернув к формуле мечты. Он там — на ночной дороге, под ударами молний. Но... Джон.

Джон был таким же шумным, как и огромным. Он занимал ужасно много места в пространстве, и милая комната, которую я искренне полагал недостаточной и для моих нужд, сразу приобрела вид тесного чулана — стоило ему опустить свой зад на соседнюю кровать (а я уж было вознамерился исподтишка утянуть в коридор, да заменить парой изящных кресел с торшером между ними).

Я все еще стоял и думал, почему вижу два кресла, и пытался пририсовать к одному из них сексуальную блондинку, когда появился мой сосед. Все было, как в ненормальной комедии: он хлопнул меня по плечу, отчего я едва не свалился, и с разгону приземлился на постель, заставив ее жалобно закричать. Этот вопль был плохим предзнаменованием, которое я верно прочитал.

Поэтому, как только он проорал длинную, но удивительно рубленую и простую фразу — «Привет, я Джон! А ты, я знаю, Николас! И даже художник! С выставками, да? По радио о тебе передача была, еще пять лет назад?» — я набрал в легкие побольше воздуха и ответил:

«Да. И давай договоримся — ни один из нас сюда девушек не приводит».

Он тут же надулся, как резиновый лягушонок, но уже спустя десять секунд увлеченно рассматривал мои тубусы с холстом, временно сваленные в углу. Несмотря на рост и полноту, передвигался он быстро, как метеор. Вдобавок к внешним характеристикам, в нем нашелся целый комплект всего, что считалось мной неприемлемым: он мусорил, рыгал, рассказывал скабрезные анекдоты, постоянно хвастался любовными успехами, храпел, громко испускал газы, забывал проветривать комнату, считал, что наведение порядка — женских рук дело, обожал ходить на скачки и путал расписание лекций. Секс был отдельной темой для разговора. Мой романтизм для него был синонимом невинности, и он счел своим долгом как можно быстрее расправиться с ней, вовлекая в ситуации, в которых только ослепленный и оскопленный мог отстоять свои принципы. Он, конечно, не подозревал, что я всего лишь подыгрываю, надежно заперев свои душевные потребности за неизвестной ему дверцей.

Мне оставалось только молиться и слезно вопрошать бессонными ночами — за что мне сие наказание? Попросить его съехать и подыскать другого соседа духу не хватало. Я ждал удобного случая — то есть, такого, когда причиненное мне неудобство затмит мою бесконфликтность и страх перед существом вдвое... нет, втрое больше меня.

Дело в том, что я практически не мог спать под одной крышей с ним. Сила звуковых вибраций, химический состав воздуха и недоверие к его внутренней гуманности

не давали мне уснуть.

Все изменилось за один день, довольно драматичный и насыщенный событиями. Я в кои-то веки собрался провести выходные дома, и отправился в Стаффордшир на своем автомобиле. Оказалось, Джон из тех же мест, и не иначе, как божественное провидение и чудо оберегали мое отрочество от случайного столкновения с ним на проселочных дорогах. Мы отправились после лекций, в три часа пополудни. Сжалившись надо мной, соседушка провел ночь перед поездкой у своих подружек, и я смог выспаться, чтобы не потерять бдительность на дороге. Мы ехали уже два часа, и я был занят раздумьями о том, как избежать академической ответственности и вернуться к свободному творчеству. Джон, утомленный насыщенной ночью, дремал рядом, время от времени заваливаясь вбок и пихая меня толстым локтем. Я раздраженно отталкивал его, он просыпался, встряхиваясь, как щенок, хлопал белесыми ресницами, отчаянно пытаясь сконцентрироваться на влетающей под колеса дороге, но опять проваливался в сон.

Когда его тело приняло оптимальное положение и перестало вторгаться в мое пространство, я, наконец, смог беспрепятственно отдаться течению мыслей и... непостижимым образом заснул. Утонул в невесть откуда взявшемся темно-голубом омуте грез, напоминавших пейзаж тех миров, которые я привык посещать с детства. Что-то позвало меня туда, или же моя душа, утомленная студенческой реальностью, сама прошмыгнула в любимое королевство — я не знаю. Но смерть времени не теряла и уже скользила над нами, улавливая косую траекторию оставшегося без управления автомобиля.

Я проснулся оттого, что резко пахнущее, грузное тело навалилось на меня, чертыхаясь и бранясь такими словами, о существовании которых я и не подозревал. Машину трясло и подбрасывало на каких-то неровностях —

вскоре я понял, что это были кочки и камни обочины, под плавный откос которой мы катились. Бесцеремонно вжав меня в дверцу, Джон нащупал ногой педаль тормоза, и мы остановились в пяти метрах от обрыва, с которого открывался очень живописный вид на сельский пейзаж, украшенный лентой реки.

Пока меня колотило, и я не мог вымолвить ни слова, он вышвырнул меня из машины и, усевшись за руль, медленно, словно тяжеловоз, вывел ее наверх, к дороге. Я плелся позади, и мои дрожащие колени почти обгоняли автомобиль.

— Как? — заорал он на меня, когда мы пристроились у края дороги. — Как ты мог заснуть?

— Не знаю, — попытался отвертеться я от расспросов. Дальше он повел машину сам, отмахав лишние тридцать миль от своего дома. Я отдал ему автомобиль, и мы условились, что в понедельник утром он заберет меня.

С тех пор я всегда крепко спал в его присутствии. Храп и скрип пружин под тяжестью его тела перестали раздражать меня. Он поделил свое время пополам, и мы нередко просиживали вечера за разговорами, потягивая вино — и эти бокалы тоже были уступкой мне, плохо понимавшему те мутные разновидности алкоголя, которые он предпочитал. Постепенно он стал вникать в суть моей проблемы, обнаружив недюжинное упрямство и выудив у меня признание в грезотворчестве. Я нехотя предоставил в его распоряжение основные штрихи, но не стал расписывать подробности магической пелены своего сознания, правильно поняв, что Джон относится к тому типу людей, которые постигают все медленно и на собственном опыте. Или, по крайней мере, собственными глазами.

Так оно и получилось. Однажды утром я открыл глаза, а он уже сидел на своей постели, выбритый и одетый, серьезный и сурово сдержанный.

— Ты знаешь, что лунатишь, Ник?

Да, разумеется. Я знал.

— Да за тобой глаз да глаз нужен, — Джон покачал головой. — Я, конечно, давно заметил, что ты беспокойно спишь, но сегодня поймал тебя, бредущим на чердачную лестницу. Ты словно шел по совершенно другому рельефу...

Он помолчал, а потом все же договорил:

— Если бы я не видел это своими глазами, не поверил бы. Ты поднимался по лестнице так, словно она была пологим склоном, а не ступенями. Ты ставил ступни под углом... Невероятно...

После этого мне было проще объяснить ему, что такое снов*и*дение.

Но, восхитившись открытием и уникальным другом, Джон решил, что мне не помешает заземлиться, и предложил целый перечень услуг по реабилитации моей подвижной психики. И, как существо, действительно обладающее подвижной психикой, от некоторых из них я не смог отказаться. С девушками (если дозволено будет так назвать тот контингент, с которым любил развлекаться мой новый друг) я по-прежнему знакомился редко — только в тех случаях, когда тело явно побеждало душу в долгой изматывающей борьбе. Но искристую романтику ночных лондонских пабов и подпольных театров с их запрещенными пьесами, предельной обнаженностью и причудливостью красоты, выходящей на грань уродства, ловил с откровенным удовольствием. Иногда мой взгляд останавливался на актрисах и других посетительницах этих заведений — нервных, утонченных особах, считающих своей прямой обязанностью и телом и глазами излучать пронзительную идею бесконечного искуса. Навязчивого, если вдуматься. Но все же недоступного. Быть может, по той причине, что за болезненным мерцанием идеи не существовало ее реальных подтверждений.

К сожалению, тот вечер, когда мне было суждено встретить свою будущую жену, я провел не самым благостным образом. Будучи пьян, я все же смог определить разницу состояний между собой и Джоном, и понял, что сегодня нет никакой надежды на моего земного друга. Я вышел из бара, но меня настигла одна из его подружек, и спустя неопределенный промежуток времени я, подпирая спиной шершавый камень вместилища порока, сунул ей, стоящей передо мной на коленях, в рот смятую бумажку, вызволенную из карманной смеси сигарет, ключей, носового платка и еще чего-то рассыпавшегося, пахучего и позабытого мной напрочь. Она была блондинкой с прической а-ля Мэрилин, клоунским ртом, крупными веками и точеной талией в палево-розовом платье. Или все это подмигивало мне с плаката на стене противоположного дома, куда я непрерывно пялился, пока кто-то умело копошился у моих ног?

Подумав, что могу поймать по пути такси, я смело направился прочь из Лондона — тем более, что мы веселились на самом его краю. Мысли утянули меня, а я все брел и брел... Вдали загромыхало, упали первые капли дождя, затем он хлынул рекой — а вместе с ним и мой сплин. Кажется, я пытался порыдать над своей загубленной юностью и поруганной любовью. И в тот момент, когда я достиг такого патетического эмоционального катарсиса, что почти физически ощутил обрубки потерянных крыльев за спиной, пространство слева всколыхнулось светом, и нечто блестящее и алое перерезало мне путь и остановилось впереди. Бентли последней модели явно поджидал меня.

Когда я потом спрашивал ее: «Что заставило тебя остановиться в ту ночь?», она всегда долго подбирала слова, будто вспоминая каждый раз заново. «Не знаю... Противоречивость картинки, наверное. Нет, не то, что такой юноша, как ты, идет по загородной дороге, под

проливным дождем и небом, озаряемым молниями. Это как раз выглядело естественно. Но то, что ты был пьян и одет с отвратительным шиком молодого неудачливого ловеласа. Возмутительный диссонанс с самим собой. Мне захотелось рассмотреть тебя получше».

Все еще в тумане самонадеянности и уверенности в постижимости мироздания, не прибавляя шага, я приблизился. В общем-то, у меня не было другого выхода — ведь я шел вперед.

Дверца приоткрылась, и я, подозревая себя в нечистой наглости, заглянул туда, стараясь нацепить дежурную ухмылку. И мгновенно протрезвел.

Девушка, которая сидела в машине... Нет, ей гораздо больше подходило слово Женщина. С большой, величественной, украшенной королевским вензелем, буквы. Хотя она была моей сверстницей, и целеустремленный взгляд не мог ужесточить полудетской наивности округлого лба, но весь ее облик заявлял: «Я». Сложившаяся, завершенная, совершенная. Отточенные уверенные движения, высокомерная нервозность — словно у нее никогда не хватает времени ни на кого, кроме себя. Рыжие волосы гладко зачесаны, уши, шея, запястья — удлиненные, инопланетные. Бриллианты сверкают, будто она на приеме в Монако, а не на перегонной дороге между крохотными английскими городками.

Она вытряхнула из пачки длинную сигарету и прикурила ее, превратив в продолжение себя, такой же изящной и дорогой.

— Ну и чего ты ждешь? — бросила она мне. — Садись, мне некогда.

Я, ошалелый и покорный, занял свое место в машине, не подозревая, что открыл дверь в будущую сказку. Мотор взревел, и мы отправились в путь.

Глэдис, еще совсем незнакомая, молча вела машину, не поворачивая головы ко мне, ни о чем не спрашивая,

увозя меня туда, куда направлялась сама. Я же искоса разглядывал ее, не смея нарушить молчание и спугнуть видение. Она была настоящей леди. Нет, больше — звездной принцессой, спустившейся на землю. Но не растерянной и заблудившейся, а обладавшей тайным оружием, способным поразить любого, кто посмеет оказать сопротивление. Моя недавняя Пэм, местная модель и фотограф, длинноногая, точеная, резкая и озорная, показалась пресной земной самкой, досадным недоразумением. В тот момент я понял, что и нет у меня никакого опыта, и я не знаю, что делать с этими дурманящими чарами, поглотившими меня.

Я сидел рядом, дорога стремительной темно-синей лентой разворачивалась перед нами. Где-то там, во внешнем мире, превратившемся в декорацию, по крыше ее дорогого авто барабанил ароматный летний дождь. Я безумно хотел ее поцеловать, но почти слабел от самой мысли об этом. Спустя какое-то время она посмотрела на меня и, заприметив мой робкий и одновременно жадный взгляд, устремленный на ее рот, остановила машину и сама наклонилась ко мне.

Возможно, я потерял сознание на короткое мгновение. Ее губы были мягкими и уверенными, но внутри плоти я почувствовал то, что и так уже уловила моя душа — сладкий лед иных миров, дуновение судьбы.

Лишь много позже, ближе к помолвке, я смог отделаться от этого наваждения, возникающего каждый раз, когда я целовал ее. Она тогда плакала впервые, услышав мое предложение. Соленые слезы омывали ее лицо, и я наконец поверил, что смогу с ней сравняться. Я был счастлив, что она вочеловечилась в моем мире. Иначе я никогда бы не совладал с ее силой.

— Как тебя зовут? — спросила она, когда мы вновь двинулись вперед. Как будто и эта остановка для поцелуя была ее щедрым жестом, подаренным ребенку — только

чтобы унять его страхи. Прикосновение крыла бабочки, и все осталось в прошлом, как ни бывало.

— Николас. Ники.

— Чем от тебя несет, Ники? Потаскушками?

— Да, — пристыженно согласился я.

Это был первый поцелуй и диалог с Глэдис. Она сразу начертила размашистым почерком мой диагноз, но в ее приговоре я уже почуял грандиозный план спасения моей души.

На следующий вечер я уже признался ей в любви, и это было искренне. Я был столь ошарашен ее появлением, что отрекся от всей предыдущей жизни — кроме живописи, конечно. Но самое поразительное было то, что в деле соблазнения и увещевания Глэдис мне с самого начала сопутствовала невероятная удача: несмотря на сшибающую с ног ауру настоящей «звезды», она отчаянно нуждалась в тепле, понимании и заботе. И, конечно, в своем круге она не могла отыскать и расслышать их средь холодного звона металла. Впрочем, она и сама лучше всего улавливала именно его, хоть и привязалась ко мне уже в первый месяц наших отношений.

Мои родители восприняли новость о нашей помолвке с молчаливой неодобрительностью. Затем последовали вспышки открытого недовольства. Но, в конце концов, мне предоставили право совершить эту ошибку. Они боялись, что Глэдис испортит характер домашнего мальчика с необыкновенным чувством цвета, предпочитая забывать, что мой нрав и так был словно списан с образа обаятельного монстра из психологического триллера.

На ее фоне я показался собственной семье невинным агнцем. «Она совершенно не из нашего круга», — вливали они в меня свой испуганный шепот, как будто пара ларцов с бриллиантами могла мне помешать. Я искренне недоумевал: как они не понимают меня? В нее невоз-

можно не влюбиться. Это было бы такой же редкой разновидностью ненормальности, как количество людей, ненавидящих аромат розы. Глэдис благоухала и светилась красотой и аристократичностью. К деньгам она относилась исключительно как к средству, позволяющему проявить любовь к себе — никакой алчности, суетливости, перенапряжения. Благотворительностью не интересовалась, но это было простительно: главным объектом ее филантропии стал ваш покорный слуга. И все это — под блистательным налетом выверенного высокомерия, с тонкой ноткой — ах, вы слышите этот хулиганский пересвист, подобный звуку бьющегося хрусталя? — великосветской грубости и вульгарности.

Джон, увидав ее, просто крякнул и, отведя меня в сторону, сказал: «Ах, ты ж, шалава голубых кровей...»

А все остальное — искусно вплетено в мою жизнь, бежит венами по метрополитену плоти, ломает и оттачивает кости, рассыпается мушками перед глазами.

Глава 7

Это был дождливый, но теплый сентябрьский день. Почему-то почти все судьбоносные события в моей жизни, как сонные мухи липнут к осенним месяцам, с их перепадами настроений и коварством погоды. Может быть, это какая-то программа, заданная в детстве? Школьное расписание, обязывающее совершить рывок, усилие над волей, пока не выпал первый снег?

К Джереми меня привела Глэдис. «Э-ээ... То, что ты рисуешь — прекрасно, Ники, но у тебя совсем нет чутья на актуальность, ты уж прости, — сказала она мне багряным вечером, точным движением высекая огонь из золотой зажигалки и прикуривая тонкую сигарету, своей длиной грозившую поспорить с ее аристократическими пальцами. — Он лучший и самый востребованный в Лондоне. У него студия на Челси-сквер, газеты каждый уикенд смакуют его имя».

— Он постоянно скандалит? — ревнивой иронией я попытался остановить поток ее дифирамбов.

— И что с того? Зато все знают, как пишется его имя. Тебе бы не помешало немного обтесаться в его тусовке.

— Я должен буду мешать абсент с кокаином и участвовать в оргиях? Без этого не стать хорошим художником?

— Не провоцируй меня на глупости. Можно обойтись и без этого. Мы выработаем стратегию.

Моя подружка была страшно наивна, несмотря на деньги и влияние в провинциальном сообществе. Но это я сейчас строю из себя умудренного опытом пройдоху. Тогда же я с охотой поручил ее самонадеянности заботу о своем успехе, и с блаженной улыбкой на устах отдался во власть мечтам, припудренным аро-

матной (печенье, ваниль и чуть шоколада) крошкой. В конце концов, жизнь не могла ошибаться, главное было — не останавливать движение.

Вопреки здравому смыслу, наперекор всем полученным вскоре синякам и ссадинам, Глэдис сдержала обещание: у нее был план, и она показала европейской богеме то, что смогла слепить из меня. Горько признавать, но моя юность пришлась на время, когда талант без напора и готовности съесть два пуда дерьма ничего не значил. Сейчас все иначе, кто-нибудь мне подскажет?

Студия богемного бога находилась на пятом этаже одного из старинных зданий, несколько подкорректированного духом современности. А вот лифт не работал, что заставило меня тихо позлорадствовать. Но это было вымученное злорадство: полмили винтовой лестницы в сумраке, подцепленном виньетками запрещенных воскурений, измотали меня, не привычного к физическому напряжению. Глэдис же, напротив, хоть и пыхтела с каждым поворотом все громче, но глаза ее разгорались, будто работали не легкие, а мотор паровой машины. Наверное, она уже слышала рукоплескания публики моим творениям, и томные вздохи тощих дамочек, укутанных в тронутые модным тленом меха.

Узкий длинный коридор, застеленный красным персидским ковром, и я толкнул массивную дверь в студию, где обитал мой будущий мучитель.

Позже, много позже, уже совсем в другой жизни, Джереми обнимал меня своей крепкой рукой, другой заливая в себя лагер из высокого бокала, и раз за разом рассказывал, мешая силу с лаской и еще чем-то, въедливо ядовитым: «Помню, как ты вошел, малыш. Со своей дылдой, конечно. Я еще подумал: ха! Она сказала — ты художник? Какой, к черту, художник? Ты будешь моей любимой моделью! Какие глазки, какая кожа, а этот детский рот и пухлые щечки, — в этом месте он все время

принимался хохотать, как полоумный. — Когда я узнал, что ты к тому моменту уже трахнул двух баб, долго не мог поверить. Я-то думал, ко мне спустился ангел-девственник! Не прими за комплимент, конечно: у меня к восемнадцати уже двадцать в койке перебывало».

С того момента все именно так и происходило: у Джереми словно был припасен гроссбух с ежедневными подсчетами — у кого сколько женщин, мальчиков, денег, автомобилей, апартаментов, интервью. Похоже, я стал какой-то занозой в его сердце. Но хочется предостеречь особо романтичных наблюдателей от неверной трактовки моих слов: у него весьма своеобразное представление о любви.

Цирковой клоун высшего уровня мастерства, он не слишком заботился о том, кому показывать шоу: годились все, кто был способен платить. Женщины, конечно, размягчались от его улыбки, как сливочное масло на солнцепеке. Деньги он любил настолько, что готов был нацепить любую маску, лишь бы она хорошо продавалась. Пожалуй, его жизнь стала для меня одним из лучших спектаклей, которые мне довелось увидеть — поучительным, фарсовым, непредсказуемым. Театр одного актера, гениального лицедея, слишком буквально воспринявшего древний постулат о непрекращающемся танце. Джереми от рождения был наделен редчайшим тайным знанием: жизнь не имеет смысла, поэтому можно делать все, что взбредет в голову — лишь бы вовремя скрыться от полиции. Я так и не смог уяснить это, оставшись в дураках. И по-прежнему считаю его самым большим преступлением игры с любовью.

Он на весь мир готов был кричать о своем разбитом сердце, лишь бы журналисты не забывали его имя. Когда я сбежал от него, он сплел огромную липкую сеть из тысячи намеков, подпуская их на светских вечеринках и в беседах с папарацци на парковых скамеечках. Он да-

же сочинил стихотворение обо мне, и с беззаботностью меланхоличной девы якобы случайно оставил его на прикроватной тумбочке — дожидаться, пока в утреннем одиночестве проснется и протрет глаза его следующий любовник.

И я попал в эту сеть. Я на всю жизнь был обеспечен тремя увлекательнейшими занятиями: доказывать самому себе, что я не безумец; доказывать всему миру, что я не идиот; и, наконец, доказывать содомитам всей Европы, что Николас Фламинг никогда не был «крошкой» Джереми Джойса. Последнее мне, похоже, так и не удастся сделать: я на днях слышал, что новой гей-иконой стала Венера Милосская.

Разве мог я предположить все это, когда, обернувшись на тяжелый скрип двери, он направился к нам уверенной походкой настоящего мачо? На тот краткий миг мое предубеждение и страхи рассеялись: у него была необыкновенная улыбка — идеальная, широкая, мальчишеская, озорная. Словно созданная для того, чтобы презентовать его: посмотрите, какой я открытый, дружелюбный, с легкой горчинкой, спрятанной в глубине прозрачно-карих глаз. Он был соткан из красок теплой осени: золото, ржавчина, розовость, капучино, шоколад.

— Ты Николас? А ты Глэдис? — опередил он нас своим панибратским гостеприимством. — Ты молодец, что позвонила.

— Хочешь в мою студию? — он пристально посмотрел на меня. — Если ты действительно так талантлив, как я слышал, это будет даже бесплатно.

И зашелся хриплым негромким смехом рисованного медведя.

И теплый образ рухнул. Тогда впервые, но он рушился еще тысячи раз. Удивительно, как он умудрялся вновь и вновь напускать свои чары? Перед глазами все еще сто-

яла обволакивающая обаянием картинка в стиле кантри (мшистая изгородь, угасающее банджо, зачинающийся закат, сильный мужчина в клетчатой рубашке — он мог быть вашим отцом), но в душе зазвенел холодный клинок. «Как он смеет? Что он о себе возомнил? У меня уже три выставки, и весьма успешных!»

Каким деревенским простачком я был! У этого парня за плечами уже сотня презентаций, и какое дело Вселенной до того, что я считал его компилятивную фото-живопись идеальной иллюстрацией к энциклопедической статье «Коммерция из ничего». Его кости были схвачены тем же клеем, что и вечная цепь всемирной корпорации «Купи-Продай».

— Покажи картины, — непривычно резко бросила мне Глэдис. Я тотчас почувствовал себя малолеткой, которую чересчур заботливая мамаша привела на кастинг к режиссеру порно. Развернул несколько свитков, прихваченных с собой. Это были наброски — графитом, кое-где акварелью, парочка пастельных работ.

— Хм, — сказал он и кинул на меня короткий взгляд исподлобья, — ты действительно умеешь это делать. Какая интересная метода у тебя с цветом...

Он приблизил лицо почти вплотную к полотну, жадно прищурившись.

— Что за эффект? Как ты это делаешь? Наложение цветов? Откуда этот свет?

— Да... — нехотя ответил я, — делаю несколько слоев, а границу убираю.

К слову, уже пять минут, как мне разонравилась идея сотрудничества с этим рыжеволосым гигантом художественной попсы.

— Да я понимаю, что слои! — отмахнулся он с выразительным рыком и рывком — яростно, деловито. Слишком по-свойски, мгновенно разрушая мои бастионы и вымарывая планы отступления. — Но как ты собира-

ешь краски? В чем принцип?

— Я не замечал принципа, — буркнул я, не собираясь сдаваться. — Я делаю это интуитивно.

Я отвечал с предельной честностью. Откуда мне было знать в тот день, что вся его знаменитая импульсивность, телесность, напористость с оттенком доступности — не больше, чем легко продаваемая маска, которую готов приобрести каждый новичок вроде меня? Это было сотни раз опробовано и приносило результаты. Что он брал взамен? Чужие секреты, конечно же.

Но за мной присматривали очень зоркие ангелы, лишившие зрения меня самого. Я действительно понятия не имел, как у меня получается так смешивать краски. Я просто чуял, какая капля должна следующей упасть на холст — грозовая, медовая, или от соуса с паприкой. Поэтому мне нечего было сказать Джереми.

— Ладно... — помолчав, решил он, — у меня есть кое-какие мыслишки насчет твоей мазни, Николас. Выбирай зал побезлюднее, или какой приглянется. Мы открыты круглосуточно.

(Он опять хохотнул).

— Дубликат ключей возьмешь у портье внизу. Встретимся завтра, здесь же, и обсудим.

Я так и не понял, что мы должны обсуждать, и что вообще происходит. У меня уже был свой план, без скандалов, без грохочущих звездопадов, но с ровной, пусть и каменистой, дорожкой к успеху и — что немаловажно! — порядочности. Конечно, Глэдис он не нравился. И я оказался в ловушке: мне не приходилось жаловаться — ведь она, в отличие от Пэм, все свои силы направляла на мою карьеру. Дома, на каминной полке лежали приглашения от владельцев двух залов, а этот тип вдруг вздумал одним щелчком развернуть русло моей жизни? «Нет, не пойдет», — сказал я себе. Пока не увидел небольшой, но великолепно освещенный зал, отданный

в мое распоряжение.

Этот Джереми был сам дьявол. Он воплощал мои тайные желания прямо из воздуха. Он плел сети — с неведомой мне целью. От него пахло роскошью и уверенностью — как и от Глэдис. И я сдался. Мне очень хотелось попробовать этой сладости, правда.

Разговор, который состоялся на следующий вечер, отправил мои прошлые задумки в корзину для мусора и расчертил будущее четкими графами.

— Ты хорошо рисуешь, но это еще не все. Эх, да ладно... — сказал он мне, — ты почти гениально рисуешь. Но мир перегружен, пойми. Кризисы, инфляция, гонки вооружений, сексуальная революция, политика дуализма... Ты хоть понимаешь, о чем я? Мир не хочет тащить на себе еще и тяжесть чьей-то гениальности. Мир не желает думать. Он собирается наслаждаться. Как у тебя с этим? Ты умеешь удовлетворять гомо сапиенс?

Я вытаращил на него глаза. Он произнес это с таким переливчатым смешком, что я уж было подумал — смысл ускользнул от меня. Затем я научился быть всегда начеку: самые невинные слова этого типа могли стать началом нечистого пути, а грубые шутки ничего не значили, тут же обрываясь камнем в пропасть забвения.

— Кто, кроме пациентов дома престарелых и матрон, потерявших надежду найти любовника, пойдет на твои выставки, как бы ни сиял твой изумительный цвет? Ну, если только школьников загонят по воспитательной программе, позаимствованной у Третьего Рейха. Сейчас в моде междисциплинарный подход, малыш.

(С этого момента он так и звал меня, не поинтересовавшись, как мне это на вкус).

— У выставки должна быть презентация, а у презентации — актуальность, — поучал он меня, расхаживая по студии, и его руки чертили в воздухе такие же размашистые шаги. — Актуальность рождается из злободневности.

Но мы уже решили, что нам нужна легкость. Поэтому пусть злободневность носит имя индустрии развлечений.

— Открытия центров, кинозалов, театров, супермаркетов, ресторанов, фабрик, железнодорожных путей... — я сидел, разинув рот, и внимал потоку его сознания, — вот наша золотая жила. Ты слышал про инсталляции?

— Но я не хочу фабрики и железные дороги... — робко мяукнул я, в надежде, что мне удастся остановить полет его мысли. Удалось.

— Почему? — он и впрямь замер и внимательно посмотрел на меня.

— Фабрики, железные дороги... Звучит как-то громоздко. И я не хочу рисовать трубы и шпалы.

— Ты ровным счетом идиот, — спокойно резюмировал он и продолжил:

— Инсталляции. Ландшафтные экспозиции. Промышленный и урбанистический фэн-шуй...

— Постой, Джереми! — в отчаянии выкрикнул я, — Стоп!

Он вперился взглядом, выжидая. Впервые мне захотелось быть практичным. Вникнуть в суть дела. У меня было ощущение, что я присутствую на конференции экономистов и инженеров космического кораблестроения, и если срочно что-то не предприму, они договорятся и отправят меня со всей семьей на Марс.

— Как это выглядит на деле, хотел бы я знать? Вот.

— Молодец, — слегка удивленно похвалил он, — начинаешь учиться. Как выглядит? Приходишь ранней весной в Гайд-парк, и оборачиваешь сиреневой тканью стволы черешен.

— Красиво. Но, Боже мой, зачем? Я рисую! Я художник, а не портной!

— Художник, — проворчал он, — хорошо. А в тени деревьев прячешь свои картины. Подгоняешь все к тому моменту, как почки набухнут, и приглашаешь зажрав-

шихся лондонцев встретить весну в японо-саксонском стиле. Годится?

— Хм... Звучит прелестно. Но я уверен, что за этой красивостью прячется множество трудностей. Организационные вопросы, безопасность полотен, состав публики. Вообще-то, я предполагал, что твоя группа выставляется в классических залах.

— Так и есть, — буркнул он, — а что нам мешает нарушить эти правила? Мне надоело, что пресса вспоминает о художниках, лишь когда кто-нибудь из них в наркотическом угаре выпадет из окна. Считай это моим признанием. В прошлые века не было никаких средств связи, кроме почтовой повозки и голубей, но имена мастеров гремели по всему Старому Свету. А что сейчас? Американец узнает о событии спустя полчаса, как оно произошло где-нибудь в Индии, а сопоставить мою рожу с моей же картиной — не сможет. Выставка — это грандиозно, но автор остается за кадром.

— Нет-нет, — запротестовал я, — публика знает имена гениев, ты не прав.

— Гениев? — Джереми захохотал. — Послал Бог младенца! Я так понимаю, ты себя гением считаешь?

Он приблизился ко мне и с неожиданной злостью ухватился за горловину моего пуловера. Вся его растоптанная самооценка выплеснула свой застоявшийся яд в этом жесте.

— Современные гении, малыш, пейзажами не балуются. Прелестные очи и розовые перси не рисуют. Романтикой зрителя не потчуют. Для того, чтобы называться гением, надо иметь внутри боль — но и этого недостаточно! Надо уметь эту боль передать на холсте. Темные, режущие нутро образы, подсмотренные в Аду. Их не подделаешь, не выдумаешь, любая натужность будет очевидной. У тебя есть внутри боль?

Боли у меня не было — это я вынужденно признал.

Впрочем, той боли, о которой так внезапно принялся рассуждать Джерри, у меня нет и сейчас. Она никогда не была частью моей натуры, диапазон которой сужается от безумной радости к пронзительной грусти, но не далее.

— Ты сам сказал, что я гениально рисую, — начал я, но он сразу же меня перебил.

— Гениальность техники еще не означает гениального замысла. Я, конечно, понимаю, что тебе всего двадцать, но твоя наивность превосходит даже твое деревенское происхождение.

Упс! Еще одна колкость, которая войдет в его повседневный репертуар. Каждый раз, как только ко мне подходил кто-то — та самая дама в мехах, о которой мечтала и одновременно боялась Глэдис, пройдоха журналист, хитроумный коллекционер — и я начинал распинаться о младенчестве и чистых истоках своего дара, Джереми вкручивался в мой сказочный мир, как сверло дантиста, и вспарывал ладный замысел язвительным замечанием, спрятанным в обертку случайной ремарки. «Да-да, талант Николаса вызрел в заливных лугах, на свежем деревенском воздухе».

— Мы должны сделать что-то новое, — упрямо твердил он. — Я недавно был в одном прелестнейшем ресторанчике во Флоренции. Сидел за столиком прямо под собственной картиной. Видимо, хозяин приобрел ее на каком-нибудь аукционе. Узнав, что я заказал Sassicaia[1] шестьдесят восьмого, он самолично принес бу-

[1] Сассикайя — знаменитое итальянское вино, производящееся в Тоскане с 1968 года. В 1974 году шестилетнее Sassicaia неожиданно одержало победу над собранием элитных вин Франции на дегустации винного журнала «Декантер». С этого момента и началась его слава. Именно это вино заказал Джереми.

тыль и, увидев мой заинтересованный взгляд, принялся петь, как он понимает и чувствует это полотно. Да еще и наплел тысячу и одну притчу обо мне самом. Я, конечно, спустил его на землю — признаюсь, очень резко, но все это было невыносимо. Наши таланты не должны оставаться обезличенными, Ники. Я хочу, чтобы они были *обличены*, понимаешь? Мы смогли бы заработать в сотни раз больше, но для этого надо рассеяться по миру, как назойливый вирус. Хватит загонять себя в золоченые рамы. Я лучше распишу фресками детское кафе, но при этом каждый житель города будет знать, кто это сделал.

— Боже мой, — простонал я, — Джереми, я понимаю все, что ты говоришь. И это резонно. Но я всегда был художником, а не декоратором.

Он опять не дал мне договорить. Ярость вскипала в нем, как лава в жерле древнего вулкана. Он и сам был похож на этого мифического героя: к краскам его образа и сумрачному абрису плеч больше подошла бы наковальня и вызывающе огромный молот в натруженных руках.[1]

— Декоратором? Так ты это называешь? Думаешь, это не стоит труда и таланта? Ты, небось, из тех, кому полгода нужны, чтобы вычерпать хилое вдохновение из райских кущ, да создать что-нибудь? Я не буду ждать, пока ты найдешь полезные ископаемые в своем носу, понял? Мне нужно быстрое развитие и непрерывное движение. Ты узколобый болван, если считаешь, что нужен кому-нибудь со слезливыми пейзажами и намеками на любовную драму.

Да, я вынужден с ним согласиться. Сейчас, спустя

[1] Вулкан (лат. Vulcanus) — бог огня и покровитель кузнечного ремесла в древнеримской мифологии. Сын Юпитера и Юноны.

тринадцать лет. Я во многом косен от рождения, по какому-то злому кармическому закону. Джерри дышит только идеей денег и славы, но ради этого он убедит жителей Земли, Венеры и Марса, что существует тайная, десятая планета Солнечной системы. Я же знаю об этой планете наверняка и заранее, как и о двадцати других — но посмей пикнуть об этом хотя бы во сне, буду высмеян всем человечеством. Моя косность не позволяет мне найти искрометные методы убеждения и вывести звездные формулы.

Признаться, я был напуган волнами эмоций, которые извергал на меня этот скандально известный тип. Он представлял собой все, чего я сознательно сторонился, пытаясь укрыться в нафталиновых миражах о профессии художника. Начав работать с ним и его командой, я впервые осознал, что должен был родиться на полтора столетия раньше. Мне хотелось встречать росистые рассветы с кистью в руках — и надо отметить, у меня это неплохо получалось до того времени. И я вовсе не был ханжой, и всегда с жадностью окунался в тягучие воды своей теневой стороны: именно так я видел подлунную любовь, нередко позволяя себе игры с бездной. Но... И это было романтикой. Из всего я иссекал красоту, во всем искал проявления гармонии. И никогда не мог выбраться за пределы зеркального круга чувств и эмоций, носящих любовные оттенки.

А вот для чего это делал Джереми?

Он так страшился жизни, что несся по ней галопом, пожирая и втягивая алчным ртом все, что попадалось на его пути. Уже тогда, в первые дни общения с ним, я подумал, что однажды кто-то украл у него знание о том, что его жизнь не случайна и может принести кому-нибудь пользу. И, уверовав в бессмысленность бытия, он запретил себе останавливаться, чтобы не быть поглощенным тишиной, в которой вдруг раздастся гомон бес-

конечных вопросов, роящихся в его голове. В общем-то, в этом он мало отличался от большинства людей — кроме того, что все плотское, низменное, эгоистичное, не могло существовать в нем иначе, как в избытке, взахлеб и вперехлест. Не душа его просила ощущений — они нужны были ему, чтобы не слышать ее голос.

— Николас, — он опустился на корточки перед диваном, на котором я сидел, и мое официальное имя в сочетании с его жестом оттеняли друг друга, как вечерний сумрак, пронзенный острым запахом табака, и белое девичье платье. Я всего лишь успел отложить это впечатление в копилку сюжетов, а он уже знал продолжение:

— Ты будешь рисовать, как захочешь. Я тебе обещаю. У тебя будет студия, материалы, натурщицы. Мои связи и мое прошлое — к твоим услугам. Но позволь пригласить тебя в нашу совместную работу. Давай сделаем это. Ты слишком талантлив, я не хочу упустить такой шанс. Я чую успех, это словно ток крови под кожей. Понимаешь ты? Я вижу, *вижу* это. Вдвоем мы с тобой сможем больше, чем порознь. Я предлагаю добиться всего — славы, денег, шума вокруг нас. Чем выше мы вознесемся, тем виднее будут людям твои картины.

Вся эта дребедень, его сладкие слова — они ничего не значили. Он так никогда и не узнал, что я встрепенулся, услышав только это: я *вижу*. И здесь взвилась к иллюзии света моя давняя боль, наивное отчаяние и бесконечное стремление найти того, кто поймет, как я чувствую этот мир. Еще одну сороконожку, инопланетного монстра, передвигающегося на ощупь, изучающего тропу нервными мясистыми усиками — как угодно, но *такого же*, как я.

Мы приступили уже на следующий день. Глупо было предполагать, что паук заманивал меня в пустой угол — сеть уже была сплетена, не хватало лишь части узора, вытянутой из моих жил. Слава Всевышнему, начали мы

красиво. Я бы не перенес, если бы первой выставкой, учиненной нами, стал набор натюрмортов к открытию супермаркета. Но Джереми каким-то чудом урвал право росписи зала торжественных собраний при одном из лондонских соборов. Трудно изобразить траекторию мысли, приведшей чопорных духовных лиц к идее тесного контакта с публикой, но замысел, который они пытались донести до общественности, заключался в том, чтобы позволить «новомодным» художникам предъявить на их строгий суд свои представления о Боге.

«Это вроде как проблема бездуховности нынешней молодежи, — пояснил мой напарник. — На нас возложена серьезная миссия, малыш. Мы можем оправдать в глазах этих полузадушенных викариев парочку поколений. Как тебе?». И он удалился в свою мастерскую, гордо вознеся нос, похожий на картофелину, состроив постную мину и закинув на плечо футляр с кистями, будто крест. Я не удержался от смешка.

Правду сказать, я опасался за собственные представления о Боге, которых от меня ждал пропахший известью зал. Мое восприятие христианства не выходило за пределы распятий и молитвенников, атрибутов церковных служб, куда меня загоняли — скорее, по семейной традиции, нежели по искреннему волеизъявлению. Христом я восхищался и честно признавал, что мне его подвиг кажется непосильным. Если говорить еще более хлестко и беспощадно (по отношению к себе, разумеется) — я предпочитал держаться от него в стороне, хотя внушенный в детстве символ веры засел в подкорке каменной аксиомой. И пусть критичный юный исследователь во мне и заявлял, что сие есть беспомощная человечья интерпретация утерянных и неотличимых от дымки над горизонтом фактов, но чувство долга и обязательства оправдать надежды этого ушедшего неизвестно куда героя, скребло по ткани души. Положа руку на сердце,

ощущение было не очень приятным. Потому я испуганно замер перед необходимостью воплотить его в цвете.

Но Джереми сказал: «Не бойся». Несмотря на продажность, он умел время от времени убеждать в своем таланте. Из тех сотен и сотен полотен, которые он начал, набросал или создал при мне, пара десятков действительно пробирала дрожью до костного мозга. «Долго не думаем. Рисуем ангелов и апостолов, — решил он. — Давайка обманем их и похерим вековую пастораль. Холод, пронзительность, жесткость — наша концепция».

Мы приберегли эгоцентризм и самодостаточность до полноценной выставки, и на этом рекламном подиуме отработали в одном стиле. Приглядевшись, уже к концу третьего дня я бескомпромиссно понял, что наши «холод, пронзительность и жесткость» подозрительно напоминают штрихи Эль Греко. Джереми, недолго думая, объявил основной цвет неправдоподобно синим и леденяще голубым — и сходство вроде бы пропало. Я старался не всматриваться — рисовал с открытыми глазами, но при встрече с советом попечителей их зажмуривал.

Таких отблесков и воплощенных духов ушедших мастеров в наших триумфах перебывало немало. Утешала лишь правота Джереми, рассуждающего о том, что истинное вдохновение можно оставить для выставок, а выполнение проектов на заказ от подсматривания за другими не испортится.

На удивление, все прошло благополучно. На церемонию открытия слетелись все местные мухи и несколько представителей более крупных классов насекомых, которым это полагалось по чину. Нас запомнили, как выразителей чаяний и надежд на собственное спасение, делегированных от падшей молодежи. Я плохо улавливал смысл помпезных речей, но мой коллега перевел мне их после: «Нам очень жаль, что мы так мало внимания уделяем нашей духовности. Теперь мы раскаялись и труди-

лись в поте лица, дабы избежать Геенны Огненной». И добавил: «Ты так мило хлопал глазами, что чуть не разочаровал любителей жареного. В следующий раз, если нам придется разыгрывать кающихся грешников, я напою тебя накануне, чтобы твоя погибшая душа выглядела правдоподобнее».

Приблизительно так все начиналось, и судьба сразу явила мне портрет Джереми, вполне сходный с оригиналом. Жаль только, что я уже носил розовые очки: жизнь баловала меня. Я привык к Глэдис и ее роскоши — они стали неотъемлемой частью повседневности. Жена не щадила денег, вкладывая их в мой талант, имидж и просто развлечения. Теперь у меня появилась и мастерская в богемном районе Лондона. А после «духовного опыта» собственной рекламы — мушки перед глазами, которые я не успел вовремя закрыть, когда жадные фотовспышки первого интервью ослепили меня.

За три года мытарств по землям славы и денег, мы размалевали все кафе, школы, здания муниципалитета и библиотек в соседних галактиках. Мы участвовали в каких-то невозможных акциях, спасая неизвестные не только мне, но и науке виды животных и людей. Сотворили декорации к пяти спектаклям, среди которых были «Ромео и Джульетта», «Трехгрошовая опера» и еще что-то, своей конфигурацией напоминавшее хоботы слонов и клубки змей из Кама Сутры — я предпочел деликатно отвернуться. Как и обещал Джерри, мы зачем-то устраивали инсталляции в парках, лесах и на автотрассах. Их смысл всегда ускользал от меня, отчего я чувствовал себя полнейшим идиотом, не в силах осознать, почему поляна перед Оксфордским университетом должна приобрести вид австралийской зебры. Все это было как-то связано с банковскими счетами, заказчиками и состоянием общественного мнения. Впрочем, когда я видел прелестную колонку цифр, предъявляемую мне служа-

щим Мидленд-Банка, мне становилось все равно и... Нет, даже больше: я был очень благодарен Джереми за то, что он сам все придумывает и решает. Тем более что за это время мы все-таки успели создать шесть настоящих выставок — в просторных галереях, престижных залах, с дальнейшей экспозицией в Европе.

Довольно быстро стали обнаруживаться всякие досадные мелочи. Оказалось, запах денег столь сильно манит моего коллегу, что он начинает отчаянно, безобразно торопиться, и готов представить на общественный суд самый что ни на есть непропеченный товар. Он был скор, как болид, и пока я с вдумчивой медлительностью выверял свою quantum satis[1] в цвете и пропорциях, мистер Джойс, гроза слабохарактерных дамочек, махал кистью так, что брызги во все стороны летели. Но — еще одно рекламное чудо! — его мазня воспринималась критиками как высокохудожественный замысел, если не сказать больше — умысел.

И каково же было мое возмущение, когда я таки пронюхал, что сей знаток человеческой психики ненавязчиво подбросил публике идею вечной борьбы противоположностей, воплощенной в наших стилистических приемах — и отныне на мой талант и старание и на его бездарность и нетерпение смотрели, как на неразлучные составляющие одного целого. Даже хуже: моя методичность и гармония на его взрывном фоне воспринимались как академичность рядом с импрессионизмом. Вот до чего дошло!

Чтобы не выглядеть старомодно, мне пришлось подыграть ему. И теперь, когда мы стояли рядом и наши тени сливались, все знали: так было задумано. Мы стали

[1] В переводе с латинского — «сколько потребуется», «по вкусу».

модными. Идея творческого взаимодействия противоположностей постепенно вышла за рамки лондонской художественной среды и заполонила собой все псевдокультурное пространство. Пророчества Джереми сбывались: оказывается, даже столь мирную, хоть и отдающую гнильцой профессию, как художник, можно сделать шумной и узнаваемой.

И, утопая в контрасте собственных душ, мы придумали выставку, взорвавшую салоны нескольких стран и послужившую основой для одного мюзикла и двух художественных фильмов — «Инь&Ян». Я рисовал девочек, Джереми — мальчиков. Мы объелись аплодисментами и громыхнули финальным аккордом в Амстердаме, а затем захватили шикарный люкс размером с космический корабль, да отпраздновали триумф в небольшой дружеской компании: Глэдис, Джереми, его подружка (по совместительству мать ребенка) Ингрид, самодовольный юнец Николас Фламинг и парочка наших менеджеров — молоденьких сероглазых зайчиков на побегушках, с выверенной мелодичностью голосов, столь необходимой для заокеанских телефонных переговоров.

В распахнутые окна вливалось голландское ночное небо — глубокое индиго со всплесками янтарных фонарей, и июльская жара, отдаваемая старым городским камнем. Я, в одних джинсах, валялся на каком-то широченном диване, наслаждаясь очередной сбывшейся мечтой. Роскошь, свобода, изысканный вкус. Кстати, что это? Спелая «Виктория» и Перрье-Жуе? Глэдис прикармливала меня с руки огромными сочными ягодами, серебристо хихикая — то на поверхность юной души выходили волшебные пузырьки вина. Я бесконечно любил ее в тот момент. Ее, Джереми, молоденькую горничную с затянутой осиной талией, профессионально разгрузившую столик, порхая ухоженными ручками в сантиметре от моего чуткого носа. Даже наших безмозглых помощников, по-

дозрительно сопящих на тахте в дальнем углу огромной комнаты. Но больше всего в тот миг я любил себя — за настойчивость грез, за сумасбродную веру в собственную харизму, озарявшую картины больше, чем краски и кисти. Мне был двадцать один год, и мои заработки за последние шесть месяцев составили половину долгожданного миллиона. Жена шептала на ухо милые скабрезности, Джерри недовольно косился в нашу сторону: Ингрид страдала от его узаконенного присутствия в своей жизни уже не первый год.

Глэдис знала, как раззадорить меня, но мой именитый коллега владел этим искусством несравненно лучше. Встав с дивана, он сгреб широкой лапой несколько десятков крупных купюр, валявшихся на столике среди фруктов, подтаявшего шоколада и шампанского, и подошел к нам. «Кис-кис, мое сокровище», — позвал он, возвышаясь надо мной и отпуская бумажки в свободный полет. Мягкой прохладой они приземлились на мою вспотевшую грудь, и влажность намагнитила их, прилепив к коже. Несколько упали на лицо, и я инстинктивно зажмурился и задержал дыхание, чтобы случайно не соприкоснуться с десятками чужих жизней, оставивших на них свой человечий дух. Резко смахнув их, я спросил наглеца: «Что, Джерри?»

— Обещай мне кое-что, малыш... — сказал он, усаживаясь на пол рядом с нашим диваном.

— Что еще ты придумал? Говори!

— Обещай, что никогда не бросишь меня, Ники, — обволакивающий бархатной теплотой взгляд — прямо в глаза.

— Что за чушь! — рассмеялся я. — Уже успел перегреться? Возьми в холодильнике мороженое.

— Не дури, малыш. У тебя от всех бед одно спасение — бутылочка с молочком. Я тебе не в любви объясняюсь, — он провел дорожку по моей груди указатель-

ным пальцем, ловко огибая трепещущие на сквозняке банкноты. Глэдис нахмурилась и ударила его по руке. Джерри лишь бровью заиграл.

— Ты золотая жила, мальчик. Магнит для денег. Не бросай меня, моя жизнь без них не имеет смысла.

Меня пробрал гомерический хохот:

— Верю, Джереми! Ну скажи, почему я так верю тебе?

Я привстал на локтях и пристально посмотрел на него:

— Иди ты в задницу, понял?

С блаженной улыбкой он повернулся и сел, опершись головой о край дивана — а заодно, и о мои бедра. Я попытался отодвинуться, вжавшись в Глэдис, лежащую с другой стороны. «Это и есть один из тех моментов, когда жизнь становится почти невыносимой... наверное, — подумал я. — Неужели я когда-то плакал, сидя на крыше под проливным дождем — от того, что меня бросила какая-то провинциальная фотохудожница? Сколько времени прошло с тех пор, как я в последний раз лил слезы? Смотрел на звезды? Ах, вру! Только вчера, в кабриолете, на трассе между Берлином и Амстердамом».

Понимаете, весь богемный мир лежал у моих ног, мне и невдомек было, что я все еще юн и также глуп. Как я мог догадаться?

— Николас, вот скажи на милость, — продолжил Джойс, — ты выставил на три картины меньше, чем я, а продал на шесть больше... А?

— Пользуются спросом, — буркнул я в ответ.

— А мои что — плохи? Пока тебя не было рядом, я продавался лучше всех на островах.

— Ты и сейчас лучше... многих.

— Какая искренность! — рассмеялся он. — Наш вундеркинд не смог соврать, и исключил себя из их числа. Что ж...

Он вновь повернулся ко мне:

— На твоих картинах девушки, и скупили их женщины. Мы так договаривались, я помню. На моих картинах — Аполлоны, один другого краше, и публика ограничилась хвалебными одами.

— Мы не договаривались! — перебил я его. — Это была твоя идея, помнишь? Ты захотел рисовать мальчиков.

Он пожал плечами.

— Я думал, ты мне будешь позировать, малыш.

— В следующий раз, прежде чем что-то думать, спроси у вселенной, чего она хочет.

— Ой, уймись, только не философствуй. Лучше ответь, как тебе удалось?

— Женщинам нравится, когда ими восхищаются. Никогда о таком не слышал?

— Маленький недотрога учит меня обращаться с бабьем! — он фыркнул и поднялся на ноги.

— В твоих картинах есть что-то... гомосексуальное, Джерри. Ты уж прости.

— Ингрид, ты слышала? — вдруг заорал он. Мы все вздрогнули.

— Не закатывай истерик, прошу, — тихо сказал я ему.

— И как в моей мазне оказалось все это, Ники?

— Не знаю, — хмыкнул я, — может, ты гей?

— Да что ты?! — притворно изумился он и подхватил свой бокал со стола. — А если бы ты позировал, я бы продал все. Тебя бы купили.

Я предпочел смолчать. Джереми направился к жене. Приостановился, оглянулся и повторил:

— *Тебя* бы купили.

Да, это были новые нотки наших взаимоотношений. Впервые они зазвучали, как только проект выставки был одобрен.

— Ты не согласишься позировать мне, Ники? После этих пяти полотен мне потребуется что-то более хрупкое и эфемерное — мои Адамы на них слишком осязаемы.

Он сказал это с выверенной щепоткой виноватости, но надежда, сквозившая в глазах, была чересчур явной и оставляла отчетливый железистый привкус наглости на языке.

— Джереми, ты в своем уме? Я художник, а не натурщик.

— Я знаю. Но мне действительно нужна модель твоего типажа. И потом... Это было бы интересно. Мы бы зацепили публику на очень острый и сложный крючок. Ты должен чувствовать это.

— Нет! — прервал я его.

Но он возвращался к своим просьбам регулярно, и с каждым разом они становились все более развязными и нахальными. Он выстраивал непонятный мне тип отношений, в которых я ощущал себя подопытной гусеницей, не в состоянии увернуться от меткой иглы бессердечного экспериментатора. Внешность и воспитание сыграли со мной дурную шутку. Только из-за того, что я долгое время отказывался произносить бранные слова, а мое лицо редко искажалось звериной гримасой злобы, меня подозревали в отсутствии мужественности. Мне потребовалось на десять лет больше, чем обычному человеку, чтобы наконец осознать: мое искреннее «нет» ничего не значит для людей, и они будут идти напролом к своей цели. Существа, называемые людьми, не умеют взаимодействовать, используя принципы уважения к чужому мнению и свободе выбора. Знание этого искусства баланса им попросту не дано. Судите сами — они рассуждают о сострадании и гуманизме, но нуждаются в законодательстве, и лишь страх наказания порой удерживает их от насилия.

Не знаю, что было хорошего в тех днях, кроме наконец-то свершившегося благополучия и нашей с Глэдис молодой развеселой любви. Все развлечения мира были в нашем распоряжении. Словно пресыщенные бесы Во-

стока вселились в Запад, покорив его, и когда мы разъезжали по Европе, я чувствовал себя падишахом из индийской сказки. Деньги творили чудеса. В заснеженной Швеции в наш номер подносили ужин прекрасные эмигрантки в красных шальварах. Кожа у них была, как масло грецкого ореха, но Глэдис, конечно, взревновала не на шутку, не позволив мне запечатлеть их на фотопленку, чтобы затем нещадно и бессовестно использовать в своих живописных фантазиях.

В то время она принялась закатывать мне истерики по поводу каждой девицы, появлявшейся в моем исключительно профессиональном окружении. Я ведь был художником! Я пытался объяснить ей это, но она будто забывала, что сама вывела меня в мир больших огней и гулких выставочных залов. Работая над выставкой, я собирался воплотить на холсте двенадцать наяд, и все они, от дымчатых блондинок до восточных красавиц гранатовой спелости, были идеальным воплощением замысла. Джереми подобрал их в лучших притонах нашей галактики — они знали свое дело, но, купаясь в богемной роскоши, еще не были тронуты тленом мимолетности и забвения. Я так и не смог понять, кто из них является моей любимицей: каждая на свой лад была воплощением какой-то потусторонней идеи красоты и гармонии. Я не имею в виду, что у них были одинаково выверенные пропорции фигур и лиц, нет. Но любая из них представляла из себя некий законченный образ, мифическую богиню, героиню древнего эпоса. Ожерелье из фей — и у каждой есть свое волшебное имя, данное ей еще тысячи, тысячи лет назад. Понимаете теперь, о чем я?

И как только ему удалось провернуть это? Думаю, дьявол обострил его нюх, пока он выискивал девушек под разноцветными фонарями ночи. И все лишь для того, чтобы опоить меня этим зельем и не дать выбраться из сетей. Он использовал любые возможности, шел все-

ми путями, только бы добраться до моего сердца. Он хотел сделать меня таким же, каким был сам. Это вы тоже понимаете?

Он даже выбрал нужный момент, чтобы пригнать эту чудную стаю в мою мастерскую. Глэдис уже неделю была в отъезде (спряталась на каком-то спа-курорте, чтобы сделать мне некий подарок), августовский вечер томил и изводил своей пьянящей красотой, и вдруг! — представьте, что сочный экстракт ваших грез пубертатного периода материализовался на расстоянии вытянутой руки. Изнывая от жаркого одиночества, я, задыхаясь, взобрался на свой этаж, повернул в замочной скважине ключ, включил свет...

«Сюрприиииииз!» — радостно зарычал Джереми, развалившийся в моем любимом кресле. В центре зала стояли двенадцать абсолютно нагих красавиц. Освещение было идеальным, их кожа будто испускала золотое сияние. Волосы у всех были длинными, ухоженными, струились, как шелк.

— Боже, Джерри... — изумленно пробормотал я, подходя к ним ближе (чтобы рассмотреть еще лучше). — Совсем не обязательно было их раздевать. Мне все равно понадобится атласная драпировка... Или шифоновая.

— Да что ты, малыш! — он подскочил с кресла и похлопал меня по плечу. — Ты должен знать, с чем работаешь! Повернитесь-ка, девочки!

Стайка грациозно развернулась спинами к нам. Все разнообразие фруктового рая. Девчонки были босиком, но стояли на цыпочках.

— Ты подлец, — с уверенностью сказал я, — у тебя этот дар врожденный?

Это было первое настоящее испытание профессией. Поначалу они заладили приходить все вместе, и мне пришлось потратить немало слов, чтобы объяснить принцип работы. Казалось, стеснение им неведомо от природы: я

не успевал и рта разинуть, как они сбрасывали с себя одежды и вставали в самые обольстительные позы. Только потом, после разрыва с Джерри, до меня дошло, что это была его школа. Разговаривать с ними в принципе было невозможно: ни один из человеческих языков, кроме языка тела и взглядов, им был незнаком.

Тем не менее, мне удалось сохранить целомудрие и удержаться от соблазна. Я слишком дорожил своей Глэдис, чтобы пойти на поводу у мимолетной одержимости чужой красотой. Мы провели еще мало времени вместе, и моя любовь к ней покрывала все вокруг радужными переливами, не оставляя надежды на взаимность не только другим женщинам, но даже солнечным бликам листвы на асфальте.

Нет, я не могу сказать, что во всех этих девушках видел Глэдис. Они были слишком разными, а моя юная жена чересчур терпкой. Ее вкус незабываем, узнаваем в малейшем движении. Я всегда сравнивал ее с лучшим сортом корицы, пыльца которой попала в бокал с вином — но ей было мало этих восторженных од. Именно потому, что ее претензии к моей супружеской верности усиливались, ее однозначность проявлялась все отчетливее, и я стремился собрать драгоценности, подаренные мне натурщицами — будь то капли янтаря, или горошины жемчуга — и накинуть их нити на нее. Возможно, уже тогда я услышал едва заметный перезвон разбивающейся мечты, но предпочел прогнать слуховую галлюцинацию прочь. Я хотел жить нашей сказкой. Я был молод, и боялся задумываться над тем, соответствует ли она моим истинным желаниям. Все было настолько прекрасно, что любые мечты отступали перед реальностью — так я мыслил в то время. Сама вечная любовь смирилась предо мной. Она была слишком абстрактна, а длинноногая красавица, сидящая со мной рядом в роллс-ройсе — осязаема, ароматна, насыщена красками лучших модных домов Европы. Мне казалось,

это и есть ощущения Бога.

Я не хотел случайно разрушить все. Я воспринимал действительность, как картину, состоящую из великого множества пазлов: если дается одна деталь, какое право я имею подвергать сомнению целесообразность другой? Я никогда не допускал этой ошибки, присущей многим — вздыхать о чужих успехах и достижениях, отказываясь видеть их изнанку и желая заполучить лишь засахаренный результат.

Но Джереми... Он стал моим другом и искуснейшим врагом. Теперь без него не обходился ни один день. Каждый мой шаг становился предметом его обсуждения или осуждения. Я делал что-то, приходившееся ему по вкусу, я рисковал, рисуя рисовую белизну запрещенных к показу образов — и получал одобрение. Я трусливо сбегал после презентации вместе с Глэдис, пока она не рассмотрела чешуйчатую кожу змей, подкинутых им в наш лимузин, извивающихся в нем натренированными любовью телами — и видел на следующий день каплю их яда, застывшую в уголке его рта. Я мог вдруг заслышать слабое тиканье под сиденьем своего авто, и с ужасом обнаруживал бомбу, завернутую в малиновую фольгу: она рассыпалась пахучим порошком, и мой злой волшебник оставлял приписку на фантике — «Съешь меня, испей меня» — заигрывая со мной, как владелец Луна-парка с несмышленым ребенком. Мне пришлось выучить названия и вкус дорогих вин: только из них я мог выстроить баррикаду, ограждавшую меня от тяжелой артиллерии его коллекции абсентов. Он не понимал намеков и прямых отказов. Единственным оружием против него был стиль жизни, который мне удалось создать — закрытый и наполненный только моими желаниями. Удивительно ли, что Глэдис везде и всюду была со мной?

Еще одно досадное, но заразное недоразумение при-

ключилось однажды, когда я без спроса заглянул в его мастерскую. Нет, он никогда не запирал дверей, и заклинания не висели в воздухе, отталкивая от его тайн — но он нахмурился, когда приметил меня, стоящего на пороге. Я молчал, разглядывая то, над чем он работал. По студии были расставлены внушительных размеров фото-полотна с пейзажами какой-то диковинной страны: трава голубая и розовая, небо зеленое и желтое, деревья белые. Джерри колдовал кистью над контурами.

— Что это? — все же решился спросить я. — Ты работаешь с фото?

— Ага, — нехотя отозвался он, — один австрийский магистрат заказал. Для зала, где регистрируются бракосочетания.

— Но... Наверное, это дешевый заказ? Всего лишь фотопечать и ретушь?

— Не суйся не в свое дело, малыш, — разозлился он. Потом помолчал и добавил:

— Я покрою фото специальной краской и помещу в рамы. Заказчик предупрежден.

— Это уже не искусство, а ремесло, Джереми! И какого черта небо должно быть желтым?

— Николас Фламинг собственной персоной, дамы и господа, — и он театрально поклонился. Отвернулся и продолжил работу.

Я решительно ничего не понимал ни в этом мире, наполненном подделками под настоящее, ни в новейших технологиях нашей профессии. Я все еще слышал запах красок в своей детской мансарде, марши дождя по крыше, видел рассветные блики на влажной листве. Я хотел быть просто художником, но все чаще понимал, как жизнь наполняется фальшью — неизбежно и до краев.

Так, в суете, творчестве и его имитации, притирках и придирках, супружеском счастье, искушениях роскоши, нарастающем самодовольстве и неумолимо садня-

щей догадке о провале всех грез, пролетали дни. До меня не сразу стало доходить, что Джереми украл ровно половину моего времени, энергии которого ему не хватало для воплощения своих ремесленных замыслов. Это ведь никогда не было моей мечтой — все то, что он придумал, откупаясь от меня выставками. Меня подцепили на крючок и с бешеной скоростью волокли по течению жизни, я захлебывался соленой водой, едва успевая отплевываться от никчемных ракушек и обрывков несъедобных водорослей, и ничего не соображал. Казалось, мне не давали возможности выдохнуть в перерывах между молниями фотокамер, размашистыми подписями контрактов, ядовитой волной цинковых белил и последней каплей жидкого стекла, застывшей на босой ноге.

Но проницательность идет дальше, и мое недовольство скукоживается и щерится под беспощадными лучами пристальных софитов. В сияющем эпицентре сцены своей жизни я пытаюсь ответить на первый вопрос: а чем, собственно, я занимаюсь и по сей день? Кому нужны картины Николаса Фламинга? Владельцы скольких ресторанов оценят мою гениальность, оставившую зарево и смятение, зеркальную дрожь озер и рябые перья облаков на их стенах, потолках и окнах?

Та юность показала мне единственный путь, перечеркнув мою волю. Может быть, где-то есть уголок Вселенной, в котором молодой художник рисует собственную душу, и одним взмахом руки убеждает в ее божественности каждого, кто случайно взглянет на нее.

Я не умею говорить горькими словами и сдирать кожу с того, кто меня слушает. К своему сожалению и внезапно обнаруженному удивлению, я полон смирения перед жизнью. Я живу не ради своего дара — я использую его, чтобы жить. Об этом — весь мой рассказ, и самые лучшие его моменты не вымарают этой неприглядной для меня истины.

Глава 8

Той сентябрьской ночью я попал в сон, который никогда раньше не видел.

Накануне я много работал: предстояла очередная выставка, и мы с Джереми опять поделили концепцию на двоих, хотя теперь столь явных противопоставлений наших персон не было. Мы трудились почти совместно, подсказывая друг другу цветовые решения и сюжеты. Свободное творчество постепенно исчезало из моей жизни, его заменяли проекты жилищного дизайна и коммерция. Для моего напарника последнее было главным, и он все наглее требовал от меня, чтобы картины были удобоваримы для нутра современных апартаментов. Я не мог ничего поделать с этим: мы были связаны одной цепью, бесконечно почкующимися контрактами с галереями и устроителями мероприятий, и дольче вита, подаренная им мне, уже не отпускала меня.

Да, у меня было все, что я сам себе нагадал и придумал еще в детстве: слава, деньги, красавица жена, самореализация. Но иногда я подумывал, что можно остановиться хотя бы на полгода, взять перерыв — разумеется, не в творчестве, но в том образе жизни, который навязал мне Джойс. Все чаще и чаще я чувствовал себя измотанным — и больше ничего. Иногда приходилось работать только ночами, потому что Джерри распоряжался моим ежедневником по собственному усмотрению. Каждый месяц я говорил себе, что начну свободное плавание и заставлю свое сознание порождать по-настоящему великие образы. Но... У меня был не только он, но и жадная до мишурного блеска жена.

Тем не менее, мы медленно, но верно выдыхались. В новый проект попали полотна и мысли, которые просто

не пришлись по формату предыдущим. Кое-где надо было подмазать, кое-что — дописать, но мы теряли, безнадежно теряли свою волшебную пыльцу. И неудивительно — подошел к концу третий год совместной работы.

Итак, я заснул, устав в тот день скорее физически, нежели душевно: мне пришлось всего лишь корректировать свою же технику годичной давности. Ничего нового, воздушного, пламенеющего. Два месяца на доработку — гонка, пугающая однообразностью.

Было три часа пополуночи, когда я проснулся, до краев наполненный видением, посетившим меня. Легкие все еще помнили пряную свежесть влажного лесного мха — так же, как и босые ступни, только что касавшиеся его. Кожа остыла в ночном тумане незнакомой земли, привидевшейся мне. Я не знал точно, где побывал, но в зрачки впечатался высокий темный небосклон, черные силуэты угрюмых деревьев, облака, едва пробивающиеся сквозь них звезды и слабое свечение Луны. Сырость, прохлада, запахи густой чащи.

Я бесцельно бродил среди редких стволов, пытаясь понять, как здесь очутился, и что мне делать с этой тронутой осенним тленом реальностью. Вдруг, на поляне, которую я уже в пятый раз огибал в раздумьях, мелькнуло светлое пятно, отдававшее сияние в лунных лучах. Инстинктивно я присел на корточки. Возле большого камня, казавшегося в темноте иссиня-черным, на пригорке, усыпанном красными ягодами, играла девочка лет десяти-двенадцати. Но это я дал знакомое определение самому факту ее нахождения в столь странном месте и в позднее время. Что она делала — трудно было понять. То присаживалась на колени, собирая в горсть алые бусины, то опрокидывалась навзничь на мягкий ковер мха и подбрасывала их вверх — они падали алым дождем, она смеялась. То замирала, глядя в небо, то поднимала руку с вытянутым указательным пальцем,

пересчитывая или — вычисляя? — какую-то из звезд... Или это те самые ягоды застыли над ней в ночном мраке? Причудливые игры чудаковатого ребенка.

Я осторожно поднялся: в мозг закралась шальная мысль обнаружить свое присутствие. Какая-то ветка хрустнула под моей ногой, и девочка мгновенно вскочила, испуганно оглядываясь.

Пока она не нашла меня в рисунке лесного сна, я попытался управлять ее поведением: ничего не получилось.

Был ли я удивлен? Вовсе нет. Я был в шоке. Такого со мной раньше не приключалось: кажется, я попал в чужое сновидение.

Девочка тут же подтвердила мою догадку, взвившись в воздушный мрак и растворившись в небытии, покинув меня среди ставших ненужными декораций, и я вынырнул из сна — вслед за ней... Нет, просто вынырнул.

Какое-то время я лежал на постели, ошеломленный новым открытием. Подобного не происходило с отрочества: казалось, тогда я уже постиг все нюансы сновидческого искусства, и после шлифовал его, как драгоценную породу, утащенную из подземелий повелителей волшебства. Я почти сразу понял, что девочка также была из числа одаренных этим сомнительным призом: она великолепно отслеживала и контролировала свои грезы. Впрочем, странно было бы думать, что таких, как я — единицы на планете.

Знакомый зуд, мятущийся меж сердцем и горлом, прогнал меня с кровати, и я, стараясь не шуметь, вышел из спальни и поднялся в мастерскую. Мне захотелось воплотить подсмотренный чужой сон на холсте. Личность героини была безынтересна: мало ли куда (оказывается!) могло занести меня в тонких мирах. Но сюжет, подброшенный услужливыми духами, был неплох — особенно в сочетании с суровой остроконечной природой и под приправой осеннего мха (Альпы? Горные хребты? Неиз-

вестные страны?). Нужно было заставить краски говорить: о мягкости лесного сентябрьского ковра, о ягодах, лопающихся под нажимом пальцев, но еще больше — о запредельном обаянии контраста температур, прочувствованных мной. Этот холодный ночной воздух и обнаженная кожа... Я с головой погрузился в работу.

— Что это? — раздался угрюмый голос за моей спиной. Я вздрогнул.

— О, Глэдис... Чего тебе не спится? Я решил немного поработать.

Она сосредоточенно жевала яблоко. Такая смешная в своей любимой пижаме лимонного цвета, с какими-то сонными медвежатами. Я захотел обнять ее, но она отстранилась, отведя мою руку и также пристально всматриваясь в холст.

— Что это? — еще раз спросила она, уже гораздо более настойчиво и осознанно. В голосе проступила оформившаяся эмоция, и она мне не нравилась.

— Увидел сон. Вот, захотелось написать, — пожалуй, я взял слишком покорный и оправдательный тон.

— Что это за девочка?

— Говорю же, она мне приснилась, — терпеливо повторил я.

— Голая? В лесу?

Этот вызов был уже лишним.

— Глэдис, я работаю.

— Ты ее знаешь?

— Боже! Не сходи с ума! Это мой сон! Помнишь, что я тебе рассказывал про свои сны?

— Говорят, снятся только те, кого видел в реальности.

— Тебя, дорогая, я никогда не видел, но ты мне приснилась. Я рассказывал.

— Чушь. Значит, где-то видел. Мы из одного графства.

(Не пройдет и полгода, и материализм моей супруги

рассеется, как дым).

— Почему она голая? Тебе нравятся маленькие девочки?

Мое терпение равномерно кипело в миллиметре от края. Нет, все-таки стало выплескиваться на раскаленные камни. Камни? Ах, да, там был камень — надо не забыть.

— Черт возьми, Глэдис, что ты мелешь?

— У тебя на холсте маленькая голая девочка! — она произнесла это так, как будто увидела у меня в волосах вошь.

— Я художник! Я не обязан оправдываться в своем вдохновении! Это рисунок, искусство, образ, идея!

— Почему ты все время рисуешь голых девок? — кричала она, и ее обвинения оскорбляли мои замыслы, низводя их до уровня бульварных журналов. Такое было трудно стерпеть.

— А что мне писать? — орал я ей в ответ. — Пейзажи? Если ты присмотришься повнимательнее, то они есть на моих картинах. Политические плакаты или портреты общественных деятелей? Прости, мне это не интересно, и на моих «голых девках», как ты изволила выразиться, мы неплохо зарабатываем! Я пишу любовь, а не девок!

— Ты даже Библию умудрился раздеть!

— Тебе следовало продолжить образование после школы, дорогуша. Ветхий Завет полон обнаженной натуры!

...Так гремело и скрежетало какое-то время, пока мы оба не выдохлись. Точнее, я устал первым, а Глэдис, казалось, уже забыла о первопричине нашей ссоры, и просто выплескивала на меня накопившееся за три года напряжение. Я был на последней грани жестокости, но удержался от нее, хотя самое время было напомнить ей, что все это — Джерри, моя слава, совместные выставки и богемная жизнь — ни что иное, как ее идея. Но про-

явил силу воли — это стало бы величайшей ложью, ведь я сам уже подсел на сладкий сироп успеха.

Высказав все, моя красотка упорхнула в спальню, а я остался стоять истуканом перед своим наброском, тупо вглядываясь в него и уже не понимая, откуда он здесь взялся. Когда я наконец очнулся, то обнаружил ее уже в пальто, с грохотом тащившей любимый чемодан на колесиках по бесконечным лестничным пролетам нашего особняка.

В глубине души я отлично понимал, что она устала, и это просто нервный срыв, а вовсе не ревность, доведенная до безумия. Мы оба устали. Но все же — до какой степени эмоциональной истощенности надо дойти, чтобы устроить скандал из-за привидевшегося мне сна? Большая часть моей личности — та, которая казалась себе взрослой и привыкла к строгому распорядку дня и ненужным обязанностям перед публикой — протестовала против такой неразумности. И вместо того, чтобы окутать жену заботой, я спускался вслед за ней по лестнице и продолжал бубнить: «Глэдис, ты ведешь себя глупо, давай прекратим все это...»

Она резко обернулась ко мне: бессильная ярость в глазах, взметнувшиеся и тут же опавшие руки.

— Я к сестрам, — прошипела она мне, — не звони, вернусь через неделю.

— Хорошо, — покладисто и одновременно упрямо ответил я.

Это было ошибкой, мне предстояло еще многому научиться: новый поток слез засверкал в ее глазах, и она выбежала из дома, выкликивая семейного шофера, привыкшего к зыбкому сну в нашей беспокойной реальности, готовой в любой момент выстелить дорогу под ногами. Я был так же юн, как и она, и мне представлялось гораздо более важным убедить, нежели уступить и успокоить. Болван, я даже не сказал ей, что люблю ее!

Конечно, я откупорил бутылку виски и, опустошив половину, вскоре заснул на диване в гостиной: ни до студии, ни до остывшей спальни уже не было сил добраться.

Разбудил меня телефонный звонок, показавшийся спросонья набатом Апокалипсиса и вмиг вздыбивший в сердце сотню волн тахикардии. Поразительно, но я совсем не видел снов, а на часах уже было... пять вечера! Я проспал, как убитый, половину суток, и чувствовал себя совершенно разбитым.

Еле передвигая ноги, я добрался до ниши, в которой висел аппарат.

— Але... — я даже не удосужился придать голосу бодрый окрас.

— Ты что это, спишь? — подозрительно спросили на том конце провода. Джереми. Точно, он вроде собирался что-то обсудить.

— Да... Нет. Уже нет, — вяло отозвался я.

— Где наша любимая медуза Горгона? — это было одно из язвительных прозвищ, данных им моей милой Глэдис, и во многом подходящее ей — из-за привычки завивать тонкими кольцами свои рыжие волосы, конечно.

— Уехала.

— Да ну? Опять сиськи делать? Гарантийный срок, что ли, вышел?

Его грубость меня разозлила.

— Джереми, либо ты извинишься, либо я кладу трубку.

— Ладно, — примирительно сказал он, — прости. Так что случилось? Сам понимаешь, чтобы твоя супруга тебя покинула — это большая редкость.

— Мы поссорились.

— Ах, вот оно что, — он немного помолчал. В сложных жизненных ситуациях житейская мудрость никогда ему не отказывала. — Знаешь что, приезжай ко мне, хватит там киснуть в одиночестве.

— Да ладно... — промямлил я. У меня не было никакого желания тащиться к нему за двадцать миль, и абсолютный ноль уверенности в своем водительском таланте после странной и бесконечной ночи. Но его участие почему-то отозвалось теплой ноткой в сердцевине Эго. Ощущение было похоже на приспущенную струну гитарного баса: пусть ни к чему, но мягко, бархатно, податливо.

— Я сказал — хватит сидеть в одиночестве, малыш. Я старше, мне виднее.

И вновь ласковое, но настойчивое прикосновение ко мне — всего лишь перебрать пальцами, но услышать согласие. Так делает Глэдис, когда...

— Хорошо, — ответил я, — только такси найду.

— Жду, — гудки.

Отличный стиль. Профессионал. Каменная решимость под мягким покровом, и я связан глупым обещанием.

Что я находил в нем? Точнее: что он все время пытался мне отдать, умело нащупывая в моей душе не залатанные дыры ненужности? Может, мне стоит прислушаться к советам семьи, и хоть иногда посещать психоаналитика? Он толково объяснит, что у меня острая потребность иметь старшего брата, поскольку я вырос среди маленькой, но шумной толпы сестер. «Пойду, положу 100 фунтов под подушку, — усмехнулся я, — честно заработал точным выстрелом психоанализа».

Это была первая улыбка за сутки — у меня, чей рот дурашливо расплывался по каждому поводу, с тех пор, как мои заработки стали измеряться в стоимости автомобилей.

Да, я никогда не доводил желание сопротивления Джереми до тонкой границы своей плоти. Оно бродило глубоко внутри, не решаясь вылиться наружу сквозь зрачки и поры. Я привык, дамы и господа, привык!

К вспышкам и холодным квадратам фото- и видеокамер, к разномастным микрофонам, которые репортеры совали мне прямо в лицо, к восхищенным взглядам, к бархатной тишине затаенного дыхания и жадных глаз, устремленных на меня. Я и не знал, что жизнь художника может быть такой. Казалось, я должен быть спрятан за холстами своих картин — где-то там, в несуществующей земле их оборотной стороны, в бесконечном молекулярном пространстве между рамой и стеной. Разве не правильнее искать меня в течении рек, изображенных на полотнах, в бликах листвы, в лицах героев и героинь?

Оказывается, нет. Все это придумал Джереми. Он сказал: «Я не хочу, как Рафаэль и Микеланджело ждать пять столетий, пока изобретут телевидение. Мы будем здесь и сейчас. Мы — не просто кисти, приросшие к рукам и краска, истекающая из кровоточащего сердца. Мы — творцы, и нас должны знать в лицо». Он умел рекламировать свои идеи.

Кто бы мог подумать, что я окажусь столь востребованным — не только как художник, но и как сексуальный символ ускользающей в небытие неприкаянной богемной жизни? Как-то вечером Глэдис и Джереми все же нашли общий язык, столкнувшись алчными взглядами на моем лице.

— Послушай-ка... — задумчиво сказал он, — из твоего муженька надо бы сделать что-то более подходящее для нашей среды.

— Угу, — с такой же напряженной мыслью в глазах согласилась она.

Иногда я чувствовал себя призом на гонках, который они никак не могли поделить между собой. Но тем увлекательней (и страшнее!) было обнаружить, что оба претендента состоят в тайном сговоре. И объединяла их общая страсть: деньги. Я тоже их любил, но у меня имелась книжка с подсчетами — сколько и на какую блажь я го-

тов потратить. Им же не нужны были сметы, они хотели все и сразу. Их интеллекты подпитывались друг дружкой, искрили, зажигая атмосферу, и я нередко был их флогистоном.

— Он у тебя слишком...

— Знаю! — резко оборвала его Глэдис. — На самом деле он совсем другой, ты же понимаешь!

Я удивленно поднял бровь. Как назло, я сидел на высоком стульчаке перед мольбертом, прямо перед ними, развалившимися на диване с бокалами вина. Это был подходящий момент в очередной раз почувствовать себя деточкой, которую привели на развивающие занятия в студию.

— Меня, может быть, спросите? Или хотя бы посвятите в ваш тайный язык?

Джерри подошел и захватил мои волосы сзади в кулак.

— Ну что за кудряшки? Ты похож на персонажа из русской народной сказки. Такой придурковатый, но до отвращения правильный мальчик. Как фунт пастилы зараз.

— Если бы ты познакомился с иностранным фольклором, — въедливо начал я, — то узнал, что персонажи русских сказок отличаются неординарным подходом к принятию решений...

— О-о, — простонал он, — мистер всезнайка. Фунт пастилы, говорю же. Или нет, хуже: воскресная просвирка.

— Да не такой он, — угрюмо сказала Глэдис, вытряхивая сумочку в поисках сигарет. — Он моральный садист и зануда, и это совсем не безобидно.

— Подробнее, пожалуйста! — сказали мы хором. Я, понятное дело, из чистейшего самолюбования, а вот Джерри..?

— Мстительный и не умеет прощать, — отрезала моя

жена.

Джереми прошелся вокруг меня, изображая пытливый интерес ученого.

— Это как?

— А ты попробуй, допусти ошибку — весь мозг проест до дна черепной коробки, и у меня такое подозрение, что и через десять лет помнить будет.

— Я не согласен, — обиделся я.

Но не соглашаться было глупо: моя злопамятность стала притчей во языцех еще в детские годы. Я открыл было рот, чтобы продолжить дискуссию, но взрослый мудрый Джереми уже выстрелил дальше.

— Так и надо вытащить из него эту тень на свет Божий. Давай-ка придумаем, как сделать из него немножко плохого мальчика, а? Может, если ему изменить внешность, и мозги вслед подтянутся? Будет смотреть каждый день на себя, нового, в зеркало, и поймет, что к чему.

Джереми был прав. Несмотря на привычку к славе, я никогда не чувствовал себя уверенно в ее эпицентре. Конечно, у меня не было проблем с речью, и он всегда подтрунивал над моим эрудированным снобизмом и готовностью выложить в пятиминутном интервью всю программу знаний — по мировой культуре, философии и житейской мудрости. Признаться, когда я просматриваю старые видеозаписи и газетные вырезки, нахожу немало претенциозности и эгоцентризма в своих рассуждениях. При всей неординарности я умудрялся выглядеть все тем же деревенским дурачком.

Меня спрашивали о влиянии предшествующего поколения мастеров на мой стиль, а я принимался рассказывать, как смешиваю их рецепты в повседневном труде. Я не улавливал подвоха и раскрывал все секреты. Магия исчезала, растворялась в пресной воде моих послушных ответов, и собеседники спустя пять минут панибратски ударяли меня по плечу: сказочный необъяснимый талант

уже не казался столь совершенным.

«Как, как вам это удается? Этот бархат, это свечение?» — спрашивали они. И я, ободренный и опьяненный успехом, с готовностью показывал изнанку фабрики: здесь я соткал свое знаменитое полотно. «Малыш, — злился Джерри, просматривая утренние газеты, — ты мне всю кампанию ломаешь! Ты изумителен, но подходишь ближе — и чары рассеиваются. Держи рот на замке. Ты с Луны, что ли, свалился? Твоя искренность не то что обескураживает — она обеззараживает, обессоливает и лишает жизнь вкуса. Будь немного хитрее!»

Но кое-что всегда оставалось утешительным призом: сколько бы другие ни пытались воплотить мои тайны, у них ничего не получалось. И они вновь очаровывались, увидев мои работы. И я, стоявший вдалеке, спиной к ним, с кистью в руках, в заляпанных краской штанах и белой рубашке — опять превращался в неразгаданного пришельца. Бесконечный лунный цикл оборотня.

— Я хочу, чтобы это стало твоей второй натурой, — сказал Джерри. — Хочу, чтобы кайф длился вечно, понимаешь?

— Если ему чуть отпустить волосы, появится что-то демоническое, — предложила Глэдис.

— Согласен, — поддакнул он, обхватив пальцами подбородок и пристально разглядывая меня. — Выкидывай все ножницы из дома, а о смертоубийстве цирюльников графства я позабочусь.

— Черный цвет в одежде? — спросила моя жена.

— Можно. Но и белый будет вызывать нужные ассоциации. И синий. Однотонность, максимум два цвета, и только классические сочетания. Аскетизм стиля при нарочитой яркости лица.

Так я стал почти рисованным персонажем из мира искусства. Вдвоем они довели мой образ до совершенства угасающей аристократичной породы нелюдей. По-

началу во мне шевелилось и обжигало нутро ядовитое жало оскорбленного чувства собственной важности: почему я должен что-то из себя изображать? Разве таланта недостаточно, чтобы покорять сердца?

В то время я еще плохо понимал человеческую натуру. Как когда-то в детстве, мне было невдомек, что люди покупаются на одну из трех вещей — или же на все сразу: деньги, лесть и секс. Да, я отдавал им лесть. Покупая мои картины, они льстили себе, но дело было не в таланте художника, а в его популярности, которая словно прилипала к их ауре, выставляя в выгодном свете перед соседями. Они платили мне за это деньги. Но на одной лести много не заработаешь: и в ход пошел секс.

«Этот очаровательный молодой художник, вы знаете его? Мы были на последней выставке, и мне удалось заполучить его на день рождения дочери. Нет, что вы, она совсем не увлекается живописью. Но в ее возрасте необходимо иметь в приятелях такую персону: это сразу повышает ее стоимость на рынке невест-выпускниц престижного колледжа».

И неважно, что «персона» позабыла ее имя, как только с облегчением откинулась на кожаную спинку сиденья в своем дорогом авто.

Прошло время, и я не только смирился, но и полностью сжился с новым образом: в моей личности было слишком много его зеркальных отражений. А вскоре я попал в плен потусторонности, и эта внешность оказалась изначальной задумкой Творца, необходимым атрибутом роли, узнаваемым признаком главного персонажа. Если уж история моей любви была столь необычна — я и сам должен был явить незаурядность индивидуальности и жизни.

...Он встречал меня в своем саду, заботливо оберегая от двух расшалившихся ротвейлеров, пользующихся законным правом на прогулку. Однажды я уже приходил

к нему — с Глэдис, разумеется. Его ультрасовременный особняк не казался приветливым ни в какую погоду, даже в апогее июльской жары, когда закат заливает окрестности розовым вином, а мошкара дрожит заколдованным облаком, поджидая заблудших путников на тропинках. Что уж говорить о пасмурном сентябрьском вечере и понуром двадцатичетырехлетнем протеже, бредущем в его темных провалах — ему и райские кущи сейчас были не светлее пожарища.

— Рассказывай, — приветливо начал Джерри, разливая напитки, пока я устраивался поудобнее на длинноногом табурете у барной стойки: он так любил ночную жизнь за пределами дома, что и собственную кухню превратил в подобие забегаловки.

Я вкратце описал произошедшее. Немного задумался, стоит ли ему говорить о своем сне, но без него иссыхал весь клей дурацкой истории, поэтому я нехотя преподнес и его. Как ни странно, мой деловой партнер заинтересовался, приподняв бровь и бросив на меня внимательный взгляд. Высыпав аппетитные круассаны из бумажного пакета в вазу, он присел и придвинул ко мне вино и угощение.

— Сны? Ты часто работаешь по сюжетам снов?

— Да... — я был удивлен таким поворотом разговора и не знал, радоваться или опасаться: почему его взволновало именно это, самое сокровенное?

С одной стороны, я мог случайно обнаружить в нем единомышленника — пусть он и не постиг всех тайн потустороннего мира, и наконец облегчить свою душу. Ведь даже Глэдис, и та относилась к моим похождениям, как к простому источнику вдохновения и подсказкам подсознания. Потому, видимо, так и разозлилась сегодня.

Но с другой... Зачем ему знать? Не превратится ли это в дополнительный пояс амуниции, припасенной против меня же? Я колебался, и все зависело от его дальнейших

слов.

Видите, каким наивным мальчишкой я был? Как опоенный настоем трав ягненок, я покорно — нет, почти радостно! — шел на собственное заклание, искренне думая, что меня ведут на прогулку, и мой поводырь вот-вот ласково прошепчет мое имя.

— То, что ты писал раньше, в наших проектах, тоже было... оттуда?

Он с такой нужной, верной интонацией произнес это, что я был готов простить ему все прежние прегрешения.

— Не всегда, но бывало. Иногда только детали, а порой — картина целиком.

— А то, что ты подсказывал мне?

— Да, это не трудно. Это как вторая реальность, понимаешь? Она засеяна и заселена, там много странного, диковинного, но во всем можно найти очеловеченный смысл. Я могу сам создавать новые формы, а могу попасть в уже отстроенный мир. Сегодня вот... вообще очутился в чужом сне.

На какой-то момент я с непонятной, но почему-то отчетливой болью вспомнил девочку. Джереми будто уловил легкую гримаску, которую я не смог удержать в уголке рта.

— Спасибо за ценные дары. Правда, спасибо, — сказал он. — А та девочка... Какая она была?

— Обычный ребенок, — я пожал плечами, — обычный красивый ребенок.

— Обычный? Но ведь ты сказал, что девочка умеет то же, что и ты?

— Это расценивать, как комплимент и признание моей неординарности? — рассмеялся я.

— А почему нет? — похоже, сегодня был особенный день, и Джерри обернулся ко мне исключительно светлой стороной.

— Ну, хорошо... Да, она самый обычный ребенок с уникальными способностями. Но при чем здесь это и она — вообще?

Теперь он пожал плечами:

— Ну, ты же ее рисовал, и это разозлило Глэдис.

— Джерри, нет, — я нетерпеливо вздохнул, — как ты не понимаешь, эта девочка не имеет значения, она случайный персонаж, подаривший мне интересный сюжет. Не говори, что воспринимаешь это, как моя жена!

— Нет, не так. Но ты, похоже, не видишь ситуацию целиком. Только полезный экстракт, который привык использовать в работе. А тебе, между прочим, подсунули целый луг с цветами, да еще и звездное небо над ним. Я бы, например, постарался запомнить саму девочку, да еще и вернулся бы туда.

Я оторопело посмотрел на него.

— Откуда ты знаешь про возвращения?

— Просто предположил. Ты же сказал, что управляешь снами, так?

— Да, но...

— Значит, с ними можно делать все, что угодно, — уверенно заявил он.

— Погоди, — я впился в него подозрительным взглядом, — ты не говорил, что тоже умеешь это делать.

— А я и не умею. Но, Бог мой, если бы умел — извлек бы из этого куда больше удовольствия, чем ты.

Все-таки, на Солнце есть пятна, на Луне — тени и кратеры, а в душе Джереми — бездна наставнической язвительности.

— Только не убеждай меня, что ты никогда этим не пользовался. Пубертатный период... Или — ох, он у тебя еще не закончился? Неужели, будучи школьником, ты никогда не мечтал оприходовать старшую сестру своего приятеля? Хотя бы во сне?

Я вновь засмеялся:

— Спасибо, Джерри, ты вернул меня на землю. Я уж было подумал — пока ехал сюда, кто-то подменил тебя и подсунул мне доброго эльфа. Но теперь вижу: это — ты.

— Всегда пожалуйста, малыш, — он улыбнулся и театрально склонил голову. — Но все же... Столь романтичный сон, обнаженная девочка.

— И ты туда же! — фыркнул я. — Объясни, к чему мне эти извращения?

— Кто сказал тебе, что речь идет об извращениях? Разве я похож на больного? Ты же знаешь, как я люблю взрослых, спелых, грудастых теток.

— Тогда в чем дело?

— Просто в возможности. В глубине самого себя. В бесконечности той жизненной энергии, которой мы все живем. Энергии Эроса. Разве не из его соков ты творишь свои полотна?

И я опять ошарашено замолчал. Не помню, кто из великих сказал: «Глупо думать, что другие не знают того, что знаешь ты». Это был момент прозрения. Примитивный, приземленный, агрессивный и алчный Джерри изрекал вселенскую мудрость, пренебрегая своей излюбленной житейской. И больше: он говорил то, о чем я, легкомысленный пользователь мира магии, даже не задумывался. Я был алхимиком, он — философом. Я всего лишь на ощупь практиковал, занося на карту сознания освоенные дорожки. Он жил в изгнании, за пределами иных миров, но вычислил их формулы в своем горьком отшельничестве.

Тем временем он продолжал:

— Или ты хочешь сказать, что нет эротизма в том рисунке, который ты успел набросать? В обнаженности средь холодного дремучего леса?

— Есть, — вынужден был согласиться я, — но это не желание, а, скорее, нежность и... чувство опасности. Нет, опасения.

— А кто тебе сказал, что Эрос — это исключительно осознанное желание? Он может приобретать различные формы. Им дышит все вокруг. Мы привыкли использовать его «по назначению», но кто выбрал это «назначение»? Почему мы определяем, где течь жизненной энергии, а где — нет?

— Стоп-стоп, Джереми. Так можно до много дойти. Будь осторожнее. Табу все-таки должны быть.

— А я и не призываю к тому, о чем ты подумал. Я просто хочу сказать, что в матери или отце, целующих своего младенца, приговаривая «Ням-ням, сейчас съем эти пяточки», достаточно телесности в этот момент. Просто мы так боимся черта, что запретили все остальные слова на «ч».

Я всегда забывал, что у Джереми есть ребенок.

— Когда я был немногим моложе тебя, малыш, у меня была подружка... Моя первая жена, кстати. Да-да. Ты удивлен? Я уже был официально женат до Ингрид. Ей стукнуло всего четырнадцать, когда мы начали встречаться. Она была похожа на маленькую восточную богиню — из семьи эмигрантов. Когда я пробирался к ней в комнату, тайком от ее родителей, часто натыкался на свидетельства о ее недавнем детстве. Плюшевые медвежата, неумелые рисунки, поломанные куклы, потрепанные учебники, первые тетрадки из школы... Я не мог пройти мимо этого, оно выскакивало, прыгало на меня из закоулков ее полок и шкафчиков, словно говоря: «Не притворяйся, ты понимаешь: тебе страшно повезло, что ты не застал эту пору розовых пижамок». Я безумно ее любил, и мне приходилось задумываться: а что было бы, встреть я ее, допустим, пару-тройку лет назад? Разве не почувствовал бы я той же любви, пусть и смягченной свежайшей, чистой нежностью? Да, до определенного момента я был бы ей просто другом — старшим братом, если хочешь. Но не отпустил бы ее — сознатель-

но. Дожидаясь, пока плод созреет.

Я был всего на пять лет старше ее, но у меня уже в постели перебывала уйма девушек. И все-таки... Моя любовь к ней отмыла меня от грязи и заставила пережить всю гамму чувств — от страсти, через братскую нежность, и даже до отцовской заботы.

— Джерри, — я замахал рукой перед лицом, пытаясь прогнать чужое наваждение, — Джерри... Я вроде бы понимаю, о чем ты говоришь, но это не из моего мира. Это нечто, совершенно далекое от меня. Я всегда был взрослым и искал взрослую, серьезную женщину.

— А я и женился на ней, когда ей исполнился двадцать один. Мне она была нужна всякой — и ребенком, и подростком, и взрослой женщиной. Она была моей любимой, что непонятного?

Он долил вина и выпил свою порцию залпом. Я поспешил догнать, хотя опьянение уже разливалось по телу: мне не требовалось так много алкоголя, как моему визави, выше меня на голову, тяжелее на сорок пять фунтов, старше на двенадцать лет, порочнее на миллион жизней. Через полминуты он вновь наполнил стаканы.

— А... что было потом? Куда она делась, твоя первая жена? Двадцать один? Значит, тебе было двадцать шесть? Это было десять лет назад. Всего-то. Или... уже? — спросил я, не в силах оторвать хмельной и отупевший взгляд от игры гелия в модном светильнике.

— Мы прожили вместе пять лет, а потом она ушла, — хрипло ответил он, выхлебывая последние капли вновь исчезнувшего зелья. Я с интересом посмотрел на него: останавливаться уже не хотелось.

— А... почему?

Джереми сердито взглянул на меня, но продолжил рассказ:

— Хотела закончить образование и найти работу по душе, а я собирался обзавестись настоящей шумной

семьей с парой-тройкой детишек.

— Ты? Настоящей семьей? — я изумленно уставился на него.

— Да. Тогда у меня еще не было всего этого, — он обвел рукой пространство своей квартиры, — и банки мне предъявляли счета совсем другого свойства. А она была красива, умна. И я боялся, что, начав свою новую жизнь и карьеру, она посмотрит на меня иначе — вот мне и хотелось связать ее с собой покрепче. Что ж, я оказался прав...

Джерри помолчал и резюмировал:

— Она не стала ждать, когда у нее все сложится. Ушла заранее. И у нее все получилось. Правда, и у меня тоже. Так что, малыш, что ни деется — все к лучшему. Вина еще открыть?

Он встал из-за стойки и потрепал меня по челке. Мне оставалось лишь обескуражено молчать: я только что узнал, что Джереми Джойс был когда-то человеком, а не циничным чудищем, секс-машиной, не ведающей страхов и упреков, сожалений и сострадания. Не дожидаясь моего ответа, он принес очередную бутыль, и мы продолжили разговор, который мог превратить нас в настоящих друзей. Для меня, вечно отвергаемого лучшими, отборнейшими, задиристыми и *настоящими* мальчишками, это был долгожданный билет в рай истинного мужского мира.

Я не помню всего, что происходило в ту ночь. Его голос становился более вкрадчивым, и сам он словно *подкрадывался* ко мне. Он становился все ближе, осторожно придвигался, как к пугливому зверьку. Пристально смотрел на меня, ни на миг не теряя нити взгляда. Кажется мне, или поначалу он сидел напротив, и нас разделяла пусть не слишком широкая, но надежная в своей длине столешница? Почему же головокружение пьяного угара рисует его, обнимающего меня одной рукой и другой за-

прокидывающего стакан с остатками вина в горло? Его слова опутывали невидимой сетью — вязкой, липкой, сладкой, и от количества сахара тянуло в сон. Теплые волны его силы, его присутствия рядом, несли меня вдаль, к неведомым ранее горизонтам. Я был пленником этого долгожданного, искомого всю жизнь чувства: он мне друг, брат, отец — все в одном лице.

— Джерри, Джерри, — едва успевал я поймать собственные мысли, — ты действительно мог бы быть моим другом, если бы...

— Джерри, — думал я, — ты заставляешь бояться себя.

— Джерри, почему все в моей жизни зависит от тебя?

— Джерри, кто виноват, что я родился таким неприспособленным?

— Джерри, а ты хорошо разбираешься в людях...

— Джерри, почему я, такой особенный, умеющий летать, пасую перед тобой?

— ... Потому что ты твердо стоишь на земле?

...

— Джерри, знаешь, — сказал я ему заплетающимся языком, — у меня такое странное сердце...

— Знаю, малыш, — прошептал он, придвигаясь ближе.

— Тише, не перебивай меня! — возмутился я. Уголки его губ ласково дрогнули.

— Оно такое огромное, мое сердце. Иногда мне кажется, я люблю всех и вся. Знаешь... Где-то, на дне, есть любовь и к тебе, Джерри...

Я помню его нетрезвое дыхание, так близко к своим губам. Помню его горячую ладонь, скользящую сзади по моей шее и затылку. А потом я провалился в удобное, спасительное, щадящее забытье.

Проснулся я в мире, залитом серостью и холодной водой. Струи дождя, которые я сразу увидел в незашторенное окно — и те на цвет и звук были ледяными. Где-

то вдали, на бескровных просторах его дома жужжал пылесос: видимо, пришла горничная. Я резко сел в постели. Вот она, святая святых — спальня бога богемного разврата, кота по имени Джерри. Черные простыни, полосатые стены, редкие, но претенциозные светильники — такие же мертвые и острые, как сегодняшний день. Самого хозяина не было. Но... где же он?

Только в этот момент до меня стало постепенно доходить. По пунктам. В жестоком порядке. Что:

Первое. Я совершенно ничего не помню после того, как он рассказал мне о своей жене.

Второе. Это действительно его спальня. А не диван в гостиной. Или комната для гостей, куда было бы логичнее уложить меня.

Третье. Несмотря на огромные дозы алкоголя, оказавшиеся в моем организме, я неплохо себя чувствую. А такое — я знал по опыту — возможно лишь при условии, что я уснул не сразу, как была опустошена последняя бутылка. Мы с Глэдис давно заметили эту общую особенность, и старались «выпустить пар» любым доступным способом, чтобы сохранить работоспособность и хороший вид на следующий день. Танцы, бессмысленное буйное дуракаваляние, секс — вот основной перечень пилюль.

Но — четвертое. Опять же. Я совершенно ничего не помню.

И, наконец, пятое. Я абсолютно голый и в его постели.

Последний пункт заставил меня вскочить, как ужаленного, инстинктивно замотавшись в шелковую простыню, служившую ночным прикрытием. В течение нескольких мгновений я со страхом и отвращением разглядывал черное ложе, пытаясь найти не столько опровержение, сколько подтверждение своим ужасным догадкам. Кто-то внутри меня уже заранее знал — или просто решил, что так оно все когда-нибудь и случится. Я

осмотрелся вокруг. Моя одежда валялась на полу... Не вся. Только белье и носки. В дальнем углу этой огромной комнаты было нечто вроде подиума — возможно, бестия проводил здесь свои самые искренние творческие опыты, используя подсобный материал из тел своих жертв. Там лежали мои джинсы. Я подхватил все и, ведомый стремительным внутренним чутьем, в пять секунд нашел ванную комнату в другом конце коридора.

Никакой щеколды, ни замка, ни крючочка. Полупрозрачная дверь — не иначе, как из лучшего европейского стекла. У меня уже не было сил возмущаться, язвить и делать выводы: я должен был понять, что произошло ночью. Наивно полагая, что смогу найти следы его присутствия на своей коже и теле, я осмотрел себя, насколько это было возможно. Господи, как тут можно было что-то понять? Я и сам, помятый, небритый, не бывший под душем уже двое суток, заливающий стресс алкоголем с тех пор, как Глэдис хлопнула дверью — не младенец с запахом сливочной карамели. Разве не должно оставаться каких-то явных улик? Ощущений? Откровений?

Нет, ничего. Кроме надрывной, саднящей боли в сердце — такой сильной, что хотелось сжаться в комок и заплакать от обиды, как в детстве. Борясь со слезами собственной незрелости, я оделся и вышел в коридор.

Он поднимался по лестнице — босиком, без рубашки, в одних только джинсах. Наклонился и что-то поднял со ступеней. Бережно сложил и повесил на перила. Увидел меня, вновь взял это в руки и улыбнувшись, кивнул мне: «Доброе утро! Твой свитер, малыш...»

Я выхватил одежду из его рук, промчавшись мимо и остановившись лишь на нижней ступени.

— Что произошло, Джереми? — выкрикнул я ему, стараясь не отводить глаз. Он удивленно приподнял бровь.

— Ты что, ничего не помнишь?

— Нет... — комок в горле был похож на агонию змеи, завязавшейся в смертельный узел.

— Тщедушный у тебя еще организм, малыш, — он засмеялся и начал спускаться ко мне. Я отступал к входной двери.

— Как я оказался в твоей спальне?

— Я тебя туда принес, когда ты потерял способность нормально передвигаться, не разбивая мои ценные вазы. Ты легкий, как девочка.

Какая мерзкая улыбка...

— Что было, Джерри?

Он опять усмехнулся.

— Постарайся вспомнить. Мне кажется, тебе это полезно.

Я выбежал из дома, через сад, по прямым, как его взгляд в мою спину, дорожкам — за пределы его собственности, на магистраль, дыхнувшую на меня спиралевидным простором.

— Постой! Давай я тебя подвезу!

Слава Богу, несколько таксистов беспрестанно дежурили в этой затерянной земле.

...Я не смог скрыть этого от Глэдис. Я нуждался в ее поддержке тотчас же. Отринув всякую гордость, я направился в город, где жила ее семья. В те злосчастные часы, пока я добирался до нее сквозь туман и стену дождя, ставшую почти непроходимой, мне казалось — это и есть то, что должно сплотить наши отношения и сделать их более взрослыми. Трудности, вписанные в брачную клятву кем-то несравнимо более мудрым, чем мы, юные и тонкошеие, стоящие перед алтарем. Конечно, я не мог и предположить, какие слова подберу, чтобы описать ей ужас и позор, которому подвергся. Но сердце подсказывало: она — та, которая поймет. Она — дитя своего времени, и знает законы той стаи, на растерзание которой меня бросила.

Глэдис встретила меня, смешав за минуту все эпохи. Испуганное удивление. Самодовольное удивление. Внимательная настороженность. Радость. Готовность выслушать. Изумленный шок. Гримаска отвращения. Слезы. Стремительные объятия — скорее дружеские, нежели любовные. Капля разумности. Две. Тысяча. Холодная вода обмывающего меня обдумывания.

— Ты уверен, что так оно и было? Может, это просто твои страхи?

— Откуда я знаю? Он, по сути, ничего не дал понять.

— Ну, следы какие-нибудь? Ты что-нибудь чувствуешь?

— Глэдис, тебе о твоей потере девственности сообщил школьный врач! Ты издеваешься надо мной?

Это была правда. Моя супруга не отличалась до брака избирательностью, и с невинностью рассталась так же, как и я со своей мужской честью: под парами обильных алкогольных возлияний, в темной комнате, по соседству с бурной вечеринкой своих одноклассников. О чем и забыла, вплоть до медицинского осмотра, который был обязательным в их школе. После визита к врачу она занялась дедукцией — только чтобы посмотреть на того, кого должна запомнить на всю жизнь.

— М-да, — протянула она, — хорошо, хоть последствий в виде беременности не будет.

И хохотнула.

— Да не расстраивайся ты так! Ты же ничего не помнишь. И Джереми тоже ничего не сказал.

— Ты с ума сошла? Как я теперь буду с ним работать? Все, хватит! Я разрываю контракт. У нас достаточно денег, чтобы наслаждаться жизнью и начать ее заново. Я заработал эти деньги! Хоть это ты понимаешь?

Мои надежды повзрослеть не оправдались, а ведь это был такой подходящий момент! У меня рушилось все: карьера, связи, самоуважение. Я никогда не мог и предпо-

ложить, что когда-либо окажусь в такой ситуации, и тем более — что буду способен воспринимать ее сквозь нечистую призму вынужденных шуток. Несмотря на огромные счета в банке, мы были детьми, выброшенными на улицу постигать мир. Одна из главных драм моей жизни превратилась в подростковую разборку, а на самом деле — стала несмываемым клеймом не только в моем сознании, но и на репутации.

Адвокат быстро уладил все. Как ни странно, зубастый мистер Джойс не прибегнул ни к каким способам окончательно удавить меня, кроме просьб и увещеваний. Уже спустя две недели были отменены все презентации, расписанные на год вперед. Джереми взял на себя хлопоты по неустойке, и армия его юристов боролась против полчищ владельцев галерей и заведений, сотрясающих Вселенную своим праведным гневом.

Английская богема наконец-то разродилась истинным скандалом. Мое поспешное бегство оставляло следы в виде тысячи скользких стеблей, усеянных полусгнившими листьями: причины, причины, причины... Это было главным, что интересовало публику. Наши картины сразу взлетели в цене, на рынке появились их незаконные копии. Думаю, Джереми с лихвой окупил свою благотворительность по отношению ко мне — и именно в тот момент ее истоки стали для меня очевидными.

У моих дверей выстроилась очередь из менеджеров, потенциальных партнеров и посыльных от директоров музеев — и все желали шедевра, написанного слезами, кровью и... чем-то еще? Поначалу я всерьез заинтересовался рядом предложений: нужно было продолжать работу. Да и требовался кто-нибудь, способный уследить за продвижением моих творений по валютной шкале. Однако, присмотревшись, я заметил, что приблизительно девятьсот тысяч человек из того миллиона, что мне

досаждали, носят серьгу в правом ухе. Я захлопнул дверь, а Глэдис изящно облила их вполне цензурной бранью — так, как на всем континенте умела только она. Моим распорядителем стал один из давних приятелей, которому я действительно доверял, и который всю свою жизнь мечтал сделать хорошую карьеру. А мы с женой приступили к курсу психотерапии: Париж, Рим, Нью-Йорк, Милан, Сидней, Флоренция, Барселона, Ибица, Токио, Гонконг, Москва, Киев, Тель-Авив, Лос-Анджелес, Буэнос-Айрес, Берлин, Копенгаген...

Не помню, в какой галактике меня застал-таки его звонок.

— Ники, я прошу тебя, одумайся, — его голос звучал в трубке мягко, но с продолжительной ноткой льда. — Возвращайся. Мы вместе еще много можем натворить.

— Ты спятил? После того, что ты сделал со мной?

— Что я сделал, малыш? Ты о чем?

— Не измывайся надо мной, Джереми. Ты отлично понимаешь, о чем я.

— Нет, я тебя не понимаю. Ты получил мою студию, мои материалы, моих моделей, мои автомобили. Я находил для нас залы, я договаривался, я делал весь бизнес. Тебе оставалось лишь рисовать. Тебе было плохо под моим крылом?

— Мои, мой, моя, мое! Ты не знаешь других слов? Ты хочешь заставить меня произнести *это* вслух? Тебе недостаточно моих унижений?

— Ты просто переночевал у меня, мальчик. Вот и все.

Такого оглушительного ледяного звона я еще не слышал в исполнении теплого, горячего, веснушчатого Джерри.

— Пошел ты... — сказал я ему обессилено.

— Я предупредил тебя, — гудки.

Предупредил? О чем?

...

— И впрямь... Где взять залы? Джерри все прибрал к своим рукам.

— Ну и что, — сказала Глэдис, — у моей тетки по Луаре парочка замков. Она там все время что-нибудь устраивает. Потерпит и нас с десятком телекомпаний. Это для разгона. А потом все завертится вновь.

Моя жена знала, что деньги надо держать в семье. И с помощью семьи решать все проблемы.

В следующие три месяца я его не видел и не слышал. Более того: я ничего не слышал и о нем тоже. Пока однажды, за утренним кофе (Глэдис еще не проснулась после очередного перелета), новый номер «Studio International»[1] сам не раскрылся в моих руках на приятном серо-белом, чуть дождливом развороте с броским черным шрифтом заголовка. И далее — на семи страницах: крупные копии уже отозвавшихся в провалившемся сердце фотографий, и ядовитое интервью у их автора.

Линии. Намеки. Плечо. Спина. Волосы. Простыни. Гардины. Сияющий квадрат окна.

Где я это видел? Своими или чужими глазами?

Джереми воплотил свою очередную мечту. Я больше не художник, я стал его натурщиком. Мой мир рухнул: я — его малыш, его вдохновение, его достижение. И ничего не могу с этим поделать: у него права на фото, о которых я, утонувший в вине и надеждах, не помнил. И какой прозорливой и почему-то предсказуемой болью они отозвались во мне сейчас...

— Глэдис, — сказал я, заходя в спальню с выдранными страницами в кулаке, — давай уедем куда-нибудь. Далеко. Где все совсем не так.

[1] Британский журнал, посвященный изобразительному искусству. Издавался в Лондоне с 1964 по 1992 гг.

Пока она терла глаза, пытаясь проснуться, я сел в углу на корточки и... Заплакал, конечно.

После нескольких чашек терпкого травяного чая и ее не менее крепких поцелуев, мы решили, что купим дом во Флориде — раз уж Отечество так жестоко обошлось с нами.

Июнь, очередная бессонная ночь. Вспоминая это, я молю, молю — Господи, верни все обратно. Пусть это безумие, но отправь меня в ту изначальную точку, заставь вновь пройти весь путь.

Думаете, я хочу исправить ошибку с Джереми? Нет, я всего лишь страдаю о крупице света, которая затерялась в хаосе тех нечистых дней. Я готов вытерпеть еще десять жизней позора и постоянных крушений — только верни, Господи, меня в ту ночь, в начало пути. Я постараюсь растянуть его, я буду идти медленно, еще больше, чем тогда, смакуя каждую секунду ее присутствия. Я буду вглядываться в каждую клеточку ее тела, в каждое отражение, которое промелькнет в ее глазах. Я начну с этого сна, и уже тогда попытаюсь позвать ее, обманув временную спираль: ведь я уже буду знать ее имя.

Я не наделаю ошибок, как раньше, не испугаю ее, прислушаюсь к ее голосу и позволю ей самой вести меня. Я безумец, но это — моя жизнь, текущая по венам. Жизнь. Живое сердце в груди марионетки, в эпицентре светового облучения софитами, на сцене театра, чья труппа способна лишь на трагикомедии. Хуже — только на фарс.

Все эти люди, мужчины и женщины, которым довелось целовать, обнимать меня, верить мне, делить со мной деньги, обсуждать дела, строить жизнь — как бы возненавидели они меня, если бы однажды узнали, что были такими же пластмассовыми куклами, как и мой собственный герой. Ненастоящими, не допущенными, не посвященными, и даже не обласканными мной так, как я умею. Никто не был

столь реальным, как она. Сладкая, болезненная, горькая, но самая живая.

Глава 9

Чуете, как настоящее постепенно превращается в прошлое и... будущее? Нет, я не про обычное течение жизни. Я об отсутствии самого себя. Что, если я не успеваю за временем? Что, если я еще не осознал всего, а меня уже тянут за волосы в будущее, вырывая корни прошлого из моих пят?

Мне больше нечего сказать о жизни, текущей сквозь мои пальцы. Некуда пригласить вас — все украдено этими алчными хронометрами-захватчиками. Возможно, я и сам уже рассыпаюсь на песчаное облако атомов, исчезая в грунте дороги, утрамбовываясь в нее, становясь ее неотъемлемой частью. Вы больше не сможете пройтись со мной по мастерской, не отставая ни на шаг. Не услышите трусливого шепота моей души — он заглушен омерзительным треском рвущихся тканей, безжалостно натянутых на временную спираль. Кому он нужен, когда каждая вещь вопиет о необходимости идти дальше и ощущать плотское прикосновение бытия? Сколько можно жить внутри себя, оправдываясь тем, что во внешнем мире нет для меня зеркала? Чем укрыться от обвинений в том, что меня и не существует — если все, что для меня важно, происходит в мыслях, мечтах и снах?

Во мне столько любви, что пора начать дарить ее кому-то, а не прятать в тайниках, ожидая прихода достойной героини. У меня остался еще один вопрос, но какая-то врожденная патология — определяйте ее сами по высокочастотным вибрациям — вынуждает злорадно молчать, пока очевидное не заявит о себе.

Впрочем, стороннему наблюдателю я могу довериться — он не испортит моего мефистофельского замысла:

А что произойдет, если я опою многолетним настоем своей любви какую-нибудь страждущую душу? Не станет ли этот эликсир жизни ядом для неподготовленного к интенсивной терапии пациента?

Не понимаю, в какую щель забора пробралась эта порча, опутав мой дом, пока я предавался воспоминаниям. Имя ей — Будущее, оно закралось и перекроило предположения и пророчества. А мне еще столько надо рассказать, выуживая из прошлого свершившиеся факты и не долетевшие до цели мысли! Страшно представить, каким я обнаружу *Настоящее*, когда вынырну из омута памяти.

Все ведь происходило, как обычно — так кому понадобился этот фарс? Но рано сдаваться — я еще могу разорвать эти путы. Вот, например: в мастерскую вваливается Джон, одним махом преодолев лабиринты комнат и коридоров, громоподобно убивая меня своим коронным вопросом: «Что ты сегодня рисуешь, малыш?»

— Не знаю, — устало отвечаю я, сползая по стене и садясь на корточки.

Стоп. Уже невозможно продолжать в том же духе — это действительно было вчера. Мне обещали: устремив взгляд на человеческие лица, я найду свое отражение. Но все произошло как раз наоборот. Глядя вовне, я не могу поймать настоящего Николаса, все меняется с невообразимой скоростью. Глина не успевает застыть, как ее вновь комкают нетерпеливые пальцы, в судорожной суете придавая ей неясный образ, который будет разрушен уже через минуту. Краски не высыхают, замки не достраиваются, битвы бесчестно обрываются на равновесной середине, оставляя постыдное чувство неудовлетворенности. И меня уверяют, что это — и есть настоящая жизнь! Позвольте, я больше не буду называть это *настоящим*: у меня иные претензии к этому слову. Так что заново.

Еще вчера — я хочу сказать, неопределенное количество дней назад — все было, как обычно. Я что-то писал, едва отделяя вязкий полумрак студии от тумана собственных мыслей. Вдохновения почти не было: иногда я могу достучаться до тебя, но то, что у нас получается, доводит меня до сумасшествия. Его я и пытался немного унять, перекачав в кровавую остроту крыльев гигантской бабочки, пожирающей человеческое тело. Сначала я хотел со всей прямотой изобразить себя в ее пасти, но, подумав, не без злобного удовольствия набросал твой абрис. За этим неприглядным занятием и застал меня Джон.

— Ники, ты же знаешь, моя толерантность к твоим особенностям безгранична...

— Спасибо, друг. Спасибо, что еще не позвонил докторам.

— Но ты скоро сдохнешь или совсем свихнешься от воздержания!

— Я уже свихнулся, дай же мне теперь спокойно сдохнуть.

— Пойдем, прогуляемся, снимем тебе приличную красотку. Анна отпустит меня.

Я поморщился и отвернулся. Когда это я успел заляпать плинтус краской?

— Ники, когда ты последний раз трахался?

— Не помню. Отстань.

— Почему не Дорис, почему? Сколько можно сидеть здесь в одиночестве? Ты уже светишься от целомудрия! Это ненормально для мужика, Ники!

Я внимательно посмотрел на него (этот взгляд был призван показать, что я отлично контролирую тропинки своей психики) и сказал:

— Потому что я боюсь потерять ее. Твоя жизнь — как виссон для мумий: презентабельно, но не дает дышать а полную силу. Это лишние слои атмосферы между

мной и...

Джон не дал мне договорить, и это было ошибкой.

— Николас, хватит! — заорал он. — Может, она не твой идеал, но она — настоящая!

— Где — настоящая? — прошипел я ему прямо в лицо. — В чем настоящая? Где вообще это твое *настоящее*, а?

У меня началась истерика, и я принялся кривляться, выпячивая уродливыми гримасами каждый произнесенный слог — ведь слов было ему недостаточно! Как только я не разговаривал с ними — с Джоном, родителями, приятелями и подружками, случайными знакомыми и партнерами по бизнесу... Я подбирал языки и фразы, стили и орнаменты, буквицы и шрифт — все без толку! Конечно, я оплетал их с разной силой и частотой, кого-то подпуская ближе к истине моей души, других всего лишь изредка озаряя ее неуловимыми всполохами. Но никто и не собирался понимать, о чем я говорю, упрямо твердя мне в ответ: «Ты одинок, ты несчастен, Николас. Это можно исправить».

Я так старался, я извивался, как змей, чтобы найти с ними общий язык. Как будто недостаточно было моего искусства! Нет! — они и в нем не хотели видеть правды. Недостаточно было и меня самого — о, это было так унизительно: доказывать, объяснять, что я имею право на существование. Ведь, по сути, они отнимали у меня именно его, навязывая эти общепринятые стандарты. Доходило до того, что я начинал скучать по Джереми. Может быть, он также не понимал моего языка, но, по меньшей мере, не разговаривал со мной и на обыденном.

Джон вытянул руки вперед, растопырив пальцы. Ни дать, ни взять, кинокадр: усмирение пациента из психушки. В глазах страх, мимика рта отчетлива — то ли насмешка, то ли исковерканное отражение меня самого.

Будто я действительно представлял из себя угрозу! Это они были опасны для меня, но не хотели признавать неудобную для себя истину: она мешала им чувствовать себя хорошими. Если бы в моем окружении появился хотя бы один человек, подобный мне, вместе мы перевернули бы всю планету. Рассеянные поодиночке, на бессердечном расстоянии в тысячи миль, мы напоминали им вооруженных до зубов, но всего лишь — шутов.

И куда только делся его такт и стремление понять меня, с тех пор, как он раскусил прелести матричной жизни? Он все время подчеркивал мою «особенность», отличительные признаки, иное количество ворсинок на ребре крыльев, специфическую пигментацию глянцевого брюшка — а ведь я просил его не путать нити, и всячески пытался убедить, что единственная разница между нами заключается в силе веры. Но ему, как и другим, было удобно снимать с себя ответственность мнимой врожденной неспособностью к ней. Возможно, его душа все чувствовала и страдала и, дабы не слышать ее воплей, Джон решил сделать меня таким, как он сам.

Очеловечить мутанта легче, чем разлепить свои глаза?

Я выскочил на улицу и перевел дух. Стоял март, стволы деревьев уже полностью оголились от снега, и сад был отмечен черными проталинами. Я еще не успел прополоскать легкие пахучим сырым воздухом, как следом вышел Джон.

— Иди домой, — тихо сказал я ему. — Не обращай на меня внимания, все в порядке.

— Ники, — сдавленно ответил он, — прости, если что... Мы встретимся вечером?

— Не сегодня. Давай на выходных, — я обернулся и взглянул на него. Он сразу отвел глаза. — В понедельник я улетаю в Милан, заканчивать проект. Разгрузка накануне мне не помешает.

Эта философия была ему понятна. Потоптавшись

еще немного рядом со мной и услышав пару ободряющих фраз (словно они были необходимы именно ему), мой неуклюжий друг наконец-то убрался восвояси.

Так что — все было, как всегда.

Но теперь у меня нет другого выхода, как продолжить свой рассказ.

Вот я и добрался до признания, которое страшился сделать на протяжении нескольких месяцев. Не знаю, что будет с моей судьбой, и куда приведет меня корабль, на борт которого я взошел. Я предпочитаю не думать о последствиях, поскольку твердо знаю, к кому и какие чувства испытываю.

Очередные оправдания. Жизнь загнала меня в тиски собственных страхов, и я оказался слаб, чтобы выдержать их.

Вся горечь выпитых мной зелий может сквозить в моих словах — но я не уверен, смогу ли произнести их перед той единственной душой, которой они и предназначаются.

Не надо меня осуждать, пожалуйста... Кому я адресую этот просьбу?

Я должен рассказать об этом прежде, чем перешагну порог и окажусь в мире, сотканном из самых сокровенных и чистых желаний. Там будет комната — затененная, но наполненная благоуханной свежестью. Множество зеркал и окна, скрытые мягкими портьерами — я не возьмусь окрасить их в тот или иной цвет, но тонкие лучи дневного света все же пробиваются сквозь зыбкие щели в них. Иногда мрак наполняет пространство, но и это означает лишь, что спустилась ночь, всенепременно озаряемая светом полной Луны. То, что остается во внешнем мире, за окном, меняет свои очертания: то по моему желанию, то по высшей воле, всегда дающей лучшее.

Я видел листву деревьев, влажную в теплой летней

ночи, искристый снег, неожиданно жаркий день золотой осени, ее дожди, и вишневое вешнее цветение. В этом небольшом, но многогранном царстве, я ощутил все переливы настроений и состояний, присущих человеческим созданиям. Здесь я любил и страдал — впервые *по-настоящему*, и на сей раз это слово наполнено дыханием истины для меня. Многое из того, что я видел там, превратилось в прекрасные символы на моих полотнах. Но биение жизни не в них, а в душе, которую я встретил однажды в своем нечаянном путешествии.

Я не должен нести свое ничтожество туда, и расскажу здесь, прежде чем начну покрывать вязью искренних признаний следующий лист. И надеюсь, что они не испортят его белизну, но украсят ее.

Разве не долго я терпел, не подпуская к себе никого? В первый год, оказавшись в гулкой пустоте, ошалевший от лихорадки, в апогее которой меня преступно оставили — не только тонкий эфирный силуэт, но и женщина, клявшаяся быть со мной в горе и в радости, я метался по земным притонам, выискивая то грубый реверс, то поразительный намек твоей сущности. Затем, почувствовав, что это всего лишь новый способ оцепить себя кандалами, я выскользнул из их железных колец, шершавых от времени, пропахших кровью, и заперся в башне, которую не смог сотворить из слоновой кости, но изваял из черного камня. То, что происходило со мной внутри ее стен — не будет показано никому и никогда. Быть может, я позволю снять несколько кадров, но и они будут выполнены с ретушью и в облагороженных драпировках.

Я смирился с одиночеством — формулировка, понятная особо проницательным экземплярам человеческого вида, которых никогда не было в моем окружении. А на самом-то деле: я и не бежал от него. Оно было моей крепостью, главным аргументом, заразной болезнью, отвращающей от меня даже друзей.

Меня немного спасала врожденная способность не впадать в уныние. Это непривычное сочетание, неожиданная смесь — оптимизм и замкнутость — превратили мою жизнь в неплохое произведение искусства, героем которого стал уже воин-отшельник, а не слабый, растерявшийся мальчишка. Последние несколько лет я чувствовал себя чем-то вроде рыцаря-тамплиера: целибат во имя идеи, долгая дорога, терпение и мужская дружба.

Она-то меня и подвела. Дружба, я имею в виду. Нет, я не хочу сказать что-либо плохое о тех, кто пытался поддержать во мне душевное равновесие. Я и впрямь засыпал чуть быстрее и спокойнее, приняв в нутро несколько порций хорошего виски, птичий гомон публики в ночном баре и твердый рисунок судеб моих близких друзей, явленный в болтовне с ними. Их было немного, и заправлял всем, как издавна повелось, Джон. Поначалу он с головой окунулся в мою проблему — она позволяла ему проявить исключительные способности нечистой на руку свахи, сутенера по совместительству. Ему требовалась свежая кровь в примитивных языческих обрядах, голодный варвар, готовый вкусить с его стола. Но я тут же дал ему понять, что его давнее юношеское стремление поделиться со мной самыми потаенными уголками своей непритязательной души, не будет воплощено в реальности. В качестве аргумента я предъявил билеты, оставшиеся от своих вояжей по лучшим борделям мира. Он, вроде бы, успокоился.

Затем, по известному закону подлости, судьба свела его с Анной, оказавшейся вместилищем всех достоинств, всегда искомых им в женщинах. Впервые в жизни разглядев в себе призрачный (весьма, надо сказать) дух порядочности, он принялся женихаться, дарить цветы, а потом вступил и в законный союз со своей избранницей. Как всякий неофит, он преисполнился готовности идти

с крестом и мечом за приобретенные идеи. Еще вчера он исповедовал разгул и бессмыслицу, а сегодня уже убеждал меня, что единственный путь спасения мужской души — брак с возлюбленной.

Боже мой, неужели я спорил?

Глупости — нет, конечно. Просто у нас с Джоном были разные определения того, что есть любовь. Составляющие его формулы были целиком и полностью заключены в Анне, а сам он был лишь средой, растворявшей их. Долготерпение и удивительные совпадения в быту и постели: она любила готовить то, что он любил есть; она предпочитала те же позиции в сексе, что и он. Вот его волшебная формула.

О, да, меня нередко обвиняли в неспособности увидеть, что в чужих сердцах поселилось то же чудо, что и в моем. Однако... Досмотрите пьесу до занавеса — и вы поймете, как я был прав. Хотя и тут на моей дороге оказывается неподъемная глыба житейской истины: принося клятвы в вечной любви своему тридцатому избраннику, люди искренни, и та же безукоризненная неподдельность звучит в их многократных предательствах. Их не уличишь во лжи: «Такова жизнь!» — говорят они, будто не сами ее создают.

Что до меня, то я еще не вывел формулу любви. И хоть говорят, что краткость — сестра таланта, но каждое слово в моем рассказе относится до этого зелья. Тысячи, мириады слов, потому что ими надо выстлать весь жизненный путь, не оставив ни одного зияющего провала в бездушный космос. Ведь любовь в моем понимании — это Судьба. Единственный замысел Бога, пришедший Ему в голову, пока Он отводил руку назад, чтобы швырнуть тебя в этот прокаженный мир. Жаль, что глухота и слепота даются нам от рождения, и мы не в состоянии расслышать его. Но я могу сказать и иначе. Как вам дано ваше тело, и все органы, обеспечивающие жизнь,

душа и разум, порождающие желания — так мне дана моя любовь. Она просто в составе крови или ДНК.

Так что же Джон? С тем же усердием, что и раньше, когда он сватал мне своих шлюх, он принялся предлагать невест, выстраивая их в шеренгу — одну за другой. Поначалу я был совершенно шокирован мыслью, которую он допустил в свой размякший от пива разум: мне нужна пара. Мне? Пара? Он словно забыл, что я уже успел побывать женатым, и у меня была исключительно великолепная пара — Глэдис. Но все шелка планеты не смягчили удара: любой сказке приходит конец. Сколько бы трюмов с золотом ты не уплатил в качестве страховки, трещина появится в самом неожиданном месте — собственном сердце. Меня обмануло то, что на нашем корабле не было крыс: мы слыли знатными чистюлями. Некому было даже нагадить в углу или пробраться, семеня грязными лапками, в нашу постель. Потому и винить было — некого.

Мой друг никак не мог угомониться и, присмотревшись к паутине, которую он для меня плел, я обнаружил, что самые толстые канаты тянутся к небезызвестной мне девице, которую я слишком часто встречал на своем пути, чтобы сделать вид, что не слышу исходящего от него навязчивого запаха самки.

Как я мог не заприметить ее? Она посещала все мои выставки, пробираясь даже на закрытые фуршеты. Выгуливала свою безмозглую болонку по тем же переулкам, что и я своего дога. Несколько раз он даже огрызался на белесое существо, начинавшее издавать при виде огромного черного монстра визгливые вопли — призванные, видимо, то ли пометить ее факт присутствия на дороге, то ли заявить о своих правах на жизнь.

Она была профессиональной охотницей за звездой, и намеченной жертвой стал я. Молодой, привлекательный, отчаянно одинокий и, что самое важное — нарочно

не придумаешь! — живущий по соседству, в том же городе, что и она, привязанный к дому детства и школьным друзьям, посещавший те же злачные места, что и десять лет назад. Думаю, она не лгала себе в эмоциях: многие говорили, что не влюбиться в мое отмеченное душевной болью лицо и выразительные глаза, невозможно. И пусть весь образ моей жизни вопил о робости и слабости как определяющих ингредиентах коктейля под брендовым названием «Ники», тем проще была ее задача: веру девочек в сказки о принцах еще никто не отменял. Да и мой счет в банке, как ни странно, зиждился на тех же китах, в придачу к третьему, самому жирному — романтичности. Изнеженность, слабость и чрезмерная чувствительность — мой лучший товар.

После того, как Дорис живенько вызвалась на одном из перфомансов провести импровизированное анкетирование, эдакий плебисцит на тему всенародной любви к искусству и его выразителям, я, вздохнув, предложил ей работать на меня, отчетливо понимая ее цели и желания. У меня просто не было выбора (оправдывал я себя), опрос вызвал необычайный ажиотаж, и приглашенные выстраивались в длинную очередь, дабы одарить мою вялую руку горячей благодарностью за пронзительный миг культурного катарсиса — внезапно осознанного под наркотическим рекламным действием метких вопросов, подобранных энергичной блондинкой в стильном костюме.

Да и Джон больно тыкал жирным локтем в мою печень.

Это было почти год назад, когда сама жизнь вынудила меня задуматься о текущих делах. Уже пять лет, как Глэдис, не обсудив со мной почти ничего, отказалась выполнять обязанности не только жены, но и моего менеджера. Впрочем, это отпало само собой — что, в сравнении с брошенным и спивающимся мужем, было полнейшей ерундой. Поначалу я, скрепя сердце и скрипя зубами, по-

ручил завалы работы друзьям, переплачивая им — по доброте душевной и мнимой духовной близости — втрое. Зато можно было расслабиться в ленивой уверенности, что меня, по меньшей мере, не обманут, даже если нечаянно проглядят пару важных дел. Однако в бумажную волокиту никто ввязываться не хотел. И не удивительно, поскольку меня, благодаря продуманной стратегии, окружали исключительно мужчины. Мне не нужна была секретарша в полном смысле этого слова: я предпочитаю сам готовить кофе и чай. Но сидеть целыми днями в офисе, ожидая звонков от работодателей, было выше всяких сил и ниже гордости.

Видите, сколько причин у меня было, чтобы связаться с ней?

Дорис, как вы помните, оказалась настоящим кладом, и успевала следить не только за делопроизводством в конторе, но и за состоянием моего организма и холодильника. Последовательная и настойчивая девица решила заполучить меня по частям. Эпизод с пострадавшими от холода изнеженными руками художника мы уже проходили. Далее. Должен признаться, что моя раскалывающаяся от регулярной выпивки голова всегда вовремя получала таблетку аспирина, а кровь очищалась настоями трав — до вечера, пока я вновь не отправлялся в кабак с приятелями.

Несмотря на мои заверения в том, что врожденное брезгливое благородство — лучший ангел-хранитель мужского здоровья, она завела привычку напрашиваться в нашу компанию, витиевато объясняя это отсутствием взаимопонимания со своим бойфрендом. Девушке и карты в руки шли: мой лучший друг приходился ей некой помесью одноклассника, случайного знакомого и троюродного братца. Меня так и подмывало выспросить у Джона: нет ли в этом списке чего-то более привычного его прежнему образу жизни — и, кстати, весьма подходящего ха-

рактеру Дорис? Грубо выражаясь, не оказывалась ли она прежде в его холостяцкой постели? Но здравомыслие оберегало меня от всплесков любопытства: порой я предпочитаю не знать лишнего о людях — не пристало брести одному к концу своих дней, а моя гадливость всегда играет со мной злые шутки.

Так или иначе, Дорис почти поселилась в моем офисе, заявляясь туда раньше утренней газеты и выметаясь, лишь когда уличные фонари начинали разливать свой янтарный свет в вечернем воздухе. Она оказалась великолепной рабочей лошадкой, выносливой, методичной и дисциплинированной. А от конторы до моего особняка, знаете ли, только дорога шириной в несколько метров, и движение на ней почти незаметно.

С этого момента я постараюсь быть предельно честным и двигаться четким пунктиром.

Первый вестник беды дал о себе знать в злосчастной миланской школе, на контракт с которой я себя обрек до июня. Новогодняя магия одержала победу над рождественской — мощь намерения атеистки Дорис оказалась большей, нежели скромные желания верующего во все подряд Николаса. Нетрудно догадаться, что сценой, на которой развернулась увертюра трагикомедии, стал тот самый бассейн, не проявивший ни капли благодарности ко мне, вложившему в него столько надежд. Я смывал с себя запах краски после трудового дня, а Дорис — расслаблялась, утомленная беспорядочным перекладыванием документов в единственной папке, которую прихватила с собой. Делать ей здесь, в общем-то, было нечего. Постойте-ка, дайте подумать... Соблазнять меня?

Да, она просто подплыла, пока я медитировал, откинувшись спиной на мраморный край бассейна и прикрыв глаза, обожженные штукатурной крошкой, и поцеловала меня. Надо сказать, бедняжка долго терпела —

одиннадцать месяцев рядом со мной, шесть лет — по моим следам.

Я даже не вздрогнул и не сразу отреагировал, почуяв ее злой умысел за десять секунд до его воплощения. Что ж... Она ждала с вызовом во взгляде. Я не шелохнулся, и поцелуй повторился, теперь сопровождаясь и объятиями. Спустя полминуты животное мужское начало вынудило меня подключиться к ее игре.

— Пойдем на бортик, — шепнула она, обвивая меня руками, — в воде это не слишком удобно. На самом деле...

Джон не обманул меня: у девочки был неплохой опыт.

— Но зато в воде ты будешь легкой, как пушинка, — улыбнулся я.

Не помогло. Женщины устроены иначе: внезапный укол кинжала, обернутого в бархат, не сбивает их с цели. По крайней мере, так обстояли дела с Дорис: она отвоевывала место под солнцем по крохотным клочкам, одобряя себя за каждую маленькую победу.

— Пойдем, — настойчиво повторила она, и первая вынырнула из воды.

Я обернулся к ней, пикантно присевшей на корточки перед моим лицом.

— Дорис, кто тебе сказал, что мы займемся этим здесь и сейчас? И вообще когда-либо?

Усмехнувшись, она поднялась и ушла — быстро, не оборачиваясь.

Я не был заинтригован, и очень надеялся, что ей хватит ума превратить все в шутливую случайность. Никаких чувств, кроме благодарности работодателя, я к ней не испытывал.

Не помню точно — были у меня женщины за последние четыре года? Смутно выцарапываю из глубин своего отвращения какую-то смазливую певичку из берлинского бара, которую наспех, поддавшись ее садист-

ски настойчивым, вульгарным уговорам, оприходовал в подсобке того же кабака, под жалобное позвякивание запасных тарелок и внезапный дождь их махровых полотенец, в неуклюжем падении пытавшихся приукрасить мое отчаяние шершавой лаской. После пришлось яростно оттираться в ванной самой жесткой мочалкой, которую я только смог найти, оставляя на коже красные подтеки, с тихой злостью истязая себя за вероотступничество и грехопадение.

Еще (однажды) была Глэдис, заглянувшая как-то в гости и достаточно пьяная, чтобы пожалеть меня, обрюзгшего от горя, превратившегося в неясный абрис самого себя — больное одутловатое привидение, покинутое Богом, любовью и удачей. Весь эпизод, от нетрезвого и горестного «Ох, Ники...», прочертившего влажную дорожку мягких поцелуев на моем лице, до бурного приступа юных воспоминаний на моей холодной постели — занял не более пятнадцати минут, так что вся остальная ночь, скрипучей телегой катившаяся к рассвету еще шесть часов, была совершенно ни к чему.

Сначала мы лежали, обнявшись, затем неведомая сила расцепила наши руки и медленно, деликатно, словно боясь обидеть кого-либо, развернула затылками друг к другу. Ни я, ни она, не знали, спит ли другой. Одному Богу известно, о чем думала Глэдис. Я же, едва остыв от объятий, оцепенел от никчемности происходящего, с невесть откуда взявшимся злорадством осознав, насколько далека эта ночь, пронизанная серо-голубыми тенями и пропитанная лимонным запахом свежего белья, от вечной радости прежних лет, проживаемой телом, душой и духом. Тут, в заколдованном сне, на пятом круге ада, где я оказался то ли по собственной воле, то ли вследствие рокового стечения обстоятельств, все было не так. И спустя краткое мгновение даже мое тело не помнило того, что произошло и было таким есте-

ственным, навеки впаянным в кровь.

Может быть, с того момента я понял, что неотвратимо леденею. Когда-то я любил и был любим — сразу двумя, но потерял обеих. И было понятно, почему ушла первая, оскорбленная моим нежеланием быть ее счастливым и обласканным пажом в золотом дворце. Но насколько ничтожен и слаб я оказался, что даже моя собственная Мечта отвернулась от меня? Чего я не смог дать ей, выкрав юную душу и распоряжаясь ею по своему усмотрению? Разве не те же золотые дворцы предлагал я? Неужто там, в ее мире, они почудились ей всего лишь густыми облаками, освещенными падающим в море солнцем?

Утром, когда Глэдис наконец-то тихо выскользнула из моих апартаментов, неловко улыбнувшись и клюнув меня в щеку на прощание, будто стирая память о том, что произошло, я внезапно зашелся в постыдной истерике, взбивая кулаками ставший ненужным мир. Неужели все это происходило со мной? Ушедшая ночь отчетливо выявила слепые пятна и черные дыры жизни и личности, и даже воспоминания свернулись шипучей змеей на еще теплом камне сердца, не позволяя приблизиться к спелым ягодам юности.

После я никого не подпускал к себе. Так было проще решить вечную проблему демонической разделенности между физиологией и душой. Да и разум вставал на защиту последней, вовремя подсвечивая фальшивый блеск в глазах многочисленных охотниц за моим слабым телом. О, я слишком хорошо знаю себя — и перистые райские сады моего духа, не прощающие посетителям малейшего пятнышка грязи на подошвах, и опасный флогистон моей плоти, вспыхивающий от малейшего умелого прикосновения (надо лишь знать, с какой стороны подойти). Именно потому я исключил всякую возможность соблазна, появляясь на публике с безнадежно женатыми друзьями, а иногда с их родителями.

Конечно, я страдал от добровольного целибата, как любой нормальный мужчина, только почему-то гораздо сильнее — по неизвестной причине, не установленной щепетильными человечьими науками. Родная земля в какой-то степени спасала меня, лишая всякой возможности эстетического наслаждениями тонкими образами. Все и вся были слишком нормальными, чересчур обычными, пусть даже и попадались весьма приятные на вид экземпляры. Но затем эта безысходность, отсутствие раздражающих картинок перед глазами, вызвали еще больший зуд в теле, заставляя раз за разом окунаться в мир своих фантазий. Точнее, с мольбами на устах жалко подглядывать за ними в узкую прореху, крохотное оконце, образованное камнем, вывалившимся из бесконечной стены. Греза беспечно прохаживалась по волшебному саду и не слышала моего шепота.

Но спектакль, который мои друзья назвали бы настоящей жизнью, продолжился спустя два месяца после поездки в Милан — пусть мы с Дорис и не разговаривали ни о чем, кроме работы и погоды. Это случилось в чуть ветреный майский вечер, когда Лондон уже стоял в цвету, и золотые облачка мошкары в садах и парках зависали в теплом воздухе, заранее прославляя приближающийся июльский зной. Мироздание было прекрасно, дворники нашего маленького пригорода с утра вымели весь сор с улицы, и добросердечные соседи в течение дня старались не испортить их работу. Время от времени поддувал легкий, ненавязчивый и восхитительно нежный ветерок, охлаждая уставшие от праведных трудов лица хороших людей и красные рожи местных пьяниц. Я уже не состоял в рядах первых, но еще не был принят в великую ложу вторых.

Я провалялся в смятой постели до полудня, то утопая в вязких сумбурных снах, больше утомлявших, нежели придающих сил, то наполовину выныривая из них —

плохо осознавая реальность и испытывая невероятную скованность в теле, не позволявшую подняться и начать новый день. Пиво, вино до полуночи — не больше, чем обычно, без потери лица и достоинства. Или мне так только кажется?

Оставался лишь один вояж в Италию. Ремесленники, трудившиеся над маловажными деталями проекта, должны были сдать работу. Меня сильно расхолаживало нынешнее состояние: в перерывах между коммерческими сделками я успел открыть одну выставку, насыщенную иссиня-черной штриховкой образов и бледной немощью Луны, и теперь позволил себе якобы заслуженный отдых. А на самом деле, продолжил увлекательное путешествие на дно обессиленной богемы. Я еще не потерял способность работать, и этот факт обманывал меня, позволяя и дальше продолжать эксперименты с циничным одиночеством и дозами различных дурманов в крови.

Странно, кстати, что мой лучший друг не пытался остановить меня от ежедневных возлияний, и даже разделял их со мной. Сердце теряло свой ритм, кожа — тонус, а тело обрастало лишними фунтами.

Сложно предугадать, что происходило бы со мной дальше, если бы не этот ветер перемен, влетевший в мое окно, безответственно оставленное приоткрытым. Он заполнил мелодичным свистом мою комнату, уверяя, что является *настоящим*. Он обнял меня — и оказался теплым. На самом деле — он просто нашел во мне струны, издающие наиболее грубые вибрации, да еще и ухнул в зияющую дыру в сердце.

Сколько изящных словесных построений я стараюсь найти, чтобы описать вульгарную простоту текущей жизни! Смею уверить, что делаю это не для себя, и не в поисках оправданий. Для вас, разумеется. У меня остаются мои воспоминания и безумная надежда. А как разукрасить ваши жизни, я ума не приложу. Ведь почти в каждой

из них любовь принимала именно такой облик. Но позвольте, я обойдусь без романтичных околичностей, рассказав о том, как майский вечерок весело подвел нас к крыльцу моего дома — будь мы моложе и безмозглее, с таким же успехом пригодились бы вовремя подвернувшиеся кусты акации.

И конечно, засыпающее солнце окрашивало пряди ее волос в пронзительный розовый, а мой профиль и без того был достаточно багрян.

Несмотря на шум виски в венах, изрядно корректирующий реальность, я постарался сделать все, как можно хуже. Мне пришлось переступить через себя и быть предельно пресным в своей лаконичности, а ведь (скажу без ложной скромности) унизить обнаженную женщину недостатком внимания для меня сложнее, нежели чемпиону по плаванию — сознательно утопить себя.

Но и это не помогло. Она, видите ли, любит меня, и посему на следующее утро меня ждали какие-то смеси соков, трав и других зелий от похмелья, доставшихся ей по наследству от той же бабки-ведьмы. Затем моя случайная ошибка деловито собралась и отправилась на работу — в *мой* офис. Вечером позвонила и осведомилась о *моем* самочувствии, порекомендовав воздержаться от городских прогулок хотя бы в течение недели. Я послушался, но не столько ее слов, сколько воплей своего разума, справедливо указавшего мне на новые и неприемлемые последствия моего образа жизни.

Спустя семь дней она также преспокойно вошла в *мой* дом и повторила подвиг. Я еще долго не сдавался, разыгрывая из себя неудачника и неврастеника, потчуя ее жалкими обрывками того, что даже на моем языке не может именоваться сексом — не то что занятиями любовью. Но через месяц (а интенсивность и настойчивость ее эскапад в мою сторону лишь усиливалась) рухнула и душевная оборона, и я признался — в первую

очередь себе: у меня, кажется, завелась постоянная любовница. А потому мне стоит задуматься о том, чтобы оставить у нее положительные впечатления.

Так девушка по имени Дорис из семьи клерков, живущих в пригороде Лондона, осуществила мечту своей юности и стала подружкой Николаса Фламинга. С кем не бывает?

И однажды наступил тот момент, когда местные газетчики, отреагировав на мою очередную выставку, задали долгожданный вопрос: «Как у вас на личном фронте, Николас? Вы живете один?»

— Нет, я живу в прежнем особняке, но со своей девушкой.

— А где же ваша жена? Глэдис, знаменитая светская львица?

— Она во Флориде. Мы давно не виделись, но поздравляем друг друга с Рождеством.

Одобряющий взгляд. Наконец-то. Я сразу взлетел в цене. Превратился в приличного человека. Туман над болотом моей души рассеивался, я стал им более понятен. Мою выставку показывали по двум телепрограммам на протяжении пяти дней, и напоследок — в недельном обзоре новостей. Они по-прежнему осоловело пялились на картины, не улавливая основную нить сюжета, но поток посетителей был на удивление стабильным и густым. Я продал половину полотен и получил несколько заказов на интерьер в тонах и расценках последней экспозиции.

Но самое главное было не в этом. Она, драгоценная суть жизненного мига, вспыхнула и обожгла язык солью, как только парнишка с микрофоном поставил нужную загогулину в конце вопроса о моей бывшей жене. Я словно кожей — нет, каждой клеткой своего измученного иллюзиями тела ощутил эту благостную, живительную прямую, соединившую мой родной городок с далеким американским штатом. Я был женат — мы

были порознь — я имел право — я *имел*.

Чувствуете эту наполненность бытия, эту предельную очеловеченность, эти туго набитые карманы, этот натянутый гульфик, эту сытую округлость щек? У меня вновь было все *нормально*. И пусть прошло всего два месяца с тех пор, как я позволил Дорис самой открывать дверь в мой дом, но ответ на этот вопрос освятил все шесть прежних лет моей непутевой жизни. П-фффф! — он перечеркнул, вымарал их, залив утренним светом, которого ждал каждый житель этого города.

Словно и не было моего безумия и одиночества, странностей, которые так трудно было скрывать от посторонних глаз. Внезапных вспышек страсти к призраку, невидимому другим, алчных мыслей, вторгавшихся в мое сознание в самые неподходящие моменты. Не было больше этого Николаса — «немного не в себе, знаете ли...» Может, я всегда был обычным парнем — если жена не живет со мной, почему бы не завести подружку? Не так ли?

Уже на следующий вечер после этого интервью я впервые за все время с искренней радостью вышел прогуляться по летнему городу с Дорис. Мы зашли в кино, держась за руки, мы целовались на мостиках в парке, прохожие оглядывались на нас с улыбкой. Мы выглядели влюбленными, и Дорис была столь благодарна и ошарашена внезапной переменой во мне, что мое нежданное довольное спокойствие удваивалось. Это всегда так приятно — делать подарки.

Я вдруг почувствовал, что могу быть просто, по-житейски счастлив — хотя бы иногда. И пусть я по-прежнему не представляю, смогу ли целиком и полностью вытравить боль из души, но простой рецепт моих друзей помог затянуться ране. Конечно, она покрыта еще слишком тонкой кожицей, а затем грозит превратиться в уродливый шрам, которого можно было бы избежать, исполь-

зуя более тонкие методы врачевания, но...

Что я хотел сказать, не напомните ли? Кажется, что-то о мягкой перине близких дружественных отношений? Да, я еще не доверяю Дорис, и впустил лишь в свою жизнь, а не в свое сердце. Возможно, когда-нибудь, растворившись в благополучии и моей незлобивости, она забудет об этом уговоре, молчаливо витавшем в воздухе. Тем больнее будут ее воспоминания, если ты все же решишься воплотиться на моем пути. Наверное, ты не сможешь меня понять, но ведь я никогда не искал замену тебе. Напротив, обыденность, которую я смог принять — столь далека от твоих души и тела, что служит мне ежеминутным напоминанием: я еще не нашел тебя.

Глава 10

Сейчас, минуточку. Осталось еще немного, и я добреду, наконец, до излюбленных глав своей жизни. У меня пока есть возможность спрятаться в самый дальний и темный угол своей норы: ослепительный свет человеческой жизни контролируется выключателем в моих руках. И там, в вязкой тишине воспоминаний, я могу выстроить достаточно прочный мост между прошлым и настоящим. Той малой толикой настоящего, которая у меня осталась. Я не знаю, удастся ли мне сохранить ее во внезапно ускорившей бег судьбе. Меня подсадили на крючок комфорта, я вляпался в патоку обыденности, но еще жив источник, способный отмыть мои пальцы от неприятной липкости, вбирающей в себя мелкую грязь повсюду, где я иду.

Но для начала необходимо подготовить себя и тех, кто подсматривает в крохотное окошко моей секретной лаборатории. Инструменты уже издают свой хромированный звон в лучах глазастых ламп, и мои руки стерильны — иначе я не посмел бы прикоснуться к собственному сердцу. Теперь осторожно, убаюкивая и обещая, что будет не больно, я впрысну немного обволакивающей анестезии в вены непонятного Существа, объединившего в себе меня, вас и — ее.

Многорукий мутант, древнее божество, которое я давно заприметил: возможно, оно называется Космосом, и въедливые ученые ныне препарируют его с помощью квантовой физики. Она, кстати, не помешала бы сейчас мне, привыкшему исключительно к аморфным формулам неточных гуманных наук. Шустрые электроны, прочные взаимосвязи, единство материи и духа — только так можно понять и принять то, что будет изло-

жено ниже.

Назойливый ангел за моим плечом беспрестанно теребит меня за рукав, уверяя, что время настало, и количество душ, рассеянных по свету, но способных впустить это в себя — достаточно, чтобы выстроить плотные ряды новой армии. «Уже можно», — шепчет он мне. Но его коллеги озадаченно стоят поодаль, изредка вспыхивая спором, почесывая точеные подбородки и задумчиво наматывая на пальцы сияющие пряди волос. «Можно ли?» — печально заглядывают они в мои глаза, напоминая о вечной истине: никто, кроме меня самого, не знает ответ.

Итак, соло моей истории, конечно, любовь. Предельно честное предупреждение всем, кому попадут в руки эти не успевшие пожелтеть от времени листы: в словах здесь лунатиком бродит безумие, звучит чертовская свирель, Бог изливает вероломный свет на все и вся, выхватывая из сумрака лесной поляны самые сокровенные, отборные в своей невыносимой интимности сцены. Шепот влюбленных исполнен в тонах шелкового пламени, и нет никакой гарантии, что ткань эта не отравлена. И в то же время, все это останется скрытым от посторонних глаз. В первую очередь — от ваших, вспыхивая и рождаясь в закоулках сознания, в пелене догадок, дабы невозможно было обвинить в искусе тех, кто участвует в игре. Все, что дано ниже — будет принято вами так, как вы на это способны.

Я лишь приоткрою тайное знание об истинной и совершенно сумасшедшей — совершенной до сумасшествия, сумасшедшей до совершенства — любви двух чародеев. Любви, в которую можно верить, лишь сойдя с ума — прямиком, по звонким ступенькам, каждая из которых поет все хрустальнее и невероятнее — в самое сердце. Только оно, сердце, и знает, как все было на самом деле.

Посему будьте осторожнее, ибо в строках и абзацах, по линии корешка и — тем паче! — в нежных и приглушенных тенью иллюстрациях, таится нечто, чье имя трудноопределимо, но синей краской навеки въестся в рисунок ваших вен.

Судьба была жестока к нам, и у прекрасной сказки обнаружился горький и болезненный конец. И пусть мы оказались редчайшим явлением — двумя половинками одного сердца, наделенными встроенными магнитами, которые смогли притянуть друг друга, не взирая на расстояния и неизвестность — обычная жизнь разорвала тонкий союз душ. Заперев память одной в крепостной стене, захлопнув двери понимания перед другой.

Это история о любви. Все рождаются для любви — не все ее находят. Тропы усеяны осколками подделок. Они удобны для употребления, просты и непритязательны, хотя и поблескивают на первых порах приятным теплым светом. Но время проходит, серебро чернеет, а то, что казалось истинно золотым, превращается в ядовитую окись — уж не потому ли так легко расстаться с подделкой? Истинная же любовь не всегда поддается знакомым определениям, представая перед искателем то причудливой тенью, то незнакомым зверем с малиновой шерстью и голубыми клыками. Найдите отвагу присмотреться к ней, попробуйте приручить, а если уж совсем трусливы и никчемны — рискните просто подойти к клетке, в которую ее заковали очеловеченные слова на этих страницах. И не вздумайте оскорбить ее даже мимолетной мыслью, обманутые крепостью железных прутьев: у этого чуда всесильный взгляд, и он настигнет и отравит вас местью спустя тысячелетия и в любом уголке Вселенной.

Кем она была? Главным персонажем моей жизни, партнершей, стоящей рядом со мной на сцене? Или же те, кто проходил рядом со мной — Глэдис, Джереми, До-

рис, Джон, родные и близкие — все они участники спектакля, поставленного лишь для нее, одиноко сидящей в темном гулком зале, потерявшейся в рядах бархатных кресел, но неминуемо чуемой и узнаваемой мной?

Вы достаточно подготовлены? Успели стряхнуть с себя досадную паутину моих ошибок? Уверены, что отличаете выдумку от реальности? Тогда добро пожаловать в то, что управляет всей моей жизнью. Немного побродим по моим снам, а затем вновь вернемся в столь любимую вами реальность.

Так чего же я жду? Почему так боюсь шагнуть туда, усеивая царство слов бесконечными вопросительными знаками?

Они — единственное, в чем я уверен.

Разве не я был тем, кто украсил твое детство, научив тебя беззаботно играть в Лилу? Я так радовался вместе с тобой, что ты — наконец-то! — захотела быть ребенком, и впустила меня в свой озорной мир.

Разве не я научил тебя смеяться? Твой смех был закован в цепи страха и напряжения. Но я забрал тебя с собой — туда, где звезды следуют заветам Маленького Принца, и раздается их звонкое хихиканье. Туда, где волны океана разбиваются на мириады брызг, и все они — детские смешинки, случайно подхваченные вместе с бризом.

Разве не я открыл тебе тайную иерархию мира, наперекор школьным учителям и учебникам поведав о теории эволюции? И я сказал тебе, что время близко, и ты всегда и каждую минуту должна помнить, кто ты есть на самом деле.

Разве не я рассказывал тебе о движении планет, меридианах, асцендентах и звездных домах? Ты проживешь еще годы, и убедишься, что следуешь предначертанному.

Этого недостаточно? Это слишком неосязаемо, как... твой смех?

Разве не я научил тебя, как наслаждаться жизнью и одновременно распознавать опасность, исходящую от мальчишек и взрослых мужчин? Ты прогнала меня, но твои еще полудетские победы, все эти прикарманенные сердца — не моя ли заслуга в том, что ты так быстро обучилась великой науке флирта и интриги?

Разве не со мной ты узнала, что есть любовь — и, познакомившись с ней однажды, так и не смогла затем лгать себе, как все остальные? Ведь ты так хорошо знала, каково это — когда тебя любят больше жизни.

Разве я не выполнил свое обещание, и покинул тебя хоть на миг в опасности, которую ты всегда выбирала сама? Я был рядом, и продавал свою душу по частям, лишь бы призвать на помощь силы, способные тебя уберечь. Все твои ночные прогулки, заигрывания с тьмой, путешествия в никуда — за них давно и солидно уплачено. Прости меня за те моменты, когда я оставлял тебя, пытаясь стать нормальным. Я раскаялся в них, и отныне везде и всюду следую за тобой.

Разве не я... Впрочем, ты еще не знаешь об этом. Но это я приходил к тебе теми безумными ночами, когда ты сгорала в одиночестве, это мое дыхание успокаивало тебя, это мои поцелуи и ласки отогревали твое замерзшее сердце. И ты каждый раз удивлялась божественному провидению, не зная, что оно творилось далеко не ангельскими руками. А утром, когда твой разум был в смущении, и ты с такой готовностью обвиняла себя в сумасшествии — я закрывал твои глаза, я пел колыбельные твоей душе, и она тонула в моем чародействе, не позволяя разрушительным мыслям вторгнуться в чертоги тайны.

И разве я не делал то, о чем говорил так много лет назад? Разве не искал я тебя по всему свету, используя любую возможность, исследуя каждый закоулок твоей страны, в которую меня так часто забрасывала судьба? А ты так искусно лавировала меж расставленных мной ловушек, а ес-

ли и натыкалась на них — то словно не помнила, где и у кого видела этот драгоценный металл, и знак какого мастера вытравлен на его поверхности.

И разве я не учил тебя следовать своему сердцу и, невзирая на обстоятельства, гам толпы и летящие в тебя стрелы, делать только то, что ты действительно хочешь? Почему ты потеряла эти магические навыки? Почему ты слушала тех, кто не верил в тебя, прикрываясь заботой — о тебе же? Они заставили тебя надеть восковые крылья, связав твои собственные. И уговорили тебя подняться к солнцу — зная заранее, что воск оплавится, и ты упадешь. Потому что все падают. И чтобы не чувствовать себя уязвленными, они ожидали от тебя подтверждения собственной правоты: летать — невозможно. Но мы же вместе взрастили твои крылья — так почему ты не пользуешься ими?!

Вся моя жизнь, все, что я сделал — это ты. Любовь сейчас не в моде, и я кажусь смешным и жалким. Но тем волшебнее сокровище, которое у меня в руках. Вместе мы явим силу, другим неподвластную, ведь любовь — это Бог.

Так вспомни же обо мне, умоляю, вспомни обо мне.

Ловец Снов

Глава 1

Иногда это хорошо — отрываться от земли. Предсказуемая влажность английского климата остается позади, и мои неосторожные гримаски боли уже незаметны близким — а значит, вольны без дотошных допросов. Авиалайнер направляется на другой континент, и я, словно Колумб из колоды Таро, всматриваюсь в горизонт, окрашенный розовыми надеждами. Гудение трансатлантического кабеля — надежная связь, и не менее верный залог уединения. Лишенный глупых иллюзий, я действительно отрываюсь от всего, что знал раньше. Главное, чтобы чужая страна была гостеприимной, теплой и цветущей.

Флорида попала в поле зрения благодаря своей живописности и насыщенности идеями. Кроме того, один из дядьев Глэдис владел здесь маленьким заводиком по производству апельсинового сока. Я не удосужился заглянуть в энциклопедию, прежде чем взойти по трапу самолета — а оказалось, что и здесь в нос бил влажный запах болот. Конечно, оттенки он носил уже совершенно иные, тропические. Близость океана радовала и пугала одновременно: с водной стихией у меня непреодолимый внутренний конфликт, который я предпочитаю именовать уважением. В то время мне снились огромные волны цунами, захватившие в плен побережье, а вскоре воплотились и остальные мои детские страхи: я впервые увидел аллигатора в его родной среде. После я узнал о существовании огромных питонов и анаконд, шуршащих в высоких стеблях растений (даже травы — и те были плотоядно мясистыми в этих краях), в каких-то десятках футов от автомобильной дороги, по которой мы неслись в поисках приключений.

А ведь изначально я представлял Флориду почти раем, усыпанным белыми цветами — так отзывалось во мне ее цветущее название. Я предположил, что лепестки, которые я вижу в своем сознании, принадлежат жасмину. При ближайшем рассмотрении в реальности они превратились в орхидеи и магнолии. Что ж... Не менее прелестно и экзотично, хоть и припорошено тонким ядом субтропических рептилий.

Майами оказался обычным городом контрастов, коих сотни на этой планете. Как всякий гость, поначалу я был поражен растиражированными картинками небоскребов на краю побережья, у подножий которых лениво возлежали любители солнечных ванн. Впервые попробовав это сомнительное удовольствие, я не мог отделаться от навязчивого зуда в области лопаток: мне чудилось, что задыхающиеся от бумажной пыли клерки буравят мою спину злобными взглядами из огромных зеркальных окон этих монстров. Но новые и бесконечно случайные друзья объяснили, что такое здесь невозможно, небрежно указав на парочку «белых воротничков», обнаживших свои загорелые торсы на соседних лежаках.

Еще одной странностью, вызвавшей у меня кризис сознания, стал испанский язык, звучавший, казалось, повсюду. Возможно, у меня сложилось слегка преувеличенное впечатление: тропинки, проложенные нашим образом жизни, приводили именно в места, захваченные этими потомками конкистадоров — рынки, торговые лавки с редкими ценностями, музыкальные магазинчики... Даже краски я покупал у старого, обветренного морями, испанца. Прогулки на яхтах устраивались ими же; яркие перфомансы на улицах были окрашены в черно-красные тона танго. А задрав голову, я терял ощущение реальности: высокое небо изможденного голубого цвета почти стирало абрисы огромных строений, сверкающих металлом и стеклом, а глаза наводнялись растрепанными

всплесками пальм, полощущихся на ветру.

Глэдис погрузилась в другие фобии. Быстро выяснилось, что больше всего моя рыжеволосая звезда боялась затеряться, попав в незнакомый мир. Поначалу ей это не удавалось сделать. Но по мере того, как загар окрашивал и ее тело, она принялась паниковать. Я здесь сразу сошел за своего: даже на туманных просторах родного Альбиона у меня получалось ловить ультрафиолет, лишь выйдя поутру к почтовому ящику. Бриллиантовая и золотая спесь не помогала Глэдис в городе, где парень в белых шортах, сидящий за соседним столиком уличного кафе, со смешком рассказывал, как случайно спалил свою яхту стоимостью сто двадцать миллионов долларов — только потому, что девятилетняя племянница попросила фейерверк «лучше, чем в прошлом году».

Шесть месяцев были потрачены на прогулки по ботаническим садам, аквапаркам, огромным торговым площадям. До своего особняка на краю Майами мы добирались нечасто, хотя я с удовольствием отдохнул бы от бесконечных пробежек по зеленым дорожкам и занятий йогой, к которым теперь стала принуждать меня Глэдис. Но по сути, мы никогда не знали, что будем делать завтра: словно кто-то держал в руках хлыст и подгонял нас, вынуждая тратить деньги и искать то, чему мы и сами не могли дать определения. Почему-то казалось, что мы должны содрать, смыть, растерять свое прошлое — и брызги волн, вкупе с дуновением болотных бризов, помогут в этом. Оглядываясь назад, я понимаю, что осознанной и созидательной жизни там просто не могло быть, но мы попали в сильный водоворот, ускоренный курс обучения, который дал нам очень много. Драмы остались позади, но в этом курортном мире мы повстречали обстоятельства и людей, разъяснивших те слова и образы, которые ранее не находили своего перевода на человеческий язык.

Конечно, я перебрался не на другую планету: доброжелателей и здесь находилось более, чем достаточно. Я регулярно получал увесистую пачку второсортных английских газет, с жадностью обсуждавших мое внезапное бегство. Это продолжалось почти полгода — сила легких Джереми, раздувавшего пламя скандала, была невероятна, и мне порой казалось, что стопка листов в моих руках еще не растеряла привлекательной влажности, хоть и пересекла Атлантику. Эхо — и то было точнее в своих воздушных коридорах.

Журналисты выстроили каменную стену между мной и моим недавним прошлым, и, пожелай я вернуться, то не смог бы: там, под колючими лучами их софитов, стоял уже не я, а их марионетка, искаженная страхом и клеветой. С тех пор, как публика с нечистым азартом отыскала меня на затененных фотографиях, выброшенных Джереми на арену голодным зверям, по свету рассеялся слух, что между нами была договоренность, и я получил свою треть прибыли. Подачка, которую обычно бросают удачливым фотомоделям. Теперь в гуле голосов было три потока. Одни во всеуслышание кричали о том, что я и Джерри — влюбленные друг в друга геи, не поделившие куски алчных душ. Другие облили меня презрением за то, что я, примерный с виду семьянин, позировал на потребу извращенцам, лишь бы заработать свои тридцать серебряников. Третьи верили и в то, и в другое. Кому аккомпанировал сам рыжеволосый режиссер, я так и не понял.

Но я здесь не для того, чтобы вытягивать нервные волокна из вчерашнего Николаса. На огромной скорости уворачиваясь от призраков, я несусь по любимой трассе, чтобы добраться до истинного Дома.

Все тайное и впрямь однажды становится явным. Или выходит наружу, что не всегда имеет приятный вид и хорошие последствия. Нечто, вроде сомнительных пу-

зырьков от серных испарений на поверхности болота. Омерзительного скользкого червя, пробуравившего зернистую мякоть спелого яблока. В лучшем случае, это будет болезненным осколком старого ранения, выдавленным из тела инстинктом самосохранения.

Хорошо, если тайну удается сохранить в сердце — или хотя бы в его сияющем ореоле, захватившем в плен только самых близких людей. Глэдис знала, что я живу в нескольких измерениях. Позже я поведал об этом и Джереми. Джона полный груз моих болячек поджидал впереди: несколько лет, десяток поворотов. Матушка догадывалась, и стала посвященной, как только градус боли превысил мыслимые пределы, и я приполз к ней, извиваясь как змей с содранной слишком рано кожей. Кровь и слезы были слишком очевидны, и я, признаюсь, рассказал ей почти все, что и вам сейчас предстоит узнать. Утаил лишь то, насколько сильно эта история вросла в меня, опутав корнями и пронзив ветвями все мое существо. Я придал ей огранку Мечты, хотя она была несоизмеримо большим.

Итак, в один солнечный день, на побережье Флориды, в мою Тайну беззастенчиво вторгся посторонний человек — отважный, нахальный и очень мудрый. И, вместо того, чтобы укорить меня ею, указал мне путь. С него, с изначальной радости, с неизбывной искристой свежести, и начались мои настоящие мучения. Лучше бы надо мной посмеялись, ей Богу.

...Однажды Глэдис примчалась, сияющая и воодушевленная. «Ники! — закричала она с порога, — Ники, послушай!» (А всего-то — сходила на кошерный рынок за свежайшими продуктами).

— Да, дорогая? — отозвался я с дивана в гостиной: в последние месяцы отдых сковал мою волю. Пляжи из белого песка, океанский прибой, восхитительный эфир цитрусовых деревьев — кто мог упрекнуть меня?

Вопреки оптимистичным расчетам, настоянным на горечи поражения в борьбе с эгоизмом Джереми, я до сих пор не породил ни одного чудовища, забросив холсты и краски. Иногда я захаживал в мастерскую, для которой и в новом просторном доме нашлась великолепно освещенная комната. Я словно «перечитывал» полотна, дабы не потерять нить повествования. Возможно, пытался отыскать в старых тенях намеки на будущее. Как бы то ни было — безуспешно. Молодость и беззаботность, выросшая на деньгах, как на дрожжах, брала свое.

— Мы сегодня идем в гости! Я познакомилась с настоящей ведьмой!

Да-да, вы не ослышались. Она так и сказала — ведьмой. На миг мне показалось, что я провалился в некую подростковую игру, с обязательным реквизитом в виде остроконечной шляпы, спиритической доски и кровью летучих мышей.

— Глэдис, в чем дело?

Иногда я чувствовал, что мы уже достигли того уровня отношений, в которых я справлюсь с ролью строгого папаши. Но это ощущение поглощало ненадолго: Глэдис легко могла убедить меня в целесообразности любой, самой сумасбродной, идеи.

— Ты же знаешь, какая я нервная. У меня столько проблем после того, как погибли родители. Она больше психотерапевт, чем экстрасенс, — она протараторила все это так жалобно, словно и впрямь просила у меня разрешения. Присела на краешек дивана, поставив у ног живописную корзину, наполненную овощами и фруктами, издававшими райский аромат. Я изогнулся, чтобы посмотреть, прикупила ли она дыню. Да, вот она, сияет ванильным цветом в обрамлении пурпурного винограда. Чудесно. Как и моя жена: рыжие пряди растрепались, сама разрумянилась, синее платье — так неожиданно для ее масти, но как свежо. Я улыбнулся: «Она воодушевила

тебя больше, чем я? Что же там такое?»

Мне так и не удалось понять из восторженного сбивчивого рассказа, чем пленила ее эта пифия, случайно встреченная на базаре. Слушая, я думал, что единственным недостатком нашего пребывания в земле вечного отдыха является невозможность сразу проникнуться доверием к новым друзьям — отчего у моей крошки зародился зверский голод по общению, и прокорм она нашла как раз среди развала с разноцветными яствами. Нам, конечно, было с кем распивать коктейли, и моя неугомонная женушка даже присмотрела для меня с десяток потенциальных менеджеров, выковыряв их, будто крабов, в горячем песке городского пляжа. Но друзья остались в старой Европе, и мы уже переливались через край, переполнялись и трещали по швам от постоянной попытки разделить новое только друг с другом — вдвойне тяжело, ведь мы и глядели на все почти одной парой глаз. Некоторое облегчение привносил Джон, которого я уговорил приезжать на уикенды. Впрочем, особых формул подбирать и не надо было: на пляжах было великое множество магнитов для него.

Еще раз окинув взглядом унылую картину нашего чересчур роскошного бытия, я согласился.

— Хорошо, Глэдис. Мне интересно посмотреть на ту, которая вызывала такой ажиотаж.

С этого все и началось. Да, разумеется, я потратил уже немало слов, чтобы убедить вас в своих необычных способностях. Но до того момента, как дверь особняка Айрис открылась, и ее лохматая голова вопросительно просунулась в образовавшуюся щель, сверкая белками огромных глазищ, потусторонние миры оставались моей тайной. Я мог приподнимать завесу, но всем наблюдателям чудилось, что это некий фантазийный мир, живущий только по моим предписаниям. А теперь оказалось, что на свете действительно есть люди, способные загля-

нуть в мое сознание. Раньше я гнал от себя эту мысль, хотя их существование предполагалось, как нечто само собой разумеющееся.

Дело не в этом. Были общие запредельные пространства, населенные всем известными тварями, объединенные общими законами, которые уже давно вычислены магами прошлых тысячелетий. Но в их океанах я отыскал, открыл и выпестовал свой собственный остров. И вот какая-то талантливая ведьма запросто топчет его потаенные тропы, лишь пристально взглянув в мои глаза.

Она была прямолинейной, цепкой, внимательной, настороженной. С внешностью настоящей чернокожей шаманки и душой пронзительного потустороннего существа. Глядя на нее, я думал, что оказался в калейдоскопе приключенческого фильма. В ней было слишком много всего — но столько же и энергии, которую она тратила на людей, приходивших за помощью. Конечно, не даром, и в этом еще отчетливее звенела нота холодной ясности ее ума.

Когда мы стали ближе, и нам позволено было узнать некоторые подробности ее заковыристого пути, я иногда пытался противостоять ей при помощи ее же чудес и антуража — и всегда терпел неудачу. Она не позволяла использовать свою терминологию в бесплодных ухищрениях софистики. Мне не удавалось ускользнуть от обещаний, прикрывшись пеленой вещих снов или предчувствий: Айрис распознавала ложь встроенной хордой. Мы говорили на одном языке — наконец-то я нашел человека, с полуслова понимавшего то, что я пытался объяснить с помощью красок и образов. Но если передо мной возвышалась куча разномастного хлама, который я успел натаскать из запредельности, то она отделяла зерна от плевел с точностью бритвенного лезвия. И причиняла такую же боль мне и остальным своим

клиентам.

Так у нас завелась приятельница, к которой пару раз в неделю можно было наведаться на стаканчик-другой древнего индейского рома. Поначалу в беседах принимала участие Глэдис, я же молча внимал, иногда вступая в разговор, если он касался отвлеченных тем. Делиться своими секретами не хотелось. А вот жена, похоже, впала в зависимость от долгих сеансов трансовой терапии, освобождавшей ее.

Что только они не перепробовали — гипноз, дыхательные методики, одурманивающие настои, логические построения, свободу танца, игру на музыкальных инструментах, диеты, очищающие не только тело, но и дух, и даже спиритические сеансы. Я и подумать не мог, что моя капризная леди способна вынести такие изощренные эксперименты над психикой. Впрочем, каждый раз то, что изначально казалось неприемлемым и опасным, оборачивалось несложным домашним обрядом — у Айрис был дар, надо признать. Мы очаровались на долгие месяцы, и тени ее дома приятно охлаждали наши тела, натренированные беспечным весельем на солнечных площадях.

...И вот очередная встреча, глаза Глэдис, полные слез и надежды — именно так выливалась ее боль, накопившаяся за недолгую еще жизнь. Детские страхи, потеря родителей, острие мирской злобы, направленной против моей принцессы — богатой, надменной, но такой нежной под налетом вынужденности и *правильности* вечной борьбы за жизнь. Горький смех, забавная досада: большинство людей искренне полагают, что деньги помогают во всем.

Не всегда они с Айрис баловались беседами с невидимыми гостями, за дружелюбными голосами которых мог прятаться кто угодно. Чаще стареющая колдунья просто разговаривала с ней, вытягивая, нить за нитью, путы

колтуна, сцепившего свободную душу. Она давно перестала брать с нас плату за посещение, хотя эта дружба очевидно отнимала время у возможных клиентов: беседы порой продолжались далеко за полночь. И пусть я до сих пор не могу с точностью определить свое отношение к той роли, которую сыграла в моей жизни эта непростая и — что уж тут! — удивительная женщина, я вспоминаю наши походы к ней, как последний отголосок юности, как отзвук прибоя, обещающий многое, как ночную свежесть, манящую к приключениям. Это всегда было так замечательно — выходить из ее уютного, пропахшего запредельным дома, наполненным сверхчувствительностью, обострявшей осязание, зрение и вкус всего, что происходило вокруг. Да, голова раскалывалась от бесконечных воскурений всевозможным богам (о, этот международный пантеон в Зазеркалье ее комнат!), но это были прощальные деньки свободы. И надежды.

В тот вечер она спросила меня — наконец-то: «А ты ничего не хочешь мне сказать?»

— Ты о чем, Айрис?

— Может быть, у тебя внутри что-то... Или какой-нибудь секрет, который стоит объяснить. Будущее, в конце концов.

Я насторожился. Секрет?

— У меня нет секретов, а свое будущее я предпочитаю творить сам, без подсказок.

— Неплохая жизненная позиция, — похвалила она меня. — Но разве предупреждения помешают?

— Ради Бога... Глэдис, ну объясни же ей!

Я ведь мог рассчитывать на поддержку самого близкого и дорогого мне человека? Но супруга обманула мои ожидания. Вместо того, чтобы представить меня сильной личностью, этаким альфа-самцом, распределившим все роли своей небольшой стаи, она выдала меня с головой.

— Он видит очень необычные яркие сны, Айрис,

и использует их в своем творчестве.

— Да-да, — пробормотала та, глядя на меня внимательными сощуренными глазами, — но ведь не только в творчестве. Ты часто пытаешься заглянуть в будущее, Николас? Потому тебе не нужны советы?

Я предпочел промолчать в ответ.

— Какой-то ты... недоделанный, малыш, — вдруг сказала она, будто очнувшись от собственного пристального взгляда, которым буравила мое лицо.

Я открыл рот от возмущения. Что за наглость и бестактность! Нет, больше! — что за гнусная клевета?

— Что ты хочешь сказать, Айрис? — процедил я сквозь зубы. На жену надежды не было. Пожалуй, впервые в нашей совместной жизни она была ошарашена не меньше моего, и так же изумленно смотрела на невозмутимую в своем нахальстве шаманку.

— Вообще-то, я всю жизнь слышу совсем другое от окружающих, — продолжил я защиту своей чести, — и слова их выгодно отличают меня от остальных.

— Нет, — отмахнулась она, — ты не так понял. Конечно, ты силен и талантлив. Но я смотрю на тебя... В тебе словно половина качеств, необходимых человеку.

— Глэдис... — она развернулась к моей супруге, чья прямая спина выдавала миграцию эмоций от приятной расслабленности в напряженное выжидание. — Скажи-ка, милая, у него ведь не только прическа, как у девушки?

Чертова ведьма умела найти подход к своим подружкам. Я попытался что-то сказать в оправдание своей внешности — все мы помним, что это была не моя идея.

— Да, в его характере много женского, — Глэдис улыбнулась так, как делала только в присутствии очень близких людей — просто, открыто, без тончайшего напыления своей драгоценной аристократичности.

— Тебя это раздражает? — продолжала допытываться

Айрис.

— Нет. Но я... осознаю это, скажем так.

— Но рядом с тобой он не становится сильнее, не так ли?

Она никак не могла угомониться, и я переводил взгляд с одной женщины на другую, чувствуя, как под вкрадчивым холодком недоумения закипает настоящая злость.

— Нет, — жена опять улыбнулась, — он расслабляется и наслаждается жизнью. Но мне не трудно это делать, поверь.

— Может быть, мы прекратим эту игру, а, Глэдис? Почему я всегда оказываюсь в такой ситуации? Почему меня обсуждают при мне же?

— Ну, вот, пожалуйста, — картинно пожала плечами негритянка, — он не может выйти за пределы самого себя.

Моя жена смотрела на нее так, словно отлично понимала, о чем идет речь. Возможно, они уже пришли к согласию, но я не был посвящен в детали.

— Глэдис, дорогуша, тебя же не шокировало то, что я сказала про ваш брак?

Я насторожился. Что с нашим браком не так? Мы идеальная чета, мы добились всего, чего хотели. Нашей сказке завидуют, мы блистательно смотримся вместе!

— Я не знаю, Айрис, — вздохнула моя супруга. — С одной стороны, во мне живет понимание того, что течение жизни может стать непредсказуемым, и я не вправе тратить силы на прорубание нового русла. С другой... Ты же видишь, как у нас все хорошо. Неужели нельзя продержаться на этом до старости? Что с нами не так? В чем червоточина? И не разумнее ли обнаружить ее и искоренить, а не мириться с грядущим разрушением?

— Ники, — обернулась она ко мне, — ты должен знать. Айрис видит конец наших отношений. Как бы странно это сейчас ни звучало.

Она замолчала, и я почувствовал горький аромат миндаля, разлившийся в воздухе. Зачем он нам? Даже ее преждевременная и пока еще не насыщенная скорбь — и та вызывала во мне лишь усмешку. Более того, насмешку.

— Отлично! — я вскочил с дивана. — Ты что, не понимаешь, как это работает? Тебе предлагают вариант развития событий, и ты подсознательно начинаешь движение в этом направлении. Айрис, зачем ты это делаешь? Тебе-то какой прок?

— Это очень упрощенный взгляд на вещи, — мягко ответила экстрасенс. — Точка зрения человека, уверенного, что свою судьбу строит исключительно он.

— А у меня складывается ощущение, что моей судьбой собираешься заняться ты. Только вот ответь: на каком основании? И что теперь будет с нами, если уже на следующее утро мы начнем выискивать в поведении друг друга признаки грядущей катастрофы?

— Не могу сказать, что мне не импонирует твоя позиция, малыш, — сказала она. — Но жизненный путь не бывает прямым, а ты стремишься к однозначным формулировкам.

— Что ты имеешь в виду? Разве я недостаточно доказал, что уважаю магические принципы и следую им?

— Да, но твои магические принципы будто порождены убеждением, что ты — один-единственный в пластилиновом мире, и никто не помешает тебе слепить из него все, что тебе захочется.

— Я привык верить в силу намерения. И ни моя вера, ни сила, ни намерение еще ни разу не обманывали меня.

— Могу поспорить с последним. Ты всегда точно знаешь, что твои желания следуют в потоке высшей воли?

Тут я вынужден был ненадолго замолчать. При всей моей самонадеянности, детство сумело посеять во мне неудобные, царапающие душу зерна религиозного вос-

приятия мира. И пусть колдунья поклонялась другим богам, я не мог игнорировать тот факт, что в любом уголке планеты и в каждой человеческой душе живет внутреннее знание (точнее, смутная догадка) о воле Бога. И о том, что бывает с теми, кто ей сопротивляется.

— Ну, хорошо... Но ты ведь не предлагаешь мне примкнуть к стаду тех, кто считает человеческую сущность всего лишь ничтожным вместилищем духов? Так недолго и плетки из шкафа достать.

— Не предлагаю. Но человек и есть — всего лишь ничтожное вместилище духов, как ты изволил выразиться. Ровно до того момента, пока не осознает сам себя и свое положение в космосе.

— Все, я раздавлен, — я театрально поклонился.

Глэдис усмехнулась. Только сейчас я сообразил, что она все это время молча выслушивала нашу перепалку.

— И что, Айрис? Ты, просветленная и осознавшая, жаждешь указать мне, бредущему во мраке, мой истинный путь? Ну-ка, покажи свою тень. Откуда я знаю — быть может, ты всего лишь очередной злобный дух, решивший овладеть моей ничтожной душой. А?

— Я, пожалуй, выставила бы тебя сейчас за дверь, если бы не твое чувство юмора. Ничего, разумеется, я тебе указывать не собираюсь. В том, что касается будущего.

— Стоп-стоп! — перебил я ее. — А как же мой адвокат, которому я хочу завтра позвонить, чтобы он заранее подготовил документы к разводу?

— Угомонись, — вздохнула она, — а то я устану раньше, чем смогу что-либо объяснить тебе. Ваш развод — увы, наилучший вариант из того, что вы можете выбрать. И я исхожу не из будущего: такое, вообще, невозможно, если ты хоть что-нибудь понимаешь. Кстати, объяснишь мне потом, как ты работаешь со снами. Я говорю о том, что эта информация уже заложена в вас настоящих. И в тебе — в гораздо большей степени, чем в Глэдис.

Сейчас вы необходимы друг другу, и идете рука об руку. Но наступит момент, когда ваше духовное развитие двинется в разных направлениях. И тогда брак будет лишь препятствием для жизни, и не только земной. Не знаю, как там у вас получится, и насколько израненным или обновленным выберется каждый из вас из этой ситуации, но... Пройдет какое-то время, и вы друг другу не понадобитесь.

Я молчал, ошарашенный. Глэдис смотрела куда-то вниз, разглядывая складки на юбке. Конечно, я мог бы отбросить все, что сказала старая ведунья, но меня до глубины души шокировала сама возможность увидеть наши отношения в таком свете. Мы были столь молоды и беззаботны, что никогда, ни одной секунды совместной жизни, не подвергали сомнению правдивость и истинность общих целей. Представить, что однажды мы проснемся в другом мире, подобном разрушенной Вавилонской башне, и потеряем способность понимать самого близкого человека? Да легче снять кино по Откровению Иоанна! Этот вариант будущего — нечто из параллельной Вселенной. То, чего я уразуметь не мог. Сплетение незнакомых смыслов и никогда не виденных образов. Мы чувствовали себя вместе так гармонично...

— Что ты сказала? Во мне заложена информация о нашем расставании? Поясни-ка.

— Это то, с чего я и начала, Николас. Вам обоим кажется, что вы удачно дополняете друг друга, так? Ты погружен в творчество, оторван от земли и знать не хочешь, как здесь все устроено. Склонен к компромиссам и готов закрывать глаза на многое в реальном мире, лишь бы тебе позволили уноситься в заоблачные дали. А Глэдис, напротив, служит твоим щитом перед другими. Она принимает все решения, она выбирает дорогу по земле. Подсказывает и даже бросается на твою защиту.

— Как видишь, мы отлично подходим друг другу.

Идеальная пара.

— Вы отлично разрушаете друг друга, вот что я скажу.

Мы с женой с молчаливым вопросом посмотрели на нее — одновременно. Мы многое делаем одновременно. Бывает, у нас сходятся мысли, и мы в один и тот же миг произносим их вслух. Но... мне показалось, или в глазах Глэдис мелькнуло тоскливое согласие — словно ее душа уже давно пришла к тому же выводу, и ждала, когда кто-нибудь протянет руку помощи, назвав все настоящими именами?

— Женщина должна стать женщиной, а мужчина — мужчиной. Вы все поменяли местами, перепутали роли. Ты же не думаешь, что пришел в этот мир, чтобы расслабиться и получить удовольствие? Если так, можно вместо наслаждения и задницы лишиться, малыш.

Она могла быть очень грубой, и ее метафоры часто били по мишеням, которые я предпочитал прятать от посторонних.

— Вы не будете развиваться, если продолжите в том же духе. А вы именно так и собираетесь жить. Но Глэдис может перенапрячься первой и взбунтоваться, в то время как ты просто будешь деградировать до уровня слизняка.

— Ты хочешь меня бросить? — с усмешкой спросил я у жены. Она отмахнулась от меня.

— Не говори глупостей, Ник. Я шокирована не меньше тебя.

— Шокирована чем? Глэдис, иди до конца. Я чувствую твою мысль.

— Ты чувствуешь не мою мысль, а то же самое. Вот и все.

Айрис задымила своей индейской трубкой, наблюдая за нами. «Почему бы не стряхнуть это, как комок засохшей грязи? — подумал я. — Ну почему я должен верить во все это?»

Я и не должен. Я просто не могу по-другому. Представить хоть на миг жизнь обычного человека, лишенного этих странных невидимых локаторов? Или потайного зеркала заднего вида, на мельтешение теней в котором ты не можешь не обращать внимания? Эта мысль существовала на грани разумного. Провидение и вера в потустороннее являются для меня седьмым чувством, когнитивным резонансом интуиции и разума. Для меня предчувствовать, осязать будущее, видеть его всполохи в сознании — столь же естественно, как дышать или складывать суммы покупок в товарном чеке. И Айрис, которая иным людям показалась бы выжившей из ума шарлатанкой, для меня была шаманкой — в самом магическом, настоящем смысле этого слова, с той одурманивающей дозой пиетета и доверия, как к человеку своего круга.

— Чувствую то же самое? — переспросил я жену. — Да, хорошо, давай будем честными. Меня подкашивает тот факт, что в этом есть сильный привкус правды. Как недостающий ингредиент нашего зелья, который мы раньше не могли распознать. Но зачем такая фатальность? Мы любим друг друга — так может, просто заменить его на другой экстракт?

Она лишь пожала плечами. Печальными плечами. В поисках спасительных подводных камней, на которые можно встать ногами, я вновь обратился к экстрасенсу.

— И что ты всем этим хочешь сказать? Ты говорила что-то о моей... хм... недостаточной мужественности?

— Ты слышал что-нибудь о душах-близнецах? — спросила она меня в лоб. Как выстрел в упор. И это сегодня я даю вовсе не обязательную ремарку, компенсируя свою недальновидность в тот далекий вечер. Да, это был прямой вопрос, сражающий наповал, ибо в нем содержались ответы на все, что составляло для меня загадку.

— Нет, но легко понять, что имеется в виду. Родственные души?

— Нет, — взмахнула она рукой, — гораздо серьезнее и ближе. Души-близнецы — это не родственные души, и не те самые «половинки», которые обычно ищут люди, сами не понимая, о чем говорят. Близнецы — это одна душа, разделенная на две и помещенная в разные тела. Это буквально, понимаешь? Это именно так.

Я растерянно посмотрел на нее. Мне трудно было принять и осознать возможность разделения души на две части — это во-первых. Во-вторых...

— Хорошо, допускаю, — я развел руками, — но при чем здесь я? Половинчатым я себя уж точно не ощущаю.

— Да что ты? — усмехнулась она. — Правда? Дай-ка я из тебя спесь вышибу, малыш. Ты случайно не испытывал всегда — возможно, с отроческого или подросткового возраста — непреодолимую потребность в некой идеальной женщине, которая совмещала бы в себе и роль друга, понимающего тебя без слов, и твоей возлюбленной, и при этом являлась весьма убедительной копией тебя самого?

Обжигающий гейзер возмущения мгновенно взметнулся от солнечного сплетения к горлу. Здесь была Глэдис! И ей незачем знать о моих юношеских тайнах. Эта непонятная тоска уже давно свернулась в клубок на самом дне моей души, оставив лишь легкий флер грусти, изредка доносившийся из глубокого колодца, когда в него все-таки залетал морской бриз. Я любил жену, и перед этим меркли все мои глупые детские мечтания. Поэтому я отчаянно прибегнул к своему любимому способу спасать шкуру — лжи. Я понимал, что Айрис раскусит меня тут же, и ей даже челюстями клацать не придется, но надеялся на ее снисходительность. Все-таки, я пытался защитить то, что она так решительно разрушала — наш брак. С ее мотивацией мне еще предстояло разобраться.

— Да, Айрис, ты права. И моя возлюбленная,

она же — друг, понимающий без слов, сидит здесь, на твоем диване.

Я смотрел ей в глаза прямо, не мигая, с серьезной наглостью во взоре. Она отвечала мне молчаливой иронией, втягивая в свое нутро джиннов, растворенных в табачном дыму. И, кажется, уступила.

Глэдис отвернулась от нас, и ее профиль, обращенный к огромным стеллажам с книгами, не сулил ничего хорошего. Моя ложь во спасение провалилась: рыжеволосая принцесса вспомнила страхи, сжигающие ее накануне нашего венчания. Она плакала, когда после церемонии мы уселись в свадебный лимузин. Несмотря на мою нежность, водопадом изливавшуюся на нее, заботу и бережную осторожность, она, оказывается, до конца не верила в брачную клятву. И мое «да», прозвучавшее под готическими сводами храма, с болезненной остротой распрямило пружину в ее душе.

Задним фоном, дымчатым горным пейзажем в удаленной перспективе, это знание жило и во мне: она не была уверена, что любима мной так же, как и я любим ею.

— Ну и что? Об этом мечтают многие, — настойчиво продолжил я, карабкаясь вверх по обрыву. — При чем здесь души-близнецы?

— Есть устойчивые признаки, и эзотерики, знакомые с ними, сразу распознают в тебе такую половинку. Твой духовный уровень значительно превосходит обычных людей...

— Спасибо, Айрис!

— Не перебивай. Пусть ты и не осознаешь его в полной мере и совершаешь глупейшие ошибки. Но сила твоей энергии явно необычна. Ты легко воплощаешь задуманное и подчиняешь людей своим целям. Даже очаровываешь их. Твое художественное видение неординарно, источники вдохновения тоже. Все это можно

назвать одним словом: ты — маг. Такое встречается, но... При этом ты маг-недоучка, нелепости случаются в твоей жизни на каждом шагу. Иногда у меня складывается впечатление, что ты попросту не понимаешь правил человеческого бытия, словно контакты в мозгу у тебя нарушены. Это первые два признака. Очевидное превосходство над большинством, сопровождающееся неожиданной неполноценностью.

Далее. Ты женственен. То, что считается в обществе истинными признаками мужественности, отталкивает тебя, хотя твоя эмоциональность дает женщинам больше, чем они могут получить от брутальности. Пока ты не «включил» свое бесовское обаяние, ты — ведомый, поддающийся влиянию, не способный к сопротивлению. Ты — женщина в мужском теле, и это не имеет ничего общего с нетрадиционной ориентацией. Ты таков, какой есть. Это третий, но самый яркий признак души-близнеца.

— Ничего не понимаю, Айрис.

— Охотно поясню. Душа разбивается на две половины в том случае, когда ее энергетический потенциал опасен для одного физического тела. Энергии слишком много, понимаешь? Могущественные души, наделенные необычайной силой, могут просто разнести атомы, или исказить связи между ними. Если разделения такой души не происходит, младенец родится с уродствами и пороками развития, которые быстро приведут его к смерти. Но при этом счастливо разделенные души, несмотря на свою силу, не реализовывают себя в полной мере. Образно выражаясь, каждый из близнецов похож на человека, лишенного какого-либо органа чувств. Настоящую силу они могут представлять только вместе, а иначе вся их монструозность подобна мыльному пузырю. Обидно, я понимаю. Но пусть тебя утешает, что и в разделенном виде каждый из вас превосходит обычные экземпляры

человеческих видов.

Есть и еще один принцип разделения. Я знаю около двух десятков таких пар, хотя это весьма редкое явление. Но мне пришлось столкнуться с ними вследствие своей работы. Экстрасенсы чаще встречают их на своем пути. Люди обращаются за помощью, чувствуя, что с ними происходит нечто странное. Так вот, этот второй принцип практически никогда не изменяется и дает очень верный признак того, что человек происходит из такой пары. Чтобы стимулировать близнецов к поиску друг друга, их «половинки» будто меняются местами. И в мужском теле поселяется женская душа, а в женском — мужская.

— Но это бред, дорогая! — почти что завопил я. — У меня все же есть мужские качества!

— Бред, если ты воспринимаешь это, как дилетант. Обычная душа состоит на семьдесят процентов из энергии того пола, на который указывает тело, и на тридцать — противоположного. Таким образом, в каждом человеке присутствуют и те, и другие качества, но в разной степени проявления. У душ-близнецов этот расклад иной. У тебя — семьдесят процентов женской энергии, и всего тридцать — мужской. У твоей неизвестной половинки, соответственно, наоборот. Пока ты не отыщешь ее, не прочувствуешь в полной мере, что такое — быть мужчиной. А она ни с кем, кроме тебя, не сможет проявить женскую суть.

— Как это работает? Я не понимаю.

— Все очень просто. Тебе кажется, что ты ищешь (и нашел) сильную женщину, а на самом деле, ты нуждаешься в той, которая раскроет силу в тебе самом, не замещая ее собственной. Женщина, рядом с которой ты научишься, как и подобает мужчине, принимать решения и нести ответственность за все, что вас связывает. Это желание возникнет естественным образом, и не бу-

дет, как ранее и теперь, казаться тебе насилием над твоим характером и глубинной природой. Ты почувствуешь способность заботиться, опекать, беречь ее в любых ситуациях, и для воплощения этого больше не понадобятся твои счета в банках. Ты будешь сильным сам по себе.

Что и говорить — звучало заманчиво. И это, пожалуй, мое признание в своей слабости. Хотя ее выражение про деньги заставило вздрогнуть кого-то не слишком смелого внутри меня. Не понадобятся? Всегда хорошо, когда есть приличная сумма в запасе, напоминающая бесконечный моток бечевки при запуске воздушного змея: чем больше его потенциал, тем выше взлетит моя мечта.

— А другая сторона, твоя настоящая половинка, скорее всего, обладает неженским умом, прямолинейностью и категоричностью, присущей мужчинам, что мешает ей выстроить правильные отношения с противоположным полом. Суть женщины — в смирении, только оно дает ей настоящую магическую силу. Она не найдет его в душе, пока не встретит тебя.

— Что-то не сходится в твоем раскладе, Айрис. Если я так слаб, то как она может смириться передо мной?

— Это не та «химия любви», которой все обычно жаждут. Если это и можно назвать химией, то она осуществляется на трудно постижимом для нашего умишки уровне. Ваши черты будут являться катализатором для недостающих свойств друг в друге. Пожалуй, правильнее было бы назвать это *алхимией*. То, что каждый из вас будет видеть в другом внутренним взором, и таким образом помогать проявиться этому в реальности. Дух золота, спящий в простом металле.

Я обессилено опустился на диван рядом с молчащей женой. Сердце обливалось кровью при мысли о том, что она чувствует в эту минуту. Конечно, пройдет какой-то час, или два, и мы, вкусив свежести ночного воздуха, сможем отринуть эти сумасбродные идеи, завлекающие

в зыбкое будущее и мешающие наслаждаться настоящим. Но... сейчас?

— Глэдис, дорогая, ты же не берешь в голову все, что говорит наша обожаемая колдунья? Она, конечно, многое знает, но решать за нас не будет, я тебя уверяю.

— Нет, конечно, — она улыбнулась, — но мне интересно послушать о твоем неизвестном близнеце.

И посмотрела на меня большими прозрачными глазами. Рыжеволосые, как правило, обдают вас мощной волной тепла, идущей от их лица, веснушек, глаз, терракотовых или розовых губ, чертовской хитринки, спрятанной в улыбке. Все рыжеволосые, кроме моей жены. От нее всегда веет холодом. Ледяная глубь голубых глаз испускает искристое северное сияние, охлаждающее белую кожу, придавая ей оттенок шелков Снежной Королевы. В миллионный раз я подумал о том, как же я ее люблю. Меня настигло недоброе ощущение абсурда происходящего. Нет, больше — сатанинского фарса, устроенного нашей приятельницей. Но зачем?

— Айрис, все же, объясни мне, почему ты это рассказываешь? В чем твоя выгода? Ты причиняешь нам боль — неужели не видишь этого?

Глэдис дотронулась до моей руки.

— Ник, ты зря переживаешь. Мы с Айрис о многом говорили.

— Да, — поддержала ее чернокожая ведьма, — считай это женскими секретами.

— Женскими секретами? Девочки, вы меня убиваете. Дорогая, ты хочешь сказать, что тебя не устраивают наши отношения, и подобные выкладки воспринимаются тобой как нечто, само собой разумеющееся?

— Я же говорила тебе: мужчинам это бесполезно объяснять, — сказала ей Айрис и вновь потянулась за табаком, чтобы набить трубку.

Странным образом мне полегчало от этой маленькой

перепалки. «Ах, вот оно что, — подумал я, — это обычные девичьи сплетни о мальчиках! Обсудили мои недостатки за стаканчиком травяной настойки, а я извелся в переживаниях о душевном комфорте своей любимой».

— Души-близнецы — это что-то вроде воспитательного маневра, да? — усмехнулся я.

— Ники, нет, — вступилась моя жена, — это правда. Айрис, расскажи еще, пожалуйста. Ты согласен послушать?

— Как интересную лекцию о волшебстве.

Экстрасенс усмехнулась.

— Задавайте свои вопросы, студенты.

Моя поспешность выдала все, и самой яркой молнией сверкнули детские ожидания.

— Как близнецы узнают друг друга при встрече? Это происходит сразу, или требуется общение на протяжении какого-то времени?

— Чаще всего, с первого взгляда. Энергия души столь же неповторима, как ДНК, или знаменитые эксперименты с отпечатками пальцев. Невозможно не узнать собственный запах, малыш.

— Ты говоришь образно? Запах — понятие чересчур плотское.

— Это и метафора, и буквальность одновременно. Я придерживаюсь идеи, что внешность и физические данные человека — вплоть до состояния его здоровья, а, соответственно, и запаха, — являются почти прямым отражением души. Я не из тех трусливых женщин, которые лгут себе про обманчивую внешность. Красотой не отличаюсь, но свои душевные качества и духовный уровень в зеркале вижу. Близнецы — как им и полагается — чаще всего и внешне похожи...

— Нет-нет, не точные копии, — опередила она мой вопрос, заметив быстрый взгляд, — но очень много общего. Нередко бывают одинаковые телесные приметы:

родимые пятна, форма рук, цвет волос и глаз. Но еще больше идентичности в биологических ритмах, пищевых предпочтениях, склонностях к одним и тем же условиям жизни, привычках.

— Она любит белое вино, скоростные автомобили, теплые страны, азиатскую кухню, Скрябина, Маркеса?

— Николас, это может оказаться действительно так, но я не в состоянии передать тебе всю гамму ощущений, возникающих у встретившихся близнецов. Это будет похоже на заколдованный мир, не меньше.

Айрис ласково посмотрела на меня. Взгляд родителя, рассказывающего ребенку, что такое Рождество и Санта.

— Идеальное взаимопонимание? Гармония и благополучие? — это вступила Глэдис.

— Отнюдь. Души-близнецы — тяжкое бремя, которое не все способны вынести. Их возможности и степень осознанности зашкаливают в сравнении с простыми смертными. Но и размеры Эго достигают того, что трудно себе представить — ведь каждому из них пришлось мириться с неполноценностью своей вочеловеченности и выстраивать еще более мощную защиту, чем у других. Долговечный брак — вовсе не обязательный исход таких отношений.

— Как же они встречаются? — спросил я после недолгого молчания. — Насколько они разделены в пространстве друг с другом?

— Не только в пространстве. Это мы воспринимаем пространство и время, как разные понятия, а на деле это — одно и то же. Они могут родиться и в разные столетия, ведь для Вселенной не существует хронологии.

— Что? Значит, здесь, в моем времени, может и не быть моей половинки?

Я не знал, какие чувства испытываю. Страх утраты, горечь поражения — первая волна, захватившая тело, а потом и сознание. Затем — облегчение и быстрая улыб-

ка (глупая, надо признаться) в сторону жены. Слава Богу, она ничего не заметила: мое заискивающее поведение было подобно штампу врача на листке с диагнозом.

— Да, — Айрис пожала плечами, — но это не отменяет вашего взаимодействия.

— Не понимаю тебя. Какое взаимодействие?

— Близнецы чувствуют, что в мире существует некто, похожий на них. Они с детства одержимы идеей любви, приближенной к совершенству. С трудом находят контакт с другими людьми, все время жаждут общения с себе подобными. И несмотря на расстояние и даже время, разделяющее их, участвуют в духовном росте друг друга. Один из близнецов — половая принадлежность не играет роли — как правило, выше другого в этом смысле, и подтягивает его вверх, на следующую ступень. А заодно и сам приобретает новые духовные навыки. Учитель тоже постигает мир через своих учеников. Эта взаимопомощь может осуществляться и сквозь пелену времен. Нередко бывает так, что близнец, осознавший свое одиночество в мире, не вступает в брак и слывет чудаком в обществе. Но почти никогда эти пары, или одиночки из них, не остаются незамеченными. Как правило, они многого добиваются в жизни и играют важную роль в развитии своего сообщества, страны или даже планеты.

— Хм... Как же мы — то есть, они — могут общаться, чтобы духовно обогащать друг друга?

— Общение во снах, — сказала она, и я вздрогнул, — телепатия, видения наяву. Иногда просто — словно магнит в сердце, барометр, показывающий состояние и настроения другого.

— Настоящая магия. Считаешь, я должен поверить во все, без оговорок? Я, конечно, дышу этими понятиями, но... Тотальной веры в чудеса у меня нет, я всему стараюсь найти объяснение.

— Это и не чудеса вовсе. Уверена, и наука вскоре

сможет объяснить все. И тогда мы, экстрасенсы, уже не понадобимся. Или будем вынуждены защищать дипломы и диссертации, чтобы получить практику.

— И встречаясь, они попросту узнают друг друга? — вновь спросила моя жена.

— Если виделись во снах, то почему нет? Хотя и тут могут быть сомнения: людей, обладающих одинаковыми характеристиками внешности, много. А сны, пусть и представляют отдельные пласты реальности, все же часто искажаются образами, занесенными в наше сознание в этом мире. Но не узнать душу, с которой общался, невозможно. Это, скорее, импульс — сходный с тем, что чувствуют люди, готовые влюбиться друг в друга, но другой природы, более сильный, очевидный. От этого понимания уже не скрыться.

Я замолчал. Надолго, как мне показалось. Женщины тоже сидели тихо. Глэдис, видимо, обдумывала услышанное. Айрис докуривала трубку с удовлетворенным лицом и чувством выполненного долга. Но именно она нарушила молчание, нанеся следующий удар.

— Если ты умеешь работать со сновидениями, Ники, ты мог видеть своего близнеца.

— Нет, — я покачал головой, — я никого не видел.

Это была правда: у меня не было встреч с женщинами за пределами реальности. Обычные эротические сновидения я не брал в расчет — их примитивность и топорная вульгарность образов, слетавшихся ко мне, не позволяли предположить в этом даже легкий отголосок моих давних грез. А остальное было просто набором сюжетов из Зазеркалья — ни осмысленности, ни связующих линий, ни повторов.

— Я видел Глэдис в юности. Несколько раз. Я хорошо запомнил ее, и узнал при встрече.

Жена улыбнулась. Да, это была моя очередная попытка одним махом срезать все сорняки, внезапно покрыв-

шие наш любовный луг с цветами.

Но вслух ни одна из них ничего не сказала в ответ на мою реплику.

— Айрис, — внезапно спросила моя любимая, — а ты случайно не можешь ввести его в какой-нибудь транс — вроде того, что было со мной, когда я вспоминала детство? Чтобы он увидел своего близнеца?

«Глэдис, что ты делаешь?» — хотелось закричать мне. Это было так похоже на нее: ринуться навстречу привидению, зависшему в длинном темном коридоре — чтобы рассеять иллюзию страха.

— Такое возможно, в принципе, — колдунья задумчиво посмотрела на меня. — Если все так, как я предположила, в его сознании уже есть этот образ. Возможно, он все же видел ее во сне, но не запомнил. Или чувствует, но не отдает себе отчет. Я не гарантирую, что все получится, но ради эксперимента...

— Что это будет? — я нервно засмеялся. — Гипноз? Я ему не поддаюсь, между прочим.

— Почему же нет? Этому поддашься. Я отправлю тебя туда, где ты привык бывать — в царство снов. Заодно и рассею твои сомнения в моем профессионализме. Ты до сих пор не поведал мне, как это делаешь — а я и сама смогу узнать.

Если бы не странный энтузиазм моей жены, в котором я справедливо заподозрил изрядную долю мазохизма, я вряд ли согласился бы на это торжество чертовщины. Старая ведьма не пользовалась даже блестящими штучками, которыми гипнотизеры обычно размахивают перед понурыми носами своих жертв. Она сразу заявила, что прочитает заклинание любимого индейского племени, в деревне которого побывала, будучи студенткой местного университета.

— Твое подсознание поймет все слова, и ты погрузишься в сон.

— Каким это образом я пойму язык какого-то племени аборигенов? — язвительно спросил я. — Ты, никак, углядела во мне его гены?

Я забыл, что наша знакомая была готова защитить научный труд по квантовой физике, сопряженной с креационистской теорией, и не без приправы дарвинизма.

— Твоя душа помнит все языки, — просто пояснила она, не прибегая к долгим сентенциям. — Доверься, и убедишься.

Три хлопка в ладоши, упавшие жалюзи, умолкший вентилятор, разлившийся в воздухе удушливый аромат неведомой мне горной травы. Мои закрытые глаза, фиолетовые и красные пятна, спираль сознания, стремительно сворачивающаяся вглубь внутренней вселенной — все это, кроме внешних атрибутов, было мне уже давно знакомо. Айрис не успела пробормотать свои индейские частушки до конца, а я уже погрузился в трепетный, но терпкий сон, удивительное состояние, идеально отмеренная длина волны. Обратно она собиралась выводить меня с помощью обычного английского счета.

...Я открыл глаза за полсекунды до того, как она произнесла «один». Сумрак комнаты обжег мой взгляд бархатным алым пламенем, и я не сразу определил очертания предметов в ней. Карниз над окном несколько секунд извивался темным питоном, прежде чем я повесил на него портьеры.

Я немного помолчал — то ли приходя в себя после увиденного, то ли пытаясь придать словам уверенную форму отторжения. А потом засмеялся и ответил ей, ничего еще не спросившей: «Она совсем ребенок, Айрис».

Глава 2

Сколько облегчения для меня было в этих словах, в какие обманчивые путы неуклюжих иллюзий я был готов упасть, наполненный ничтожной радостью: она ошиблась. В моем мире все в порядке. Никакие ветра и чужие грозовые облака не потревожат золотистой глади моей прекрасной сказки. Сладкий дурман забытья и благополучной жизни — навсегда. Поймав несколько отравленных стрел в реальной жизни, я больше не хотел к ней возвращаться. Уже к двадцати четырем годам я устал настолько, что стремился лишь к наслаждению покоем, и осмысливал это желание как заслуженное.

Сейчас я вспоминаю эту фразу, как непреложное свидетельство своей бесконечной трусости и лености.

Айрис смотрела на меня внимательно, без тени улыбки. В ее взгляде было что-то воистину провидческое: и видела она не будущее, а настоящее. Мою нынешнюю ничтожность и слабость, не позволявшую открыть сердце одному из самых великих чудес, вопреки законам человечьей физики проскользнувшему в земную материю. «Ну, что ж... — произнесла она после небольшой паузы, — ребенок? Тем хуже для тебя, голубчик».

Я хотел было еще что-то сказать, спросить, уточнить, но она так решительно поднялась со своего кресла, со сжатым плотно ртом, порицающее опущенным взглядом — всем своим видом показывая, что разговор на сегодня окончен.

Я уходил от нее, чувствуя себя школьником, не выучившим урока у любимого учителя.

— Что за черт? Что за ерунда? — обратился я к жене, как только мы сели в машину. — Зачем это все надо было устраивать? Бред какой-то...

Я вел авто, поглядывая на нее, но она сидела, уставившись в ленту дороги, освещенной лимонным светом фонарей. Я прикоснулся к ее руке — она не отреагировала, лишь закусила губу.

Она была такой ревнивой — как я мог это забыть?

— Перестань, Глэдис, пожалуйста. Я чувствую себя так, словно ко мне прилипла какая-то зараза!

Я свернул на обочину, остановил машину и вышел. Захотелось свежего воздуха — как я и предполагал заранее. Там, за пределами железа и стекла, вдаль уходила ночная дорога. Апельсиновые рощи сверкали остатками оранжевого дня, трава блестела от недавнего дождя. Уныло хлопала на ветру жестяная вывеска, заманивающая на бензозаправку. До дома оставалось всего две мили. Я стоял в центре Америки, в сердцевине своих спутанных и наполовину безумных надежд.

Постучал в окно Глэдис, она опустила его и взглянула на меня.

— И вообще, пора с этим завязывать! Это ненормально, слышишь? Не-нор-маль-но! Все эти сеансы столоверчений, таро, гипнозы. Так недолго и с ума сойти. В моей семье это назвали бы одержимостью.

Как будто я мог отречься от самого себя! Я словно раскололся на две половины. Одна отлично все знала и помнила это странное ощущение, сопровождавшее меня с отрочества, слышала биение второго сердца в моей груди. Другая — отчаянно цеплялась за удачно выстроенную реальность.

— Милая, любимая... Пожалуйста, скажи мне, что ты не ревнуешь к этим глупостям! Хочешь, я на колени встану?

— Не надо, — она наконец-то улыбнулась. — Мы отсидели битых два часа на показе, прежде чем купили тебе эти джинсы. Я не ревную, Ники. Во мне зарождается что-то другое, пойми.

— Мне оно не нравится, — я опустил голову на край дверцы, — мне вообще *все это* не нравится.

— Может быть, мы просто немного повзрослеем? — предположила она. — Нельзя же всю жизнь провести в кукольном домике. И расскажи, наконец, что ты там увидел?

— Очень короткий сон, — я пожал плечами, — похожий на анимационный фильм, выполненный карандашной техникой. Движущаяся серая штриховка, видела такие?

Она кивнула.

— Лицо какой-то девочки, вот и все. С чего мы взяли, что это имеет значение? Может быть, я встречал ее когда-то. Меня настораживает, что это было похоже на мультфильм, уже обработанный образ.

— И сколько ей лет?

— Ой, не знаю! — я отмахнулся и, обойдя машину, вновь уселся за руль. — Двенадцать? Откуда мне знать? Я не разбираюсь в маленьких девочках!

— У тебя было две сестры, — напомнила мне Глэдис.

Дома я не выдержал и первым вернулся к незаконченному разговору. Мы готовили ужин, совершая витиеватые марафоны вокруг длинного стола и многочисленных поверхностей, бликующих в лучах светильников. Пока я выспрашивал у авокадо, с чем он желает сегодня спариваться в салатнице, Глэдис строила лабиринты из клубники на огромном блюде. В послевкусии сливочного соуса то, о чем мы говорили, было похоже на болезненную мелодию, доносившуюся из параллельного мира.

— И тебя не смущает то, что она сказала? — спросил я жену, пристально глядя ей в глаза.

— Нет, представь, нет! — с вызовом бросила она мне. — Это жизнь, Ник. Я готова ее принять. Разве не станет от этого легче потом?

— Жить в ожидании развода? Да ты с ума сошла! Я бы

не хотел знать, в кого ты влюбишься, случайно свернув за угол.

— Николас... — она подошла ко мне и ухватилась длинными пальцами за пуговицу на рубашке, — мы оба знаем, на чем держится наш брак.

— Ох, и на чем же? Я, например, безумно люблю тебя!

— А если бы это не я, а ты подобрал меня на обочине дороги, в дождь, без гроша в кармане?

— Это все равно была бы ты, и я влюбился бы!

— Ты ребенок, Ники, — устало вздохнула моя вдруг повзрослевшая жена. — Ты идеалист.

— А что бы изменилось, Глэдис? Разве ты была бы другой?

— Конечно, — она удивленно посмотрела на меня, — Поражаюсь я тебе. Да, малыш. Я была бы совсем другой. Робкой, сомневающейся, боящейся слово вымолвить в присутствии чужих людей. Той, за которую пришлось бы нести ответственность. Неужели ты никогда об этом не думал? Ах, ну да... Это же не я замужем за миллионером. Это ты женился на дочери богатенького папаши. Вряд ли тебе приходилось сомневаться в том, почему я за тебя вышла.

— Как ты можешь такое говорить? Ты же знаешь, что я влюбился в тебя по уши!

— Знаю. Но это юношеская любовь. И порой мне кажется, что она жива, пока жив наш мир.

— Глэдис, ты меня убиваешь.

— Ники, перестань. Перестань шантажировать меня своей наигранной наивностью. Все хорошо. У нас все хорошо. А девчонка твоя... — она подмигнула мне, — пока она еще подрастет. Да и посмотрю я, как ты ее искать будешь.

Она прекратила рассуждения о жизни и вновь превратилась в ироничную рыжую бестию. Улыбнулась и ушла в кладовую — за шампанским, которое мы плани-

ровали уничтожить под старое американское кино.

У нас действительно все было отлично.

Но я не понимал, что происходит и в чем, собственно, дело? Почему ревнивая женушка вдруг так спокойно отнеслась к перспективе великой любви в моем будущем, обрисованном Айрис? Чего в этом благодушном смирении было больше: очарованности старой ведьмой или... собственного нежелания провести со мной остаток дней?

Я вошел в ванную и закрыл дверь на замок. Из огромного зеркала у противоположной стены (мы, натуры творческие, немного склонны к эксгибиционизму) на меня смотрел хрупкий паренек с испуганными глазами. Вот она, правда, от которой не скрыться. Я подошел ближе к своему отражению.

— Зачем ты лжешь? — спросил я его.

— Почему лгу? — пролепетал он в ответ, взметая вверх длинные ресницы, которые мне тут же захотелось подпалить огнем из зажигалки, завалявшейся где-то на дне кармана.

— Боишься, что она тебя бросит?

— Да. Я люблю ее.

— Ты любишь сказку, в которой живешь. И она — всего лишь ее часть. Сказочная принцесса.

— А что плохого в том, что я хочу жить в сказке? — заплакал мальчишка. — Я пытался жить по-настоящему. Ты что, не помнишь, что из этого получилось?

Он поднял на меня блестящие от слез злые глаза.

— Ты помнишь Джереми, Николас? — ядовито прошипел он. — Хочешь обратно, да?

Я едва удержался, чтобы не запустить в него фарфоровой мыльницей.

— Гаденыш.

Отвернувшись, принялся раздеваться, чтобы принять ванну. Я был не в состоянии смотреть на собственное отражение. Сегодня, как никогда, я нуждался в подтвер-

ждении своей мужественности и был полон решимости контролировать течение жизненных потоков. А этот изнеженный принц, похоже, собирался совращать меня не только нечистыми воспоминаниями, но и доказательствами, отливавшими глянцем в линиях тела.

Я включил воду и уселся в джакузи, по привычке подтянув колени к подбородку. Действительно — зачем я лгал? Тогда, на венчальной службе в городской церкви, принося клятву в вечной любви, разве я не понимал, что использую редкий шанс? Да, я был влюблен в Глэдис — а как в нее не влюбиться? Она не просто была дочерью миллионера, владевшего сетью великолепных отелей, но и сама по себе умела жить так, словно воплощала мечту из журнала. Пронзительно красивая, огненно-рыжая, с длинными ногами и руками, похожая на опасного инопланетянина, прибывшего с неизвестной миссией на Землю. И это еще не все. Непредсказуемая, решительная, совершенно самодостаточная — она могла прогнать меня в любой момент, и потому ее благосклонность приковывала крепче брачных цепей. В ней была сила, которой так не хватало мне. Я, со своей кошачьей натурой, не мог даже оцарапать обидчика, и моей единственной защитой от внешнего мира была способность изящно и неожиданно нагадить в жизненном пространстве своего врага. Я вынашивал планы мести годами, и потом просто использовал удобный случай. По-другому было невозможно: я не понимал людей и боялся их. Каждый из них мог предать, плюнуть в лицо, оскорбить и даже ударить. За всю свою жизнь я так и не научился их привычкам.

Но Глэдис... Она была моей великолепной львицей. Она бросалась на каждого, кто опасно близко подходил к дорогим для нее вещам и людям. Она никого не боялась и ни с кем не считалась.

Но за всем этим крылось то, что мне дозволено было

увидеть. Впрочем, поначалу я лишь услышал это в ее голосе, и только потом мелодия ее души стала проникать в нашу реальность, все больше очаровывая меня. Когда она впервые заговорила со мной — без пафоса, без этой заезженной презентации своей личности и богатства, а просто, за столиком в кафе, в дождливый августовский день — я поразился, какой у нее нежный и детский голос, совсем не вязавшийся с теми надменными интонациями, которые появлялись в присутствии незнакомцев и представителей других социальных каст. Даже ее профиль под серебряный аккомпанемент смягчился и приобрел подростковую наивность и доверчивость.

Позже, когда мы уже поделили свои судьбы и проблемы на двоих, я наконец увидел ее слезы, страхи, услышал бессвязную речь потерянной маленькой девочки, и смог приручить ее заботой и лаской — хоть как-то. Но, Боже мой! Как долго пришлось идти к этому! Первые три года наших отношений она была одержима мечтой *казаться*, а не быть. Она запретила нам — себе и мне — простужаться, оступаться, прилюдно посещать уборную, потеть и испытывать любую нужду. Наши волосы не имели права спутаться на ветру, грязь не попадала под ногти, прыщи были нам неведомы.

Вселенная довольно долго тешила ее гордыню. Неприятности и даже беды, которые сваливались на нее время от времени, поначалу лишь укрепляли ее веру в силу золота и человеческих страстей.

Господи, вы не поверите, но я втайне радовался, когда она сломала ногу, катаясь на своих мерзких лыжах в Альпах. Я пил глинтвейн перед камином, в доме на вершине склона, когда два здоровенных тренера внесли ее длинное тело в холл. Она потеряла сознание, не выдержав приступа боли, который настиг ее, как только отошел шок. Я замер с вытаращенными глазами, не донеся кружку до рта, и в голове промелькнули все страшные

картины, пока наконец эти парни не объяснили, что «дело обычное, и не надо было лезть на трассу для профессионалов. Сейчас подойдет доктор, он ведь тоже должен допить свое горячее вино».

Маленький Николас, едва вступивший в полные гражданские права, не знал, что делать. Я даже не сразу поднялся с кресла, пока они пристраивали ее бесконечные изящные ноги на низкой кушетке. А, сообразив, кинулся на колени и зарыдал, обняв ее. Гераклы в бесстыже облегающих трико хмыкнули, переглянулись и вышли из моего маленького шале.

Оставшись в одиночестве, я сразу пришел в себя — тем более, что и Глэдис отогрелась под треск еловых поленьев. И пусть я не знал простейшего алгоритма действий, но внутри внезапно поднял голову кто-то внимательный и смышленый — будто он всю жизнь ждал, когда наконец позовут на помощь именно его. Я записал все, что говорил доктор. Я не проронил ни одного лишнего слова, улыбаясь и целуя юную жену, когда она постанывала от колебания носилок и вибраций вертолетного двигателя. Я потребовал соседнюю койку в лучшей клинике страны, и с невесть откуда взявшейся прытью совершал набеги на городские аптеки. Я читал ей книги вслух и передвигал тяжеленный телевизор, играя в прятки с солнечными зайчиками, рвавшимися в широкое больничное окно.

Оказалось, Маленький Принц подтирал свою задницу бархатной салфеткой только потому, что больше никто не принимал его заботу (черти бы тебя подрали, милая Пэм!).

Не могу сказать, что с той поры все совершенно поменялось местами. Глэдис по-прежнему предпочитала быть решительной бизнес-леди при слабом богемном протеже. Но вдали от посторонних глаз она уже с большей охотой принимала советы, и даже приучилась плакать на моем плече, вспоминая покойных родителей

и жестоких сестер. Жизнь шла своим чередом. Жизнь — как всегда — все улаживала сама. И к тому моменту, как солнечная Флорида сковала наши сердца своим магнитом, мы постепенно перестали играть в королевскую чету с напудренными волосами, усеянными звездной пыльцой. Жена больше не выводила меня гулять, как болонку на поводке. И хотя я сам еще не расстался со многими старыми привычками и не мог представить день, проведенный без духов и маникюрных ножниц, но все это уже превратилось в элементарную гигиену эстета, потеряв приторный привкус самолюбования. Глэдис довольно быстро смирилась с тем, что я забывал побриться в течение нескольких дней и сменил шелковые пижамы на свободные льняные штаны. Но я не скоро понял: несмотря на официальное разрешение на внешнюю демократичность, главным ее оружием по-прежнему оставались деньги.

Судьба была милостива к ней, и *их* она никогда не теряла.

Так кого я обманывал? Собственный страх быть выброшенным в настоящую жизнь, кипящую и кишащую разнообразием за пределами нашего дворца? Я наслаждался тем, что имею, но мое сердце жило отдельно от разума. Или мой разум был устроен иначе, чем у остальных людей? Я всерьез полагал, что смогу вместить в судьбу все, что захочу?

Порой я ловил себя на сумасбродной мысли: в своих глазах я представал восточным принцем, имеющим право брать все, что ему придется по нраву. У меня вполне могло быть несколько жен одновременно — почему нет? И для каждой нашелся бы даже не уголок, не кусочек моего сердца — о, я любой из них отдал бы душу целиком! Ведь во мне жили несколько личностей. Беспомощный и изящный Ники с удовольствием любил и преклонялся перед сильной и бесстрашной Глэдис.

Для Пэм — если бы она одумалась, конечно — был припасен вдумчивый молодой бюргер, всегда принимающий исключительно правильные решения. Э-э-э... Пока больше никого на примете не было: мимолетные желания, возникавшие, как у быка, при виде какого-нибудь шелкового красного платья, я в расчет не брал. Та девочка? Я еще не знал, какая часть моей широкой натуры ей понадобится.

Так я заблуждался в то время, путая бесконечные маски своего Эго с истинной тканью души. Единственной души, которую я не вправе был делить между воображаемыми эльфами, обеспечивавшими мой комфорт. Что ж, не судите строго: жизнь безоговорочно рассеяла мои иллюзии по ветру. Некоторые из них явили свой призрачный лик почти сразу, другие мутировали постепенно. Но каждый раз, когда я трусливо цеплялся за какую-нибудь из них, стараясь накинуть ее наряд на свою голову, чтобы не видеть реальности, я жестоко платил за это. Иллюзии звереют, если не отпускать их вовремя, и начинают извращенно мстить тому, в чьем сознании еще недавно желали найти пристанище. Смешно и странно слышать от меня рассуждения о реальности? Погодите, вы еще убедитесь, что столь ощутимая и циничная действительность, как у меня — редчайший экземпляр.

Я вспомнил лицо девочки во сне, надиктованном мне Айрис. Оно было таким нежным и... неуловимым. Не потому, что она предстала передо мной в виде грезы, нет. Неуловимыми были эмоции, почти незаметными волнами пробегающие по ее личику, отражаясь в глазах и всплесках мимики рта. Она была еще совсем ребенком, и я не мог сказать наверняка, как изменится ее внешность с годами. Мягкость и округлость лица могла и усилиться, и исчезнуть на сквозняках жизни. Но сомнений не было: она действительно поразительно похожа на ме-

ня — не столько чертами, сколько общим впечатлением и особым ароматом ауры. В нас текли одни и те же реки. Одна и та же душа гостила в двух телах. Я мог обманывать Глэдис и благополучного холеного Ники сколько угодно — но не самого себя. Похоже, это действительно было то, что я искал с детства.

Она сидела за столом, спиной ко мне, и, разглядывая ее затылок, пушащийся в солнечной пыли, я почувствовал себя нечистым чудовищем, прокравшимся в ее мир. Услышав мои мысли, она обернулась в тот самый миг, когда я действительно решил сделать хотя бы шаг — на цыпочках, преступно, готовый в любой момент нацепить маску с безобидной сахарной улыбкой. Она не испугалась, просто удивленно осмотрела пространство вокруг. У нее были необыкновенные глаза — ангельские и очеловеченные одновременно, наполненные и небесной наивностью, и земной горечью, которой она уже успела где-то заразиться.

Не знаю, насколько неприемлемым окажется мое лживое умолчание перед Глэдис в тот вечер (и много, много позже), но я должен хотя бы сейчас исправить эту ошибку, и признаться в том, о чем некоторые могли и догадаться.

Конечно, я уже видел своего близнеца во сне. В ту ночь, когда мы поссорились с женой. В тот день, когда я гостил у Джереми. Странное, неприятное сплетение нитей, но нам не дано осознать всю полноту замысла. Никогда.

Глава 3

Прошло время, и я с легкостью поместил базальтовый кусок предсказания Айрис в мозаику своей жизни — где-то ближе к голубому мареву неба, и продолжал наслаждаться тем, что у меня есть. Я не из тех, кто способен долго выдерживать едкое зелье сомнений, и пророчество стало для меня чем-то вроде детской мечты о собственном предназначении: так хочется сыграть что-нибудь невероятное, спасти мир, или наоборот, поработить его (что, впрочем, одно и то же), но... Все идет своим чередом, и воскресный киносеанс с попкорном и шипучкой оказывается предпочтительней тренировок на роль мессии. В моем случае киносеансы проходили по всей планете, да еще и в компании красивой и богатой жены. О чем речь? Я особенный? Замечательно. Надеюсь, я не должен слишком напрягаться?

В конце концов, уже пролетели полгода с тех пор, как Айрис заставила меня заглянуть в никому не нужное будущее, и ничего до сих пор не изменилось. Меня не посещали ни призраки, ни образы, а свой дар прогулок по сновидениям я по-прежнему использовал для воплощения маленьких радостей и прибыльных замыслов. Хотя, должен признаться, я не очень-то усердствовал в творческих начинаниях: в Штатах было предостаточно городов, не видевших моих прежних полотен. Каникулы затянулись — возможно, я нуждался в них с самого детства, наполненного напряженной устремленностью в будущее.

Беззаботность правила моим миром до одного субботнего вечера, проведенного в доме у приятельницы-колдуньи. И, прежде чем отправиться в новое путешествие, я добавлю каплю яда в драгоценный кубок, а за-

тем плотно закрою его крышкой, украшенной древним знамением, и отставлю вглубь тайного хранилища — на пыльную полку, утопающую в темноте.

Дело в том, что мой путь в самую изумительную страну начался в тот момент, когда я уже был готов навсегда вернуться в реальность, введенный в заблуждение ее простотой. Я и думать забыл — не только о детских стремлениях, но и об их отражении в словах нашей подруги. У меня все было слишком, слишком хорошо.

Мы возвращались втроем (к нам присоединился и Джон, приехавший освежить грузное тело в океане) от Айрис, одурманенные кальяном и сумраком гостиной, пропитанной терпкими пряностями трав и аурами сотен клиентов. Уже тогда я старался не думать о том, как в действительности отношусь к знакомству с шаманкой, к интересу своей жены к спиритическим сеансам и прочей чертовщине. Одобрение церкви меня не слишком волновало: я еще в детстве присмотрелся к человечьему, с залежалым душком, исподу ее регламентированной жизни. Однако что-то по-настоящему высокое и чистое внутри требовало свежести, прозрачности воздуха и помыслов. И оно вопило особо пронзительно, когда я погружался в атмосферу этих встреч, с их столоверчением, долгими беседами и какой-то ненормальной степенью откровенности, навевавшей ассоциации об отношениях роженицы и повивальной бабки в глухой африканской деревне.

Я предполагал, что мои невысказанные претензии к Айрис обострялись воспитанием цивилизации, привитым с детства — и чаще им, потому что в памяти уже скопилось достаточно доказательств того, что она своими предсказаниями и советами попадала прямо «в яблочко», в самую суть ситуации. Но... (и вот эту мысль я гнал от себя с особой тщательностью) дело было, скорее, в страшном разочаровании, жестоком шоке, постигшем

меня при знакомстве с принципами магии. Человек почти ничего не значил сам по себе. Так или иначе, даже обладая невероятной силой намерения и упорством мысли, своей целенаправленной энергией он притягивал многочисленных помощников, которые выкладывали, кирпич за кирпичом, и устилали мхом его дорожку к заветному желанию. И беда была не в том, что христианство и другие системы, узурпировавшие Бога, называли эти энергетические сущности нечистью, демонами и бесами. Меня печалил сам факт зависимости. Так хотелось вольно взмахнуть руками, отпустить свою силу вдаль и знать, что этот сияющий луч, исходящий из сердца, порожден лишь тобой, и полностью в твоей власти. Я был юн, и мне хотелось свободы. Хотелось быть Богом.

В тот вечер я не участвовал в сеансе, отговорившись головной болью и отсидевшись в библиотеке. Догадываясь, что Айрис не поверила моему внезапному нездоровью, я не слишком усердно строил постную мину, рассчитывая на ее житейское понимание. Наглотавшись пыли и магической белиберды из толстых томов, которые я бездумно пролистывал один за другим, сидя на некогда роскошном, а теперь продавленном и протертом диване, я незаметно для себя заснул. И проспал до тех пор, пока Глэдис демонстративно не хлопнула дверью, ожесточенная неудовлетворенным желанием рассказать о новых открытиях потустороннего мира.

Так или иначе, голова теперь действительно побаливала. Сумрак дома подавлял, в носу застрял запах эфирных масел и курительных смесей. К этому добавлялось нездоровое возбуждение, которое всегда охватывало мою подвижную психику после общения с Айрис. Словно литр кофе — так я определял для себя ее влияние. Эйфория, созидательная агрессия и неизбежная депрессия.

Я помню, как с радостью вышел — нет, по-детски выскочил на улицу, вдыхая аромат ночных кустарников

и пальмовых листьев, растворенные в воздухе пары бензина и изношенные ветром шлейфы чужих сигарет. Издалека доносился шум прибоя и запах океана. В такие минуты как никогда чувствуется благоухание мира и его молодая сила. Сознание еще не прояснилось, захваченное в плен прислужниками ведьмы, но к притупленному головокружению примешивался теперь радостный ток крови, порождая опасную смесь, зовущую к прогулкам по краю пропасти. И обязательно в темноте. Конечно, я был осторожен и знал, что лучшее лекарство от этого — хороший секс. И, несмотря на легкое раздражение в адрес жены, погруженной в свои эмоции, недвусмысленно игриво обнял ее, когда она наконец появилась на пороге особняка Айрис, все еще не прекращая разговор с ней.

— Пока, Айрис! — как можно покладистей и веселее сказал я, просчитывая план домашних развлечений на ночь.

— Давайте, голубчики, давайте, — задумчиво напутствовала негритянка. — Может, кабриолет сегодня здесь оставите? Что-то ты слишком прыгучий, малыш. В таком состоянии не надо бы за руль.

Мне эти предостережения казались смешными: я хорошо водил машину, хоть порой и не считался со знаками на дороге. Однако Глэдис радостно подхватила мысль подруги:

— А что, давайте пройдемся? Мы с тобой так редко гуляем ночью, — с упреком обернулась она ко мне, — я хоть на Луну лишний раз посмотрю.

Мне оставалось только скривиться, догадываясь о непостоянстве своих настроений. Предстоящий час ходьбы на свежем ночном воздухе мог напрочь выветрить из тела обостренное чувство романтики и желания. Но спорить с женой не стал. Прогулка оказалась легкой и быстро наполнилась шутками, беззаботными репликами в адрес прохожих и моими танцевальными импрови-

зациями, которыми я — с тайным чувством мести жене — попытался отдать влажному прибрежному миру избыток молодой энергии. Она же снисходительно разглядывала мою дурашливость, немного сожалея об оставленной вдали старомодной Англии: на ее чопорной аристократичной карте не было места для подобных выходок. Под ложечкой уже начинало посасывать (я сторонился странной стряпни Айрис, у которой и кухня пропахла индийскими маслами), и мысли об остатках яблочного пирога постепенно оттесняли сандаловые фантазии.

Мы уже почти дошли до своей авеню, когда на самом дне моего сердца вдруг зародилась болезненно тонкая, плохо уловимая эмоция. Это чувство было мне уже знакомо и посещало не раз. Обычно я трактовал его, как нараставшую без видимой причины тревогу, которая затем оправдывала себя, воплощаясь в каком-нибудь внезапном недоразумении, вроде выскочившего из-за угла автомобиля, или запланированной Фатумом неприятности — как было в тот раз, когда у отца случился приступ, и мне позвонили из дома в три часа ночи.

Вот и теперь тревога набирала силу, вибрируя высокими, но не выверенными частотами. Так тонкие гитарные струны с недобрым дребезжанием трутся о пальцы, которые поспешили неловко остановить их. Я вынужденно замедлил шаг и постепенно выключился из разговора, прислушиваясь к внутренним переливам и стараясь уловить ассоциации цвета, звука и мысли. Было два пополуночи, и я машинально начал сверять часовые пояса, разделявшие меня с семьей и друзьями, пытаясь высчитать, предугадать и обезопасить — пусть не жертву обстоятельств и судьбы, но свое сердце от грядущих потрясений. Как правило, предчувствия не обманывали. Это вселяло уверенность и угнетало одновременно.

Прошло пять минут, как режущая нить разбередила

душу, и я уже ощутил следующую волну эмоций, мгновенно оформившуюся в понимание: где-то во Вселенной, в трудноопределимом месте, которое невозможно было обозначить в сознании, творилась какая-то страшная несправедливость, толчком ужаса отозвавшаяся в сердце. И оно не замедлило отреагировать глубоким перебоем. Затем, с такой же безумной скоростью, холод сковал кровь, заставив затаить дыхание. Я чуть отстал от жены и друга, которые шли, продолжая болтать о событиях вечера и недели.

Состояние, овладевшее всем моим существом — и душой, и разумом — ужасало своей ледяной высотой. «Это уже что-то новенькое», — отметил я, надеясь, что дело не закончится обмороком. Казалось, изменилось само мироздание. Необычайное затишье охватило все вокруг, и на какие-то секунды до моего восприятия даже перестали доноситься звуки разговора и вой сирен в ночном городе. Пронзительная нота одиночества и беспомощности, тщетности и безнадежности зависла над планетой, источая боль в Космос, или же — из него. Я осознал это безоговорочно, до мозга костей. Казалось, барабанные перепонки вот-вот лопнут от звона невыносимой тишины.

Но в следующий миг жуткое безмолвие обрушилось с апокалипсическим грохотом, взрезанное одиноким криком, еще более оглушающим и пронзительным, чем сама тишина, содержащим в себе экстракт безумной надежды, порожденной той несправедливостью, о которой мне только что известила Вселенная.

«Николас! — кричал кто-то из всех сил, — Николас, пожалуйста! Ники!»

Словно ударили ножом в солнечное сплетение, беспощадно и ловко просверливая лезвием внутренности — вверх, через сердце, до горла. Спазм был такой силы, что я охнул и упал на тротуар, как подкошенный.

За мгновение до того, как колени коснулись камня, покрытого ночной испариной, я молниеносно и без остатка впитал все подробности события, о котором так жестоко и чудесно сообщили мне высшие силы. Я увидел уже знакомое, искаженное страхом лицо ребенка — девочки, которую полгода назад показала Айрис. Ее голова была запрокинута, а пространство вокруг заполнено отвратительными плотными тенями с длинными конечностями и раскрытыми алчными ртами. Они шевелились, закрывая ее собой, протягивая к ней руки, хватая пальцами за волосы. Ее крик, располосовавший мой разум, теперь проявился в голосе, тонком и детском. Каким-то непонятным чутьем, источник которого находился скорее в хребте, нежели в голове или сердце, я уловил запах возбужденной мужской плоти, и тотчас же темные пятна, окружавшие девочку, начали дрожать, искажаться и принимать очертания человеческих тел. И я уже видел блеск их остекленевших от похоти глаз, чувствовал на ней — как на себе — их потные ладони. Это не были взрослые мужчины, скорее, старшие подростки, почувствовавшие безнаказанность и невероятную, просто немыслимую беззащитность, исходившую от ребенка.

Теряя сознание, я успел удивиться тому, что ощущаю себя одновременно и ею, и их грязной энергией, и незнакомой комнатой на том краю света, в которой все и происходило. Отчаяние и сострадание, захватившие меня, были слишком сильны. Уже заваливаясь на бок и полуприкрытыми глазами отслеживая силуэты Глэдис и Джона, в испуге метнувшиеся ко мне, я наполнил последний осознанный выдох всей мощью сердца, направив ее по тонкому каналу связи, образовавшемуся в пространстве между мной и этой далекой девочкой. Последнее, что я почувствовал перед тем, как полностью утонуть во мраке — гулкая вибрация стен в том помещении, куда

перелетела моя душа, а затем — мелодичный и почему-то замедленный звон разбитого стекла.

***

Следующее утро я встретил как падишах, окруженный шелковыми подушками, легкими изысканными лакомствами и сонмом услужливых гурий — и у всех были рыжие волосы и голубые глаза моей жены. Глэдис, когда хотела, все-таки умела перевоплощаться в образы заботы и предупредительности. Джон и еще четверо друзей тут же бродили по дому, обеспокоенные случившимся на ночной мостовой.

Я с трудом помнил, что еще на улице пришел в себя, но слабость и нервный шок не позволили мне проползти каких-то двести метров до дома. Глэдис, как водилось у нее в таких случаях, совершенно запаниковала и запросила целую бригаду медиков, теребя и насилуя диск и коробку ближайшего таксофона. «Слава Богу, — подумал я, — у нее хватило ума вызывать еще и такси, а не везти меня медленным похоронным маршем с мигалками на машине скорой помощи». Врач выслушал мое сердце, легкие, желудок и гортань, и не нашел, что ответить. Жене, у которой уже дрожали губы, он доложил, что, «весьма возможно», «судя по характерному шуму слева в грудине», «и так далее, и тому подобное...», «вашему юному супругу не мешало бы проверить сердечко».

Несмотря на страх, притаившийся в расширенных зрачках Глэдис, я не счел нужным объяснять истинную причину недомогания. Приложив все усилия, чтобы отвести от себя подозрения врача в сердечном недуге, я просто-напросто отговорился сомнениями в съеденном ужине. Вдоволь насладившись хлопотами и верчением

мира вокруг собственной персоны, сослался на необходимость восстановления сил и попросил возможности поспать несколько часов. Жена обещала быть внизу и откликнуться на мой зов — все помещения у нас в доме соединялись телефонной линией.

На самом деле, мне требовалось время, чтобы в покое и тишине все обдумать. Невозможно было игнорировать то, что произошло ночью — и что присутствовало теперь бесконечной пульсацией в сознании и душе. Нет, сейчас я не чувствовал потустороннюю связь так ненормально отчетливо, как шесть часов назад, но в плодородный грунт сердца было высажено маленькое зернышко, из которого настойчиво рвался к свету хрупкий росток неизвестного науке вида. Еще больше это было похоже на тлеющий уголек, который не затухал, но ждал нового порыва межгалактического ветра, чтобы объять пламенем все вокруг. *Нечто, Оно, Неизвестное* уже поселилось во мне и пускало корни, заполоняя своими агентами кровь. Оставалось лишь надеяться, что они не были ядом.

Как только шаги Глэдис стихли внизу (думаю, она надолго засела с маникюром, перенося на ногти сюжеты моих картин), я поднялся с постели и тихонько, на цыпочках прошелся по комнате, потягиваясь и стряхивая вынужденную усталость. На прикроватном столике стоял стакан молока, лежала пшеничная булочка и украшенный шоколадом и орешками творог на фарфоровом блюдце — все, что обычно входило в список моих утренних приоритетов. Однако сейчас я только поморщился. Не хватало чего-то острого и опасного — например, домашних запасов тонких сигарет с марихуаной, которыми мы иногда баловались, расслабляясь после выставочных стрессов. Я долго и с задумчивой грустью смотрел на секретер, в ящике которого они хранились, но доставать не стал. Благоразумнее было сохранить свой страдающий

образ для жены. Размявшись, вновь забрался под одеяло. Так... Надо сосредоточиться и вспомнить все до мелочей.

То, что я успел осмыслить до потери сознания, было понятно, хоть и болезненно. Но было еще что-то, находившееся за пределами пусть странной, но все-таки яви. Меня не покидало устойчивое, навязчивое ощущение присутствия сна в этом обмороке. Сна, бывшего продолжением охватившего меня видения.

Я усиленно потер виски пальцами и сделал несколько глубоких медленных вдохов и выдохов — прием, всегда помогавший собрать мысли и волю в кулак. Постепенно из спиралеобразного небытия навстречу мне полетели обрывки новой картинки, отдельные пазлы, из которых я стал выстраивать ускользавший сон. На это ушло довольно много времени. Словно на самом дне осознания находилась волшебная маленькая коробочка, до которой я поначалу не мог ни дотянуться, ни подцепить ее крышку ногтем. Муторный кошмар наяву, напоминавший тщетные попытки лунатика вспомнить свой ночной туристический маршрут по балконам и карнизам соседских спален. Погрузившись в глубокую сосредоточенность и изменив длину волн мозга, я и сейчас чуть было не стал засыпать, прикрыв глаза спасительной темнотой ладоней. Возможно, именно это помогло поймать нужное ощущение.

Пространство сна было окрашено в темно-голубой цвет — не сияющий синий, а именно приглушенный, с мраком внутри. Чуть выше головы смутно ощущалось светлое пятно окна и, взглянув туда, я увидел бликующее на солнце стекло и абрисы деревьев за ним.

Итак, я почему-то находился на полу в каком-то небольшом помещении. Все мое существо, от макушки до поджатых ног, как магнитом тянулось по направлению... Я поднял глаза. Под окном, прижавшись спиной к стене того самого голубого цвета, сидела девочка.

Первым порывом было — и я не смог осознать, есть это ощущение внутри сна, или движение души сейчас — прикоснуться к ней, погладить по голове или дотронуться до руки, но я почему-то сдержал себя. Оставалось только сидеть рядом и пристально всматриваться в ее образ.

На ней было форменное школьное платье, каких миллионы на нашей планете. Я изо всех сил пытался вспомнить его оттенок, но в этом кластере видение не поддавалось определению, возникая лишь как уверенность, заключенная в словосочетании. Она сидела, согнув длинные ножки в коленях и плакала, закрыв лицо руками.

Тут я с внезапным страхом и болью вспомнил начало своего погружения в ее реальность. Мысли, которые я инстинктивно — как совершенно посторонний мужчина и одновременно очень близкий человек — гнал от себя, вновь атаковали с беспощадной силой. Внутри завороча-лась склизкая паника, наполовину состоящая из сострадания, наполовину — из брезгливого желания отстраниться от случайно подсмотренной чужой беды. Но нить оказалась слишком крепкой. «В конце концов, я здесь для того, чтобы выяснить, смог ли ей помочь», — твердо решил я, и заставил себя разглядеть ее как можно лучше.

Одежда вроде бы в порядке. Царапин и синяков нет. Но этого недостаточно, мне требовалось увидеть ее глаза. Будто прочитав мои мысли, девочка отняла руки от заплаканного лица. Я увидел испуг, обиду, растерянность — все в преодолимой степени, драматично, но не безысходно. Тут она приподнялась и развернулась вправо. Проследив за ней взглядом, я узнал очертания кухонного буфета. Не поднимаясь с колен, девочка протянула руку к графину с водой, извлекла из глубины стола чашку и наполнила ее. Уселась обратно и начала пить маленькими глотками, справляясь с дыханием и всхли-

пами. Через минуту выражение ее глаз стало более осознанным и задумчивым. Она явно что-то припоминала, временами срываясь на небольшие порции слез, прерывисто вздыхая и утирая лицо рукавом платья.

Наконец я позволил себе отпустить нервное напряжение: кажется, каким-то невообразимым способом несчастье удалось предотвратить.

В тот момент мое состояние позволило не подвергать сомнению происходящее, и такая реакция казалась вполне естественной — она ведь сама меня позвала, а я откликнулся, что же тут неправильного? Мысль о том, что собственная психика могла сыграть со мной злую шутку — предвестницу душевной болезни, не приходила мне в голову. Стресс был настолько силен, что все мои стремления были заключены в его железную клетку. И главным было — получить подтверждение, что линия этой далекой судьбы развивалась по более-менее благополучному сценарию.

Вдруг девочка подняла взгляд и посмотрела мне в глаза. Я вздрогнул: она видит меня? Ее зрачки заметно расширились, следуя этой догадке, но лицо оставалось неподвижным. Ни одного движения, ни легкой гримаски, все та же напряженная задумчивость. Она продолжала смотреть на меня, словно какая-то ее часть осознавала мое присутствие, но не объявляла об этом остальным. Я ощутил нарастающее беспокойство: становилось не по себе от этой странной ситуации. Под пристальным детским взглядом я внезапно и отчетливо понял, насколько далеко зашел в своем путешествии по иным измерениям. Такое соприкосновение душ требовало объяснения, еще лучше — путеводителя. Чувство самосохранения взяло вверх, и я вынырнул из грезы.

Теперь требовалось отдохнуть, восстанавливая затраченные на видение силы. Но беспокойство не покидало меня, я час за часом ворочался в постели, не в состоянии

найти удобное положение тела. Внутри настойчиво росло желание встретиться с Айрис. Она могла все объяснить, да и часть ответственности за происходящее лежала на ней — это с ее слов о недолговечности нашего брака начался тот дурацкий эксперимент с пророчествами и гипнозом. Я вспомнил свое беззаботное, вплоть до смешков, отношение к этому полгода назад. Мне было так хорошо с Глэдис, во всех четырех сторонах света меня поджидали лучшие дома, отели, курорты, ювелирные магазины. И вдруг какая-то ведьма предлагала мне задуматься над будущим, предрекая провалы, одиночество и непонятную необходимость поиска некой единственной, идеальной пары — не просто как обещания счастья, но как *залога выживания*.

Признаться, за моим смехом тогда крылась агрессия, которую, увы, я иначе не умел выражать. Айрис не разделяла моего легкомыслия. «Дружок, — тихо сказала она, — вот что я вижу: как ты годами блуждаешь впотьмах. У вас с ней парная энергия, и карма одна на двоих. Тебе придется постараться, чтобы сохранить свое благополучие. У каждого в руках две чаши — одна с радостью, вторая со слезами. Испить придется обе. Сколько лет ты уже купаешься в радости?»

Тогда я ушел от нее с плохо скрываемым раздражением. Разумеется, я вполне допускал, что Глэдис не будет моей единственной до гробовой доски. Наши отношения, бывшие когда-то настоящей зависимостью друг от друга, уже перерастали в деловитое, сотни раз опробованное наслаждение славой и роскошью. Однако слова экстрасенса о предстоящем крахе задели самолюбие, и мысль о далекой и чуждой моему уму и сердцу любви связывалась теперь с ожиданием потери, и вызывала пусть не яркую, но устойчивую неприязнь. Чуда не произошло: образ маленькой прелестной феи, показанной Айрис, был скрыт туманом ее же угроз. Я выкинул все

это из головы, спустя пару недель отправившись в очередной круиз вернисажей, спонсированный правительствами четырех морских держав, жаждавших прикрыть пацифистской мазней горстки художников серный запах своих намерений.

Это было в апреле. Сейчас стояло индейское лето, конец сентября, и я не мог найти объяснений для перемен в своем сердце. Черты лица, которые я мгновенно узнал в видении, тут же стали родными — стоило ей только назвать мое имя. Прошло меньше суток, а я уже чувствовал, что теряю прежнего Николаса Фламинга, капризного, избалованного любимца женщин, зацикленного на своей холености и гордыни, ошибочно именуемой достоинством. Да, это была лишь часть образа, и нередко она уступала под напором моей врожденной душевности, веры в Бога и доброты, которые теперь прочитывались мной как предчувствие, предугадывание будущей жизни — прочные сваи и цемент для строительства нового. Но сегодня был особенный день: все, что ранее казалось незыблемым и первостепенным, безудержно таяло под лучом света, пронзившим душу.

Проявившиеся вдруг сострадание и нежность обезоруживали, превращая меня в беззащитного воина на огромном поле битвы. Сила и слабость — парадокс любви, прежде не замечаемый ни в себе, ни в отношениях с женой. Я не понимал, откуда они пришли, и как она сумела вызывать эту боль. Все это словно существовало во мне от начала жизни, нет — мира! — она была моей частью, половиной сердца, души, чем-то настоящим, что не зиждилось на привычной химии любви, учитывая необычность анамнеза и возраст девочки.

Конечно, я и ранее сталкивался с чужими страданиями — в соседских сплетнях, в новостях по телевизору, в известиях от одноклассников и просто знакомых. Мне приходилось бывать на похоронах, в том числе и детских,

заниматься благотворительностью, посещать госпитали и приюты. Но, ужасаясь несправедливости жизни и непостижимости высокого замысла, я все же умел закрываться от излишних переживаний, понимая, что наступит вечер, с каминным жаром и ванильным запахом дома. Или утро, залитое солнечным светом, играющим на шелковых простынях. Все будет хорошо — потому что у меня не могло быть иначе.

И вот протянулась нить. Еще не выражая своих чувств в форме предсказаний, сделанных Айрис — любовь, страсть, связь, пара — я ощущал этого ребенка, как нечто принадлежащее себе. Младшую сестренку или еще не родившуюся дочь, маленького друга, волшебную искорку, чудесный цветок. Эпитетов и определений было уже слишком много, и я мог лишь догадываться, какие обороты наберет эта пущенная по орбите, воплощенная в двух телах божественная мысль.

Но одиночество размышлений становилось невыносимым. Я нуждался в собеседнике, знающем толк в потусторонних делах. Им могла быть только Айрис. Допустил ли я тогда хоть на миг возможность собственного безумия? Еще нет. Вот ведь бесовщина! — в моем жизненном багаже хранилось с десяток сбывшихся видений: призвание и успех, Джереми, Глэдис, обрывки пейзажей и городов, посещенных впоследствии, аплодисменты и вспышки фотокамер. Все это уже было записано в моей юношеской памяти к семнадцати годам, начертано на скрижалях дневников, в которые я заносил свои необычайно яркие сны.

Я взглянул на стену. Боже мой! Четыре часа потрачены на раздумья! Вскочив с постели, переоделся и спустился вниз.

— Милый, тебе полегчало? — обеспокоено спросила Глэдис.

— Угу. Э-э-э... М-мм... — промямлил я, не зная, с че-

го начать. Продумать ход действий я не успел, пораженный скоростью времени.

Жена размашистым шагом подошла и с подозрением пощупала лоб.

— Ты уверен?

— Абсолютно, — отрезал я. Надо было срочно предпринимать что-то. — Знаешь, я тут подумал... Странно все это. Не могу понять, что со мной случилось. Вот сейчас чувствую себя великолепно. А вдруг это порча, а?

Удар был нанесен точно. Ее глаза расширились: порчи и сглаза она боялась не меньше, чем дефолта. Я поспешил продолжить, пока ей в голову не пришел собственный план.

— Думаю, Айрис могла бы помочь с этим разобраться. Я хочу сходить к ней на пару часиков, окей?

— Отличная мысль! — взволнованно ответила жена. — Погоди минутку, я сейчас соберусь!

— Нет-нет, — торопливо перебил я ее, — я бы хотел... один, сам.

Глэдис остановилась, как вкопанная.

Это был опасный ход. Даже перед лицом Бога и дьявола она не утратила бы своей ревности и привычки отслеживать каждый мой шаг. Я был ее собственностью, беспомощным котенком, которого следовало опекать. Самостоятельность вызывала у нее серьезные подозрения, и я старался не давить на старые мозоли, покорно принимая ее присутствие даже во время двадцатиминутных солнечных ванн у бассейна. Мне ничего не оставалось делать, как превратить ее болезненное стремление к контролю в достоинство любви, расписывая друзьям и газетчикам, с какой радостью мы делим пополам каждый миг своей жизни. И вот впервые я вызывался совершить прогулку по развратному южному городу в одиночестве. Да еще и обозначил цель — Айрис, встреча с которой всегда была желанной и для Глэдис.

— Понимаешь, — осторожно начал я, — ты слишком сильно переживаешь вчерашнее. Возможно, я смог бы что-нибудь вспомнить из своих ощущений или предчувствий, но в твоем присутствии я буду скован, буду бояться тебя расстроить.

— Ты что-то от меня скрываешь? У тебя что-то болит?

Час от часу не легче! Впрочем, лучше подозрения в нездоровье, нежели догадка о том, что муж обзавелся внутренним миром, тщательно спрятанным от жены с первых секунд его проявления.

— Глэдис, — терпеливо вздохнул я, — на, потрогай мои руки, они теплые. Измерь пульс, температуру. Хочешь, покажу тебе язык?

Я тут же претворил свое предложение в жизнь. Как и следовало ожидать, она умилилась и поцеловала меня в щеку.

— Хорошо. Только позвони мне от Айрис.

— Разумеется! — я знал, что супруге важен не столько мой голос по телефону, сколько болтовня подруги, идущая непрерывным фоном и подтверждавшая мужнину верность.

— Дорогая, я же должен забрать свое авто у нее, помнишь?

— Точно! — хлопнула она себя по лбу. Ее желание выгулять меня неминуемо улетучилось: Глэдис терпеть не могла таксистов, считая их услуги не более, чем разновидностью общественного транспорта. А прохаживаться по улицам в послеполуденный зной — удовольствие из сомнительных.

Через пять минут я уже сидел в такси. Все складывалось как нельзя лучше. Вот и бабочка, невесть откуда взявшаяся в этой полупустыне, на ходу влетела в приоткрытое окно автомобиля. Я подставил ей пальцы, и она мгновенно попалась на приманку, привлеченная тонким

ароматом дорогого крема, который я наносил каждое утро. Стал играть с ней, разворачивая кисть руки, она переползала с ладони на запястье, настойчиво исследуя кожу шершавыми усиками. Таксист-мексиканец, бросивший взгляд в зеркало, многозначительно хмыкнул. «Следи за дорогой, малыш», — как можно нежнее произнес я и подмигнул ему. Тот состроил презрительную гримасу и резким движением опустил зеркало вниз.

На ближайшем светофоре я осторожно стряхнул бабочку в окно и закрыл его, чтобы у нее не возникло соблазна провести со мной остаток своей короткой жизни.

***

Айрис была в курсе случившегося: моя неугомонная супруга позвонила ей сразу, из того же таксофона, после вызова медиков и такси, опасливо поглядывая на меня, свернувшегося калачиком на влажном от ночной росы тротуаре. Разумеется, своим шаманским чутьем она догадывалась, что дело не так банально, как сердечный приступ или пищевое отравление. Она усадила меня на диван, а сама расположилась в кресле, закурив длинную индейскую трубку. Я вздохнул, но спорить не стал: густые облака табачного дыма помогали ей рассеивать туман других измерений. Поэтому я просто рассказал о своих видениях и переживаниях. Она надолго замолчала, пожевывая губами и исподлобья глядя на меня в упор.

— Ну, Айрис, не томи же, — не выдержал я. — Что мне теперь с этим делать? Надо ее как-то найти, что ли. Привезти сюда, или в Лондон.

Негритянка хрипло рассмеялась.

— Ой, позабавил, милок, спасибо тебе. Удочерить,

что ли, хочешь?

— Не издевайся, — огрызнулся я. — Надо же как-то держать ее под контролем, раз с ней такое там происходит?

Айрис наклонилась к моему лицу, нахмурив брови.

— Да ты, смотрю, совсем из ума выжил, дружок. Привык звонкой монетой все дела решать — даже чужие жизни?

Она рывком встала и принялась яростно расхаживать. Я недоумевал, в чем причина ее недовольства и непонимания, которое никак не ожидал встретить, рассчитывая на поддержку. Позже, вспоминая первые сутки наваждения, я осознал, что тогда все еще находился во власти видений — они не растеряли осязаемости и реализма и диктовали очертания дневного мира. Где-то, в неизвестном мне месте, ждали моей помощи, и это была та девочка, о которой сама же Айрис и твердила раньше. Так что же странного в том, что я всей душой стремился к ней?

Я попытался объяснить ей эту мысль:

— Я просто ищу возможные варианты, Айрис.

Она подошла и бесцеремонно ухватилась за мой подбородок.

— Ты что, под кайфом, малыш?

Я начинал сердиться. Что она себе позволяет! Открыл рот, чтобы высказать ей, что думаю, но не успел.

— Ты когда очнешься? — сердито спросила шаманка. — Ты хоть на минуту вынырни из омута, и пойми, как дело обстоит, со стороны.

Она пристально смотрела мне прямо в глаза, и до меня стало медленно доходить, в чем, собственно, дело.

— Айрис, — ахнул я, — ты что, не веришь мне?

— О, Мать Вселенная! — почти завопила ведунья. — Ты совсем дурак, что ли? Кому, как не мне, понимать, что это все правда? Меня пугает твое состояние. Ты ве-

дешь себя так, словно эта девочка живет по соседству. Всего одно видение — и ты выпал из реальности собственного тела и разума. Ты хоть помнишь, что у тебя сегодня назначена встреча с управляющим зала? Ты вчера мне об этом сказал.

У меня все сжалось внутри — о договоренности я даже не вспомнил.

— Айрис, я пойду, позвоню...

Телефон стоял в холле. Набрав нужный номер и дождавшись, когда подойдет мой коллега, я принялся покладисто извиняться, ссылаясь на приключившийся обморок, и тут же услышал в ответ пожелания скорейшего выздоровления. Глэдис успела и здесь, вовремя вспомнив о планах и отменив встречу. Упоминание ее имени заставило меня пережить легкий стресс еще раз. Я не позвонил и ей, и теперь она наверняка уже в пути — мчится на соседском Феррари, пропуская сигналы светофоров. Дрожащими пальцами я нащупал нужные цифры на диске. Приступы ее ревности иногда растягивались на двое суток. И конечно, она на всю жизнь запоминала самые ничтожные поводы. Видимо, чтобы после счастливой смерти нас обоих — в один день, как водится в свадебных историях, выложить список моих провинностей перед Богом. Или апостолами, или циничными ангелами — кто там у них заведует канцелярией?

Она все-таки была дома. Ее голос то ли замораживал, то ли испепелял.

— Ты уже час, как у Айрис. Почему не позвонил раньше?

— Дорогая, я сначала не мог вырваться, она закудахтала вокруг меня, ну, ты же знаешь, — начал я оправдываться, и тут пришло спасительное воспоминание: лучшая защита — это нападение.

— Зачем, ну зачем ты сказала ей об этом дурацком обмороке? Я хотел рассказать ей сам, чтобы не было этих

лишних эмоций, которые ей теперь мешают все проанализировать.

Жена была поставлена на место.

— Извини, я не подумала. Но я еще и отменила твою встречу.

— Знаю-знаю, спасибо, — поторопился я успокоить ее. В мои планы не входило брать на себя роль тирана (то есть, менять все местами). — Вот потому я не сразу дозвонился до тебя: дергался, что забыл предупредить Алана, а у него все время было занято. Торчу здесь у телефона уже полчаса!

С помощью бесстыжего вранья конфликта удалось благополучно избежать, и я вернулся в гостиную. Тяжелый разговор с Айрис не был окончен. Скинув туфли и забравшись с ногами на диван (хозяйка поощряла раскованность гостей, прозорливо предчувствуя в них постоянных клиентов), я слегка картинно вздохнул, как будто моим актерством можно было изменить ход ее размышлений. И тем паче то, что именуется реальностью:

— Мэм, чем вы хотели меня напугать?

Мой гид по Аду уже сменила гнев на милость и смотрела с явным сочувствием. Наверное, количество искуренных эфирных масел в крови достигло точки жалости и вселенской любви.

— Почему ты отказываешься меня понимать, Николас? — мягко спросила она.

Я молча помотал головой — дескать, нет, не отказываюсь. Стараюсь понять изо всех сил, изобразив смиренное лицо храмового херувима. Объяснений и оправданий было достаточно на сегодня.

— Что, серьезно запал на это? — с ироничным участием осведомилась старая ведьма.

От этого вопроса в горле защекотало. За простыми словами чуялась глубокая темная пропасть, кишащая злобными демонами. Странное, неожиданное ощуще-

ние — на фоне нежности, разъедавшей душу. Стало больно дышать, будто воздух вокруг наполнился ледяными прозрачными кристаллами. Ответ ужасал своей наивной искренностью: да, серьезно запал. Но вслед за ним ядовитой змейкой взвивался в сознании следующий вопрос: а почему? Что мне, коллекционеру прекрасных авто и старинного фарфора, юному дарованию, женатому на дочери миллионера — в том далеком мире, неясном, еще не заполненном всеми красками, без заголовка и титула, не нанесенном на карту, но так щедро приправленном страданием?

Я невольно перевел взгляд на свои ухоженные руки, украшенные перстнями с бриллиантами, золотыми браслетами и маникюром от лучшего мастера Франции, куда мы летали позавчера. Будто приступ инвольтации настиг меня, и я осматривал себя со стороны, открывая и поражаясь, пытаясь осознать — где тот личностный провал, Ахиллесова слабость, будь то пята, или что-то еще? Я смотрел на свои волосы, орошенные дорогими шампунями, на холеную кожу, смуглота которой не сходила годами, заботливо охраняемая самим Солнцем на элитных пляжах мира — а еще говорят, что оно светит всем одинаково. Уже семь лет, как я не знал одиноких ночей — рядом всегда была любимая жена. Вся моя жизнь была легендой, загаданной на падающую звезду, сбывшейся и торжествующей в своей неприкрытой красоте.

И вдруг блистательная картинка стала таять по краям, оплавляясь и теряя свои чары. Освобожденное пространство стремительно заполнялось воспоминаниями иного оттенка и тона. Сначала — вечное, ежеминутно проживаемое недоумение от мира и человеческих душ, алчущих, изворачивающихся, угождающих, предающих. Это резало изнутри с самого детства, не позволяя слиться в экстазе единства с толпой и просто компанией друзей. Затем — Джереми и его подлости, домогательства,

та злосчастная ночь, последующая месть за холодность и неприятие. Ребенок внутри меня заплакал от неприкрытой правды и зажал уши руками, будто это могло спасти от грохота мыслей, возникающих из сумрачной пустоты внутри. Глэдис, властная, умеющая загипнотизировать, подавляющая материальным богатством и силой духа...

Хватит! Я почувствовал то, к чему беспощадно призывал меня *Некто Всемогущий* — и это было весьма неожиданно. Мое «Я» растворилось в чьей-то непререкаемой воле, и на секунды я каждой клеткой тела ощутил целесообразность пролетевших мгновений жизни — будто все они, даже самые тяжелые, были неизбежной частью этого заданного пути. Я мог выбрать скорость, танец, музыку, мог составить любой букет, собрав его из цветов, растущих по обочинам дороги. Но я не мог сменить путь.

Да, я серьезно запал — на отражение собственной души, эхо своего сердца. Кого-то, угрожающе похожего на меня самого, а потому способного разделить со мной беспросветное одиночество среди чуждых и чужих.

Как умудрился я прочувствовать все это за столь недолгие мгновения — оставалось непостижимым. Но явным. Вдруг сразу стало понятно: она — единственное, что у меня есть. Глубже — то, что по праву принадлежало мне. Больше: мы принадлежали друг другу. Вопреки всем просветленным и сияющим, предостерегающим от привязанностей и обладаний, призывающим оставить это право лишь Богу. Или Господь отдаст мне его на откуп, или я зубами и когтями выдеру его у Него.

Она — единственное, что действительно принадлежит мне. Осознание успокаивало неземной сладостью и одновременно отравляло. Неужели это будущее, о котором Айрис говорила полгода назад, уже заиграло на походных флейтах свой вкрадчивый жестокий марш?

И я слышу эхо далеких барабанов той армии, что разорит мой хрустальный дворец, и пронзительную скрипку на городской площади — единственное оружие, в насмешку или по недосмотру оставленное мне высшими силами, чтобы я продолжил свою песнь, пусть даже плата за нее летит в истерзанную дождями и градом шляпу.

— Айрис, — я с трудом поднял на нее взгляд: слезы были слишком близко. — Айрис, это мой ребенок. Мое дитя. Она — моя. Как сердце. Как душа. Как печенка, селезенка, рука или нога, как ты не понимаешь? Я чувствую ее, как часть себя! Мне во что бы то ни стало надо найти ее!

— Ники, — вздохнула она, — давай разберемся, что мы имеем. Итак, тебя сразило видение...

— Крик о помощи, — угрюмо уточнил я.

— Да, крик о помощи. Ты погрузился в это состояние, переметнулся туда, где тебя ждали, сумел помочь, затем видел сон, а теперь сидишь передо мной и рассказываешь все так, словно у тебя в руках ее метрика.

— Нет, но... это реально! Она существует, и я должен ее найти!

— Она нереальна в *этой* твоей жизни, — произнесла Айрис почти шепотом, стараясь смягчить слова. — Да, она есть где-то там, но у тебя не с ней назначены встречи, у тебя не ее обручальное кольцо на пальце, и Рождественский ужин — тоже не с ней. Не хватало еще, чтобы ты переквалифицировался из художника в медиумы. Но ведь и тогда ты не сможешь растратить жизнь на общение душ — ты должен будешь зарабатывать деньги, чтобы прокормить и укрыть свое физическое тело.

— У меня достаточно денег!

— Это преходяще, я тебе уже говорила. Ты не можешь запереться в башне из слоновой кости и жить грезами. А пока что тебе ничего и не остается в общении с ней, кроме грез.

— Айрис, о чем ты... — я застонал и поднялся с дивана. Подошел к окну. На улице мальчишка пытался укротить необъезженный велосипед, слепящий своего маленького хозяина отчаянной новизной.

— Скажи мне, как ее найти, — упрямо повторил я, еще не зная, что именно упрямство станет моей единственной опорой на долгие годы.

***

Следующую ночь я не сомкнул глаз, почти неподвижно лежа на левом боку и всматриваясь в огромный лунный диск, то исчезающий, то появляющийся в прозрачной акварели облаков. Я не нашел облегчения в разговоре с шаманкой, и сейчас раз за разом прокручивал в голове беспощадный диалог, расставивший многое по своим местам. Туман рассеивался, воздух становился прозрачным. Дурман присутствия в чужой жизни выветривался из крови, но это не приносило свободы. Пусть настройка сердца сбивалась («Это нормально, — сказала Айрис, — ты не можешь все время чувствовать одинаково»), но разум запечатлел случившееся с жестокой ясностью, и теперь оно выявляло свою безумную суть. То, о чем нельзя рассказать. То, чему не поверят. И то, чему — почему? Почему, Господи? — верю я. Мой ум мог отвергнуть это, но не сердце. Я оказался в ловушке, не в силах забыть. И почти никаких зацепок, кроме лица и голоса.

...

— Как ее зовут, Николас?

— Не знаю.

— Попытайся узнать, если она приснится тебе еще раз.

— Разве ты не можешь помочь в этом?

— Разве это в моих силах? Разве это у меня с ней связь?

— Ты можешь погрузить меня еще раз в тот сон, как полгода назад.

— Еще раз и еще раз? Ты будешь приходить ко мне каждый раз, когда захочешь поспать? Сколько лет я должна потратить на тебя? Смотри трезво на вещи, прошу тебя. Проснись, наконец!

— Жестоко.

— Сколько ей лет?

— Не могу точно сказать. От десяти до тринадцати.

— Какой она национальности?

— Какой угодно, Айрис. Из белой расы.

— Как она выглядит?

— Как моя сестра. Красивая девочка. Немного странное лицо. Очень нежное.

— Она что, похожа на тебя?

— Да. Она похожа на меня.

— Чего и следовало ожидать. Из какой она страны?

— Не знаю!

— На каком языке вы общались?

— На звездном? На ангельском? На дьявольском? Айрис, чертова ведьма, на каком языке ты говоришь со своими иноземными духами?

— Ну хоть какие-то подробности ты помнишь?

— На ней было школьное платье, но какое — не помню. Даже цвет. И еще это неблагополучие...

— Семьи?

— Нет. Обстановка была небогатой, но не в этом дело. Что-то в глазах. Это не семья, это мир вокруг.

— Восток? Латинская Америка?

— Возможно. Или соцлагерь? Что-то витало такое в воздухе. Черт, я не могу понять!

— А ты уверен, что она из нашего времени?

— Что...?

— Ты уверен, что она живет сейчас?

— Разумеется! А может быть иначе?

— А разве нет?

Пауза... Долгая, мучительная пауза. Осознание всей глубины неизвестности, безумия и безысходности.

— Айрис... Не может быть. Она ребенок из чужого мира, но из этого времени. Я прочитываю это. Я чувствую ее пульс у себя в крови.

— Это не показатель, Ник.

— Нет! Не своди меня с ума! Она просила меня о помощи!

— И это тоже ничего не значит. Заставь мозг работать. Разве время и пространство не одно и то же? Пересекая пространство, ты в состоянии то же самое сделать и с временем — главное, знать, как. И уметь. Или случайно получить ключ.

— Давай сойдемся на том, что все так, как я говорю. Все происходит сейчас. Мне двадцать пять, ей — между десятью и тринадцатью.

— Ладно. Будем мыслить, как тебе удобней. Тебе понятно, что делать?

— Нет. Я смогу ее еще увидеть?

— Не знаю. Может быть, это зависит от твоей силы и настойчивости — сумеешь ли ты найти ее в пространстве? Может быть, только от ее зова. Я работаю с конкретным материалом, Ники. Фантазии — не моя стихия.

— Смешно звучит. Ты говорила о грезах.

— Грезы, сны — какая разница. Но не выдумки. Ты знаешь, как это делается. Пытайся, осознавай.

— Я смогу. Я уверен. Иначе быть не может. Иначе зачем эти муки?

— Ишь, какой уверенный. Прихвати союзников побольше.

— Айрис... Айрис... Мне это не нравится, ты же знаешь!

— А ты что, решил, что сам такое проворачиваешь? Господь Бог выискался! Когда ты забудешь эти сказки о людском могуществе? Надо и меру в гордыне знать. Ты медиум, вокруг тебя сотни духов — им не забудь спасибо сказать.

Вот в этом и есть суть оккультизма. Ловушки подстерегают тебя на каждом шагу, и все потому, что ты пытаешься управлять ситуацией, изменить ход событий собственными силами. Почти собственными. Можно положиться на волю Бога. Наверное, это было бы разумнее. Сказать себе и ей: это судьба. Испытания, которые надо вынести. Ты несешь наказание за грехи, которые не совершала (в христианской традиции), или за содеянное в прошлой жизни (в каком-нибудь индуизме). А потом, когда ты все это вытерпишь, я утешу тебя, поцелую, и мы попытаемся построить счастье.

Я мог такое сказать ей? Я мог спокойно жить дальше, зная, что каждый день по какому-то зловещему стечению обстоятельств может принести ей боль и унижения?

Айрис говорила еще что-то, но это уже не имело никакого значения, раз она не могла помочь мне. Я чувствовал себя слабым и беспомощным. Комната наполнялась грязным фиолетовым туманом. Где-то там, далеко, пульсировал мой маленький персональный рай, который я намеревался воплотить в жизнь. Я видел его на линии горизонта, я любовался им, но не мог дотянуться рукой. Суть моего сердца знала о реальности того, что происходило со мной во снах, но я был неопытен в потусторонних делах любви. И здесь, в тусклом свете матрицы, вынужден был мириться с теми возможностями, которые мне предлагались.

Я был пойман и крепко заперт в мире герменевтики и колдовства. Самый прекрасный цветок, что я когда-либо видел, вырос из тьмы, кишащей разноликими бесами. Отчаяние, порожденное пониманием этой страшной ис-

тины, ползло вверх по хребту, но это была моя жизнь. Я мог бы поступить проще, отказавшись и забыв, придя на мессу и покаявшись перед падре и его глиняным богом, забронировав себе удобное местечко в загробном мире.

Но это была моя жизнь. Я взял на себя ответственность. Я поверил в этот путь к вечности.

Глава 4

Следующие месяцы стали школой смирения. Впервые я ощутил в центре своего существа нечто, не позволяющее успокоиться и убедить себя в идеальности жизни. Маленькая девочка, нуждающаяся в моей опеке, не удосужилась сообщить свой адрес и номер телефона, по которому я мог бы узнать, как обстоят ее дела. Но и это определение является неточным. Скорее, так: дойдя до границы юности и молодости, я вдруг обнаружил, что провел годы в страшной болезни — бессердечии. Мое сердце тысячелетия назад выпрыгнуло из груди и принялось разгуливать само по себе, по неизвестным мне материкам и странам. Оно подвергало себя опасности, ходило по краю бездны, легкомысленно шлепало по лужам, на дне которых таились осколки зла, могло довериться любому проходимцу с милой улыбкой — такой же, как у меня. Куда я попаду, если перешагну порог этой жизни, не вернув его себе? В приют для неполноценных?

Моих способностей не хватало, чтобы отыскать ее в призрачном мире надежд. За те жалкие секунды, на которые Вселенная соединила нас сквозь треск и гул космического телеграфа, я не успел ни выспросить, ни понять что-либо. В кармане моего походного костюма для прогулок по запредельному всегда лежал заслюнявленный огрызок въедливого карандаша, припасенный для специальных пометок на полях карты и для пунктира маршрутов по ней. Но я не смог даже вспомнить о нем, увидев ее глаза. Я еще недостаточно заплатил двуликим силам, способным подсказать дорогу, и они лениво жмурились под моими возмущенными взглядами, не желая выстраивать мосты. Мне оставалось лишь ждать ее оче-

редного зова. Но я не был уверен, что хотел бы услышать его: он мог оказаться, как и в прошлый раз, криком о помощи, свидетельствующим о беде и боли. Так что, из всего перечисленного, в моем распоряжении было только одно слово: ждать.

Ждать, что поможет Бог.

Ждать, что прилетят ангелы.

Ждать, что согласятся демоны.

Ждать, что я и сам окрепну — вопреки страшной правде о человеческом ничтожестве.

Ждать, что она меня найдет.

А пока я работал в лондонской студии, и за окном лил предсказуемый ноябрьский дождь, холодный, окосевший от порывов ветра, и в отместку исколовший нервной дробью стекла моего большого окна. Да-да, я все чаще возвращался в Лондон: мне хотелось уединения, позволяющего чувствовать и понимать, в чем я нуждался.

На следующее лето, которое сейчас казалось неправдоподобным, и даже не столь желанным в преддверии грядущего Рождества, была запланирована новая выставка. Но никто из моих менеджеров и спонсоров не знал, что у меня нет еще ни одной картины для нее. Более того: ни одной идеи.

С реальностью дела были плохи.

Я уныло бродил по просторной мастерской, сумерничая и пытаясь вдохнуть долгожданную фею вместе с пылью прежних творений. Что-то и впрямь витало в воздухе, но я до сих пор не поймал ни одного слова, чтобы высказать это. Последние несколько недель наполнились неизвестностью, доселе незнакомой мне. В душе мелким крысиным хвостиком дрожало неискоренимое ощущение, что я был обманут. Но кем? Или чем? Я мог с уверенностью сказать только одно: меня, прежнего, не существовало. Но и отражения нового Ни-

коласа я не находил в зеркале. Ничего, кроме распавшихся на атомы души и тела. Горка праха, которая почему-то рисовалась в моем воображении состоящей из мелких пластиковых деталей, приятных на ощупь — вроде изысканного детского конструктора.

Как и прежде, в моем распоряжении было два мира: реальность и грезы. Как и прежде, я не мог понять, какой из них имеет изначальное влияние на другой. Или происходит не поддающееся определению взаимопроникновение? Возможно, честнее сказать, что для меня они всегда были слиты в один мир, насыщенный эмоциями?

Я мог впечатлиться образом красивой девушки, встреченной в кафе, или рассказанной приятелями необычной любовной историей, и эти мгновения земной жизни становились переносчиками волшебной заразы, которую я был способен от всего сердца передать дальше посредством своего творчества. Но они всегда — всегда! — проходили сквозь жернова моей души, словно не удовлетворяя меня в своем первородном виде. Мне не было дела до истинной судьбы какой-нибудь случайной музы, невинно присвоенной мной за чашечкой кофе: нужна была лишь кристальная поверхность ее глаз, способная отразить тот луч, который я направлю в них. Рассказ, услышанный от друзей, мог поразить меня наличием высшей идеи — и я безоговорочно изгонял из своего сознания те детали, которые слишком заземляли ее, а то и вовсе противоречили, предрекая в недалеком будущем грохот разрушенных декораций.

Признаться, я не терпел жизнь, как она есть. Сюжеты, которые она подбрасывала, были для меня ядовитыми сырыми грибами, требующими тщательной и вдумчивой обработки. И какое дело, что эта вдумчивость — плод не разума, а души, как бы парадоксально это ни звучало. Я должен был, ради своего же спасения, окутать все туманом мечтаний — иначе мироздание убило бы меня

сразу. Оно столь непригодно для существования, или же я нахожусь не в своей галактике — как знать? Я привык справляться с этим несоответствием, и даже неплохо зарабатывал на нем.

Но последние дни были провалом в серую пустоту. Нет, это была не депрессия — до нее оставалось еще восемь лет. Но столь долгий творческий простой образовался впервые за двадцать два года — начиная с того дня в младенчестве, когда я осознал, как божий свет, что хочу и буду рисовать. Я стонал и маялся, беря в руки кисть и отбрасывая ее, бесконечно медитируя над своими картинами, тщетно ища в них отблески будущего.

Глэдис поначалу спасала меня, тонким женским чутьем поняв, что я нуждаюсь в самых простых вещах: пляжи, кино, дискотеки, хорошее вино. Но так не могло продолжаться вечно: после рождественских каникул меня ждала встреча с руководителями проекта, и что я должен был предъявить им в качестве аванса? В контракте оговаривались двадцать картин — значит, к январю в мастерской должно стоять десять, чтобы кредиторам был ясен общий замысел. В богемном мире я пока еще был звездой, и мне нередко дозволялось определять сюжеты самостоятельно. Мог ли я жаловаться, пользуясь такой свободой и щедротами?

Поэтому я в третий раз за месяц прилетел в Лондон, чтобы впустую провести ночь среди своей коллекции и своей же немощи. Глэдис осталась в Флориде: все чаще и чаще ее любовь измерялась климатическими зонами, и мое знойное сердце не могло согреть ее в царстве смога.

Я присел на корточки у двух любимых полотен из предыдущего цикла «Синяя рапсодия»: он составлялся исключительно по цветовым оттенкам жизненных сюжетов и грез. Одна из них была слишком слащава для моего нынешнего настроения, изображая подчеркнуто сказоч-

ную царевну, помещенную в слегка кубическое пространство сознания спящего юнца. Я усмехнулся над ней, как над детским творением. Если бы меня пригласили рисовать мультфильмы, я обязательно использовал бы такую технику создания образа. Но для меня сегодняшнего это были романтические бредни девственника. Да, все так подходило по сюжету к моей летящей в пропасть жизни, но Боже мой... Где взять эту невинную улыбку, блуждающую по губам героя? Мириады демонов стояли между мной и моим сном, и каждый требовал свою долю. За их извивающимися телами я пока не видел ничего, кроме пустой комнаты, погруженной в унылый полумрак.

Может быть, стоило перерисовать картинку, явив зрителю череду новых бредовых образов? Чистый одинокий матрац на железной кровати с жалко оголенными прутьями спинки, убогая лампочка, свисающая с потолка на проводе, скрученном болью от собственной светопроводимости, этакая модная затхлость трущоб. Из героев должен присутствовать лишь один: либо он, в испарине распятый средь описанного интерьера, либо она — в сумрачных тенях, отступающая в бессердечном целомудрии, не желающая подарить ни капли своей любви. Кто-то один, потому что существование сразу двух по-прежнему под сомнением. И вполне возможно, что отсутствую именно я.

Отличный сюжет. Но какие нервы вытянуть из-под кожи, чтобы не сфальшивить, отображая его?

Второе полотно, захватившее в подлунный плен корабль, крохотный и далекий, куда как более подходило моему самоощущению, передавая потерянность и смятение в нужной степени. Все линии можно было перенести в новый цикл, просто сделав их черно-белыми — во избежание очередных иллюзий.

Я вздохнул, поднялся и повалился в кресло. Вот и все.

Казалось бы, я пережил такие чудесные моменты — да, темные, да, опасные и болезненные, но столь сладостные в своих обещаниях. Такой сюжет, такие въедающиеся в душу абрисы, и поди ж ты! Я никак не мог извлечь сочный экстракт из странного опыта, и это было так необычно в своей жестокости! Раньше, что бы со мной не происходило — от приятной влюбленности до полета в пропасть на автомобиле — требовалось, самое большее, неделя, и я осмысливал и выплескивал на холст яркие брызги ядов и нектаров, застрявших в моей крови. Теперь я стоял лицом к пустынному мраку, спиной — к горе не разобранного хлама причудливой расцветки и формы. Вот и все, что я мог сказать.

Уже больше месяца я был словно этот корабль, затерявшийся на полпути между мирами. Я боялся, что Глэдис почувствует это — и кажется, так оно и случилось. Порой я изменял своему сердцу и гнал от себя мысль о возможности воплощения новых россыпей грез в реальной жизни. Поступая так, я шел наперекор прошлому, раз за разом подтверждавшему мои собственные пророчества. Но к этому меня принуждало и осознаваемое отличие между прежним опытом сновидений и только что явленной историей, которая пока развернулась передо мной наподобие рекламного ролика — всего лишь. Юношеские видения порождали во мне сладкие ожидания, еще больше взывая к жизни и в стократ усиливая удовольствие от каждого дня: ведь в его солнечных бликах и тенях уже прятался узор будущего. Но то, что произошло в сентябре, принесло (несмотря на предостережения Айрис) совсем другие плоды. Я все-таки выпал из реального мира, так и не достигнув берегов потустороннего. На практике это ощущалось приблизительно так:

В моем сознании укоренился росток этого видения, как бы я ни старался его оттуда вырвать. И хотя я более

не уловил ничего внятного, оно постоянно срабатывало, как вторая чаша весов, подчиняя себе течение судьбы, устанавливая только ему понятное равновесие, которое мной пока что совсем не осознавалось таковым.

Мой нынешний мир казался неполным и недостаточно ярким без этой картинки. Она стала обещанием рождественского чуда: где-то там, в неизвестной стране, под неизвестным именем, уже подготавливался подарок для меня — будущего. И я не мог удержать лукавое подсознание от попыток вычертить, прорисовать, расцветить ее образ спустя пять, десять лет — когда она уже войдет в возраст, позволяющий моим грезам разворачиваться беспрепятственно.

И теперь, чтобы удержать биение настоящей жизни, мне требовалось прилагать гораздо больше усилий, потому что я раз за разом допускал одну и ту же ошибку: отправлял свои мысли в мечты о будущем. Пытаясь избавиться от наваждения, я удвоил порции телесных ощущений, что бы это ни было — ночи с Глэдис, вино, танцы, купание в океане. Но никак не мог поймать драгоценное наслаждение от гармонии бытия, которое раньше так легко было доступно мне.

Я пытался уговорить свое сердце, используя разум. Нет, я не хотел заглушить потусторонние голоса, звучащие внутри, но призывал на помощь силу рассуждения. «У тебя все хорошо в настоящем, — говорил я себе, — и планируется прекрасная любовь в будущем. Дыши моментом, живи в предвкушении, собирай обрывки, чтобы затем выложить из них чудесную мозаику и выстлать землю под ногами своей возлюбленной». Ничто не помогало. Я повис между небом и землей, не зная, где находится Глэдис, а где — моя Греза. И я не мог творить. У меня все отобрали, но ничего не дали взамен.

...Усталость — не от работы, которая была не выполнена, а от бесконечной круговерти размышлений, захва-

тила меня в плен целиком. Не в силах сопротивляться беспощадной колыбельной дождя, я прикрыл глаза. Бархатная темно-серая тьма быстро сменилась привычными всполохами образов, красных и оранжевых, и погружаясь в неосвоенное пространство, я ловил себя на мысли, что жду появления знакомых по прежним путешествиям лиц. Тех пугающих и отвратительных персонажей, которые иногда предлагают свои услуги проводников заблудшим душам вроде меня. Я намеревался вцепиться в любого из них, лишь бы на миг заглянуть в чужую реальность, однажды посещенную мной в жарком сентябре. Мне требовалось подтверждение, без которого я не мог двигаться дальше. Я жаждал не успокоения, а истины. Неважно, окажется это все иллюзией, или обретет осязаемость на том краю мироздания: хотелось определенности. Взлететь или приземлиться, но продолжить жизнь.

Надежды не оправдались: как только на меня метнулась костистая образина с копной волос соломенного цвета, я вздрогнул, и открыл глаза. Сумрак в студии сгустился настолько, что требовалось дополнительное освещение. Поплавав немного по мраку рассеянным с полудремы взглядом, я встал с кресла, чтобы добраться до настенных бра. Что-то впереди насторожило меня, и я поднял глаза к окну, напротив которого сидел. Дождь уже умерил свою мощь и теперь стекал с карнизов вялыми расхристанными струями. Ветер тоже стих, и косые стрелы уже не искалывали пространство. Изыски старой архитектуры здания, в котором находилась моя мастерская, позволяли небесным ручьям заливать оконные стекла, которые теперь больше походили на зеркала, погруженные в воду. И в глубине этого бесконечного тоннеля, образованного множеством отражений и теней, явилась, подрагивая, точка света, напоминавшая пламя свечи.

Поначалу я подумал, что это свет фар автомобиля, застрявшего на магистрали в паре миль от меня, или внезапно обнаруживший себя фонарь на соседнем проспекте. Ночная лампа, зажженная в доме напротив? Там, за стеклом, пульсировал мегаполис — можно было ожидать, чего угодно. Но меня, как магнитом, притягивало к этой дрожащей точке света, и я медленными шагами подошел к окну.

Что я хотел увидеть? Убедиться в одной из своих догадок и, задумчиво рассмотрев этот признак чужой жизни, вновь погрузиться в неясность своей? Не знаю. Я просто прижался лбом к холодному стеклу и стал всматриваться в огонек. Внезапно я понял, что он удлиняется и приобретает отчетливые очертания человеческой фигуры. Игра воды и кристаллов в моих глазах набирала обороты, и я, затаив дыхание, смотрел, как пятно света приближается — к моему лицу... Или же — к моему сознанию?

Одно болезненное мгновение — как укол иглы в палец при заборе крови: р-раз, не бойся, малыш, вот и все — и я увидел ее.

Моя девочка, абсолютно обнаженная, стояла на расстоянии вытянутой руки от меня — там, на серых облаках дождевой завесы. Сияющие линии ее отроческого тела не вызвали в моей душе никакого смятения, ни одна искра порочного внимания не вспыхнула во мне. Я был погружен в лучезарную нежность ее невинности, я наполнился ею. Она одновременно и разъедала душу, и согревала мягким родным теплом изнутри, отчего именно с того момента я не смог вытравить из своего взгляда и мимики эту блаженную, отрешенную полуулыбку, которая стала внешней отметиной моего тайного счастья. Мои чувства к ней приближались к отцовским, но застревали в секунде от них, встревоженные озорной дистанцией возраста. Поэтому я именовал их братскими — с той ноткой запредельности древних царств, при кото-

рой близнецы, сочетаясь в браке, восседали вдвоем на троне. Но ни одному ханже или психоаналитику я не позволю рыться в них, отыскивая признаки пагубной страсти, растиражированной современной массовой культурой. Если вы так ничего и не поняли, просто заткните уши, чтобы не слышать моих признаний. Оставайтесь в своем каменном мире, где нежность — это понятие под литерой «Н» в житейской энциклопедии.

Вдруг, неизвестно каким образом (я не могу с точностью утверждать, что я или она произносили какие-либо слова), она позвала меня — нерешительно, робко, тихо, смущенно. Слава Богу, в ее голосе не было того ужаса, который я услышал в сентябре.

— Николас...

— Да... — ответил я, прижавшись торсом и лицом к стеклу. Она уже стояла прямо за ним, скрестив кулачки на узенькой груди.

— Николас, пожалуйста, помоги мне.

Я затаил дыхание. Очевидно, что ничего плохого в данный момент не происходило, но она хотела высказать свою просьбу.

— Николас... Никому нет до меня дела. Мне страшно. Я совершенно одна. Меня некому защитить. Пожалуйста, помоги мне. Услышь меня!

Она разжала локти и, разведя руки в стороны, приложила ладони к стеклу. Я тут же прикоснулся к ним — сквозь прохладу окна — своими. Я пытался ощутить ее своим телом, ее макушка умещалась прямо под моим подбородком.

— Я буду там с тобой, девочка, — прошептал я, — я буду защищать тебя, обещаю!

Я не понял, уловила ли она мои слова. Выражение ее личика оставалось таким же, как прежде — напряженным, внимательным, словно она старательно вслушивалась: в себя, во Вселенную, в биение моего сердца.

Наблюдая за ней с близкого расстояния, я упустил тот момент, когда ее очертания вновь стали расплываться в аморфное пятно. Одновременно я почувствовал, будто погружаюсь в теплый резервуар с водой — стоячей, густой, гипнотизирующей. Веки налились тяжестью, дыхание пропадало на самом дне легких.

Я очнулся спустя неизвестное число минут или секунд, и обнаружил себя сидящим под окном, спиной к стене. Очевидно, я заснул, и мне привиделся еще один прекрасный, долгожданный сон. Мгновенно осознав его, как ужаленный подскочил на ноги: несмотря на вязкую серую хмурь на улице и глубокую ночь, я чувствовал себя отдохнувшим и бодрым.

Мое сердце сразу же заявило о правах на чудо, отказавшись отдавать их на придирчивую экспертизу разуму. Это происходило вновь! Что бы там ни было, как бы это ни называлось — ясновидение, сумасшествие, фантазия — я уже слишком отчетливо прочувствовал, как оно питает меня, насыщая жизнь неизвестными доселе красками. От этого невозможно было отказаться!

Спустя шесть часов, к девяти утра, в моей студии стоял новый холст, впитавший в себя дождь, ночь, огонь, надежду, из ведьмовского коктейля которых проступал тонкий соблазнительный абрис маленькой нимфы. Это была дерзость, которую я ранее себе не позволял. Моя душа оставила преграды бюргерского воспитания далеко позади, и я осмелился отравить полотно сладким ядом. И я знал также наверняка — как то, что буду звать это чудо и впредь: я покажу его всему миру, и заставлю полюбить и принять. И мои новые картины, и совершенно иного Николаса Фламинга.

Измаянный и счастливый, я уснул, не выпуская кисти из рук, тут же, в кресле — как когда-то в родительском доме. Основная часть работы над первой картиной была проделана. Легкие штрихи и детали остались

на следующий день: они так крепко въелись в меня, что я не смог их забыть, даже если бы захотел. Но и это было невозможно.

Нет, она не стала сниться мне каждую ночь. Кроме того, до следующей встречи опять прошло не менее полутора месяцев. Но я нарядил их уже совсем в другие мысли и настроения. Мне каким-то чудом удалось уловить пульсацию ее сияния, я чувствовал его цвет и звуковые вибрации. Это трудно объяснить тем, кто ни разу не соприкасался с осознанными астральными путешествиями, но внутри меня появился, а затем и укрепился некий магнит с особенным зарядом, позволявший мне соединяться с ее душой в любой момент — как только я прилагал определенные волевые усилия. Он дрожал где-то в области сердца, и порой ощущался мной совершенно физически. Я запомнил свою малышку не только душой, но и телом.

Это как вкус, цвет, образ: вы можете закрыть глаза и вспомнить то или другое, и всегда знаете, где и как в реальном мире вы обнаружите и получите это. То же самое происходило и на уровне астральных переживаний. В том мире также есть карты, дорожки, путеводители, указующие знаки, и даже буфеты со сластями — чтобы ощутить требуемый вкус отчетливей.

Я по-прежнему не знал, как ее зовут, но это совершенно не усложняло задачу потустороннего общения с ее душой. Напротив, выкликивая ее «по цвету», а не по имени, я убеждался, что девочка живет в одном со мной временном пространстве. Если бы это было не так, я не доискался бы ее средь озаренных радугой скал Зазеркалья.

Большую часть времени я проводил в мастерской, творя свое чудо. Заточенная в уличный камень природа вторила мне, постепенно превращая осеннюю слякоть в предрождественскую мистерию. Но я уже не чувство-

вал холода и не стремился на южные пляжи, как прежде. Работа пленила меня, вдохновение с каждым днем приобретало пьянящую мощь, настаиваясь в сосуде души, подобно вину. Я все больше погружался в зависимость от своего наваждения и (хоть знал, что это напрасно) нередко вглядывался в темный провал окна, в тайной надежде вновь увидеть в нем Принцессу Грезу. Это опасное сцепление мечты и реальности привело к тому, что образы окон появились в каждом втором эскизе — как отдаленная деталь, или врата мира, из которых приходили мои герои. Я уже тогда подумывал, что мне придется жестче контролировать себя в будущем, дабы одни и те же излюбленные сюжеты не кочевали из выставки в выставку.

Странно, но Глэдис словно нутром чуяла перемену ритма моего сердца, и стала чаще навещать меня в Лондоне. Она не ленилась приезжать каждый уикенд, но пока мне удавалось отговаривать ее от экскурсии по моим полотнам, капризно ссылаясь на незавершенность замыслов. Она уступала мне, как творцу нашего общего мира. Денежного мира. Но усилила хватку, и после выходных мне приходилось брать передышку на один день, и возвращаться к чародейству лишь во вторник, достаточно истончив несбыточными грезами себя, уплотнившегося в играх с женой.

Девочка пока что не звала меня и не откликалась на мои появления, мирно засыпая в своей постели. Но я приходил, будто канатоходец по тонкому лучу света, и пытался запечатлеть в памяти хотя бы ее силуэт, профиль и причудливый антураж ее мира. Чаще я видел его в своих же цветах-фаворитах: голубой, синий, индиго, сирень, серебро. Поэтому я никогда не мог сказать с уверенностью, что правильно улавливаю физику и химию пространства ее жизни. Скорее всего, большая часть предметов в ее комнатке искажалась в моем сознании,

приобретая вид символов и смыслов, доступных моему пониманию.

Но я знал — там, где она спит, есть окно, которое она не любит завешивать шторой, с интуицией юной колдуньи подставляя свою кожу лунной радиации. Я видел зеркало — труднодоступное, в отличие от окна, то ли загроможденное предметами на антикварном бюро, то ли спрятанное на ночь покрывалом. В изголовье кровати стояло кресло, но расположение мебели так и осталось для меня загадкой. Я видел, как кровать перемещалась, я находил ее то ближе, то дальше, и полагал, что это зависит от длины волн моих мыслей, нежели от реальных обстоятельств.

С интересом и поощрением я обнаружил аквариум с маленькими прелестными рыбками, и спящего, где ни попадя, черного кота с такими же бессовестными глазами, как мои собственные. Иногда я натыкался взглядом на клетку с большим разноцветным попугаем, но мог, спустя несколько дней, найти не ее, а просто красивое изображение птицы на стене. И как только я привыкал к этой мысли — оп! — ворчливое крылатое чудище вновь возвращалось в мои сны. Все было зыбко и изменчиво, кроме героини.

Я бродил по ее отроческому царству, с жадным наслаждением вдыхая и впитывая затерянные в закоулках памяти осколки собственного детства. Я отыскал плюшевого медвежонка, которого она часто брала с собой в постель — этакий верный атрибут маленького счастья. Но почему-то больше всего мне запала в душу картинка, висевшая в простенке между полками ее школьного стеллажа — словно спрятанная вглубь обманчиво безопасного мира учебников и коробок с карандашами.

Обычная цветная репродукция, вырезанная из какого-то журнала, небольшая, узкая, вытянутая в высоту. На ней был изображен уже набивший оскомину библей-

ский сюжет: Ева, принимающая яблоко от змея. Я долго вглядывался в глянец рисунка, проявленный льющимся в окно лунным светом, но не мог понять, что приковывает мой взгляд. Змей был великолепен, отливая червленым золотом. Ева — чересчур юна, ненамного обогнав ту девочку, которая спала за моей спиной. Ствол дерева сиял платиной, а его листва, казалось, шевелилась вместе с ночными тенями сна. Яблоко было отчаянно алым, а волосы героини темно-рыжим венецианским водопадом сплетались с розами и райскими птицами вокруг — и в этом она также была почти копией моей Грезы, быть может, с легкой ретушью яркого солнца. Все было так очевидно, смесь нежности Ренессанса и прерафаэлитского сладострастия. Я не мог вспомнить художника. Скорее всего, один из тех современных бедолаг, чьи яркие картинки, случайно подсмотренные в воскресном журнале, желанны каждому, но утеряны в бесконечном космосе вслед за именем, проскользнувшим сквозь незадачливое сознание. Но впечатление не отпускало меня, пока я не перевел взгляд в сторону.

Я увидел собственный портрет, также позаимствованный в одном из популярных альманахов. Меня ничуть не удивило его наличие на стене ее комнаты: я еще в сентябре догадался, что девочка узнала обо мне из телевизионных передач или прессы. И, что бы там ни говорила Айрис о других временах, сейчас я находил подтверждение своим догадкам. Правда, старая ведьма и тут заставляла меня сомневаться, разъясняя, что мое подсознание могло по собственному усмотрению интерпретировать энергетические сгустки чужой вселенной. Потому я и забросил затем визиты к ней: сколько бы знаний и опыта ни было вбито в ее лохматую голову, она слишком часто старалась опрокинуть мои истинные переживания. Ее слова убивали веру в себя и судьбу и, в конечном итоге, делали меня совершенно несчастным.

Ощущение от наблюдения своего же лица во сне было необычным. Несмотря на мертвую фиксацию живого взгляда, я смотрел в собственные глаза, будто знакомясь с кем-то, неведомым мне. И это происходило не оттого, что вырезка была трехгодичной давности. Тот, что на фото, таил секрет, и я не мог понять: в какой точке временной плоскости нахожусь относительно него. Забыл я эту тайну, или еще не был посвящен?

Присмотревшись к остальным вещам, я понял: девочка была моей соплеменницей. Она интересовалась живописью, астрономией, музыкой. Притихшие свидетели толпились тут же — несколько коробок довольно качественных красок и детских кистей, маленький макет Солнечной системы, книги о Леонардо, Рафаэле, Микеланджело, Вернадском, и даже фортепьяно с брошенными на нем нотами. Я продолжал бродить по тропинкам ее мира, изучая и собирая случайные сокровища.

Так проходили дни. Я отыскивал ее средь миллиардов душ, и возвращался — раз за разом, убеждаясь, что она существует, пусть даже на дне моего подсознания. Ощущения были столь реальными и так вдохновляли меня, что я был готов хранить секрет своего сумасшествия всю оставшуюся жизнь. Тем более, что повседневность, наполненная встречами и обычной суетой, превосходно демонстрировала мое умение справляться с обоими мирами сразу. Тогда я и предположить не мог, что спустя пару лет ситуация полностью выйдет из-под контроля. Сладкая греза станет ядом, вызвавшим привыкание, и подчинит себе всю мою жизнь. Легко любоваться невинной крошкой, изредка позволяя себе мечтать о ее взрослении. Но в моей свихнувшейся душе она росла так же, как любой ребенок по соседству. И этого я совершенно не учел.

Такое иногда случается с изнеженными мальчиками, обладающими божественным даром настройки на выс-

шие вибрации Космоса. Иногда они теряются в мире своих фантазий.

Глава 5

Долгое время я не мог понять, что требуется от меня, дабы установить настоящий контакт с моей Грезой, связав ниточки воедино — как и было задумано Творцом изначально. Пока что путешествия к ней шли по двум дорогам: незаконное вторжение, ею никак не обнаруживаемое, либо ее прямое обращение ко мне, которое я не способен был игнорировать. Но как назначить свидание и (хотя бы!) представиться друг другу?

Впрочем, мое имя она хорошо знала. Наверное, как и множество биографических подробностей, просочившихся в прессу и другие средства массовой информации.

Как-то я впервые подумал об этом и попытался составить свой портрет, чего никогда не делал, даже с помощью излюбленных материалов — красок и кистей. Разумеется, мои характерные черты проскальзывали в масках героев некоторых полотен: нарциссизм — неизбежная слабость всех художников. Мы наделяем свои произведения личным представлением о красоте и гармонии, а оно почти всегда совпадает с нашим отражением в зеркале и Зазеркалье. Но прежде я не ставил задачу написать автопортрет, со вздохом доверяя этот нелегкий труд нервным фотографам и наглым журналистам. И теперь та же болезнь Нарцисса рецидивировала во мне с неожиданной стороны, обернувшись соглядатаем: а что может знать обо мне эта далекая девочка?

Не стоило большого напряжения понять, что ребенок как-то связан с миром искусства. Возможно, она сама — маленькая художница. Или же просто наделена тонкостью восприятия, и вдобавок воспитывается в подходящей среде. Но я допускал и шальную мысль, что наша внезапная связь с ней — ничто иное, как встреча двух на-

стоящих магов, обладающих внутренним знанием сердца о своих половинках и общем будущем. Над этим можно было размышлять бесконечно, но я был слишком практичен. Лучше уж спросить у нее самой, как такое стало возможным. Поэтому следовало беречь силы и уверенным движением направлять их в нужное русло.

Итак, Николас Фламинг, довольно известный английский художник. Молодой художник. Появился на поеденном молью бархатном небосклоне европейской богемы с обманчивой неожиданностью: как водится, капли пота, стекающие по напряженному лбу талантливого трудяги, остались за пределами глянцевых журналов. Скорее всего, она заприметила меня в телевизионных новостях — в тех рубриках, что обычно сладким воздушным кремом венчают черствую и плесневелую действительность планеты, схваченную репортерами. Но что возникло в поле ее зрения сначала: мои картины или смазливая мордашка вдохновленного невероятной удачей юнца?

Информационных поводов для торжества было множество, но все на один лад. Какой-нибудь международный съезд художников, обеспокоенных судьбой сверхнового импрессионизма, или национальная акция в поддержку редкого вида вымирающих бордовых роз. Фундаментом моей легкой удачи стала полнейшая аполитичность того, что я хотел творить. В этом мне подпевал и Джереми, с его страстью к коммерции и точным знанием, что лучше всего продается любовь, цветы, дожди, личные драмы, радуги и вся прочая романтическая дребедень, из которой мы были слеплены. Именно благодаря ей мы стали легальными гостями в любой стране мира: ни экономические кризисы, ни деспотические режимы не могли помешать свежему бризу нашего искусства пересечь государственные границы.

Это было судьбоносным и одновременно изводило своей долготой и широтой. Где прикажете искать нежное

видение? Ее внешность и взгляд, аура и обстановка — все было противоречивым, все перечило друг другу. Я был готов отправиться в гости к трансильванским князьям, или в тайные лаборатории великих держав, потому как ничего более подходящего в голову не приходило.

Но вернемся к моему отражению. Алчность мистера Джойса сделала доброе дело: мы были известны и желанны везде и всюду на европейских просторах, а японский цикл, придуманный им, обеспечил нам приглашение полюбоваться закатом в стране Восходящего Солнца. Джереми удалось почти невозможное: наши улыбчивые рожи продавались не хуже, чем полотна. По всему миру размножались кафе, рестораны, галереи и парковые ландшафты, придуманные нами. Раз уж мы назывались художниками, то раскрашивали все, что попадалось на глаза. Мы в буквальном смысле творили мир своего времени, и за эту воплощенную мечту я всегда буду благодарен ему.

Мои родители? В те дни их личности не афишировались. Жена? Мое Альтер Эго, как я долгое время считал. Весь мир должен был узнать, что она — мой прекрасный Цербер, изящный мутант, в венах которого бежит кассовая лента и пульсируют мегабайты банковских компьютеров. И, конечно же, наша с ней любовь. Моего маленького близнеца, кстати, это нисколько не смущало. «Уж не думает ли она, — забавляясь, предполагал я, — что ее возрастной форы хватит еще не на одну Глэдис в моей жизни?»

Все же, что получалось в результате? Известный, с Луны свалившийся, исповедующий экстравагантный для богемы образ жизни... Я подразумеваю то, что предпочитал семейный уют темным закоулкам притонов, причитающихся бонусом к славе художника. Безнадежно женатый, слабый, наивный, жадный до роскоши. И при всем оглушительном треске звездопада — не раскрытый,

не прорисованный, вымученный эскиз самого себя под яркой личиной, представленной публике.

Она, неизвестная мне отроковица, должна была это почувствовать и понять? То, что оставалось за пределами журнальных страниц: мои неврастенические приступы, отчаянный страх быть по-настоящему узнанным, постоянная смена масок, ужас при мысли о психиатрической клинике, невозможность никому в полной мере объяснить, чем я живу, полнейшее непонимание и неприятие этого мира. Преодолевать последнее я учился долго, но с блеском сдал экзамен, проваленный до того десятки раз.

Вот на этой дрожащей синкопе у меня начиналась легкая паника. Зачем мне это? Она ли это? Кого она видит во мне — благополучного мальчика с сорок шестой страницы альманаха? Или же существо, до спазмов в горле нуждающееся в поддержке — как мало кто на этой планете?

Я не мог выбраться за пределы мира, несмотря на тяжелую связку ключей от других вселенных, висевшую у меня на поясе. Мыслил и разговаривал конструкциями своего настоящего, и не знал ничего иного, рассматривая все проявления жизни, словно дальтоник сквозь призму привычных цветов. Я калькировал нынешние отношения на неизвестное будущее со своей близнецовой душой — хоть это не имело смысла, противоречило самой идее духовной эволюции. И эта ошибка срабатывала, как перевертыш, и я с липким ужасом внезапности проваливался в собственное сердце, у которого оказывалось дырявое дно: если я ищу дополнительной поддержки в мечте, означает ли это, что я не удовлетворен ею в реальности?

Все вскоре встало на свои места. Высшие силы не позволили мне прохлаждаться на тенистой лужайке вечного июля, в теплом студне консервированного ком-

форта — это ведь и есть то, к чему я стремился тогда, да и много после. Увы. Мне и невдомек было, что самая распространенная человеческая мечта о благополучии в собственной вилле на берегу океана, или в уютном доме с камином в преддверии Альп — всего лишь очередная реинкарнация вездесущей танатофилии. Стремление к покою, попытка остановить великую Лилу, вечное движение, сплетенное из двух нитей вселенской ДНК — добра и зла. Мы так хотим наслаждаться, что для этого готовы остановить бег планет.

Меня просто-напросто заставили быть сильным. И произошло это в новогодней духоте побережья Флориды.

Положа руку на сердце, я не хотел в тот вечер идти в бар с друзьями Глэдис. Я не знал ни одного из них, а для моего склада характера это означало, что никто из компании не достоин доверия. Я не из тех парней, что готовы сдружиться с половиной мира после двух кружек пива. Или — как было в этом случае — трех порций виски.

Особенно мне не приглянулся высокий, хорошо сложенный блондин с широкой улыбкой. Вероятно, мы посещали одного и того же стоматолога, но он, в отличие от меня, не постеснялся заказать себе огромные квадратные челюсти, ослепляющие арктической белизной. Глэдис по любому поводу жалась к нему, тоскуя по мужской мощи, которой я никак не мог ей дать. Я тихо ревновал, не умея выплеснуть жгучую энергию в решительное действие. Мне было проще съязвить наутро, вспоминая незадавшийся анекдот героя вечера, или неаккуратно вправленный ремень его брюк, изменивший свою траекторию после похода в уборную.

Это был один из неброских внешне, но элитных придорожных клубов на окраине Майами. Приземистое здание, по южному американскому обычаю подделанное

под неприглядную коробку, изнутри поражало урбанистическим дизайном, дорогим и лаконичным. Черные полосы — везде, повсюду, но неожиданно и с мучительным эффектом недостаточности, глубокий багряный цвет танцпола и гладкие, словно атласные, серые стены. Мне было бы хорошо там, приди я один. Или с Глэдис — чуть уставшей, доверчивой, нуждающейся в моем тепле, знающей наверняка, что эта жесткость, режущая глаз, смягчится янтарным светом нашего дома, горячим грогом и моими не менее жаркими ласками. Где-нибудь в сердцевине настоящей зимы, по которой я уже начинал скучать. Тогда все было бы в меру, и все кстати.

Но это я устал в тот день, а моя жена излучала солнечное веселье, несмотря на то, что назавтра мы улетали в Европу, где лето вознамерилось еще долгие месяцы блуждать в поисках самого себя. Рождество осталось позади, и даже скучная новогодняя ночь уже случилась позавчера. Второе января. Ни одного повода для праздника. Я не мог сосредоточиться на общении: через пять дней назначена встреча с проектировщиками. И пусть сила вдохновения превзошла все мои ожидания — было готово уже тринадцать картин из двадцати — я, разумеется, с трепетом шел к тому моменту, когда решусь обнажить их перед посторонними взглядами.

Напрасно прождав, когда стая обратит внимание на мое скромное молчание, я поднялся и ушел к стойке. Глэдис даже не заметила моего исхода из страны благоденствия, и я занял удобную позицию на крутящемся стуле, напротив молчаливого и красивого бармена, к которому сразу проникся симпатией.

Между нами завязался мысленный разговор, и он с идеальной точностью — до секунды — добавлял красок жизни в мой стакан. Иногда я разворачивался лицом к залу и разглядывал танцующую публику. Парней и девушек было приблизительно поровну, и это создавало удиви-

тельное ощущение постановочного равновесия. Но я чувствовал себя лишним на этом пиру эмоций и плоти — несмотря на присутствие жены за одним из столиков. Мне казалось, я нахожусь на съемочной площадке, и официанты, с гениальной ловкостью слепых лавировавшие на танцполе и между столиками — это помощники главного режиссера, призванные расставлять все по своим местам. Следуя неизбежной логике, я начал всматриваться в полумрак, озаряемый лазером, пытаясь найти управителя действа. Вероятно, он должен был восседать на складном невысоком стульчике — демократичном и неприхотливом, и держать в руках огромный деспотичный рупор. Я подумал, что набросок этого персонажа можно перенести в художественные фантазии, и вернулся к очередной порции виски. Вдруг...

Легкий шелест. Нет, не звук. Шелест тени — громом в сознании. Если вы понимаете, что я имею в виду.

Я резко обернулся к танцполу. И сразу увидел ее. Она нашла меня сама. Натянутая нить дрожала. Магнит в сердечной чакре звенел. Мое тело мгновенно наполнилось сияющей пульсацией и тут же свернуло ее в крохотный бутон в грудине: иначе я бы не вынес этого физического испытания. Так, просто вступление, фанфары, светопреставление, квантовый переход, и сразу же — новая реальность. Чуть более богатая, чем прежняя, но вполне поддающаяся определению.

Девочка стояла среди танцующих, но ни один из них не бросал даже тени на светлое пятно ее силуэта. Я впервые смог разглядеть ее столь явно, и во многом благодаря тому, что она наконец-то смотрела мне прямо в глаза. Ее взгляд вмещал в себя такое количество эмоций, что напоминал море, едва сдерживаемое штилем. Детская безмятежность граничила с растерянностью, чуть ниже — темные искорки страха и жалобы, и в самой глубине — яростная борьба. Она была в длинной ночной рубашон-

ке, босиком, а на щеках разыгрывалась драма между бледностью и лихорадочным румянцем.

— Николас, — сказала она мне, — я, кажется, умираю...

В моей голове не сразу уложилось услышанное, и я просто продолжал оторопело смотреть на нее, примешивая к своему настроению улыбку — мне показалось, она просто необходима, чтобы девочка не утратила контакт со мной. Когда же до меня наконец дошло, я удивился, какой спокойной была моя реакция. Я словно знал наперед, что такого не может случиться: судьба не сыграет со мной столь злую шутку, нет... Наверное, в этом ракурсе вся ситуация теряла смысл. Больше! — она по своей бессмысленности превосходила саму жизнь! И поэтому — решил я тут же для себя — если она стоит передо мной, значит, я могу все исправить.

Это ведь был сон. Видение безумца. Я могу с уверенностью сказать, что никак не влиял на происходящее. Это можно было назвать осознанным сновидением — но лишь по тем признакам, которые позволяли мне беспрепятственно находиться внутри него, как обычно делают люди в повседневной реальности. Но я не управлял сном! Я не мог перекрасить в нем стены, заставить зазеленеть небо, пролить дождь и мановением волшебной палочки взрастить свою Грезу до возраста невесты.

Но вернемся к ней поскорее. Мне и по сей день страшно надолго оставлять ее там, в своем сновидческом воспоминании — вспоминании. Ведь в нем дорога каждая секунда.

— Что я могу сделать? — спросил я немедля, хотя в моей голове пронеслись тысячелетия, а в душе излились океаны эмоций.

— Я заболела. Он говорит, что я останусь, если найдется тот, кто этого действительно захочет.

— Кто это — он?

Девочка развернулась и показала в пространство позади себя. Ее движение и впрямь напоминало потустороннюю мистерию: жест напряженно вытянутой руки таил в себе скрытую горечь обвинения.

— Он.

Она будто вспорола космос проявленной реальности, и сквозь весь зал от ее указательного пальца протянулась дорожка, озаренная сияющей темнотой. Образовался тоннель, в конце которого я увидел высокую сильную фигуру ангела, стоящего к нам в профиль. Его длинные руки были опущены и сцеплены перед собой, голова чуть наклонена, крылья сложены. Я впитал в себя каждую складку его серых ниспадающих одежд, напоминавших рясу обычного католического монаха. Я не видел его лица целиком, но осознал, насколько оно тонко и сурово одновременно. Также странно было и то, что я хорошо рассмотрел все детали его облика — хотя, если бы это происходило *на самом деле*, он находился бы в двухстах метрах от меня. Разумеется, я не видел его глаз — ведь это был ангел смерти. Но знал наверняка, что они пронзительного, ледяного голубого цвета.

Моя будущая возлюбленная тем временем продолжила, повернувшись ко мне:

— У меня есть только мама и бабушка. Сначала я пошла к бабушке. Я посмотрела в ее сердце: оно наполнено любовью ко мне. Но она слишком много видела в жизни. Она чересчур мудрая. Она видела, как умирают дети. И она знает, что смерть детей — это не конец жизни. И хоть она любит меня, но не смогла мне помочь.

— Потом я пришла к маме. В ее сердце тоже много любви. Но она боится меня. Она не уверена, что правильно сделала, родив меня. Она смотрит на меня и недоумевает — я так не похожа на нее.

— У них не хватает сил. Их сердца закрыты. И тогда я вспомнила о тебе. Ты поможешь мне, Николас? Я не хочу

уходить, я почти ничего не узнала.

— Конечно! — я буквально взлетел со стула и схватил ее за руки. — Я помогу. Я хочу, чтобы ты осталась.

— Я нужна тебе? — с надеждой спросила она.

— Как сама жизнь, — улыбнулся я.

Она высвободила одну ручку и обратилась к ангелу, крепко держа меня второй.

— Он сказал, что я нужна ему.

Ангел медленно развернулся к нам спиной и я кожей услышал его голос, мелодичный, мощный, такой же холодный, как его глаза, и одновременно наполненный любовью Вечности:

— Ты остаешься.

Когда он скрылся в сиянии на другом конце тоннеля, я сжал девочку за плечи и впился взглядом в ее усталое лицо.

— Как тебя зовут, малышка?

— Ева, — ответила она и, слабо улыбнувшись, закрыла глаза и стала оседать в моих руках.

...

— Пойдем отсюда, — попросил я Глэдис, на подгибающихся ногах добравшись до столика. Она попыталась возразить, представив в качестве аргумента едва зачинавшуюся ночь и ту же стаю новых знакомых. Но я, обессиленный собственной мощью, влитой в меня и перекачанной на другой край света — отчего я чувствовал себя трубкой-проводником, соединившей Донора и Жертву — настоял на своем, как никогда раньше. «Пойдем... сейчас же», — процедил я сквозь зубы, с внутренним недоверием убеждая себя, что смогу повести машину. Жена изумленно взглянула на меня, и я вышел из бара, оставив ее расплачиваться по моральным счетам за свои легкомысленные обещания алчной публике.

Все это и впрямь начинало мне надоедать. Я с тоской думал о том, как хорошо было бы очутиться сейчас в лон-

донской студии. Со временем я приобрел не только деньги, но и жалкие капли житейской мудрости. И, несмотря на свидетельство о браке, завел настоящее холостяцкое гнездышко — пусть официально объявленное супруге и недоступное для нечистых помыслов неженатых друзей и многочисленных поклонниц, желающих пройти ускоренный курс живописи, но все же с идеальной точностью подогнанное только под мой душевный камертон. Я мог там работать и уединяться, когда вздумается. В конце концов, уже пять лет прошло с того дня, как мы произнесли клятвы о болезни и здравии. Глэдис по-прежнему искала источники праны во внешнем мире, наивно предполагая, что ее чистота и количество зависят от удачно построенных связей и толково вложенных денег. Я же все больше обращался внутрь себя. Нет, я не отказывался от нее — напротив, потратил немало сил, утягивая ее за руку через потайные дверцы своего «Я». Но она все время оглядывалась, а затем начала и артачиться. Может, это и была та развилка, которую нарисовала в своем жестоком пейзаже Айрис?

— Да что с тобой? — довольно резко спросила она, когда я все-таки решился нажать на педаль газа.

— Ничего, — я постарался быть лаконичным не только в словах, но и в интонации голоса, памятуя о том, чем обернулась моя искренность в прошлые разы.

— Думаешь, я тебе поверю? Хотя бы скажи, что со здоровьем все в порядке, Ники.

В этой простой фразе сконцентрировалось слишком много всего. И это действительно были отношения между супругами. Почему-то в последнее время я стал обращать внимание не только на сказочную пыльцу, дрожавшую в воздухе между нами. Вдруг обнаружилось множество мелочей — въедливых, как муравьи, колючих, как хвоинки, попавшие под одежду во время пикника в лесу. И все они, как на подбор, ничем не отличались от таких же до-

садных недоразумений в других парах. Тех, про которые мы, понизив голос и удалившись на приличное расстояние, всегда говорили: «У нас будет иначе. Мы этого не допустим».

И вот теперь:

Она мне все равно не поверит — раз.

Я действительно лгу — два.

Все это потому, что она не сможет принять истину, записанную в моей душе — три.

Это крушит и ломает иллюзию единства душ — вывод из триады.

И... она беспокоится лишь о моем здоровье. Это, пожалуй, самое важное, а разноцветье внутреннего мира можно и проигнорировать. Житейская мудрость, призванная скрепить семейные узы. Физическое возобладало над эфирным. Значит, мы уже столкнулись нос к носу с реальностью и поняли, почем фунт лиха. Интересно, когда это произошло?

— Да, здоровье в порядке.

Я помолчал. Надо было как-то объяснить внезапную смену настроения.

— Но мне надоел такой образ жизни, Глэдис. Я все чаще ловлю себя на мысли, что работа сама по себе, творчество для меня куда важнее результата, воплощенного в презентации и прочих триумфах. Мои кисти не поспевают за твоим органайзером. Я хочу запереться в студии и писать. Не представляю, как мне может помочь в этом тот блондин, который сегодня весь вечер мерзко подмигивал тебе.

— Но ты же не хочешь, чтобы твои холсты были зачехлены и не увидели света?

— А что-нибудь промежуточное тебе в голову не приходит? — рассердился я. — Так называемая «золотая середина», не слышала о ней? Мне не требуется присутствие на выставке «сливок» местной олигархии,

способной скупить все мои детища. Достаточно того, чтобы люди их увидели. В конце концов, я скучаю по некоторым проданным полотнам, ты не знала? Надоело работать на прибыль. Я бы предпочел инвентарный номер какого-нибудь хорошего музея. Каким образом я оказался в числе пионеров, превративших искусство в межсезонную ярмарку? Сколько лет подряд я становился одним из самых «продаваемых художников Европы»? Когда я вижу эти слова в журналах, то вздрагиваю: не могу сходу уловить разницу между «продаваемым» и «продажным».

Глэдис пожала плечами. Внутренним чутьем я уже знал, что она скажет, и это была не простая человеческая интуиция. Пожалуй, и с ней мне стоило чаще проявлять свои неординарные способности. Не только публике и общим знакомым, но и ей было удобно воспринимать мой образ преломленным сквозь призму собственных ожиданий. Но что будет с нами, если она узнает, что я не так уж и прост? И, несмотря на видимую нелепость и слабость, приспосабливаюсь не вследствие недостатков — а ради того, чтобы дождаться лучшего, не уничтожив себя?

— Мне кажется, ты потом пожалеешь, что снизил темп.

Разумеется, именно этой фразы я и ожидал. Более того, шел и дальше: я знал, что действительно пожалею. Пройдет всего несколько лет, и неудобоваримость моих новых замыслов станет для публики очевидной. Я осмелюсь говорить о себе и о собственной любви — и она окажется столь необычной, что не сможет отразиться в большинстве зеркал мира. Но это будет позже, и затем я превращусь в очередную марионетку, испугавшуюся отторжения и одиночества, и добровольно вдевшую руки и ноги в петли веревок.

Мы больше не разговаривали, но не считали произо-

шедшее конфликтом. И это тоже было житейской мудростью, не правда ли? Никто не повышал голос, не допытывался, вскрывая скальпелем нетерпимости душу другого, дабы отыскать в ней истину. Мы просто замолчали и *умолчали* о произошедшем, хоть оно выходило за рамки привычной схемы отношений. Для меня диагноз был очевиден: в ее сердце поселился страх, оторопь при виде темной потайной дверцы, уже упоминавшейся мной. Она отдергивала руку, едва протянув ее к ней, потому что не знала: понравится ли ей то, что она там обнаружит?

Именно в те месяцы, летевшие со скоростью зверя, почуявшего добычу, нам следовало остановиться и, набрав побольше воздуха в грудь, посмотреть друг другу в глаза. Я ведь любил ее тогда — как и прежде. Быть может, с горечью осознания нашей очеловеченности и земной природы, но любил. Не знаю, как возможен такой сплав ощущений и отношений: именно в тот момент, когда моя судьба навсегда приковалась к астральным отсветам реальности, я, как никогда раньше, понял, что хожу по земле.

Возможно, убежденность в необходимости сохранить прочную связь с Глэдис, была следствием психологического блока на том месте, где необходимо было признаться себе: я готовлюсь к будущему. Я не отдавал отчета в том, насколько непреодолимо во мне стремление к воплощению мечты, жестоко данной с младенчества — как врожденный порок сердца. И потому с такой остервенелостью набрасывался на то, что было у меня в руках, призывая жену к спокойствию, мудрости, терпению, стараясь не замечать очевидных симптомов именно моей болезни: количество претензий, высказываемых мной Глэдис, возрастало почти с каждым днем.

Сначала она перестала спрашивать, в чем дело. Затем стала проводить много времени вдали от меня. Иногда я

замечал следы слез на ее лице. Потом начались настоящие бури, и она кидала мне в лицо жестокие обвинения, правду которых я не хотел принимать. Она была честна — до конца. Она боролась за наши отношения, а не ту философскую концепцию взаимной эволюции, которую я пытался ей подсунуть. И я говорил в ответ, что разрушает наш мир именно она, а не я. Как будто в ее, а не моем сердце появился тлеющий уголек потусторонней привязанности.

У меня началось настоящее раздвоение личности — с тем отличием от патологического диагноза, что я все-таки мог контролировать течение жизни. Я был предельно честен и искренен в королевстве своих снов, и все больше запутывался во лжи в повседневности. Впрочем, впереди еще множество увлекательных рассказов о том, как я лгал и в мире духов. Я ведь боялся потерять свою Грезу и, однажды уверовав в ее человеческое происхождение, стал опутывать ее сетью заклинаний и обычных мужских уловок, в чем мне изрядно помогало и знание магии, и умение манипулировать женской душой.

...Спустя несколько дней завершилось подписание контракта с организаторами выставки. Полотна имели успех у тонко чувствующих дельцов, и они предложили продублировать выставку в Кельне, мотивируя это явным готическим запашком моих задумок и неоднозначностью образа героини.

Должен пояснить, что в творчестве я решился все же несколько исказить и утрировать эмоциональную и чувственную сторону своей непростой ситуации. А как иначе прикажете отобразить истину? Нигде — ни в музыке, ни в литературе, ни у своих коллег по цеху — я не находил ничего подобного. Кто-то говорил о силе осознанных сновидений, другие предполагали любовные сюжеты в астральных путешествиях, третьи писали о злобной судьбе, соединившей на одном пути влюбленных, кото-

рым, по причине разницы в возрасте, не следовало такими быть. Но никто не давал рецепта, как сварить все это в одном котле с волшебным зельем! Как передать эту нечеловеческую нежность и чистоту? Все, что я позволял себе — вести ее по дороге жизни, крепко держа за руку, не позволяя выскользнуть, запрещая оглядываться на искушения, порой принимавшие облик безобидной детской игрушки, уговаривая, внушая единственную мысль: не потеряйся, прошу тебя! Не сбейся со своего пути! Твои дороги должны привести тебя ко мне, и только ко мне. Иди вслед за своей звездой.

Британцы, в общем-то, довольно скандальная нация, несмотря на чопорность. И пусть они высказывали недоумение на страницах остроязыких изданий, им пришлась по нраву идея выплеснуть свое прокисшее ханжество и увидеть порок там, где не было ни одного его семени. В Германии все прошло спокойнее: привыкшие к эпатажу бюргеры просто оставили мне свои заказы.

Мне стало гораздо проще работать со второй частью цикла, поскольку я узнал ее удивительное имя, наделенное гениальной способностью вписываться в любой сюжет и принимать какие угодно очертания. Ева, что значит — жизнь, и она струится во всем. Я задал целое направление в современной живописи, подсказав возможность оживления старых сказок и кельтского фольклора. Но паршивая карма смогла вынести мой подарок лишь на гребень волн фантазии и анимационного искусства. Мир ринулся рисовать эльфов и нимф, вплетенных в стволы и ветви деревьев, лики существ, притаившихся на дне ручья, ангелов, потерявших свой цвет и ночующих на крышах. В моих картинах это выглядело как наследие мастеров и иллюстрации лучших поэтов. Но размножились мои идеи в основном в молодежных и подростковых стилях. А когда на планету набросили сеть компьютерных технологий, я уже не смог сосчитать своих потомков,

бесконечно почкующихся в конвейере картинок на сайтах со всякой романтической дребеденью, граничащей с дрянью.

...Когда все было улажено, я смог расслабиться — и посмотрите же, какой дар поджидал меня! Глэдис упорхнула на очередной пляж по ту сторону света, а я торжествовал и радовался среди январской депрессии своих сограждан, мудро пряча счастливую улыбку от их завистливых взоров. Теперь я уединился и практиковался в заклинаниях и заговорах, шепча узнанное имя и нащупывая нити разноцветного света внутри сознания, терявшего границы. Бескрайние волны энергии вливались в меня и смешивались с мыслеформами, и уже невозможно было отделить одно от другого. Конечно же, я не претендовал на авторство образов, оставляя все права за Богом.

«Ева, Ева, Ева...» — звал я ее, и осторожно ступал по незнакомой мне местности. Это был дальний путь, но я проходил его за считанные минуты. Главным условием было — не потерять нить, которую я держал в руках.

Почему-то я не страшился того, что болезнь отнимет ее у меня, поверив в договор, заключенный между нами и ангелом. Порой я удивлялся: неужели за этого ребенка некому было помолиться? Но потом находил ответ. Конечно, родные любили ее и заботились о ней, но темная пропасть человеческих страхов и не осознаваемого эгоизма не позволяла им по-настоящему распахнуть сердца. Как сказал один философ: любящие родители — скорее, исключение из правил. И эту горькую истину способны признать немногие.

Мы опутаны собственными заблуждениями, болью и неудовлетворенностью, и большинство из нас производят потомство в надежде, что оно станет бальзамом для наших ран. Мы предрекаем детям их будущее, наполненное только одним — признанием божеств в нас самих, за-

ботой о нас, гнетущим чувством долга. И называем это родительской любовью. Мы беспокоимся каждый раз, когда ребенок сбивается с пути, предначертанного *нами*, чтобы идти своим — и называем это его ошибкой. Мы так не уверены в своей правоте, да и в самом праве на существование, что деспотично вынуждаем потомков доказать нам это. Как это сделать? Повторить нас самих, наши ошибки и заблуждения. Следовать нашим советам, перенять наше видение мира. Вот тогда мы успокаиваемся и наполняемся призрачной любовью и благодарностью. Да, спасибо. Теперь я знаю, что был прав, поскольку породил человека, который действует и мыслит так же.

Итак, несмотря на обычную заботу близких, моя девочка была невероятно одинока. Позже, поставленный судьбой перед необходимостью постижения законов мироздания, которые ранее от меня ускользали, я понял это правило, основанное на принципе сохранения энергии — хотя здесь он предстал в перевернутом виде. Для того, чтобы вместить новое, необходима определенная пустота. И чем больше то, что снизойдет, тем от большего придется отказаться.

В силу ряда обстоятельств, сплетенных из кармических настроек, воли Бога, характера ее клана, судеб родителей, она не могла быть единой с тем миром, сообществом, местностью, людьми, в плен к которым попала. Как и я, она чувствовала себя инопланетянкой, пришельцем из других царств. Воплощенной энергетической сущностью. Как и я, она несла в себе память о Доме и истинной Любви, и страдала от человеческого бытия, заставляющего лгать и называть вещи не своими именами. Она не могла принять людей, и не была принята ими. Невозможное, но состоявшееся одиночество. Только отчаяние такой мощи способно достучаться, дозваться другого существа, отделенного от нее тысячами миль.

И вот, январская ночь того далекого года... Какое это было время? Я бы хотел утаить от посторонних взоров точную хронологию событий.

Рубеж эпохи, пусть и не календарной. Последний год десятилетия, наполненного романтикой — сияющей, но не светлой. Выполненной в тонах индиго, ночной, звездной, нарочитой в своих фейерверках. Глубокий синий, пронзенный хвостами комет. В этом действительно много грусти. Сейчас, окидывая ностальгическим взором прошлое, я понимаю, что будущее почти не состоялось, превратившись во второсортный фарс. Лучше тот предрождественский лед, чем комья иссушенной земли. Возможно, я просто превращаюсь в старика, уверяющего новые поколения, что раньше и запах пломбира звенел тончайшей ванилью в сто крат сильнее.

Я добрался до нее. Пространство скомкалось под моими настойчивыми пальцами. Я провалился в другой мир, словно в кроличью нору. Ее реальность бархатно пружинила, не позволяя мне разбиться. Но эфир уплотнился настолько, что я почувствовал — первым делом — чуть липкую прохладу металлической дуги кроватной спинки, сразу же увлажнившуюся под моей взволнованной ладонью.

И далее — странный аромат, до сих пор легко воспроизводимый памятью. Горячий, сухой воздух с отчетливым запахом нагретой извести, а за спиной — подвижная холодная пустота от огромного оконного провала с никчемными белыми занавесками, закрывающими лишь нижнюю половину стекол. Госпиталь в чужой стране, заснеженной, омытой лунным светом. Кажется, я кожей чуял едва уловимое бряцанье уличного фонаря на ветру. Глазами не своей, а *ее* памяти увидал кирпичную кладку приземистого здания и снежную штриховку расчищенной в сугробе дорожки. Все ночное, то застывающее, то вздрагивающее и взметающееся поземкой от коротких,

грубых порывов холодного ветра.

Моя девочка лежала прямо передо мной, на убогой железной койке, застеленной казенным бельем, носившим сероватый оттенок даже в темноте, обычно облагораживающей все недостатки реальности. Я могу лишь надеяться, что эта полунищенская непритязательность была обманчивой на вид, и ей было тепло под тем одеялом — таким тонким, что оно, казалось, не скрывало рельефа легкого детского шрама на ее коленке. Ее веки были прикрыты, но она не спала. Я слышал ее мысли обо мне, и собственное имя, дрожащее на воспаленных губах. Я жадно смотрел на ее лицо, стараясь вобрать в себя все его оттенки и светотени. Странная, удивительная красота, и... она внезапно открыла глаза.

Испугалась и резко села в кровати, поджав колени к подбородку. Забилась в дальний угол и смотрела оттуда на меня, не в силах вымолвить ни слова. Рот плотно сжат, большие глаза неотрывно следят за пульсацией каждой клетки моего тела. Диковинное существо, с трудом поддающееся определению. Она вызывала воспоминания о наскальных рисунках и критских легендах, прочитанных в детстве. Она была сине-черной мозаикой, увиденной в араратских храмах. В блеске глаз мелькало что-то невнятно бесовское, и тут же тонуло в ангельской чистоте. В бледной смуглости кожи бликовало обещание исступленных танцев запрещенных культов. Линии тела, напротив, вызывали смешанное ощущение всеобщей покорности, сменяемой внезапной резкостью. И — волосы, заплетенные в две косы, спадающие на тонкие отроческие плечи, прикрытые лямками легкой пижамы. Мое отражение в еще несостоявшемся женском теле.

Я осторожно сделал шаг вперед и протянул руку, молчаливым жестом умоляя не бояться, но тут же почувствовал, как ее ребра замерли на глубоком вдохе и дыхание остановилось. Она и тянулась ко мне, и страшилась про-

исходящего. Спустя секунду уткнулась лицом в колени, и я услышал ее плач. Спазмы скрутили и мое горло, я ощутил горячую волну сострадания, но понял — каким бы горьким не было это признание — что мне лучше уйти, и отозвал себя обратно.

...У меня было достаточно времени на размышления и, как бы ни был велик соблазн, я дал себе твердое слово, что не появлюсь в ее мире раньше, чем через семь дней. Девочка должна была привыкнуть к мысли о происходящих переменах и найти нужное объяснение им. Я надеялся, что детский разум, еще не потерявший способность открывать дверь в сказку, верно озаглавит нашу зачинавшуюся историю. Она ведь ждала меня, и ее испуг был вызван лишь неожиданностью моего появления. Возможно, обладая большой магической силой, она уже научилась слышать биение моего сердца так же, как я это делал, и вот теперь я превратился в осязаемое видение. Что ж... Как бы ни называлось это на языке христиан, я был движим любовью. Почему бы нам не поиграть в Питера Пэна и Вэнди, малышка?

Всю неделю я чувствовал ее ожидание и слышал шепот, призывающий меня вернуться, но, стиснув зубы, терпел. Пожалуй, впервые в жизни я поставил перед собой запрет, дал обещание, не обеспеченное ничем, и сдержал его — перед самим собой. Хотя и здесь моя духовная эволюция, проявившаяся в столь простом поступке, может быть легко объяснима эгоизмом. Забегая вперед, скажу, что отныне я каждый свой шаг подвергал жесточайшей критике, отметая горделивые подозрения в альтруистической любви. Вскоре я позабыл беспечного Николаса, оправдывавшего все свои ошибки и жестокости. Я будто каждый день сдавал экзамен на право быть ангелом-хранителем.

Так вот. Столь долгий перерыв после удачной попытки контакта был вызван моим расчетом: девочка должна

была преисполниться сожаления о своем страхе, с нетерпением ждать меня вновь и суметь побороть непростые эмоции, когда я появлюсь. Один я не могу справиться: эфир не столь легок, как иные предполагают.

В следующий раз магнитные стрелки привели меня туда же. Та же больничная палата, та же зима, тот же фонарь за окном, отбрасывающий большое пятно лимонного цвета на пол комнаты. И в эпицентре этого свечения появился я.

Она не спала. Точнее, так: она бодрствовала внутри нашего общего сновидения, чудесно сотканного на станке судьбы из нитей переплетенных грез. Конечно, испугалась — но не так, как в прошлый раз. Вцепившись пальчиками в одеяло, напряженно ждала, пока я завершу свое вкрадчивое кошачье дефиле, подбираясь все ближе и ближе. Наши взгляды не отпускали друг друга, и я пытался выровнять ее дыхание — своим. А потом присел на корточки рядом с ее постелью и сказал: «Привет, Ева».

— Привет, — пролепетала она.

Так и началась моя самая большая любовь, давшая соки и цвет всей моей жизни, украсившая полотнами множество европейских галерей, проиллюстрировавшая десятки книг. Любовь, о которой я молчал столько лет, да и сейчас не уверен, что даже на пороге новых открытий квантовой физики, человечество готово принять ее без своих излюбленных экивоков в сторону притихшего сада у дома скорби.

Глава 6

Вы ведь не подумали, что я собираюсь рассказывать вам сагу о своих любовных похождениях в запредельных мирах — день за днем, признание за признанием? Есть несколько ярких пятен, без которых картина будет незавершенной, и я обязательно стряхну их с кончика кисти. Но тема определяет манеру исполнения, и я оставлю все в тонах импрессионизма — а он лояльно относится к намекам, расплывчатым очертаниям, взрыву красок без прорисовывания деталей.

Первым делом я разобрался с ее местонахождением на земном шаре. Увы, мой талант сновидца не подарил обозначений более точных, чем государственные границы, очерченные азбукой Морзе. Да, я узнал название страны — но она была столь велика и вероломна, а моя память так изменчива, что, проснувшись, я не мог вспомнить конкретную долготу и широту маленькой светящейся точки, звенящей, вибрирующей, издававшей ароматное радужное тепло.

Затем передо мной развернулась и карта ее жизни. Ей было почти двенадцать, когда мы повстречались. Она была похожа на меня больше, чем мои сестры. Наши души почти во всех переливах составляли удивительное гармоничное целое. Она была маленькой волшебницей и умела управлять снами. На этом сходство заканчивалось и начинались различия.

У меня были огромные счета в банках и социальная защищенность — у нее ни того, ни другого. Я имел несколько особняков в разных странах мира — она жила со своей семьей в небольшом доме, продуваемом встречными ветрами. Я повидал весь мир — она всего три раза выезжала за пределы своего маленького городка. И еще

великое, болезненное множество несоответствий, которые я так хотел выправить, выровнять и уничтожить.

Она трижды обращалась ко мне за помощью, прежде чем мы протянули друг другу руки, и я не мог забыть жестоких поводов, приведших ее ко мне. Я проводил время, придумывая самые невероятные способы защитить ее. Болезни, угрозы, исходящие от человечьего племени, ложь и предательства взрослых, обязанных обеспечить ее безопасность... Меня угнетала эта разница миров, невозможность укрыть ее от бед, валившихся на нее в той неблагополучной среде. И — самое ужасное — она была создана из той же нежной ткани, что и я, и была вынуждена выживать там, где это почти невозможно сделать. Если я порой не выносил своей реальности, ощущая ее колючки содранной кожей, сгибаясь под житейской бесчеловечностью близких — то как существовала она?

Я уже осознал, что судьба рано или поздно приведет меня к ней в проявленной матрице. Значит, именно моей задачей было доставить ее к себе же в целости и сохранности. Наверняка можно было использовать ту особую связь, которая установилась между нами: не просто наслаждаться прекрасными снами и параллельной вселенной, а начать выкладывать ее дорожку ко мне прочным, надежным камнем.

К сожалению, с тех пор, как мы представились друг другу, поводы для моего сострадания не исчезли. И, когда я в очередной раз застал ее в слезах, то решил немедленно взяться за дело. Я не хочу вновь вспоминать свою боль и погружаться в омут страха, охватившего меня тогда — хватает и других переживаний, связанных с подросшей, но такой же неугомонной Евочкой. Скажу лишь, что большей частью они были связаны с самой фактурой и окрасом ее личности.

Она обладала чересчур сильным обаянием — эльфийским, чуть лукавым и опасным, переменчивым,

с неясным вкусом и ароматом, словно у тропического фрукта, который может оказаться и полезным лакомством, и ядовитой приманкой. Ее привлекательность была явно обозначена уже к столь юному возрасту, и затем лишь трансформировалась и развивалась, но не теряла своей насыщенности. При этом она не была и не сулила стать похожей на растиражированные образы голливудских див. Не знаю, каков точный рецепт, волшебная формула алхимии — возможно это идеальность пропорций, плавность и закругленность сочленений, бархатность кожи. И более всего — лицо, наполненное глубиной эмоциональных переживаний. В ней не было ничего от херувимов и ангелочков в обыденном, очеловеченном представлении. Она была соткана из *прелести*, которой я не смог избежать. Наверное, потому что в ней было так много обещания будущей любви.

Мне не уйти от этого описания, каким бы подчеркнуто пристальным вниманием оно ни было наполнено — ведь это та, *ее* половина ингредиентов, смешанных в кубке с магическим экстрактом нашего общего повествования. Такие дети обычно становятся приманкой для местных сумасшедших, вселенских маньяков, бродячих художников и прочей нечисти, способной отважиться и дотронуться (вероятно, я и сам из них). Обычные люди сторонятся их, недоуменно разглядывая, а иногда проявляют свое отношение, закидывая камнями, связывая и бросая в ямы — в наших снах она рассказывала мне, как это вытворяли ее сверстники, взрослые же с ухмылкой проходили мимо.

Я всего лишь держал ее на привязи в зыбком и изменчивом пространстве сновидений — разве этого было достаточно для моего спокойствия? И каково мне было понимать, что она может случайно выскользнуть не только оттуда, но из физической жизни тоже?

Опасности подстерегали ее на каждом шагу. Это поражало меня: ее судьба разворачивалась в среде, которая считалась в той стране пусть не абсолютно комфортной и благополучной, но — приемлемой. Ее семья отличалась порядочностью и вызывала уважение у других. Набор отроческих развлечений был изыскан и достоин отпрыска аристократического рода. Но то, что содержалось в ней самой — ядерный заряд энергии, тот же пряный запах, что некогда сделал и меня почти изгоем в детской среде — не давало покоя окружающим, вызывая в них естественный страх перед существом, более продвинувшимся по лестнице эволюции.

Разумеется, в поисках помощи я обратился к той единственной, которая хоть что-то соображала в космической розе ветров.

— Айрис, — сказал я своей беспокойной знакомой. — Как переломить ход событий? Как исправить ее судьбу?

И, сжалившись надо мной, она дала подсказку. Впрочем, об этом я вряд ли когда-нибудь расскажу. Есть знания, которые лучше запирать в заколдованных башнях, под стальными засовами, поставив надежный отряд для охраны. Может быть, это и называется «контракт с дьяволом», если использовать угрожающе алые чернила христианских писцов? Да, я навеки связал себя обязательствами с потусторонним миром, и мою жизнь облегчает лишь надежда на то, что мы все-таки будем вместе. Иначе зачем все это нужно было?

Не надо думать, что Айрис использовала исключительно шаманские методы, насыщенные запахом сушеных трав, измельченных крокодильих зубов, летучих мышей и прочей магической белибердой. Это была вполне осовремененная ведьма, внимательно изучившая теории Эйнштейна и его собратьев, законы квантовой физики и философию сионских мудрецов. Но, для простоты действий, сопрягавшая их с известными ей древними обря-

дами. Сразу хочу оговорить некоторые неоднозначные моменты: никаким демонам я когтистые лапы не жал, никого черного и крылатого не видел, порошки в котел с зельем не подсыпал. Всего лишь состояние измененного сознания, перенесенное в сновидение — там оно, конечно, приняло более художественный окрас, но также без инфернальных сущностей. Но я теперь понимал механизмы взаимодействия с этими своенравными сгустками энергий, и мне можно было не объяснять, что их невозможно обмануть внешним поведением: они реагируют на сердце.

На самом деле, это была одна из пиковых точек нашей истории, и пришлась она уже на третий месяц общения в стране грез. Для меня это переживание оказалось почти непосильным — никогда раньше мне не приходилось так далеко уходить в мир магии. Как и обещал, я утаю штриховку и вкусовые нюансы свершившегося, но все же брошу несколько лучей света, дабы немного рассеять тьму.

...Придя домой после того разговора с Айрис, я первым делом отправился к бару. Вслепую выхватил бутыль, это оказалось виски, плеснул себе целый стакан и выпил двумя глотками. Подумал и налил еще один. Цедя его, выдвинул верхний ящик секретера и выковырял из его дальнего угла тонкую самодельную сигаретку с марихуаной. Пошел в спальню, сел на кровать — но вообще-то, хотелось забиться в темную пустоту под ней. Допил виски и откинулся с сигаретой на подушки. Вспомнил, что оставил пепельницу на террасе, но решил, что пригодится и пустой стакан.

В голове не укладывалось то, что она предлагала. Какое-то время я думал, что ясновидящая просто издевается надо мной. Я бегал кругами по ее комнатушке, размахивал руками и клял ее, на чем свет стоит. Когда она изложила мне все, что придумала, вдохновленная

моей новой любовью и порожденными ею страхами (тут уместно вспомнить, что и она бывала обычной женщиной, умеющей расслабляться с помощью дамских романов), я совсем потерял голову от ярости. И просто взлетел с кресла, в момент оказавшись рядом со старой ведьмой. Моя отчаянная злость, наверное, была сродни той, что испытывали жертвы концлагеря по отношению к своим мучителям, осознавая последний момент жизни. Или я идеализирую этих узников? По крайней мере, я чувствовал себя именно заключенным в некой чудовищной и причудливой тюрьме, в которой оказался на пути к любви. Я готов был задушить своего гида по мраку, и в последний момент невероятным усилием воли остановил скрюченные агрессией пальцы в нескольких сантиметрах у ее шеи. Она лишь холодно посмотрела на меня.

— Ты можешь сколько угодно убивать собственный мозг предрассудками и ничтожеством. Можешь рискнуть всем и отказаться от всего, только ради сохранения чувства собственной чистоты и правильности. Ты не новичок в наших делах, и мне казалось, ты хорошо понимаешь, что такое Природа и энергия. Ты знал об этих способах, слышал о них и допускал их в сердце — пока они не коснулись твоей жизни. Ты лжив и труслив, и я в последний раз говорю тебе: либо ты принимаешь мою помощь, либо убираешься отсюда и больше никогда не приходишь.

Мне было уже настолько плохо от всей ситуации, что я впал в тихую панику, и все вокруг — от темных стен и обитого деревом потолка этой комнаты, до абрисов мебели в ее углах, от поблескивающих в сумерках белков глаз Айрис, до звуков полицейских сирен на улице — приобретало с каждой секундой все более зловещие очертания, пророча ужас и неизбежность.

— Я тебе уже сказала: что будет, если не помочь —

не знаю. Но для того, чтобы поставить защиту, нужны большие силы, отчаянные, дерзкие духи. А такие на простые заклинания не слетятся. Им нужен вкусный корм, выплеск энергии, настоящая жертва. В конце концов, если бы не ее проблемы — когда бы ты еще узнал о ней?

Айрис была жестока. Но правдива. И я сдался. После того, как я держал ее маленькие ручки в своих ладонях, обнимал ее плечики — я мог отпустить все на волю Бога? А если это и не Его воля вовсе? Если Его воля проявляется сейчас, и Он пристально смотрит на меня, испытывая на прочность, измеряя мою отвагу и решимость?

Стиснув зубы, наблюдать, как она мечется по жизни, отбрасывая, отвергая или смиряясь — не с тем, что было суждено изначально? Никогда не сделать ее своей по-настоящему? Не искать, не просить? А зачем тогда все это было? Зачем тогда жизнь — вообще? Бессмысленный танец, лишенный огня и истинной любви. Радужный горизонт моей сказки закрыла туча саранчи, с каждым мигом приближаясь к далекой волшебной поляне, угрожая уничтожить ее маркой чернотой, пронзить стригущими звуками. А я ничего не мог сделать. Моих сил не хватало, чтобы защитить любовь, испуганно сжавшуюся в комок на этой поляне, сложившую свои хрупкие тонкие косточки, тщетно укрывавшую нежную кожу, на которой от каждого неосторожного прикосновения оставались следы.

...Дома, докурив сигарету, я какое-то время пялился в потолок, но все было зря — мысли скакали от одной ужасной картинки к другой, я не мог сосредоточиться и составить план действий. Я не заметил, как заснул на постели, не расправляя ее. Не помнил, как пришла Глэдис. Сны были беспокойными и, несмотря на сильный магнит, тянувший меня на привычный путь к Еве, я не рискнул увидеться с ней.

Утром я проснулся с раскалывающейся головой. Же-

на стояла в изножье постели, пристально глядя на меня и ожесточенно орудуя пилкой для ногтей. Она знала, что я не выношу этот звук. Я повернулся на бок и накрыл голову подушкой. В душе был все тот же мрак. Альтернативное решение не пришло само собой.

Что ж, согласен. Прочная тонкая нить вот-вот должна была проникнуть внутрь, навеки соединив мои и ее вены и артерии, и вместе с этим чудесным даром мне вручался каменный свиток с беспощадными письменами — новые законы, королевские обязанности на всю оставшуюся жизнь. Нет, я не жалел об этом. Я готов был нести ее на руках до самой смерти. Просто мне было страшно. Я чувствовал себя ребенком, которому не рассказали всего, что он должен знать. Так оно и оказалось.

И вместе с Айрис мы вынули из меня душу, аккуратно свернули ее, упаковали в яркую подарочную бумагу и отдали — тем, кому с высоты сверхзвукового полета было виднее, как и когда ее использовать. Так я превратился в ангела-хранителя своей девочки. Ангела с бесовскими ужимками и приступами запредельного тремора, приходившего, как расплата за возможность держать ее судьбу в своих руках. Что я с ней сделал — вам еще предстоит узнать.

Но теперь я смог соединить в одном ожерелье всю россыпь драгоценностей, которая давно скопилась в моих ладонях. Помимо искусства сновидения и грезотворчества, я научился работать с собственным телом, распознавая знамения на физическом уровне. То явление, которое с юных лет пугало меня и представлялось необъяснимым, не поддаваясь анализу даже с помощью привычных магических методик — волны посторонних эмоций, ударявших изнутри — нынче получило свое название. Иногда это ощущалось как биение еще одного сердца, или как внезапная смена настроения, которая не поглощала меня, но проживалась, как сюжет фильма

зрителем в кинотеатре. Кто-то страдал, радовался, звал меня, испытывал волнение или страх, восхищение и легкомысленную беззаботность, напряжение и грусть. Весь спектр эмоций, доступных человеческому существу, но наблюдаемый мной сострадательно, я позволю себе даже сказать — *ангельски* — пульсировал во мне. И теперь я знал имя той, которая порождала это.

Возможно ли такое? Уникальная настройка на звуковые волны и частицы света, излучаемые другим существом, находящимся в далеком уголке Вселенной. Это происходило всегда, а не только в направляемых мной сновидениях. Порой это было подобно словам, произнесенным под толщей воды и едва расслышанным. В другой раз — яркой вспышкой отчетливого видения, захватившей в вечный фотографический плен картинку из ее жизни — так, что я мог понять, чем она занимается и что чувствует. А иногда я видел ее глаза, закрывая свои, и они возникали не в воображении, а с невыразимой реалистичностью смотрели на меня из темного пространства, пронизанного всполохами красной паутины. Ее глаза на исподе моих век — как такое возможно?

Но вернемся к прекрасному, прежде чем начнется похмелье от сладкого головокружения. Кстати, в силу своей близости к природе — точнее, удаленности от выхолощенного и гладковыбритого космоса богатых, в котором жил я — она всегда напоминала мне аромат какого-нибудь лесного меда. Например, настоянного на вереске. Однажды, много позже, уже потеряв ее, я забрел на поляну в чащобе, ведомый смутными воспоминаниями об исторических балладах, и упал ничком в шершавую темно-розовую поросль, чтобы сверить ощущения. Да, так оно и есть. Настоящий дурман.

Я влюбился в нее сразу же — в дополнение к той вечной любви, которую и так распознал в своем сердце после ее первого зова. Я намеренно разделяю (и одно-

временно привязываю друг к другу) эти понятия, чтобы добавить волнительных эмоций в свой рассказ. Да, любовь была чем-то большим: она безусловна, исполнена сострадания и вдохновения, готовности ждать и терпеть. Она устремлена к Богу — как и полагается настоящей любви. Для нее достаточно души. Но именно влюбленность заставляла мое сердце замирать, как только непослушная прядь волос змейкой сползала на ее щеку. Или в ее голосе обнаруживалась неведомая мне доселе интонация. Или же она начинала нетерпеливо махать растопыренными пальчиками, пытаясь объяснить мне что-то — сейчас же и всенепременно. Или... что там еще бывает у всех влюбленных?

Влюбленность вынуждала меня ловить любовь в клетку плоти, развлекаясь и дурачась в тех играх, которые были дозволены насмешливой судьбой, разделившей нас не только в пространстве, но и в возрасте. Мне оставалось лишь возносить благодарственные молитвы в том, что разница лет была не так драматична, и мы оказались в одном времени, и даже на границах одного поколения. Она могла быть мне сестрой, но не дочерью.

Но, если б не было любви, влюбленность никогда не достигла бы такого градуса, отравляя меня не только ее образом, но и каждым отдельным дюймом его, пряча в мизерном — ядерный концентрат всего, о чем приходилось грезить. И давайте же я сразу расставлю все эти точки, которых ждут и те, и другие — по разные стороны барьера, отделившего настоящую красоту от вседозволенности.

Те немногие, кто знаком со мной, и кому я позволил проникнуть хотя бы на один сеанс этого магического представления, никогда не заподозрят меня в нечистых намерениях по отношению к моей возлюбленной в то время. Я уже предупреждал однажды, и повторю свое предостережение вновь, прежде чем распахнуть ворота

райского сада: если вы, хотя бы намеком на саму мысль, попытаетесь искать в силуэтах тонких деревьев и в рисунке листвы изломанный смысл порока, оставайтесь на месте и не уродуйте мое чудесное путешествие нездоровым блеском глаз. Пусть вы и пришли с обвинением, а не за товаром.

Да нет же, Господи, нет! Нет, нет, нет! Сколько раз мне надо повторить это слово, чтобы его колокольный набат проник в души осквернителей моей нежности?

Поймите вы — больше всего на свете я жаждал ее взросления. Порой его абрис, проглядывавший в детской грации и полутонах, сводил меня с ума, и я, боясь участившимся дыханием смахнуть эту зыбкую пыльцу с ее кожи, мечтал лишь о том, чтобы сияние быстрее обрело свою окончательную форму. Я не знал, что ждет меня впереди, хотя в грезах мог разглядеть несколько наиболее вероятных вариантов. И, выбрав из них особо полюбившийся, я вцепился в дымку ее духа, чтобы посторонние космические ветра не доделали эту работу за меня. Я крепко держал ее в своих объятиях, чтобы она, подобно средневековому артефакту, смогла приобрести формы, сливавшиеся с ними, как идеальный пазл. Но эта крепость была силой хранителя, а не порывом алчного вора. Чаще я прикасался к ней трепетно и легко, словно к крылу бабочки, страшась неосторожно стереть рисунок с ее крыльев и тем самым навеки лишить полета.

Она была чем-то неведомым, в самом начале взросления, и я всерьез боялся, что меня постигнет жуткая кара, если я осмелюсь слишком откровенно взглянуть на ее беззащитную красоту. Мне хотелось спрятать и укрыть ее, как розовый бутон с опасно тонкими лепестками, от всего мира — и от себя самого, в первую очередь.

Но... ведь это была *моя* девочка. Она принадлежала мне — как объяснить эту потустороннюю связь, изначально замешанную на ангельской откровенности

и чертовской нежности? Я порхал над ней, как слишком крупный мотылек над крохотным цветком, боясь поранить и сломать. Но это был *мой* цветок. Почему я должен стыдиться того, что легко шло в руки любому, кто приходился ей родственником или просто другом — незатейливым, без претензий на совместную загробную жизнь? Если брат целовал бы ее в бархатную щечку на сон грядущий, почему в моем исполнении этот жест должен вызывать подозрения? Я устал от бесконечных оправданий, и отныне, с этой строки, буду плести свой узор без оглядок на предписания.

В то время, как другие взрослые мужчины, попадавшиеся на ее пути — заходившие или приезжавшие в гости к семье, отирающиеся в автобусе по пути в школу, преподающие всякий ненужный хлам вроде физкультуры — не упускали случая простодушно и грубовато «восхититься» прелестной малышкой, вроде бы невинно потискав ее в своих объятиях (ути-пути, какие мы пусеньки, или что там обычно говорится в таких случаях), я каждый раз осторожно пробирался сквозь неудобную конструкцию собственных рук, чтобы как можно деликатнее усадить ее к себе на колени и прижать к себе совершенно по-братски. Порой мне казалось, что я превратился в настоящего ниндзя, посвятившего себя целомудренной любви — так выросли мои способности контролировать собственное тело. Теперь я мог даже в апогее детской забавы, какой-нибудь кучи малы и прочего, завязать себя в такие хитрые узлы, что самый щепетильный церковный надзиратель не придрался бы к моему благочестивому расположению в пространстве относительно ее тела.

Нежность, нежность, нежность — вот что пульсировало в моей крови всю жизнь, с детства, и наконец обрело свое имя, когда я увидел ее.

На самом деле, это был настоящий дурдом. У меня начиналась аритмия, когда я видел малюсенькую цара-

пинку на ее коже. Я превращался в зверя и слабого истерика одновременно, когда думал, что ее кто-то может обидеть. Придумывал изуверские пытки каждому мужчине, который слишком долго задерживал на ней взгляд. Я, следуя Платону, был ходячей, воплощенной идеей: на сей раз — тотального бесконечного Поцелуя, когда думал о ней, или находился с ней рядом. Эта безграничность дарила мне облегчение: я знал, что наступит момент, и я сделаю ее полностью своей, но в ожидании его мне достаточно было маленького участка ее обнаженной кожи, ручки или щечки, чтобы припасть к ней, и чувствовать эту божественную благодать и наслаждение. Все было во всем, в каждом пальчике, в каждой клеточке. Я всегда знал, как присвоить ее — без малейшего намека на животность.

И она ведь мне доверяла. Я мог держать ее на коленях, обнимать, зарываться носом в ее волосы, засыпать рядом с ней. В то время я ходил, сам не свой от счастья, постоянно нося внутри блаженный покой. Я чувствовал себя полноценнее, чем когда-либо, хотя моя жена оказывалась со мной в постели в лучшем случае раз в месяц. Мне больше не надо было притворяться перед самим собой, я был освобожден — целиком и полностью.

Но это не означало, что я был готов так быстро сорвать покровы с тайны — и я не торопился не только ради Евы, но и для собственного спокойствия тоже. Я и так был наполнен до краев, и этой дозы душевного дурмана могло хватить для того, чтобы разорвать грудную клетку на части. Она росла — и мое сердце росло вместе с ней, увеличивая свою пропускную способность и объем. И не забывайте — эта девочка принадлежала мне, она была сотворена специально для меня, по некоему личному канону. Я везде и повсюду видел ее глаза — они навеки запечатлелись в моем сознании.

Иногда я начинал заниматься самобичеванием,

в страхе разглядывая собственную нежность под увеличительным стеклом общественных стереотипов. Странно: стоило мне отбросить эту лупу в сторону — и чистота вновь заполняла все мое существо. Но как только я вспоминал о подсудном человеческом опыте, лишавшем мою любовь самого ее имени, в душу вползали отвратительные образы. Но и они не могли обмануть меня, издавая глумливый шум на крыльце у запертой двери: я всегда знал, что они приходят извне. И духи, помогавшие мне в любви, оказывались чище и честнее, чем человеческий мир. Вся эта грязь была отпечатками сальных пальцев на той самой лупе, изобретенной трусливыми людьми.

Но они все же заставляли меня беспокоиться об этой привязанности, потребности все время видеть ее, грезить о ней, думать, предполагать и придумывать. Я так боялся, что какая-нибудь чрезмерно романтичная аномалия разрастется в сердце и голове и перебросится куда-нибудь ниже — не дай Бог, раньше дозволенного времени. Я так опасался этого, что вопреки всем законам физики и духа, вымостил жесткие русла для мыслей и желаний, и гонял по ним свою кровь и душу долгих два года. В опасные мгновения, когда ее глаза светились, как звезды (по какой-нибудь совершенно глупой причине, вроде новой песни, услышанной по радио и подходившей к моей масти, или придуманной истории о котятах, гномиках и куколках), я хватал это сияние и направлял по волшебным проводам внутрь нашего мира, продолжая выдумывать и воплощать невинные фантазии не хуже Кэрролла, привлекая ее к участию в постановке спектакля. (Мы любили всякие театрализации по фильмам и книгам, которые раскрепощали ее и, надо сказать, неплохо образовывали меня.) Я немилосердно растрачивал нашу энергию, выплескивая ее в пустое развлекательное творчество, чтобы вдруг не сотворить чего-нибудь страшнее — какой-нибудь особо

нежный поцелуй или прикосновение, грозившее разбудить прекрасных монстров во мне и заставить задуматься фею в ней.

Я не мог позволить мыслям двигаться вглубь, и они расползались вширь, вскоре захватив в плен всю Вселенную с ее чудесами, легендами, зелеными лугами, ночным небом, прибоем мирового океана, конфетным ароматом снежинок и прочим — и все это было нам в помощь, радуя, поддерживая и укрепляя. Мы были всем. И все было — в нас.

Когда я только начал приходить к ней, она была напуганным ребенком — смышленым, удивительным существом с широко распахнутыми глазами — но готовым к самому плохому в ее жизни, и почти смирившимся с ним. Теперь же она расслаблялась рядом со мной, словно окутанная теплом любви, и от этого менялся ее характер. Пожалуй, такими бывают только двенадцатилетние девочки ее склада: мягкими, вкрадчивыми, с кошачьей хитрецой и тихим лукавством, вдруг оборачивающимся неподдельной искренностью и прямотой. Но все-таки, время от времени, я вновь обнаруживал в ее сознании какой-нибудь ржавый гвоздь, вбитый жизнью или чересчур предусмотрительными взрослыми.

Каким чудом во мне проснулся дар детского психолога с тех пор, как я стал общаться со своей маленькой подружкой, я не знал. Но каждая ее фраза, случай или страх разворачивались перед моим сознанием в виде свитка, устремленного в небеса будущего. Я вглядывался в его витиеватый абрис, пытаясь предугадать повороты и завершающий рывок. Иногда я оглядывался и назад, в поисках истока тех или иных «подарков» ее подсознания. Но все, что происходило в ее жизни «до меня», с трудом поддавалось изучению — в том случае, когда это касалось неприятных переживаний. В этом была какая-то не совсем приятная для меня загадка, отдававшая запахом

кладбищенского тлена. Допустим, я мог сопоставить такие красоты ее младенчества, как любовь к лошадям, дельфинам, кошкам, индейцам и образу благородного шотландского разбойника. Сюда же, в коллекцию сокровищ, попадали сказки о Маугли, принцессах, и особенно Щелкунчике, с которым я почему-то чувствовал родственную связь. Но откуда брались ее непостижимые страхи, имеющие отношение ко всему, что касалось *вочеловечения*, как такового?

Она могла проникнуться состраданием и не выпускать из рук одноглазого котенка, спасая его от унизительной роли неуклюжей потехи для соседских детей. Но приходила в ужас от одной возможности случайно остановить свой взгляд на таком же калеке человеческого происхождения. И не жестокость тому была причиной, а ее способность к настоящему сопереживанию. Ее сердце было способно вместить в себя боль маленького мяукающего комочка, но волны разнородных, противоречивых эмоций, исходящие от покалеченной души, разрывали его на части — потому как проникали в него, почти не искажаясь. Она была таким же инопланетянином, как и я.

Любое неосторожное прикосновение, грубость, физические наказания, окрик взрослого воспринимались ею, как акт насилия по отношению к себе и вызывали тяжелые переживания, которые мне приходилось искоренять вместе с ней. Я терпеливо, шаг за шагом, осторожно обдирал с ее души ненужную шелуху, и у меня это получалось!

При определенном нежном нажиме и правильном подходе я мог узнать все, что касалось ее жизни. Но, Господи, как я всегда боялся этих ее рассказов. Иногда мне казалось, что все мои разъезды по целой планете, недельные выставки, сутки, проведенные в самолете, не могут дать того разнообразия впечатлений, которое расцветало

в ее жизни. Понимаете, я удосужился невероятной чести: я был допущен в тайное, сокровенное. Возможно, именно благодаря ей я проникся идеей завести собственных детей. Я понял, что никакие переживания не могут сравниться с наблюдением за тем, как постигает ребенок окружающий мир.

Но я ошибся и тут. Ведь не всем детям дано быть такой девочкой, как моя принцесса. Она не просто узнавала жизнь, она преломляла ее — будто специально для моей истосковавшейся по опасной красоте души — в очень сомнительном, соблазнительном, искушающем ракурсе.

В юности девушки сами шли мне навстречу и были опытнее меня. В браке у меня просто не возникало необходимости адюльтера. Мои отношения с Глэдис были выстроены таким образом, что я мог чувствовать и себя — для нее, и ее — для себя — объектом желания и любви, но... Но я никогда не становился мужчиной в полном смысле этого слова. Я не решал за нее, не брал на себя ответственность, никаких обязанностей. Это была хорошо слаженная, красивая игра двух современных детей, чувствующих свое равноправие и равновесие. И вот, благодаря этому ребенку, я не только постигал иные миры и учился управлять своим энергетическим телом — я принимал на себя, наконец, роль полюса Ян. И, в лучшем смысле этого слова, без низменности и агрессивности, становился... самцом, как бы странно это ни звучало, среди этой нежности, изливающейся из моего сердца и готовой затопить всю Вселенную. Раньше, с самого взросления, я в возмущении отвергал саму мысль об этом. Не понимаю, как так произошло, но я приучил себя к роли избалованного принца — даже когда рядом еще не было моей рыжеволосой миллионерши. Мне казалось, что само понятие силы уже ведет, по логической цепи, к следующей ступени — насилию. А это было неприемлемо для меня. Мне и в голову

не приходило, что сила может существовать сама по себе, без агрессии и зла. Что сила — это прерогатива, без которой я не могу называться мужчиной. Внутренняя сила, заставляющая принимать решения за более слабое существо, обеспечивая его безопасность и лучший результат действия.

Все это было столь диковинным и естественным одновременно! Это открытие вынесло меня на совершенно новый уровень развития, и как бы низко я потом не падал, заливая потери вином и слезами, но и в своих слабостях я всегда оставался мужчиной.

Но все эти тончайшие струны звенели где-то в глубине наших душ, подготавливая их идеальную настройку и не выходя на поверхность даже столь сладкого в своей вседозволенности мира, как сновидение. И пусть мои губы пересыхали, истомленные невозможностью припасть к живительному источнику, измученные осознанием того, что другие родники не утолят их жажду — на протяжении двух с половиной лет я обнимал и целовал ее, лишь как младшую сестру, не позволяя и ей выходить за жестко обозначенные рамки. Конечно, как любому ребенку, ей очень хотелось побыстрее вырасти, и она с охотой примеряла на себя маски ревности, женского лукавства, а иногда и соблазна. Последнее получалось у нее не без комичных ноток, и я старательно игнорировал и тщательно обнулял раскалившиеся градусы расшалившейся детки. Но очень часто ее кошачьи уловки шли и мне на пользу: я многое узнавал о ее отроческой жизни. Чаще с восторженным вниманием, а порой — с затаенным страхом, ибо то, что она рассказывала мне, нередко представляло чудную и странную смесь из открытий, постижений, звездопадов, радуг, опасностей, смерти и искуса.

Признаюсь — я не мог устоять перед ее стремлением использовать меня, взрослого мужчину, как удобный

тренажер для своих вызревавших чар. Конечно, все ее идеи превращались в развлекательный детский спектакль, и дело заканчивалось повязыванием бантиков на мои волосы или шуточным массажем, больше походившем на истязание спины дурашливыми щипками и щекоткой. Но иногда она так трогательно и вдумчиво касалась моих щек, когда я просил ее поцеловать меня... Ее поцелуи были наполнены благоуханной чистотой, и я прикрывал глаза и просил не останавливаться, повторяя и повторяя их. Я находил божественное сладострастие в ее невинности. Да! Ее невинность была обещанием волшебства, одним из основных ингредиентов колдовского зелья, искусно предложенного мне. И в моей крови оно превратилось в непреходящую любовь.

Невинность — то, что никогда не предлагалось мне ранее, и разве я мог упустить этот дар из рук? Да я вцепился в него, как смертельно больной в сосуд с эликсиром жизни. И, несмотря на внезапные мучения, вызванные нашим духовным и телесным сходством, не взирая на ее привлекательность, опасно сопровождаемую резвостью ума, я готов был ждать столько, сколько потребуется — законами или ее собственным мнением. Но для этого нужен был немаловажный нюанс: мнение должно быть осознанным.

И когда я чуял, что на моем лице вдруг отображались подводные течения, чьи всплески, усиленные гулкостью темных глубин сердца, я часто слышал в последнее время, я старался свернуть эти волшебные свитки как можно быстрее, пока она не смогла прочитать их. Но, кажется, никогда не успевал вовремя. И если бы я задержался хоть на полминуты — о, меня каждый раз не покидало ощущение, что она вот-вот подхватит эту мелодию, пусть робко, тихо, но в унисон.

Так мы и проводили время — поддерживая друг друга, веселясь, постигая иные миры. И самое главное — тот,

в который были закинуты.

Только Айрис знала более-менее правдоподобный список с оригинала этой истории. Но и ее хватило, чтобы поддержать жизнеспособность моего безумия.

Мы все время стараемся найти одобрение и поддержку своим самым сумасбродным идеям, в кругу близких (и не слишком) людей. Нам кажется — если мы сумеем убедить в верности наших рассуждений и выводов хотя бы одного человека, это действительно может воплотиться в реальности. Как образ и подобие Божье, мы отчаянно нуждаемся в том, чтобы в нас поверили. Мы создаем грезы и сны, чтобы затем извлечь их из сознания и заразить этим вирусом хоть кого-нибудь. Любая идея, возникшая в нашем мозгу, нуждается в сообщниках вовне. И в то же время, она не может быть воспринята другими без искажений. С этим приходится мириться, ведь и каждый из адептов религии имеет своего Бога.

Поэтому я не очень-то сетовал на Джона и свою матушку, пытавшихся приободрить меня участливым предположением: «Да, Ники, возможно, твоя мечта и сбудется. Мечты, вообще-то, сбываются». И с ласковой улыбкой они возвращались к своим делам, а я — как и прежде — был чем-то, вряд ли бо́льшим, нежели маленький мальчик, задумавшийся над акварелью. Они словно забывали, что я еще в детстве предупредил их, какой собираюсь сделать свою жизнь, и воплотил пророчества.

Верят ли люди в чудеса? Сложный вопрос, слишком пестрый, чересчур неоднородный — инкрустация из миллионов осколков. Они с охотой верят в чудеса, описанные в книгах, доверительно рассказанные приглушенным голосом, донесенные ветром из далеких мест, исхоженных паломниками. У каждого из нас всегда есть кто-то, видевший, слышавший... Нет, не чудо — всего

лишь *о чуде*.

Но если тот, кто стоит рядом — так близко, что чуешь его запах, вдруг осмелится заявить, что чудо происходит с ним, или по его воле.... Тысячи генов взметнутся пламенем в человеческой крови. Опыт страха перед неведомым, недоверие, жестокость, неприятие, стенания застенков инквизиции, издевательства на площадях, свист камней, летящих в спину изгнанников. Чувство самосохранения берет верх, а главная его душевная составляющая — собственная важность и успешность.

Кто-то может то, что мне не дано? Открывает иные миры? Пророчествует? Исцеляет? Такого не бывает, это наверняка шарлатанство. Или безумие! Либо — того хуже — осознанная издевка над нами. Сколько канонизированных после смерти святых терпели унижения от собственных коллег по христианскому цеху, подозреваемые в одержимости или сумасшествии? Для того, чтобы доказать свою чистоту, им пришлось дождаться загробной жизни, дабы и оттуда творить чудеса. Человеческое безверие непостижимо в своих масштабах.

Медицинская норма объявлена. Все, что позволено — рождение, половая зрелость, продолжение рода, угасание жизненных функций, смерть. Инструкции повсюду: вы не ошибетесь, как приукрасить это вочеловечение. Ах, да: вы можете быть религиозными людьми. Этого у вас никто не отнимает. Но не забывайте о своем ничтожестве, пожалуйста.

Но иногда судьба жестоко обходится с человеком, и чудо сваливается ему прямо на голову. Или струится из кончиков пальцев. Лучится из глаз. Пульсирует в сердце. И тут надо быть очень осторожным. Если поддаться чуду, вникая в его перламутровые переливы, оно захватит в плен все, что есть в вашей жизни. Излучая чудо, вы создаете множество его отражений во внешнем мире. Зеркало не замедлит отреагировать, и вскоре даже в пе-

нии птиц и в сочетании номерных знаков автомобилей вы будете видеть отчетливые подтверждения своей правоты и верности выбранного пути. И в этот момент охватывает страх.

Свернуть на привычную дорогу, выпив успокоительного? Или, невзирая на недоуменные взгляды близких и далеких, продолжать идти, тщетно пытаясь стряхнуть туман со счастливых глаз?

Я так и не понял, как надо обращаться с приключившимся чудом. Все, что я знал — мне становится плохо, если я уговариваю себя в его ненормальности, нереальности и неосуществимости. И словно легкие раскрываются, впустив недостающую порцию кислорода — если я просто следую ему.

Оно прошло несколько ступеней своей магической эволюции, иногда отдаляясь от меня, а порой оказываясь невероятно близко. Но оно никогда не оставляло меня. Признаться, позже я часто вел себя, как несчастный трус, и бросал чудо на произвол судьбы, ведомый не столько неверием, сколько собственной злобой, порожденной его недостижимостью. И тут же оказывался в плотном кольце кармы: жизнь сбивалась с ритма, неприятности вползали в нее — одна за другой, сворачиваясь в отвратительный колтун, который уже трудно было распутать.

Да, погруженный в тоску по своей любимой, я доходил до отчаяния, я скатывался на дно, но источник боли находился во мне, и окровавленный канат, сплетенный из причинно-следственных связей, никогда не выскальзывал из моих рук. Чудо оставалось со мной. Но если я уходил в мир, принадлежащий всем, но столь чуждый мне, не испытывая страданий, качаясь на теплых волнах сладкой пустоты — откуда ни возьмись, посреди мещанского благополучия появлялись ростки неудач непонятного происхождения. Я месяцами не мог понять, за что они посланы мне: дела проваливались, деньги таяли,

друзья предавали, родные болели, на проселочных дорогах под колеса машины бросались олени, молния ударяла в самолет, в котором я летел. Все обходилось, но бытие показывало ощерившуюся изнанку. Я не мог даже пожаловаться — все, что случалось со мной, было не в диковинку остальным, и носило некий неизвестный мне житейский смысл. «Жизнь, как жизнь, — определял это Джон, — не понимаю, Ники, над чем ныть?»

Конечно, он не понимал простой истины: я не мог (и не претендовал!) на права Бога в мире общего употребления. И потому превращался в нем в обычного подданного, вынужденного лавировать, слушаться и прислушиваться, выполнять и принимать. И со мной происходило все то, что и с другими. Если ты делаешь то же, что и все — как можешь рассчитывать на иной результат? Где ему было знать, что погружаясь в собственный космос, я ставил надежный щит на свою жизнь, и она текла по моему усмотрению? Да, не кипела и не бурлила, но ангел-хранитель оберегал ее от потрясений — ему было достаточно боли внутри меня. Моя любовь стала путеводной звездой.

Вот лишь часть экстракта, извлеченного мной из души. Перевернув страницу, вы найдете несколько арабесок, которые украсят мой рассказ более привычным повествованием — с тем исключением, что вам ни за что и ни при каких обстоятельствах нельзя забывать о том, где и как все это происходило.

Я не могу сосчитать эти сны: меня запутывает то, что они, в конечном итоге, превратились во вторую линию судьбы. Сюжеты разрозненных встреч сплелись в один узор. И, как трудно воспроизвести в памяти каждый прожитый день, отмечая лишь всплески событий — так невозможно отделить друг от друга десятки тончайших нитей, не повредив паутинки в целом. Сколько же их было? Мне бы хотелось думать, что не менее семи сотен —

этого хватило бы на два с половиной года почти ежедневного общения. Но число это звучит столь угрожающе для моего психического здоровья! Возможно ли такое? Или же их было несоизмеримо меньше — всего лишь осколки мозаики, обрывки чудесного шелка — а все остальное надстраивало мое подсознание, превращая сновидения в сложившийся в потусторонности роман?

Достоверна ли моя исповедь? Разумеется, все обстояло немного не так. Смело умножайте мою нежность на тысячу — и этого будет недостаточно. Уверяю вас, в нижнем ящике моего стола, под крепким замком и стыдливым ворохом шуршащей и шершавой ерунды, лежит еще более правдивый роман о моем романе. Но боюсь, каждый абзац из него может потрясти сами основы нашего скрипучего от старости мира. В нем столько невыносимой истины, и она так чиста, что даже самый извращенный от собственного неудовлетворения ханжа не сможет загнать ее в рамки привычных психиатрических диагнозов, так и оставшись корчиться в муках зависти и отрицания самого себя. Да и те болезные, что ищут на моих страницах подтверждения собственной правоты, низводя любовь к штриховке пушка под лямкой летнего платьица — тоже погибнут, отравленные разочарованием. Любовь живет на тех страницах. И это самая жестокая истина, от которой слепнут и дохнут все, неспособные к возрождению.

Глава 7

— Привет, Ева.

— Привет, Николас.

— Можешь звать меня просто Ник. Или Ники.

— Хорошо.

Я не знаю, на каком звездном языке мы общались, мысленно или вслух, но мы понимали друг друга, как если бы принадлежали к одному народу. Никогда за два с половиной года ни у меня, ни у нее не возникало вопросов, как это происходит — хотя неоднократно мы пытались изобразить нечто вроде шуточных уроков английского, а иногда я шептал ей нежные словечки из арсенала всех европейских языков и тут же объяснял, что они значат. Объяснял на ее языке — как она его понимала. А она говорила по-английски — как я прочитывал это своим сознанием.

— А мама говорит, что Ник на английском означает «дьявол».[1]

...Следовало ли мне насторожиться уже тогда?..

— Ты меня боишься?

И, не дождавшись ответа, которого опасался, я поспешно продолжил:

— Не бойся, это действительно я.

Она смогла только кивнуть — это было и запоздалым ответом на вопрос, и согласием с моими словами.

Все ощущалось абсолютно реальным. Если это и был сон, то он настолько глубоко заполнил меня, что я помню Еву отчетливее, чем любые другие переживания

[1] Одно из значений имени Ник (обычно Old Nick, Старый Ник) в английском языке — дьявол.

в моей жизни. Ее присутствие, тепло, прикосновения, губы, вкус кожи — все это я впитал в себя сильнее, чем что бы то ни было. Эти воспоминания я могу сравнить только с ощущением самого себя — так помнят касание собственных губ к собственной же руке. Это чувство, которое мгновенно оживает в памяти и навечно там сохранено.

— Ты уже выздоравливаешь?

— Да... Я не знаю.

— Ты выздоровеешь, очень скоро, обязательно. Можно, я возьму тебя за руку?

Помимо красок, голоса и аромата, мы обрели осязаемость.

***

— Это твой дневник? Почти все маленькие девочки ведут их, я знаю. Ты пишешь туда о мальчиках из своего класса?

— Нет. Но там есть про тебя.

— Про меня? Надеюсь, там написано: Ники, я люблю тебя?

— Еще чего!

— Нет, ну это никуда не годится. Что я тут делаю, спрашивается? Я-то думал, ты меня любишь, а ты молчишь об этом. Я ведь на это рассчитывал.

— А откуда ты знаешь, что я люблю тебя?

— Но это глупо! Это же очевидно. Я знаю, что ты меня любишь! Я это знаю, и все! Меня бы здесь просто не было, если бы это было не так. Так что отпираться бессмысленно.

— Но я не могу... так.

— Еще как можешь. Это всего лишь три слова, кото-

рые надо произнести. Ну, хорошо, четыре! Мне бы хотелось еще и слышать свое имя перед этим.

— Зачем ты меня заставляешь?

Она будто готова была расплакаться.

...Стоило ли мне остановиться в тот момент?..

— Знаешь, какие у меня планы, малыш? — я наклонился над ней и говорил шепотом и медленно. — Каждый раз, когда я буду приходить к тебе, ты будешь встречать меня словами: «Привет, Николас! Я люблю тебя!». И каждый раз, когда я буду говорить: «Мне пора, Ева, но я еще приду к тебе», ты опять будешь говорить мне: «Бай, Николас, я люблю тебя!». Но и это еще не все. Если ты вдруг почувствуешь, что я тебе срочно необходим, что ты хочешь видеть меня здесь и сейчас, тотчас же, ты просто скажешь: «Ники, я люблю тебя! Ты мне нужен!». И я буду здесь. Договорились?

Я сделал из этих слов магический пароль, настоящее заклинание, пропитав их нашей Тайной. И я знал, что она не сможет сопротивляться их силе.

— Я люблю тебя, Николас.

— И я люблю тебя, малыш.

Я сказал это легко и просто, без фанфар, фейерверков и звездопадов. Будто был старшим братом, зашедшим пожелать сладких снов своей сестре. Будто это происходило с ее рождения и не нуждалось ни в пояснениях, ни в дальнейших романтических обрамлениях. Я сразу же сделал это естественной питательной средой наших отношений. Мне хотелось, чтобы она поняла это с самого детства: если чувство истинно, его не следует бояться.

***

Как ни парадоксально, но летом у нее на меня оставалось меньше сил и времени, чем у меня — на нее! Я даже пробовал обижаться, совершенно искренне чувствуя легкий спазм в горле, когда она виновато, а иногда и абсолютно беззаботно сообщала, что, дескать, «завтра у них будут гости, и она наверняка засидится с ними допоздна, поэтому мне следует прийти чуток попозже, а днем у нее вообще на меня времени не найдется». Я напоминал себе, что она всего лишь ребенок, и любое событие вызывает у нее порывы ветра в голове. А летние каникулы, ежедневно чреватые новизной мироощущения, тем более выбивают почву из-под ног. Я убеждал себя, что это происходит вовсе не из-за того, что она привыкла ко мне, и я стал для нее обыденностью — никаких иных признаков этого пагубного явления не было: она все так же нежно смотрела на меня, ласкалась и ластилась, как маленький котенок. Но к ним каждое лето приезжали то одни, то другие родственники — как, впрочем, в любую семью, в том числе и мою.

Однажды они с матерью выезжали в какой-то довольно дальний город, и я отчетливо запомнил, что путь лежал через столицу. Меня не оставляло беспокойство о том, сможет ли ее мамаша посреди привокзальной суеты и толчеи уследить за этой только с виду одомашненной девчонкой. Кроме того, в мозгу назойливо вертелась шальная мыслишка: будь я в это время там, глядишь, и смог бы выхватить свою крошку, да увезти в волшебный замок. Но, возвращаясь к реальности, я лишь вздыхал: на частных самолетах посетить эту косную страну не было никакой возможности, а на других рейсах каждое место было учтено. Наличие лишнего маленького пассажира наверняка бы вызвало, как минимум, рас-

спросы в службах государственной безопасности — хоть она и сошла бы за мою внезапно нашедшуюся младшую сестренку.

Но вернемся к золотистым летним денькам. Когда она все-таки добиралась до постели, уставшая от беготни и жары, то засыпала в моих объятиях, не успев дорисовать орнамент рассказа о своих приключениях. У моей девочки была уйма домашних обязанностей, будто у маленькой Козетты — от чего я в свое время благополучно был освобожден, в силу мягкости характера родителей и вредности собственного. Поэтому каждый раз хоть одна прополотая грядка фигурировала в ее повествовании.

Я узнавал о многом: удобные прятки под кустами смородины, бадминтон с соседской девочкой, изумрудного цвета детский велосипед, с космической скоростью становившийся маленьким для ее длинных ног; подобранные котята, спрятанные в тайниках (я настойчиво рекомендовал ей отпустить несчастных пленников, и вскоре она признавалась, что они вовсе не нуждались в покровительстве, а были «позаимствованы» у соседей), трехразовое купание (ее волосы и ночью пахли водорослями, завивались в колечки и переливались рыжиной от речной воды). Пропахшая солнцем, травой и русалками, Ева утомленно склоняла голову мне на грудь и погружалась в сон, не успевая прошептать наш засекреченный пароль, но я с охотой прощал ее — она возвращала мне волшебство отрочества.

Сначала я думал, что не смогу вспомнить ничего вразумительного о том, что происходило в эту чудесную пору разнузданного цветения и созревания плодов. Так уж получилось, что самые драматичные события и важные вехи наших потусторонних отношений приходились на холодное и промозглое время года. Наверное, тогда она в большей степени нуждалась в моей поддержке, а лето своим очевидным колдовством согревало и без ме-

ня наполняло ее своими ароматами и красками? Но я не мог упрекнуть ее в том, что она меньше жаловалась мне! Разве не истратил я половину душевных сил, отведенных мне на всю жизнь, на то, чтобы избавить ее от всяких неприятностей, заблуждений и ошибок? Или научить рассудительнее относиться к событиям, которые раньше вгоняли ее в панику? Никто, кроме меня, не мог объяснить этой девочке, что полученная плохая отметка — это не конец света, что спокойное равнодушие — лучшее оружие против зарвавшихся одноклассников. Что, вопреки угрожающим предостережениям ее мамочки, ее возьмут замуж, даже если она не будет уметь правильно заправлять постель и печь пироги.

— Ева, — внушал я ей, — замуж выходят не по трудовому контракту, а по любви. Что ты слушаешь свою маму, зачем тебе такой муж, который не будет тебя любить только из-за того, что ты не умеешь чего-то делать? Я обязательно женюсь на тебе! Печь пироги я и сам умею, а заправлять постель тебя научу. Главное в этом деле...

И пока я в подробностях объяснял, как заставить капризные одеяла и подушки лежать ровно и послушно, она ерзала, хныкала и забиралась под них с головой, чтобы не слышать моих нотаций.

— Ну и отлично, — подводил я итог, — поскольку я не смогу управляться по хозяйству во всех углах сразу, будем принимать гостей в расправленной постели, как Йоко и Джон. Как тебе такая идея?

Ева морщилась и высовывала язык, не в силах преодолеть непонятную неприязнь к лидерам музыкального движения.

Иногда она совала мне под нос очередную журнальную вырезку, где я был запечатлен на светском рауте в обнимку с Глэдис.

— Зачем она тебя прилюдно целует? — ревниво спрашивала она.

— Она моя жена. Она имеет на это полное право.

— Но это дурной тон! — возмущалась маленькая привереда.

— Ты еще скажи «моветон», мисс снобизм из пятого класса.

— Вот-вот, именно это! — не сдавалась она. — Так зачем?

— Ну, наверное, чтобы все влюбленные в меня девочки ревновали, завидовали и злились, понимаешь, малыш?

Влюбленная в меня девочка надулась, взревновала и сверкала злыми глазенками. Я ликовал! Она была потрясающей: такая юная, и столько эмоций! Ее застенчивость и послушность были лукавой обманкой из полупрозрачного шифона, которая слетала, стоило приблизиться к ней и завоевать доверие. Под вежливенькой воспитанностью и ослепляющим блеском недетского интеллекта обнаруживался сложнейший характер, многослойная душа с подземными реками, меняющими свое направление сотни раз в день. Но огонь ревности, спрятанной в глубине волшебной пещеры под названием «Сердце», пылал постоянно, и она всегда находила пропитание для этого костра.

Глэдис была идеальным куском угля, на втором месте дружной армией стояли поклонницы моего творчества, после — мои сестры (!), затем, откуда ни возьмись, появлялись мои еще не рожденные дети (особенно, возможная дочь). Дальше — все сотни тысяч женщин, кто случайно попадался мне на улице по пути домой в течение жизни. Зачем я дразнил ее? Ее ревность не была для меня неудобной — она помогала лучше понять ее характер, ее страхи и ожидания. Это были непримиримые, жесткие, колючие указатели, не позволявшие потерять путь к ее сердцу.

Я не поощрял девчачьих обид, но, изучая и разбира-

ясь с ними, мог направлять ее взросление и формировать в ней те качества, которые хотел бы видеть. Постепенно, шаг за шагом, я приучал ее видеть реальность — как бы забавно ни звучало это слово по отношению к нашему чудесному миру. Реальность, а не крутые виражи ее надуманных и утрированных горестей и обид. Каждый раз, когда она шла на поводу у своих детских капризов, я возвращал ее к себе, словами и прикосновениями доказывая присутствие рядом.

...Или я утверждался в тирании, не отпуская ее ни на шаг в прогулках по космосу эмоций?

***

Порой она с охотой доверяла мне свои секреты.

— Мама купила маленькую бутылочку рома, чтобы пропитать им торт на Рождество. А я нашла и попробовала.

— Ну и что? Понравилось?

— Горькая гадость! А ты когда-нибудь так делал в детстве?

— Нет, — честно признался я. — Я был скучным мальчишкой, и почти не шалил.

— А я, между прочим, однажды еще и курить пробовала.

— Что?! — я поперхнулся собственным голосом. Такого я совсем не ожидал услышать от маленькой начитанной зазнайки, посещавшей, помимо прочего, еще и уроки фортепьяно.

— Ага, это уже давно было. Мне было девять лет.

— О, Господи, Ева, — я в буквальном смысле застонал. — Сейчас же рассказывай, а то мое воображение рисует жуткие картины, и они могут меня убить. Тебя кто-

то заставил? Там была компания хулиганов? Пьяные матросы? Грязные бездомные? Или какой-нибудь холеный мерзавец подсунул тебе эту дрянь?

Девочка смеялась, уткнувшись в мое плечо. Ее всегда смешила моя манера выражаться. Наверное, ей казалось, что я все играю и утрирую, а мое сердце замирало в страхе, когда я предполагал, что могу услышать в ответ. Она жила в таком странном мире, от которого ее не могла защитить даже порядочная семья. В той стране дети были предоставлены сами себе, и в представлении взрослых почему-то несли ответственность за свои злоключения даже больше, чем люди, которые их втягивали в них.

— Нет же, какой ты трусишка, Ники! Ники трусишка, Ники трусишка...

— Хватит! — оборвал я ее. — Сейчас же объясни мне, как это получилось. Надеюсь, это было действительно однажды?

— Конечно! За кого ты меня принимаешь? Мне совсем не понравилось. Успокойся, я просто нашла эту недокуренную папиросу...

Я подумал, что у меня сейчас мозг взорвется. Нашла? И потянула в свой ротик?

— Один рабочий колол дрова, а потом пошел обедать. А я там гуляла и увидела на чурке окурок, который еще горел и дымился. Ну и попробовала.

Я чуть с ума не сошел. Мое прелестное дитя, значит, решила попробовать на вкус вонючую гадость, оставленную грязным мужиком, побывавшую в его пасти, испачканной всеми нечистотами этого мира. Боже мой! Я едва не плакал... Куда катится мир?

— Ева... Ева....

Я даже не знал, что и сказать. Она насупилась.

— Ну и чего ты, Ник? А я-то тебе рассказала, а ты опять ругаться начнешь.

— Разве я когда-нибудь ругался?

— Нет, но ты такие слова говорить начинаешь, и так смотришь... Успокойся, мне совсем не понравилось. Такой противный вкус, как мыльная вода. В жизни больше не попробую!

— Рад, что ты хотя бы поняла, что это мерзость. Но...

Я взял ее за подбородок и провел большим пальцем по губам, сверху вниз, чуть оттопырив нижнюю.

— И вот эти маленькие губки вынуждены были пробовать какую-то дрянь, которую выплюнул чужой взрослый мужик, только потому, что их хозяйке взбрело в голову познакомиться с жизнью поближе?

— Ну вот видишь! — она страдальчески свела бровки и с укоризной смотрела на меня. — Вот это я и имею в виду! Ты всегда так говоришь, что мне стыдно становится! А я, между прочим, секретом поделилась! Все, я с тобой больше не играю!

Она попыталась отвернуться, но я схватил ее за плечи.

— Хороши игры, любовь моя. Я кудахчу над тобой, как курица над цыпленком, я переживаю за тебя — как ты не можешь понять? Если бы у меня была возможность, я забрал бы тебя к себе и кормил самыми сладкими вкусностями, которые есть на планете. Ты бы пила самую чистую воду и купалась в лазурном бассейне... Но я не могу этого сделать! У тебя есть семья, и они не отдадут тебя мне. Но ты хотя бы можешь понимать, что для тебя хорошо, а что — нет? Я не ругаю тебя. Я знаю, ты несмышленый ребенок. Но, пожалуйста, позаботься о себе хотя бы вполовину того, как я забочусь о тебе! Один я могу и не справиться! Смотри, куда ты ступаешь, что ты пьешь и ешь, что у тебя под ногами и какие люди вокруг, договорились? Ты понимаешь, что могла чем-нибудь заразиться от этого человека?

Девочка кивнула в ответ. Она выглядела такой подавленной, что мне стало жаль ее.

— Иди сюда, — я притянул ее к себе и крепко об-

нял. — Пожалуйста, не обижайся на меня. Я просто волнуюсь за тебя. Все нехорошее, что с тобой происходит, я воспринимаю, как свою ошибку, я ничего не могу с этим поделать...

— Это было до знакомства с тобой.

— Хорошо, но пусть больше такого не будет, ладно? И я не только про сигареты. Если тебя что-то заинтересует... такое, в чем ты сомневаешься — спроси меня об этом, окей? Я обязательно тебе все объясню и расскажу, хорошо это или плохо. Ты же наверняка боишься о многом спрашивать у мамы, но я-то тебе на что? У меня ты можешь узнать все, что угодно, запомни это. Всегда сверяй свои мысли и поступки со мной. Я всегда помогу, поверь.

— Да. Я так и буду делать, честное слово, Ники. Я так счастлива, что ты у меня есть! Не представляю, как бы я жила без тебя.

Она помолчала, посопев носиком в мою рубашку, и добавила, смущаясь:

— Ты хорошо пахнешь.

Я усмехнулся. Ее детская искренность обезоруживала. Когда она говорила подобные вещи, я чувствовал себя рядом с ней, как дома. Удивительное дело, но наивные слова маленькой девочки были способны прогнать прочь все мои страхи, основанные на зыбкости ощущений и невозможности поймать и укротить пространство в человеческом мире. Она чувствовала мои прикосновения и запах — что могло быть более надежным доказательством верного пути? По крайней мере, ее слова падали на самое дно души и крепко врастали в нее, оставаясь со мной и наутро. Я и так находился в беспощадных тисках реальности, продолжая сохранять в ней свои воспоминания, но по пробуждении не видел их подтверждения. И мне приходилось все время прислушиваться к сердцу — все хранилось именно там.

А ведь я был просто одержим идеей воссоздать свою грезу в царстве бодрствования. Я искал способы отразить ее образ, освежить духоту воздуха шлейфом ее присутствия, хотел алхимическими формулами и строками, полными символов, рассказать о ней миру. Разум часто отказывался помогать мне в поиске истины, и я не мог понять, каким образом вообще возможен такой перевертыш: настоящая память *о ней* хранилась в душе, в сердце, а в мозгу всплывали лишь обрывочные воспоминания, аллюзии, с трудом отделимые от воображения. Слава Всевышнему, у меня были немногочисленные друзья, готовые меня поддержать и ведомые такими же знаниями. Иначе, переполненный нереализованной жаждой кричать на весь свет о своей необыкновенной любви, я не удержался бы и выдал себя. Например, приняв опасную дозу алкоголя или (что ближе к правде) человеческого лицемерия, завлекающего в сети доверия.

— И, кстати, — прервала мои размышления малышка, — у нас очень чистая вода.

***

— А ты лунатил в детстве, Ники?

— Я и сейчас от этого страдаю.

— До сих пор как маленький? — изумилась девочка.

— Это не всегда явление детства. Иногда это становится заболеванием.

— Так ты этим болен?

— Немного. Не бойся, это не заразно.

— Я не боюсь. Мне тебя просто жалко, если ты болеешь. И потом, я пока тоже могу лунатить, так что ты не можешь меня заразить. Мама говорит, я иногда встаю по ночам.

— Мне кажется, детка, что наши встречи как-то связаны с этой особенностью. Не будь одного, не было бы и другого. А вообще, это не так уж и страшно. Но за лунатиками надо следить. Знаешь ведь, что они могут забрести куда-нибудь?

— Знаю-знаю! — вдохновенно протараторила она. — Со мной один раз такое приключилось, что ой-ой-ой... И никто не заметил, я сама проснулась и вернулась домой.

— Расскажи сейчас же! Я сгораю от любопытства!

Это была чистейшая правда. Мало того, что меня интересовали подобные случаи, так это еще и было связано с моей крошкой.

— Все началось, еще когда мы гуляли с девочками.

— Продолжай.

— Там есть заросли малины, и незабудки и много камней — это склон у реки. А внизу земля, как на болоте. Мама говорит, что речка разливается, потому вода хлюпает под ногами: даже если ее не видно — она спрятана под землей. Там много мест, где я купаюсь. Больше всего детей на пирсе, а еще можно залезть в воду там, где мы с мамой полощем белье. И много всяких гаражей для лодок. Мы гуляли по берегу, и девчонки предложили зайти в старую баню, которой никто не пользуется. Она уже начала разваливаться. Там даже трава из пола растет. Печка разрушенная, и потолок кто-то начал разбирать. Хотя девочки забрались туда и стали ходить по бревнам. Они качались и скрипели над головой.

— Ты, надеюсь, не додумалась до этого?

— Нет. Но там было что-то странное...

— Что же?

— Я не знаю, — вздохнула она, — я не хотела оттуда уходить, хотя было страшно. Я читала всякие сказки про баню.

— Про баню есть сказки? Вот это да! — удивился я.

Жаль, что все это не в европейской традиции. Какая благодатная почва для любовной лирики с намеком!

— Да, но страшные сказки. Например, в баню ходят гадать ночью перед Рождеством. И еще говорят, что в бане нельзя ругаться. Иначе банник утянет тебя к себе за печку и в щели между бревнами.

Она сделала круглые глаза и, похоже, действительно была напугана собственными словами.

— Ева, в сказках есть доля правды, но не надо все напрямую воспринимать.

— А откуда ты знаешь? Представь, как это жутко — тебя тащат куда-то в узкую щель, и все кости ломаются, и кожа сдирается...

— Стоп! Перестань, сейчас же.

Она обрушила на меня очередную порцию своих страхов. Они были детскими и сказочными, но от них веяло знакомым туманным холодом из моего младенчества. Какие глубины человеческого восприятия кроются в этих ночных кошмарах, переживаемых детьми всего мира? Почему я так отчетливо понимал и ощущал реалистичность картинок, которые она рисовала мне? И потом, в конце концов... Если наши встречи обладали таким удивительным живительным эффектом, то что мешало сбываться и другим страницам легенд и мифов? Ведь мое или ее сознание могло запросто погрузиться в любую подобную картинку во сне и спроецировать ощущения на уровне физического тела. И что тогда? Я старался прогнать от себя эту мысль, ведь человек, слава Всевышнему, наделен достаточными силами, чтобы контролировать глубину своего погружения в сновидения. Но меня все время назойливо беспокоило количество страхов, успевших заселить ее душу к столь нежному возрасту. Я выкорчевывал их — один за другим, один за другим, а они множились, выскакивая из-под земли, у меня под ногами, как несуразные и никчемные пред-

меты в бреду больного.

— Так, давай-ка вернемся к твоему рассказу. Что было дальше?

— Я не знаю. Не знаю, как это произошло, — она помолчала немного, — но почему-то эта баня не вылезала у меня из головы. У меня сердце замирало, когда я вспоминала, как мы с девочками туда зашли. И я все время представляла, что оказываюсь там одна, хотя не знала, зачем. И даже боялась этого! Но... Потом я легла спать, а затем проснулась...

Она остановилась и посмотрела на меня внимательно.

— А ты мне поверишь, Николас?

— Разумеется. Почему ты решила, что может быть иначе?

— Ну... Это так странно. Но я не выдумала, честное слово! И я не знаю, как так получилось, правда!

— В чем ты оправдываешься? Разве ты виновата в чем-то?

Она так забавно мыслила: небольшое приключение лунатика казалось ей непостижимой странностью, а мое нахождение рядом — чем-то само собой разумеющимся. Но мне пришлось сразу же понять, что приключение было не столь уж безобидным.

— Ники, я проснулась там, в этой бане! Сначала я подумала, что это такой сон. И очень долго так думала, правда. Может быть, я до самого утра и не поняла, что это был не совсем сон.

— Ты испугалась?

— Да. Но я как будто... заколдовалась. Заворожилась, вот. Все вокруг было такое странное. Как будто воздух был густым, и в нем кто-то прятался.

Уж в этом я не сомневался.

— Ты долго там пробыла?

— Не знаю. Я не могу понять. Поначалу я просто стояла, потому что оцепенела. Я не решалась сделать какое-

то движение, и я боялась того, кто там скрывался.

— Но ты его не видела?

— Нет. Но я так чувствовала!

— Я понимаю.

— Ники, там кто-то был, как ты думаешь? — она испуганно и жалобно посмотрела на меня.

— А чего ты сейчас боишься? Ты же со мной, глупенькая!

— А вдруг я снова проснусь там?

— Нет. Я же тебя охраняю. Я не позволю тебе никуда уйти, запомни. Даже не беспокойся на этот счет.

— Так там был кто-то? — настойчиво повторила она свой вопрос, словно понимая, что я знаю точный ответ.

— Думаю, да.

Она прерывисто вздохнула и прижалась ко мне крепче.

— Да не бойся ты так! Послушай... Эти существа везде. Они разные. Некоторые из них могут быть опасными, это правда. Но рядом с тобой всегда находятся и добрые невидимые существа, которые защищают тебя. Это такое равновесие. Ты милый ребенок, и ты не сделала ничего, чтобы нарушить его. Поэтому с тобой не случится ничего плохого, запомни!

Я говорил так, а сам внутренне содрогался: а если бы она увидела ту нечисть?

— Они везде? — ошарашено спросила она.

— Да, абсолютно. Но мы их не видим. Так устроено, и так должно быть. Многие из них — будто обслуживающий персонал тех или иных мест и вещей. Такие винтики из энергии, которые скрепляют материю... Не знаю, как тебе это объяснить...

— Я, кажется, поняла...

— Наверное, то существо запомнило тебя днем, ты ему понравилась, и он захотел с тобой поиграть? А?

Я пытался успокоить и развеселить девочку, но мне

не удалось ее обмануть.

— Нет, — покачала она головой, — он не хотел играть. Я не знаю, кто он, но я его *слишком* не понимала. Если бы он хотел играть — я бы его поняла. Он был, как... как совсем взрослый и себе на уме. Не такой взрослый, как ты.

Она так верно все передавала, пусть и совершенно детскими определениями. Еще бы! Как бы не так! Поиграть... Конечно, он не причинил ей вреда: серебристый единорог рядом с ней не дремал. Но что было дальше?

— Потом я решила, что надо все-таки уходить. И выбежала оттуда. Мне было так страшно, я боялась, что упаду, споткнувшись, и оно меня схватит!

— А когда ты поняла, что это не сон?

— Вот тогда и стала понимать. Кочки травы под ногами были такие ощутимые и мокрые, и камни скользкие. Надо было подниматься в горку по тропинке, а на ней много мелких камушков, которые впивались в ноги. А потом началась песчаная дорога, и песок прилипал к ногам. И воздух был такой рассветный... Я тогда впервые узнала, какой он, когда приближается утро. Влажный и прохладный. Какой-то пронзительный. Но не в том смысле, что холодный, а... пустой. Всего было слишком много в моих ощущениях, понимаешь? Поэтому я и поняла, что уже не сплю.

— Да. А домой как пришла?

— Вот! Это тоже! Будь это настоящий сон — я как-нибудь прошла бы через стену, или еще что-нибудь придумала. Потому что мы закрываем на ночь дверь на во-от такущий замок. Но она была открыта! И я просто осторожно проскользнула в комнату и легла в постельку. Жаль, все-таки, что тогда тебя не было рядом.

Она так искренне вздохнула, что я не выдержал и поцеловал ее несколько раз.

— А утром я проверила ноги: они были грязные-пре-

грязные! Хотя я их мыла накануне. Меня мама заставляет... — не преминула она пожаловаться. — Только... Я никому об этом не говорила, даже ей. Так что это секрет, не вздумай никому сболтнуть.

— Да уж постараюсь, — улыбнулся я. — Но давай договоримся кое о чем... Теперь, когда я рядом с тобой, ты будешь стараться контролировать свои сны, хорошо?

— Контролировать? Как это?

— Я постепенно тебя научу. Если ты видишь какой-то сон, глубже того, в котором мы с тобой сейчас находимся, ты должна попытаться проснуться и в нем тоже.

— Проснуться? Чтобы очнуться от сна?

— Нет, не в том смысле. Ты можешь не просыпаться по-настоящему. Но ты можешь научиться вдруг вспоминать, что это — сон. Допустим, идешь по какой-то улице во сне, и говоришь себе: о, да это же мне снится! И тогда тебе будет проще управлять им, и не впускать в них чудовищ. А если все-таки происходит что-то страшное — просыпаться по-настоящему, как утром.

— Да... Я, кажется, поняла, — медленно проговорила она, внимательно прислушиваясь и ко мне, и к себе одновременно.

Она засыпала, и это было к лучшему: я не знал, что сказать в ответ на всю эту россыпь признаний, поблескивающую у меня в ладонях с вкрадчивой ядовитостью, но так заманчиво. Я погрузился в волшебный мир ее детства и увидел, что он населен отнюдь не прекрасными добрыми феями, котятами с розовыми бантиками и сговорчивыми гномиками. Как ни силился я, но не мог припомнить столь разнообразных ощущений, приходивших *извне* в моем детстве. Я был очень эмоциональным ребенком, но, как правило, сам порождал и источал всю палитру переживаний, окунаясь с головой в мир, который мне долгое время казался выдуманным. Но здесь, в ее жизни, случалось столько событий, и они порой но-

сили такой причудливый характер, что их символике и образам позавидовал бы Феллини. Мог ли я спорить с Богом, который лучше знал, что необходимо получить девочке для того, чтобы продолжать свой путь? Конечно, не мог. Но после ее рассказов я не сумел выключить в своей душе стремление хоть как-то сбавить обороты ее вселенной, уменьшить радиационную активность ее реальности.

Я еще долго лежал, дожидаясь рассветных теней на исподе балдахина над ее кроватью — на всякий случай, чтобы не оставить ни одного шанса тем, кто любит прятаться в ночном сумраке.

***

— Тебя крестили при рождении, Ева?

— Нет, когда мне было шесть лет.

— А почему? Твоя семья не религиозна?

— Да не слишком-то... Мама только в последнее время стала интересоваться всем этим. Она больше живописью увлекается. Если Мадонна — то на полотнах художников. Но когда она отвела меня в церковь, то потом все объяснила.

— Что объяснила?

— Она показала мне икону с Христом и сказала, что это — наш Бог. Что он Сын Божий, и мы все должны его любить.

— И что ты почувствовала?

— Не знаю... Это, наверное, плохо.

— Что ты имеешь в виду?

— Мне казалось в тот момент, что ее слова остались снаружи.

— Что значит «снаружи»? Не проникли в твое сердце?

— Ну, да. Может быть, я потом пойму, что все это значит? И смогу его полюбить? Я слушала о нем, как будто о каком-то... ученом, которому мы все должны быть благодарны. Ну, может быть, он изобрел аспирин, или что-то в этом роде.

Я едва сдержал улыбку, чтобы случайно не поощрить ее вольнодумство, столь неудобное — Боже мой, до сих пор! — в нашем мире.

— А тебя крестили, Ники?

— Да, сразу после рождения.

— Значит, твои родители ходят в церковь?

— Каждое воскресенье, представляешь? И я ходил. Меня наряжали в лучший костюмчик, повязывали галстук, и мы отправлялись всей семьей петь гимны.

— Вот это да! А у меня как-то сразу все не заладилось с ними, — вздохнула девочка. — Во-первых, горячий воск капал на руку, и я тихонько плакала, пока шло крещение. И тетки в толпе шептались, что это неспроста и плохой знак. Во-вторых, после всего этого...

— Обряда, — подсказал я.

— Ага, обряда. Священник подвел меня к большой иконе с Христом, и сказал, что это — Сын Божий. А я у него спросила: «А еще дети у Бога есть?». Он и говорит: «Ну, все мы его дети»... «Да нет! — махнула я. — Вот такие же, как он?». А он рассердился и ответил: «Что ты тут растыкалась пальцем в икону?».

***

— Ники, а ты веришь в астрологию?

— Не в ежедневные гороскопы.

— В долгосрочные прогнозы и характеристики?

— Ты вычитала это в каком-то журнале? Да, но все

еще гораздо сложнее. Есть такое понятие — натальная карта. Она составляется с учетом расположения всех важных звезд и планет в момент рождения человека. А то, что ты читаешь, знаки Зодиака — это только солнечный гороскоп.

— И что в этой карте?

— У меня пока что все совпадает. Мы с Глэдис составили их недавно, и тем интереснее было понять: все, о чем говорил астролог, действительно сбылось.

— А что там есть из будущего?

— О... — засмеялся я, — там есть вещи, в которые мне трудно поверить.

— Например?

— Например, у меня будет три жены.

— Ничего себе, — она насупилась, — целый гарем. А еще говорил, что на мне женишься.

— Так и женюсь.

— А я буду второй?

Я задумался.

— Не хотелось бы. Это ведь означает, что мы с тобой разведемся. Наверное, ты будешь третьей.

— Ну и кобель ты, Николас! — строго сказала она.

— Ты что это ругаешься? Не стыдно?

— Стыдно должно быть тебе. А я просто называю вещи своими именами.

— И кто тебя таким именам научил? — я почти задыхался от смеха.

— Мама так про мужчин говорит. Она сейчас увлекается астрологией. Она постоянно чем-то увлекается.

— Ну, это нормально для женщины.

— Но мне не нравится!

— Что? Астрология?

— Нет. То, что она увлекается всем подряд. И особенно неприятно, что каждое новое увлечение она преподносит, как что-то обязательное и самое важное. Занима-

лась рунами — я должна была изучать языческие обряды. Потом перешла на йогу — заставляла меня делать асаны и есть только овощи. Теперь вот астрология...

— В этом она, конечно, не права. На свете вообще нет *ничего* главного и совершенно истинного, кроме сердца человека. И не забывай, пожалуйста, есть мясо и рыбу. Ты растешь, и это тебе нужно. Не вздумай сделаться вегетарианкой. Мы — хищники, не надо отвергать свою земную природу. Есть и другие способы творить добро.

— А как же Бог?

— А Бог и есть — сердце человека. И слушать Его надо именно там.

— А если оно говорит странные вещи?

— Все равно. Главное, не перепутать его с голосом разума или наоборот — безумства. Сама посуди: есть ли смысл жить, не прислушиваясь к сердцу?

— Мама вообще ничего про сердце не говорит. Только про разум.

— Сердце, всегда только сердце, детка.

***

— Я хочу... — она помедлила, подбирая слова. Где-то глубоко внутри я уже знал, что она собирается сказать, и почему не торопится: ей нужно было спрятать наши лица и души под маской придуманных героев, напустить тумана на их абрисы. Притвориться, дать мне возможность сделать вид, что я ничего не понял. Обычные правила обычных детских игр.

— Я хочу, чтобы я была такой девочкой... И у меня был друг — особенный друг, он был бы больше, чем просто человек, и он бы по уши влюбился в меня. И он

был бы опасным, потому что он не совсем человек, но только с другими, а со мной — просто волшебник. Вот.

Она искоса взглянула на меня, проверяя, правильно ли упали тени на сцену, и не слишком ли колыхнулся багряный занавес от наколдованного ветра. Я изобразил из себя немую декорацию и сделал невозмутимое, но понимающее лицо.

— И чтобы он, эдакий демон с пылающим сердцем, но острыми зубками, всюду ходил за тобой на поводке, да?

— Да! Точно! — ее снова разобрал смех. Невинное дитя с демоном на поводке. Демон сидел и пропускал пряди ее шелковистых волос сквозь свои ухоженные пальцы с подпиленными когтями — чтобы не царапали маленькую хозяйку.

Я улыбнулся, но тут же призадумался: и впрямь, а кем я предстаю в сознании этого смышленого и начитанного ребенка? Она называет меня Николасом, задает вопросы, относящиеся к моей жизни, но что творится в тех пластах ее мыслей, которые она скрывает от меня? Как она видит меня — странного парня, который, несмотря на свои дела и насыщенную жизнь, стремится проводить так много времени с ней, является, как видение, но осязаемое и шумное? Я могу летать, я творю маленькие чудеса, я поглощаю все ее мысли и эмоции. Кто я для нее?

Я обеспокоено взглянул на маленькую подружку, которая, все еще прыская со смеху, лукаво глядела на меня.

— Ты считаешь меня чертом? — спросил я.

— Ну, нет... Не по-настоящему, что ты! Ты не такой черт, как в церкви, но ты же необычный! Ты же приходишь ко мне, хотя живешь так далеко.

Вдруг она что-то вспомнила и подняла голову с моих колен.

— А когда мне можно будет целоваться по-настояще-

му, как ты думаешь?

— А напомни-ка, сколько тебе лет? — я сосредоточенно нахмурился, изображая из себя добросовестного доктора, предсказателя по совместительству. — Восемь? Девять?

— Мне через месяц тринадцать, балда ты! — сердито сказала она. — Чего притворяешься, что не знаешь?

— Значит, пять лет... Так, деточка, придется еще годиков десять подождать.

— Ну хватит! — она легонько шлепнула меня по носу. — Я серьезно спрашиваю!

— Да уж куда серьезнее, — вздохнул я. — А что, у тебя кандидат на примете есть?

Она усмехнулась, глядя мне в глаза. Я предпочел их отвести.

— Когда можно начинать целоваться девочкам? Как ты думаешь?

— Зависит от того, какие мальчики рядом, малышка.

— А ты когда впервые поцеловался?

— По-настоящему?

— Разумеется! Взасос!

Ох... Она могла быть очень скромной девочкой, быстро смущалась и даже краснела, но иногда, расслабившись в моих руках, начинала буянить и паясничать, как любой другой подросток ее возраста. Сейчас она поймала меня в неудобную ловушку: мне предстояло ответить так, чтобы не уронить собственное мужское геройство в ее глазах, и одновременно назначить не слишком близкую дату, которая обезопасила бы нас и подарила бы мне месяцы, нет — годы беззаботности.

Не слишком хорошо подумав, я ляпнул:

— По-настоящему — в четырнадцать.

— Хм... — нахмурилась она, — некоторые мальчишки у нас в школе в четырнадцать уже другое делают. Не слишком ты был шустрый.

— Такие мальчишки есть везде, — заверил я ее, внутренне возликовав, что не сказал правды. В конце концов, я уберегал ее от кризиса сознания: разве смогла бы она уместить в голове тот факт, что представитель английской богемы Николас Фламинг, которого любительницы живописи готовы разобрать на сувениры, никогда не отличался той разновидностью наглости, что необходима для покорения женских сердец, или, скорее... тел? Мои связи не были многочисленными, и взрослея, я долго оставался романтичным подростком. Я тут же пресек свои размышления: почему я вздумал комплексовать? Неужели подсознательно я хотел предстать перед ней мачо, от которого она не сможет убежать и спрятаться? Я разрывался между желанием быть героем в ее глазах и естественным стремлением оставаться самим собой.

— Значит, я тоже сделаю это в четырнадцать, — нарушила она ход моих мыслей.

— Что — это? — испугался я, вспомнив ее реплику о мальчишках.

— Как что? Первый поцелуй.

— А-а-а, понятно. Да, наверное. Это подходящий возраст. Джульетте было четырнадцать, кстати.

— Джульетта и Ромео поцелуем не ограничились, — скривилась девочка.

— Ну, это не обязательно, — нарочито беззаботно парировал я, — тогда, знаешь ли, времена и нравы были другие.

— Ага, нравы тогда были ужасные. Не то, что сейчас, — покладисто и одновременно как-то умненько ответила она и посмотрела на меня.

Я скосил глаза в сторону и вовремя нашел слишком длинную нитку, вылезшую из дыры на джинсах. Мне было двадцать семь, и я вынужден был разыгрывать из себя жертвенного ягненка. Точнее сказать, чувствовал себя волком в овечьей шкуре, а моя девочка слишком вошла

в роль зубастого волчонка, забыв, что ягненок здесь именно она. Опять-таки, скажу я вам — обычное дело у детей. Спустя час она уже забудет о своем ухарстве, погрузившись в очередную игру, где мне будет отведено место старшего брата, а завтра вообще не вспомнит об этом разговоре. А если вдруг вспомнит — зальется румянцем и замкнется на несколько минут, в течение которых я, как прирожденный шут, буду отчаянно ее веселить, выкликивая из темницы девичьей стыдливости.

***

Однажды она влетела в дом с пропеченной полуденным солнцем улицы, где загорала в своем красном раздельном купальнике с медной скаутской бляшкой на трусиках (как я потом выяснил, это было название одного знаменитого детского летнего лагеря). Притормозила у зеркала в тенистой комнате, являвшей превосходный контраст безжалостным уличным лучам, и стала вертеться перед ним, не замечая, что я материализовался в ее мире буквально за полминуты до этого и сидел теперь на диване, боясь спугнуть радость нечаянного подарка. Приподняла вырез трусиков на ягодице и довольно хмыкнула, отметив резкую границу окраски на коже. Развернулась, готовая в два прыжка вернуться в свой знойный мир, чтобы продолжить солнечную экзекуцию, и тут увидела меня. В буквальном смысле раскрыла рот от возмущенного удивления, пока я пытался беззаботно улыбнуться в ответ... да что я вру! Я расплылся в самой что ни есть счастливой хулиганской ухмылке, за что тут же получил плюшевым медведем по голове. «Будто я виноват! — оправдывался я, прикрываясь от ее ударов и тщетно пытаясь схватить за скорую на расправу тонкую

лапку, издававшую запах нагретого железа. — Я только что пришел, я же не знал, что ты такая... вертихвостка!»

Конечно, я ее поддразнивал, чтобы разозлить еще больше и продолжить эту беззаботную летнюю игру. Но она вдруг остановилась, насмешливо скривилась и подбоченилась. Ого! Какая-то новая мелодия тихонько зазвучала во Вселенной. Я не остался в долгу и, прищурившись, разглядывал ее всю, с головы до ног, гадая, кто первый соскочит с внезапно ускорившейся карусели. Заметив мой взгляд (признаться, я сам был ошарашен собственной наглостью), она поджала губы и заявила, что пришла, вообще-то, попить водички, и что если я пожелаю, то могу отправляться с ней позагорать. Гордо развернувшись, удалилась куда-то — скорее всего, на кухню, я плохо ориентировался в пространстве ее дома, подмечая лишь окна, зеркала и различного рода мягкие поверхности, на которых можно было повалять-ся, рассказывая друг другу сказки. Я следил за ее силуэтом, пока она вновь не вынырнула из неясной дымки, держа в руках большую чашку с водой. Вся она была такая забавная, с двумя длинными косичками, в немного старомодном (но, повторюсь — красном!) купальнике с широким лифом, сама уже почти цвета молочного шоколада и до того хорошенькая, что у меня чесались не только руки, но и ступни. «Я на улицу», — коротко и кротко призналась она и вновь исчезла. Я покорно поплелся следом, заранее понимая, что моя затея провалится.

Так оно и случилось. Во-первых, она разлеглась прямо на патио у крыльца, по распространенному заблуждению маленького звереныша спрятав живот и подставив моему шалому взору две половинки соблазнительной округлости, проверенной ею недавно на предмет загара. Во-вторых, открытый космос улицы почти не поддавался контролю моего осознания. И энергетические сгустки,

которые для нее здесь являлись небылицами из страшных сказок, а для меня — очевидной реальностью, уже почуяли мое присутствие, и слетались со всех сторон, принимая, по мере приближения, неприятный вид и оскал, как их рисовало мое загрязненное жизнью воображение. Они реагировали на чужака в своем мире, и могли затеять выяснение отношений с моими союзниками — будь то потасовка или спаривание. В любом случае, для меня это было крайне невыгодно, так как могло изменить состояние сознания, и привести к самым неприятным последствиям, в том числе и для моей девочки.

Я присел рядом на корточки. Она читала какую-то книжку и тут же показала мне обложку: Джон Стейнбек, «На восток от Эдема». Я, разумеется, не знал, о чем это, но слышал, что Стейнбек не совсем детский писатель.

— Ева... Я ненадолго заглянул, если честно, — соврал я, глядя ей в глаза. — Я хочу прийти ночью, ты будешь меня ждать?

— Конечно! — она улыбнулась и вытянулась, положив голову на выпрямленные руки. — Я всегда тебя жду, даже не сомневайся. Ты мне нужен больше всех на свете! Просто у меня...

— Каникулы, — закончил я за нее и, поцеловав ее в облупившийся от солнца носик, удалился в оттененную прохладой мансарду своего особняка. С карусели, как всегда, первым соскочил я — и не в первый и не в последний раз, надо сказать.

Ей было тринадцать, мне — двадцать семь.

***

— А чем бы ты хотела заниматься, когда вырастешь?

— Не знаю, мне бы хотелось быть садовницей...

— Садовницей? Что ты имеешь в виду?

— Мне бы хотелось придумывать и делать огромные прекрасные сады.

— Это профессия называется «дизайнер ландшафта».

— Да? Вот мне бы этим и хотелось заняться.

— Ты же Ева. И тебе нужен твой сад.

— Да, как на картинке.

— Какой картинке? — не понял я.

— Ну как же? Она висит у меня на стене, у стола. Это твоя картинка, я вырезала ее из журнала. Ева и змей.

— Моя? Постой-ка...

Я мигом подлетел к стенному проему у окна. Та вырезка, которую я заприметил еще в первое посещение ее комнаты. Как я мог не понять, не вспомнить? Конечно же! Это была первая картина, которую опубликовали в журнале. Я написал триптих небольшого формата еще до встречи с Джереми. Ева и змей. Ева и Адам. Изгнание из Рая. Признаться, вторая часть была чересчур чувственной и откровенной, и потому издатель решил, что она не подходит к стилю журнала, выпускаемого для порядочных домохозяек. А третья просто истекала кровью и страданием — и также не попала в печать, угрожая попортить воскресное настроение читателям.

— Представляешь, — я, наверное, выглядел очень подавленным, потому что она сразу погладила меня по голове, не дожидаясь продолжения, — я совершенно забыл, что сам написал это. Точнее... Я помню, конечно. Но во сне это показалось вещью из другого мира. Так бывает. Сон во сне может менять свойства личности.

— Как это?

— У снов бывают разные этажи. Чем ниже этаж, тем сильнее меняется реальность. И даже сам человек. Лучше, конечно, держаться ближе к поверхности. Забыть собственное творение — безобидная глупость в сравнении с тем, во что можно погрузиться.

— Но мне это знакомо! — удивленно воскликнула девочка. — Я видела сны о тебе, а затем просыпалась рядом с тобой же. Однажды мне приходилось просыпаться несколько раз, и в каждом сне ты был немного другим.

— Каким же?

— Не знаю, как объяснить. Это было похоже на гравюры Доре, только мы не спускались по кругам Ада, а выходили на свет.

— Ники, — спросила она после непродолжительного молчания, — а возможно ли наоборот, самому погружаться все глубже в сон?

Что я мог ответить этому ребенку? Что жизнь наших душ и есть — бесконечное погружение в глубины кошмаров? Если честно, мне и самому это только предстояло узнать.

***

— Ники, а мы с тобой потом встретимся и будем счастливы?

— Хотелось бы надеяться.

— А как мы с тобой встретимся? Ты же говоришь, что все забываешь напрочь, когда просыпаешься?

— Не все, а детали. Будто Бог хочет сделать меня сильнее, пряча тебя в тени. Но ведь ты всегда можешь узнать, где сейчас найти Николаса Фламинга?

— Да... А разве это возможно — такое чудо только для того, чтобы двое поженились? Разве для этого надо

встречаться во снах и играть со всеми этими... — она взмахнула рукой, указав и одновременно вспугнув стаю моих помощников.

— Вряд ли. Смысл должен быть более глубоким.

— А каким?

— Счастье, как его видят люди, слишком убогий результат для таких затрат. Думаю, все это надо для того, чтобы мы поняли, что такое человек. Что такое жизнь. Что такое Бог.

— Ты говорил, что мы — близнецы, и будем счастливы неимоверно больше, чем люди.

— Конечно, ведь наша любовь доказывает существование Бога.

— А разве любовь вообще не доказывает Его существование?

— Ты права. Но наша делает это с чрезмерной очевидностью. И, знаешь, что я подумал? Наверное, для того, чтобы быть вместе в реальном мире, мы должны стремиться не столько друг к другу, сколько — к Нему. Это ведь действительно Его путь.

***

— Смотри, это русский художник Врубель.

Мы сидели на полу, в теплом солнечном отпечатке апрельского окна.

— Да, я знаю. Я очень люблю его картины. Словно проваливаюсь в сказку.

— А мне нравятся его цвета, сумеречные и ночные.

— Чем-то похоже на твои картины. Только у тебя все теплее.

— Нет, малышка, я не настолько гениален. Мне не удается передать такую же тревожность и пронзитель-

ную печаль о красоте. Нет во мне этого надрыва и болезненности. Как сказал один знакомый — мои картины похожи на ночной пляж на фешенебельном курорте.

— Я никогда не была на таких, поэтому не знаю. Мне нравится, и все тут. А вот и Демон.

Мы замолчали, всматриваясь в книжную репродукцию. А потом она задала неожиданный вопрос, высоту которого я до сих пор не встретил ни в одном слове взрослых людей.

— Может ли величайшая гордыня сосуществовать рядом с величайшим смирением?

— Может. Это называется «миссия».

Разве смог бы я ответить на этот вопрос, если бы она не задала его? Но он вырвался из ее уст — и тотчас же одна из главных истин на краткое мгновение предстала предо мной. Я не успел рассмотреть все детали, и она исчезла, но все же оставила в крови свои иммунные тела, навеки изменив ее состав.

— Как у Христа? Чтобы осуществить миссию, нужно верить в свою исключительность, а люди называют это...?

— А если бы Христос решил, что все то, что он чувствует и слышит — дьявольское наваждение, порожденное гордыней?

— Он остался бы никому не известным плотником. А... у него, — она кивнула на картину, — была миссия?

— Сядь на доску качелей и попробуй качаться в одиночестве.

— Кажется, я тебя поняла. Но почему у Врубеля Пан — старый? — спросила она, перевернув страницу.

— Я читал, что это отображение русских сказок. Леший, а не Пан.

— Но почему он тогда не назвал его лешим? — настаивала девочка.

— Ну, хорошо. Может быть, это состарившийся Пан.

Этакий философский замысел.

— Но он все также вышел на прогулку за нимфами?

— Да, наверное.

Ева хихикнула.

— Но он уже старый и их не догонит.

— А ты посмотри, какие добрые у него глаза. Он уже не бегает за ними, он ими просто любуется. Нимфами, природой вокруг, ночным мраком и светом Луны. Он не пугает девушек и не причиняет им беспокойства, он словно говорит им об их красоте. Наверное, теперь он мудр и понимает, что красотой иногда важнее наслаждаться издалека. Она не должна полыхать, как огромный костер, с треском изрыгая искры. Она должна источать сияние — тихое, но вечное.

Она заворожено слушала меня.

— И он рассказывает им сказки о том, что случалось в дни его молодости?

— Наверное. Пока не забрезжит розовый рассвет.

— А если в лесу появится молодой Пан? Нимфы уйдут к нему?

— Не знаю. Может быть.

— Они захотят бегать по лесу с визгом и валяться с ним на траве?

— Хм... Ты у меня об этом спрашиваешь? Я не нимфа, малышка. А что бы ты предпочла?

— Я бы осталась послушать сказки. Я не люблю шум и суету.

— Вот и отлично. Я тоже. Ты читала сказку о Питере Пэне?

— Да, конечно. Мне было восемь лет.

— А ты знаешь, что прообразом Питера стал как раз этот языческий бог — Пан?

— Нет! — она изумленно посмотрела на меня. — Но как такое может быть? Питер ведь маленький мальчик!

— Ну, не совсем-то маленький. Скорее, подросток. Ты, наверное, читала какой-нибудь адаптированный вариант? В этой книге много того, что детям не рекомендуется.

— Нет, — надулась она, — мама дала мне *настоящую* книжку. У меня есть даже арабские сказки «Тысяча и одна ночь»!

— Ну, что ж. Значит, ты должна была все уловить, даже если не до конца поняла это. Сама подумай — разве совсем маленькие мальчики так стремятся дружить с девочками? Нет, ему, по меньшей мере, должно быть двенадцать.

— Но он искал маму!

— Но и взрослые мужчины ищут маму. Не таращи глазки, — успокоил я ее, — это в переносном смысле.

— Ты тоже ищешь маму?

— Я же сказал: не так буквально. Мужчина ищет женщину, которая будет понимать, что он тоже слаб, как и все люди.

— Ох, уж мне можешь не рассказывать, — она устало вздохнула и многозначительно посмотрела на меня. Я предпочел просто усмехнуться. — Но кое-что все-таки я не поняла в этой книге...

— А что? Может, я сумею тебе объяснить?

— В начале говорится о том, что Питер иногда приходил к Венди, когда она засыпала, садился на краешек постели и играл ей на своей свирели... Ой, да! Точно, он — Пан! И утром Венди рассказывала об этом маме, и даже показывала, что на полу остались листья, которые упали с его лесного костюма. А потом вдруг начинаются все эти приключения, и она словно видит его впервые. Они вместе с братьями покидают родительский дом, мама и папа страдают и ждут их, и все эти пираты и индейцы... Я как будто ловлюсь посередине между двумя этими историями, и не могу понять...

Я терпеливо ждал, что она скажет дальше.

— Если он и так к ней приходил до этого, то почему это звучит, как две разных сказки? Почему она не помнила его, когда он, наконец, позвал ее к себе на остров? И не выдумала ли она все эти приключения? То, что он играл ей на свирели, звучит как-то... правдивее, что ли. Ты меня понимаешь, Ники?

— Да, — уверенно сказал я, — и даже больше. Может быть, Венди и сочинила все то, что происходило с ними на этом сказочном острове. Полеты, индейцев, Капитана Крюка, банду мальчишек. Так, буйная детская фантазия. Но главная правда всей книжки заключается в том, что он действительно приходил, когда она засыпала, и играл на свирели, сидя рядом с ней. И неважно, было ли остальное — скорее всего, она это придумала, смутно помня о том, что происходило на самом деле ночами. Но разве сам факт того, что юный языческий бог в костюме из дубовых листьев убаюкивал ее своими мелодиями — не достаточное основание для того, чтобы написать целую книжку?

— Пожалуй, ты прав, — задумчиво ответила она.

— Это ведь и останется, разве не так?

Глава 8

Я поцеловал ее в ту ночь, когда ей исполнилось четырнадцать. Стрелки едва перевалили за двенадцать, а мой страх достиг высот, неизвестных мне ранее.

Это стало переломным моментом в наших отношениях, и я, признаться уже давно вынашивал коварный план. Не знаю, был я прав или нет, поступив таким образом. После пути назад не было, и Вселенная завертелась вокруг нас с бешеной скоростью. В итоге это привело к страшной драме, и мы потеряли друг друга. Моя Принцесса Греза отвернулась от меня, перестав доверять — каким бы волшебником я ни был, я не смог обеспечить ей безопасность в том мире, где она была вынуждена жить. Однажды она просто поверила в то, что я призрак, воплощение нечисти, дьявольское наваждение, посланное свыше, чтобы испытать ее. И все это началось с той прекрасной полуночи, когда я поцеловал ее впервые.

Впрочем, о чем я? Об этом я успею пролить еще океаны слез на страницах своего повествования.

А что мне было делать, скажите на милость? Изводить себя и ее, вошедшую в возраст Джульетты и лукаво смотрящую на меня из-под опущенных ресниц? О, да, моя девочка была особенной, как и я сам. Только вот соблазн, растворенный вокруг нее в воздухе, с каждым днем становился самым очевидным, знакомым и легко читаемым.

Труднее всего, конечно, было с ее взрослением на моих глазах. Точнее, с тем, куда мне эти глаза девать, когда она то вытягивалась в росте и утончалась, то останавливалась и округлялась, то вновь бросалась догонять меня в высоту. Мы ведь привыкли засыпать в обнимку и, прижимая ее к себе, я уже и на телесном уровне видел то, что

представало перед моими несчастными и — между прочим! — совершенно молодыми глазами. Ох, если бы я был хоть каплю похож на этих пресловутых маньяков из романов и фильмов, которые я так и не прочитал и не посмотрел! Мне было бы гораздо легче — я бы и в космосе, и в человеческой истории нашел миллионы оправданий своим мыслям и поступкам (последних, конечно же, почти не было). Мне бы тогда, по большому счету, было плевать на ее чувства, и я воровал бы украдкой все запретные плоды по очереди — притворяясь, обманывая, уговаривая. Я бы с омерзительной тихостью решал свои проблемы, перекладывая их на ее плечи. Отлично! Я бы придумал за нее, когда ей взрослеть, и по какому изломанному графику.

Но я был обычным парнем с необыкновенными способностями — вот и все. В некоторых европейских странах, которые я посещал на каникулах, девочки ее возраста уже имели полное право выбрать моего ровесника для подобных романтических утех. Конечно, во мне жили десятки личностей, как и в любом другом человеке. Они иногда устраивали презабавнейшие разборки друг с другом, но все, в конечном итоге, были обеспокоены не столько моей личной жизнью, сколько ее комфортом.

Я был женатым мужчиной и вполне мог предположить наличие такой вот егозливой дочери в обозримом будущем. Моралистом этот папаша не был, но строгий тон и серьезный взгляд иногда являл. Правда, возникал этот любящий отец очень редко и всегда только наполовину: Ева ни в какую не соглашалась признать во мне наличие отцовских чувств к ней — так же, как и дочерних в себе. Никакого комплекса Электры! Я для нее был ближе к безмозглому щенку, или Питеру Пэну, или Карлсону, или еще какому-нибудь шкодливому товарищу по играм. Как педагог я потерпел полное поражение, доходя в разговорах до советов бросить ужасную школу и пере-

стать слушаться мать: но, спустя десятилетия, я повторил бы то же самое. Семья и общественное окружение у моей избранницы были идеальным воплощением загнивающей интеллигенции. Начиная с семилетнего возраста, этого ребенка почти не гладили по голове, так что я еще мог ей посоветовать?!

Теперь же, с тринадцати лет, она наливалась ароматом созревавшего яблочка, а еще была похожа на опасно дрожащую капельку фруктового сиропа, готовую сорваться в вечность в любую секунду. И я собирался подставить свой горящий, сам себя обжигающий нетерпением язык (уже слизистая на нем саднила от ожидания) — что же в этом удивительного? Кап! — и увесистой сладкой бомбочкой она взорвалась бы у меня во рту, растекшись нектаром по венам.

Она соответствовала моим самым потаенным желаниям, если уж мне позволено было размечтаться. В ней всегда было что разгадывать, наблюдать, изучать. Она таила в себе мириады светотеней, абрисов, загадок. За годы разлуки с ней — точнее, ее немоты, глухоты и слепоты по отношению ко мне — моя нежная страсть уже давно превысила все мыслимые градусы земных вин. Но что бы я не фантазировал, я всегда хотел сделать с ней что-нибудь еще. Если бы закончились виды поцелуев, костюмов, ролей, мелодий, я бы любил ее, используя каждый квадратный метр этого земного шара — везде есть разные пейзажи и фоны для нее. Она превратилась в мою постоянную неудовлетворенность. И все, что после случалось со мной, в постели или за ее пределами, сразу же превращалось в очередную грезу о ней, подгонялось под нее, ретушировалось с учетом ее полутонов. Она стала для меня воплощением всех женщин мира. Но ни одна женщина не явила мне ее — поэтому я так быстро отхожу от них, едва приблизившись. Они все слишком индивидуальны, и в то же время совершенно похожи между со-

бой. Она же вобрала их всех, растворившись в единстве, но смотрит на меня тем особым, только ей присущим взглядом, который я узнаю даже в потоке вечности.

Поэтому я и поцеловал ее, добавив к нашему раю еще одну игру, которая теперь повторялась сотни раз каждый день.

Странно (а может быть, ничего странного в этом и нет), но события, которые в жизни взрослых людей обычно придают им уверенности и напористости, в нашей ситуации превратили меня из самонадеянного старшего друга в пристыженного робкого влюбленного, которого внезапно застали за слишком откровенным признанием, не предназначенным для посторонних глаз. Я постоянно испытывал чувство вины, я не находил себе оправданий, в очередной раз убедившись в невозможности противостоять своим слабостям. Я чувствовал, что время неумолимо движется вперед. Еще больше это было похоже на поезд, мчащийся с безумной скоростью и потерявший управление. Где-то там, впереди, вполне могла оказаться пропасть. А может, мы прибыли бы на конечную станцию и, не сумев притормозить, разбились насмерть о кирпичные стены старого, как мир, вокзала.

Оглядываясь назад, я понимаю, что уже тогда предчувствовал приближающуюся драму. На протяжении двух лет я беззаботно проводил с ней время, почти не укоряя себя за терпкую интимность и нежность слов и прикосновений. Сколько раз я засыпал рядом с ней, с блаженной улыбкой на губах, сжимая свою кроху в почти братских объятиях! Сколько всего прекрасного было на этой планете отрочества, сокровищами которой она с такой охотой делилась со мной: морозные узоры на окнах, снежинки, цветы, куклы, ночные купания, тысяча и одна сказка, рассказанная ею мне. Моя жизнь была похожа на калейдоскоп, чьи волшебные витражи менялись

от одного легкого прикосновения. Я мог выбрать любой узор, любую гамму... И что произошло теперь? Я на долгое время задал ей одну и ту же симфонию — да, сильную и прекрасную, но с единственной темой. И пейзаж был предопределен так же, как и музыка. И это был луг, полный цветов, но объятый грозовым небом, от неизбежности которого было невозможно укрыться.

Признаться, я довел наши отношения до высочайших граней причудливой красоты, за которую иные душу бы продали. Я воплотил самые смелые мечты. Я подарил своей любимой столь изысканные ситуации и удовольствия, что — вопреки человеческому гуманизму и на радость мне — вряд ли она смогла сполна утолить свои тончайшие потребности с кем-то другим: люди для этого чересчур откровенно эгоистичны. Я хотя бы смягчал свои цели заботой о ней — пусть бесчестно и самоуверенно было бы утверждать, что все последующие ступени завоевывал исключительно в ее интересах.

Мы погружались в этот омут до тех пор, пока тонкое свечение реальности над его поверхностью не поглотилось темной глубиной. Все стало разрушаться быстро и внезапно. Однажды я просто пришел к ней...

— Ники, я рассказала маме о нас, — тихо призналась она, сидя на моих коленях, но отворачивая лицо. Мне бы насторожиться: ее душа уже слышала гул на вершине горы, где случайно оборвавшийся комок снега притянул к себе мириады собратьев.

— Что? Как это? — я испугался не на шутку. Поворот был слишком неожиданным.

— Она спросила, что со мной. Я не могла этого скрывать, понимаешь? Все слишком очевидно! — Ева развернулась ко мне, и в ее глазах я прочитал то, что не хотел видеть: горький упрек, отсвет тех самых пасмурных небес. — Я не могу учиться, не могу ни о чем думать, по-

стоянно запираюсь в своей комнате.

— И... и что она ответила?

— Сначала она молчала. Долго, наверное, час. Она ушла к себе и не разговаривала со мной. А потом позвала меня и... Она сказала, что так бывает, но ей надо подумать.

— Я не понимаю, Ева! К чему это? Зачем это нам? Что с того, что она подумает? Как это может повлиять на нашу судьбу и любовь?

— Не знаю. Я выпала из реальности, — с невероятной тоской произнесла моя девочка, — я забыла, что такое мир, друзья, прогулки.

— У тебя никогда не было друзей — вот что ты забыла, — жестоко и жестко ответил я, но это было необходимо. — И у нас были *свои* прогулки. Мы бродили по берегу океана, помнишь? Мы гуляли босиком по снегу, а иногда — даже летали!

Она смолчала.

— Я не могу понять, зачем ты это сделала? Ты ей настолько доверяешь? Ты забыла то время, когда тебе не к кому было обратиться за помощью?

— Учителя звонят ей из школы, — сдавленно прошептала она, — они рассказали ей, что я пропускаю уроки. Много уроков. Столько, что уже не нагнать. И даже хуже: мной заинтересовались социальные службы. К нам приходила женщина, она говорила с мамой и объяснила ей, что если мы не исправим ситуацию, мне лучше какое-то время пожить в приюте.

— В приюте? — ужаснулся я. — Они с ума сошли, что ли?

— Николас, посмотри на мою реальность! Ты заполонил собой всю мою жизнь!

— Хорошо, я буду приходить к тебе только по вечерам.

— А в мои мысли ты тоже будешь приходить по рас-

писанию? — горько усмехнулась она. — Знаешь, что меня пугает больше всего? Мне ничего не интересно. Я не представляю, как буду общаться со сверстниками и читать параграфы в учебниках. Если меня вызовут отвечать на уроке, я буду чувствовать себя шлюхой, которую забрали с улицы и заставили получить образование.

— Господи, Ева! Разве это мы с тобой? Что за бред? Ты — шлюха? Когда я заставил тебя почувствовать себя такой?

— Я не виню тебя, — она заплакала, и я прижал ее к себе крепче, — я просто так чувствую. Как будто все смотрят на меня и показывают пальцем. Как будто я стою, взрослая, среди малышей, и они называют меня грязной, потому что я знаю больше, чем они. Будто я выросла из школьного платья, и оно надето на меня в насмешку.

Мне казалось тогда, что мое сознание искрошилось в пыль. Все, во что я верил, что я видел и ощущал раньше — рушилось на моих глазах. Прекрасный мир, за который я отдал душу, моя маленькая нежная девочка, всегда дарившая мне свой ангельский свет — вдруг произносила такие слова. Мог ли я предполагать, что эти чувства проберутся в ее сердце? Неужели я действительно совершил преступление, всего лишь целуя ее? Ведь за эти два месяца новой сладости я так и не осмелился на более откровенные прикосновения. Я высвободил энергию любви, и она вибрировала в кончиках моих пальцев — но они еще никогда не касались того, что пульсировало магнитом. В этих поцелуях не было ничего порочного — лишь невероятная любовная тоска. И я не решался дать ей и себе то, что так просто дарилось — подменяя древние истины причудливыми, изощренными в своей невинности играми, которые все больше истончали психику и будоражили тела.

— Ты чувствуешь себя грязной только потому, что це-

луешься с парнем, в то время, как твои ровесницы предаются блуду с мальчишками в подворотнях? — ошарашено спросил я ее. У меня не было сил даже успокоить ее — впервые за два с лишним года.

— Нет, — она прерывисто вздохнула и утерла слезы, — я чувствую себя ненормально взрослой оттого, что так сильно люблю тебя. Иногда мне кажется, что я понимаю не только то, что ощущаю я, но и ты. Каждый твой взгляд, мысль, каждое желание, которое ты сдерживаешь. Это все словно проникает в меня и отравляет. Как будто я стою перед дверью в чудесный сад, в который хочу попасть, но знаю: после того, как перешагну порог, не смогу жить здесь, в этом мире. Мы ничего не делаем плохого, но в меня попадает все, что ты хочешь в своих мыслях и сердце. И я ощущаю себя виноватой, словно это уже все случилось.

Я растерялся. Нет, я был совершенно потерян и не знал, что сказать.

— Если бы ты знал, Ники... Я так хочу быть с тобой, но мне иногда кажется, что наша любовь — как вирус, после которого я не выживу. Кислород, которым здесь дышат, больше не будет мне подходить, понимаешь? Мне страшно от того, на что я готова пойти ради тебя. И что готова тебе позволить. Какие могут быть домашние задания, когда я вижу, *как* ты на меня смотришь? Если бы мы жили где-нибудь в Древней Индии...

Она вновь заплакала.

— Это глупости, малышка, — возразил я, — тебе всего лишь надо дотянуть до совершеннолетия, а потом мы встретимся, и я заберу тебя к себе. И никто не сможет помешать нам, поверь. И если бы мы жили в Древней Индии, и были принцем и принцессой, поверь, я бы пропустил собственную жизнь, бесконечно целуя тебя.

— Ну вот видишь... Ты опять, — прошептала она.

— Иди же ко мне. И никогда, слышишь, никогда

не смей называть себя грязной только потому, что ты превосходишь всех остальных по силе и глубине эмоций! То, что ты сказала — за пределами мироздания. Так не бывает, понимаешь? Это они — грязные, убогие, нищие в своих жалких потугах. Ева...

— Ты заставляешь меня чувствовать свое превосходство над ними. Это нехорошо. Это точно нехорошо, — ответила она.

Я знал, что всего один поцелуй заставит ее забыть о том, что казалось ей, несмышленой девчонке, настоящими проблемами. Так оно и произошло.

А на следующий день она прогнала меня. Лишь потому, что, провалявшись без сна целую ночь, ее мать решила, что дочь одержима. Она пригрозила привести домой настоящего священника, дабы тот мог провести нужный обряд. Или отдать ее в соответствующее заведение. Трусливая косная женщина сняла с себя ответственность за то, что некогда разрушила связь с ребенком, лишив ее поддержки и любви. Она использовала любовь, пытаясь выковать из девочки послушную куклу. Голем, прислуживающий только ее комплексам и страхам. Ева должна была делать за нее все то, на что ей самой не хватило смелости, способностей и сил. И теперь, когда мое присутствие рядом подчеркнуло непохожесть дочери на нее — она, как и многие родители, не смогла этого вынести. Дети должны быть счастливы — но лишь на тех тропинках, которые исхожены их, родительскими, ногами. Никакой поэзии! Не бывать серенадам! Не сметь таять, Снегурочка, в сердцевине Страны чудес, замерев над майским костром. Дочери должны также обдирать нежную кожу о грязные ногти своих избранников. А я был чересчур, необыкновенно влюблен.

Так не бывает — думают взрослые несчастные женщины.

Моя возлюбленная была ребенком, и она испугалась.

Мог ли я винить ее?

— Зачем ты доверилась ей? — спросил я ее, едва удерживаясь от слез. — Разве не понятно, что такую любовь, как наша, надо прятать от людей?

— А почему, не скажешь? — крикнула она мне. — Что с ней не так, с нашей любовью? Может быть, она ненормальна? Может, тебя просто не существует, а я — сошла с ума? Или ты есть, но совсем не тот, за кого себя выдаешь? Я не могу так больше! Отстань от меня! Ты воруешь мою жизнь! Я живу теперь только в твоих снах. Я перестала ходить в школу, видеться с друзьями, радоваться мелочам, которые есть в моем доме. Везде — только ты, ты, ты! Я не твоя собственность, ты не имеешь права распоряжаться моей жизнью и моим сознанием!

— Ответь мне на один вопрос, — попросил я, — только на один... Ты лгала мне? Я тебе никогда не нравился? Ты притворялась, что у тебя кружится голова от моих поцелуев и прикосновений?

Она посмотрела на меня взглядом, наполненным вселенской ненавистью.

— Ты издеваешься надо мной, да? — ее голос походил на змеиное шипение. — Я прогоняю тебя именно потому, что не хочу больше сходить с ума. Я хочу принадлежать себе, а не тебе. И если ты хотя бы раз... еще раз попытаешься поцеловать меня, я жутко закричу, я буду звать на помощь! Ты меня понял?

— Ты просто испугалась, Евочка моя. Тебя напугали. Нет — тебя *запугали*. Но ты убедишься, что все можно исправить. Мы сможем с этим жить.

— Я не испугалась. Я просто проснулась внутри сна. Помнишь, ты учил меня этому? Так вот — я проснулась. Я поняла, что всего-навсего сплю.

Теперь ее голос оледенел и летел в мое лицо твердым осколком жестокости. Поразительная синусоида эмоций.

Конечно, я никуда не ушел. Я бродил рядом с ней,

а она упорно молчала и притворялась, что не видит меня. Я говорил ей, что люблю ее, а она закрывала уши ладонями, или (что гораздо хуже) начинала плакать, чтобы не слышать моих слов. Я хватал ее за руки, а она остервенело высвобождала их. Дело в том, что я совершенно не был склонен к насилию и, когда она уворачивалась от моих поцелуев, вся моя ярость уходила в невидимый жгут, сдавивший мое горло — и всего лишь. Я не мог поверить, что все может так бездарно и мгновенно закончиться. Это был кошмарный сон, отразившийся в даре художника: мой душистый луг вспыхнул и вдруг обернулся разноцветным змеем, постепенно чернеющим, терявшим свою красоту, и сверкнувшим на прощание хлестким хвостом, ударив меня по щекам. Странно, непонятно, неприемлемо. Но я не забыл расчехлить краски и запечатлеть его. Мои полотна, к слову сказать, за эти два года стали напоминать карту ожившего звездного неба, на котором каждое соцветие превращалось в сущность и собственное имя.

Она вероломно обманула меня, перебравшись в комнату матери. Все, что я теперь мог — сидеть на полу у ее кровати, поскольку каждое мое поползновение вызывало у нее приступы плача, на который неминуемо обращала внимание ее мамаша. Я бодрствовал ночами, не сводя с нее взгляда, осторожно прикасаясь к ней, как только волны грусти или страха захватывали в плен ее спящее сознание. Я останавливал своими пальцами стоны боли, готовые сорваться с ее губ, вытирал испарину, покрывавшую ее лоб. Она не знала этого — но я держал ее за руку, как и долгие годы после.

Она покорно навесила на себя ярлык одержимой, предложенный матерью, вбившей ей в голову самые извращенные представления о христианстве, которые словно выползли в наш век из отвратительных глубин средневековья. День за днем она шептала эти страшные

молитвы, выворачивавшие истину наизнанку, твердила, как заклинание: «Уходи, уходи, уходи. Ты мне не нужен, я не зову тебя. Тебя не существует...». Я превратился в беса, которого следовало изгнать. Она пыталась обратить Бога против Самого Себя, ведь Бог есть Любовь, а она истребляла именно ее. Но мог ли я обвинять мою юную девочку в этой страшной ошибке? В своем мире она была бесправным ребенком, брошенным в пекло круговорота событий и случайностей. Она испугалась, она могла потерять все — дом, мать, школу, город, в котором выросла. И предпочла потерять меня. Она перестала верить не только мне, но, что ужаснее, самой себе. Она оборвала нить, убедив себя в том, что не сможет удержать ее, и затеряется в бесконечных проблемах и трудностях.

...Однажды ее матушка поднялась среди ночи, чтобы завесить окно, сиявшее беспощадным лунным светом. Я ненавидел ее даже за это намерение — Ева с младенчества обожала засыпать в лучах волшебного спутника нашей любви, и эти распахнутые шторы были пригласительным билетом для меня, ее личным колдовским знаком. Сделав свое инквизиторское дело, женщина обернулась и вдруг с ужасом уставилась прямо на меня, сидевшего на краешке Евиной постели. Я смотрел в ее глаза, не в силах пошевелиться, судорожно соображая, как такое стало возможным.

Два года мое присутствие в Евином мире не требовало большого энергетического напряжения, и реальность наших ощущений не сопровождалась изменением обстановки вокруг. Затем, по мере того, как мы становились все более близки, а накал телесности сильнее, энергии требовалось больше, и ее всплески уже не оставляли пространство неизменным, проявляясь в звуках и движении вещей. Чем глубже была сексуальность, тем тревожнее гудели энергетические вихри. Подозреваю, что в прекрасном и злосчастном финале этой

истории (к которому мы неминуемо приближаемся), я был уже доступен и *проявлен* для любого случайного зрителя и слушателя.

— Уходи, — прошептали ее губы, — отойди от моей дочери, демон.

И я исчез. Наверное, она порадовалась легкой победе, но я не мог остаться: родительница собиралась устроить истерику. Моя малышка проснулась бы и вновь пережила ужас нашей катастрофы. Не знаю, что чувствовала ее мать, но мое сердце разрывалось, когда она плакала. Я предпочел уступить.

Так продолжалось две недели. Я сходил с ума, Ева стала болезненной тенью самой себя. Лицо ее матери превращалось в надменную мину неофита, уверовавшего в силу святой воды. Странно, но она также непоколебимо верила и в покорность своей дочери, и уже спустя несколько дней вела себя с ней, как ни в чем не бывало. А затем и вовсе уехала по делам в соседний город.

Когда я понял, что Ева остается одна не только на день, но и на грядущую ночь, в мое сознание тотчас же пришло понимание того, как надо действовать. Да, план родился сразу же. Я не мог позволить ей уйти. Если всего, что я делал до этого, было недостаточно — что ж, я готов был перепродать свою душу, лишь бы удержать ее.

Но как крепко я сжимал ее в ту ночь в своих объятиях — с такой же силой я захлопну крышку ларца со своими излюбленными драгоценностями прямо перед вашим носом.

Глава 9

Не помню, чья это была идея — однажды заснуть в разных комнатах. В первый год моих потусторонних приключений мы с Глэдис виделись, по меньшей мере, каждую неделю. Либо она не выдерживала разлуки и отыскивала меня в туманах родины, либо я приезжал к ней — обсушить под солнцем увлажненную постоянной моросью шкуру. Несмотря на сверхчеловеческую нежность к запредельному близнецу, я слишком отчетливо осознавал Евин возраст. Тем более, что своими выходками и глупостями, выскакивавшими со дна моей памяти наутро, она не давала мне о нем забыть. Посему спутать эти линии жизни и двух женщин — одну взрослую и состоявшуюся, другую маленькую и своенравную (исподтишка и искоса) — я никак не мог, и по-прежнему был любящим супругом.

Признаться честно? Я вел себя, как махровый эгоист. Я был до пределов наполнен самодовольством: не только подросший Николас, но и не доигранная роль мальчишки получили нарядно упакованные подарки от жизни. Внезапно я обнаружил, что обладаю замечательной способностью без всякого зазрения совести любить сразу обеих — и не могу сказать, что мне пришлось как-то поделить между ними свое сердце. Они великолепно уживались в нем, не подозревая о существовании друг друга. Точнее, Ева постоянно возвращалась к своей детской ревности, ядовитым голоском выспрашивая о повседневности Глэдис; а вот моя законная супруга была вынуждена обходиться догадками о происхождении тихого счастья, впечатанного в мои зрачки. «Ну, ничего, я просто еще маленькая», — читалось во взоре далекой принцессы. «Николас, в чем дело?» — с просту-

пившим в голосе инеем спрашивала моя подручная королева. «Все в порядке, Глэдис», — с улыбкой отвечал я, и мы вновь принимались за свои дела, у которых отныне почему-то не было общего знаменателя и единого результата.

Утомленный похождениями в параллельной вселенной и беспощадными к здоровью попытками отразить их в полотнах, я все чаще отдыхал (так я обозначаю действительный физический сон, определенный потребностями тела) на диване в своей мастерской — где бы она ни находилась, в Лондоне или Майами. Это было естественно, и у жены не было никаких претензий ко мне, свалившемуся от усталости среди разбрызганных белил, пульверизаторов, склянок со скипидаром и перепачканных мечтами кистей.

Так происходило, впрочем, только в присутствии Глэдис: оставаясь один, я старался с комфортом использовать свои апартаменты, с их шелковыми пространствами, освежающими ветерками и янтарным сиянием светильников. Но и остальные ночи постепенно превращались в пародию на супружескую жизнь. Удобно подворачивался миллион поводов растратить энергию: работа, путешествия, задержанные вылеты, всплески эмоций, штормовая угроза, провал выставки, удачная сделка, слишком большая доза шампанского... Этого хватало, чтобы направить свой дух по знакомым проводам, но не развернуть тело на другую сторону постели.

Постепенно наша жизнь свелась к никчемным разговорам и пестрому узору свежих газет в свете утреннего солнца. Иногда мы выбирались в ночные клубы, весело проводя время и потягивая инопланетные коктейли из бокалов причудливой формы. Я не чувствовал — или предпочитал не чувствовать? — ничего, сулящего опасность в этих раскладах и расцветках. В конце концов, мы уже шесть лет были женаты. Страсти утихли, ароматы

приелись, тонкие нервы превратились в канаты. Я остервенело работал и упрямо засыпал, она — пыталась что-то сделать с судьбой, кидаясь от ювелирного дела к выпуску собственного глянцевого журнала. Наша совместная дорога медленно, но неминуемо сворачивалась в свиток, исписанный устаревшими правилами и забытыми желаниями, загаданными на давно пропавшие звезды.

Кто может упрекнуть меня в том, что я впервые ощутил волю и своенравное дыхание сущности, крепко запертой и твердо стиснутой в необозримых глубинах самого себя, и потерял от этого голову? В детстве и юности я обязан был соответствовать ожиданиям, затем связал себя новыми обещаниями — и вот, наконец-то обеспечивший себе беззаботную жизнь и свободу, я возомнил, что вправе воспользоваться ею. Трезвой оценке ситуации мешало то, что мы с Глэдис за эти годы стали лучшими друзьями, неназойливо оттеснив пылких любовников на второй план. Брак не развалился, как только мы перестали прикасаться друг к другу.

Какое-то время я продолжал захаживать в гости к Айрис, но ее любопытство, направленное на мою тайну, становилось все более навязчивым. Возможно, ведьма старела, или приток клиентов у нее уменьшался, и она нуждалась в подтверждении собственной значимости. Так или иначе, многозначительные взгляды в мою сторону, которые она не стеснялась бросать прямо при Глэдис, выводили меня из равновесия. Я до сих пор не могу до конца понять: действительно она руководствовалась какими-то доступными ей одной, потусторонними моральными принципами — если *там* таковые существуют?

Не прошло и пары месяцев, как она помогла мне превратиться в ангела-хранителя моей Евы, а мне уже было неуютно в ее присутствии. Она стала неудобной свидетельницей того, сколь далеко я зашел в своих астральных вояжах. Я просил ее ничего не рассказывать Глэдис,

но чувствовал, что не смогу переломить каменный стержень упрямого фатализма, подпиравший ее продажную душу. Откуда я знал, что и когда ей нашепчут ее своевольные духи, решившие, что игра становится вялой, и надо бы подбавить искр под зад главному герою?

На всякий случай, я прекратил свои визиты к ней, предоставив жене свободу и в этих делах. Глэдис я объяснил, что чересчур утомлен эзотерическими изысканиями и обязанностью верить и принимать все, что говорит Айрис. «Я никогда не искал гуру», — сказал я. Куда она теперь уходила по вечерам, и о чем они болтали с безумной ведуньей, я не интересовался, боясь притянуть в свою жизнь хотя бы намек или тень возможной катастрофы.

По своему простодушию, я не сразу сообразил, что мне стоит тщательней прятать физическое тело, пока моя эфирная сущность пребывает за границами нескольких стран, а порой — и материков. И сейчас я не могу с уверенностью сказать, заглянула ли ревнивая супруга в сказочные закрома, или воображение дорисовало ей их богатства — уже после того, как доброжелательная ведьма, благословившая меня в это плавание, почти на пальцах объяснила ей, чем и как я занимаюсь, отвоевав право на одинокую просторную постель. По крайней мере, когда эта ненормальная правда всплыла наружу, Глэдис предъявила мне очень яркие и образные претензии, смачные подробности которых я предпочту опустить в своем повествовании.

Все рухнуло в одночасье — как и в случае с Евой. Однажды я вернулся во Флориду после двухнедельного присутствия в космосе вдохновения и грез, уже болезненных, но столь же любимых. Жены не было дома, но не потому забытое нараспашку окно с прозрачным парусом ультрамаринового шифона отзывалось непривычной пустотой в сердце. Нечто, прохладное и с запахом сырости, захватило меня в плен, как только я пере-

ступил порог, проковыряв непослушным ключом вход в реальность. Все настораживало: солнечный квадрат окна на полу, непривычный розовый букет на журнальном столике, брошенная у дивана змейка апельсиновой кожуры, два бокала из-под виски, оба — со следами губной помады. В ванной комнате я обнаружил небрежно скомканный комплект нижнего белья. В спальне — черный чулок, свисавший с постели, на которую я и присел, пытаясь осмыслить новые штрихи мира, наполненного чрезмерной, смятенной и неспокойной женственностью, доведенной до вульгарности, не присущей Глэдис.

Когда она вернулась, я уже разобрал чемодан и готовил ужин. Бокалы я оставил в раковине, как улику, способную прояснить источник сквозняка, пронзившего наш дом.

— Привет, дорогая, — сказал я, выглядывая из кухни на шум, раздавшийся в холле.

Она посмотрела и тут же отвернулась. Спустя десять минут зашла ко мне, глушившему свой страх журчанием воды из-под крана. Молча присела на табурет.

— Кто у тебя был в гостях? — спросил я, показывая ей бокалы. — Подруги? Сестра прилетала?

Глэдис пожала плечами, а потом ответила: «Айрис».

Предчувствие тут же заморозило мои внутренности.

— Айрис? Здесь? Ты позвала ее в гости?

— Нет, она сама пришла.

— А букет? — я попытался удержать ускользавшие краски судьбы. — Она принесла с собой? Ты же не любишь этот цвет.

— А? Нет, это тот парень из автосервиса. Помнишь, он флиртовал со мной? Вот и купил, пока я заправлялась. Ники, перестань...

— Что? Я не ревную, дорогая.

— Нет, не это. Перестань делать вид, что все в порядке. Айрис мне все рассказала. О твоих сновидениях.

Наверное, у нашего спектакля был заштампованный и бесталанный режиссер, но один бокал действительно разбился.

— Пойдем в гостиную, — как-то глухо сказал я, бездумно пялясь на его осколки.

Там я бросился в бой, спасая свою реальность.

— Глэдис, как ты могла ей поверить? Это всего лишь ее догадки на почве моих снов. Я, как всегда, использовал их в творчестве, не больше. Я творческий человек, я имею право на определенную ненормальность. Придавать этому смысл — значит, погружаться в нее вместе со мной. Я люблю тебя!

— Ты думаешь, я ничего не замечала раньше? — перебила она меня. — Да ее слова лишь все расставили по местам. Ты же совсем потерял ко мне интерес, разве не так? И по времени совпадает. Но, Боже мой...

Как такое может быть, Николас? — прошептала она, не сводя с меня расширившихся от ужаса глаз. — Я просто не понимаю: Как. Такое. Может. Быть?

Ее сдавленный голос уже выходил на границу надрыва, и я боялся, что сейчас последует истерика. Но Глэдис продолжала сидеть, впившись указательными пальцами в виски — и это жест носил в себе много, слишком много воистину потустороннего страха. Я не знал, чего хотел в этот момент больше: ее предположений в моей ненормальности, или же помощи, которую она могла мне предложить. Удивительно, но на самом дне души еще корчился от боли, едва дыша в предсмертной агонии, прежний Ники Фламинг, страстно желавший, чтобы его уверенным рывком вытащили из пропасти, в которой он оказался, и заставили встать на ноги — дабы вновь идти по солнечной счастливой жизни рядом с этой прекрасной, благородной и любящей женщиной.

«Глэдис! — хотелось крикнуть мне, когда я чувствовал, как сердце еще бьется в груди того мальчишки. —

Спаси же меня! Неужели ты не видишь, что со мной происходят чудовищные вещи?»

Но разве младенец, которого силы природы выталкивают из утробы матери, не вопиет безмолвно своим невидимым богам о том же самом?

И это знание возвращало меня к несокрушимым воспоминаниям о любви, какими бы тяжелыми камнями она не мозжила мне голову.

Сейчас, рассказывая об этом, я тем отчетливее понимаю, что ни при каких обстоятельствах не хочу вернуться в то жуткое время, когда оказался кинутым на произвол судьбы обеими женщинами, которых любил. Как ни один взрослый человек в здравом уме не согласится вновь пережить кровавое удушье родовой травмы — так и я не желаю помнить, как меня выбросило на берег полнейшего одиночества. Я впервые остался совершенно один, предоставленный сам себе, получивший право жить, как хочу — и оказалось, что у меня уже нет сил воплощать свои замыслы и стремиться к чему-либо.

— Глэдис, может быть, ты считаешь, что я сошел с ума? — спросил я ее, тихо и не без надежды, что все оно так и окажется. Безумие было моим спасительным пристанищем, освобождавшим от чувства вины перед ней.

— Нет, — покачала она головой, — я не настолько косна, чтобы не поверить в очевидное. Но я не уйду просто так, Ник. Я выясню все, что хочу.

Я вскинул голову: она собирается уходить?! Но, Глэдис, милая...

— Я начну с того, что легче вынести, — она глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. — Как вам удалось это провернуть вдвоем? Я понимаю, что ты способен на многое, но... эта девочка, как она смогла установить с тобой контакт?

— Может быть, это всего лишь мои фантазии, милая, — пожал я плечами, чуя, как холодеет кожа и неми-

нуемо надвигается жестокое упрямство.

— Не лги мне, — Глэдис почти закричала на меня, — почему ты во всем лжешь, Николас? Даже в этом! Айрис сказала, что ты влюблен до беспамятства — и ты думаешь, что сейчас выкручиваешься передо мной? Ты лжешь перед ней — своей избранницей! Как вы это сделали?

— Я не знаю.

— Я унижена, растоптана, — она заплакала, и мне было невыносимо смотреть на нее: именно эти слезы и унижали ее еще больше. — Я посрамлена, и кем? Соседской девчонкой, которой ты увлекся? Нет, ее возраста недостаточно, чтобы совсем раздавить меня — она еще и существует лишь в твоей душе. Айрис... Неужели ты думаешь, что я благодарна ей за то, что она рассказала? Она обманула меня, да и тебя тоже. Она сделала все, чтобы сломать наш брак. Зачем ей это надо было? Жестокая, циничная женщина — она так спокойно смотрела на меня своими бесстыжими глазами, описывая, как вы с ней все это провернули.

— Мы ничего не проворачивали, Глэдис. Как ты не можешь понять — я сам оказался в ловушке своей же судьбы. Это то, что жило во мне изначально, моя детская мечта. Как я могу притвориться обычным мужчиной, если я разделен надвое? Эти чувства сильнее меня.

— Ты предлагаешь мне принять это? Ты говоришь то одно, то другое. Ты изолгался и погряз в своей трусости. Когда ты намереваешься воссоединиться с ней в счастливом союзе?

— Глэдис, что за чушь!

— У тебя с ней что-нибудь было — там, в этих твоих сновидениях?

Я обхватил голову руками и рассмеялся.

— Теперь, когда ты произносишь это вслух, я начинаю понимать, что это — всего лишь наваждение. Глэдис, это моя навязчивая греза — не больше.

— А как же все эти ваши с Айрис рассуждения о душах-близнецах?

— Это были ее слова, ты помнишь?

— А твои давние стремления найти кого-то, похожего на тебя?

— Может быть, я настолько слаб, что способен чувствовать себя уверенно лишь с собственным отражением?

— Мне наплевать, Ники. Уже наплевать — слаб ты, или нет. Я задала тебе вопрос: ты трахался с ней?

— Заткнись, дорогая, или выбирай выражения.

— Значит, да. Что ж... Мне понятно и еще кое-что: ты и впрямь влюблен.

С этого момента она стала на удивление спокойной. Выпрямила спину, стерла дорожки слез с лица, нервная розовость которого постепенно выцветала, превращаясь в болезненную бледность. Хорошо, я попытался выправить линию жизни.

— Глэдис, милая, это все в прошлом. Ты не представляешь, что случилось, но этого больше нет. Неужели ты не можешь простить меня за ошибку? Многие пары проходят через измены. Должно же быть что-то большее, нежели человеческие слабости!

Наверное, даже если я призову всех духов, повелевающих словом, я не смогу передать тот градус презрения и изумленного ужаса, отобразившегося в ее глазах.

— Ты действительно последнее ничтожество, — прошипела она мне, — ты не представляешь, насколько отвратителен в этих потугах спасти свою шкуру. Есть ли у тебя совесть, или даже душа, Николас? Или ты ее и впрямь продал с подачи нашей знакомой ведьмы?

— Глэдис, моя мечтательность не должна разбивать нашу с тобой жизнь, — упрямо твердил я.

Откуда мне было знать, что в моем собственном зазеркалье темный двойник Николаса Фламинга затеял

последнюю битву за трон? Я готов был отречься от чего угодно — таким сильным был страх потерять все, что раньше составляло мою жизнь.

Я не сказал вам еще? Мои пылкие признания и самозабвенный полет в пределы искушений не спасли вечную любовь: Ева прогнала меня вновь, на следующее утро после той ночи. Едва я отлучился на час, чтобы привести себя в порядок — вечером предстоял вылет во Флориду — и какие-то реальные, *настоящие* (черт бы их побрал!) люди, соседи или знакомые, вторглись в ее жизнь, уверяя, что видели ее падение в пропасть, слышали мое присутствие, чуяли ликующий запах сквозь тонкие стены. И она набросилась на меня, со слезами и горем, упреками в том, что я разрушаю все, к чему прикасаюсь, действую на потребу своим желаниям, не задумываясь о ее судьбе. Приблизительно так.

Вы случайно не то же самое слышали? Звенело ли в воздухе возле вашего уха, язвило ли кончик языка?

Теперь вот и жена собиралась предать меня.

— Что тебе нужно от меня, Ник? Комфорт, благополучие? Тихий вечер в нашем особняке? На что ты еще пойдешь ради этого? Где живет твоя любовь, дорогой мой?

Что я мог отдать ей? Свое молчание?

— Так что ты сказал? У тебя с ней все кончено?

Чувствуя, как меня мутит от собственных слов, запинаясь и сгорая от стыда, я вкратце передал ей суть своей потери. Смех, который я услышал в ответ, мог принадлежать пособнице дьявола.

— Ты оказался таким ничтожеством, что тебя бросила твоя же греза? Николас, с моей стороны было бы величайшей ошибкой оставаться с таким мужчиной!

Она унижала меня, уже без истерики, точно, метко, попадая в глубокие ранки под содранной кожей. А я по-прежнему цеплялся за крохи счастья, которые еще не бы-

ли сметены ветром, расправившимся с моим пиршеством.

— Глэдис... Теперь, когда все закончилось, давай заживем, как прежде.

— Ты думаешь, я смогу когда-либо забыть, что ты предпочел свою... мыслеформу — мне?! Разумеется, мы больше не будем вместе.

Что-то еще происходило — в той же тональности, такими же мазками, но бесполезное и изматывающее. Она собирала вещи, потом уходила — уже молча, а я кричал ей вслед: «Остановись, что ты делаешь? Не уходи, Глэдис!». Она вышла из дома, уехала из города, пересекла границу в облаках, а я, кажется, все еще сидел на полу у двери и шептал свои просьбы. Но все же — для тех, кто нарисовал законченную картину моего падения — могу набросать финальные штрихи собственного портрета: я никогда не вставал перед ней на колени. Мне, видите ли, уже было, перед кем пресмыкаться.

Очнувшись, я первым делом помчался к Айрис, чтобы наконец воплотить смутные желания, время от времени зудящие в подушечках пальцев, как только она самовольно вторгалась в границы моей потаенной страны. Я выместил весь этот тремор и ярость на входной двери ее дома, но она держала меня на улице, пока я обессилено не замер на верхней ступени. Тогда раздался металлический скрежет и, не снимая дверную цепочку, она сверкнула на меня своими глазами.

— Айрис, впусти, — сквозь зубы потребовал я, — ты мне все объяснишь, или я сделаю твою жизнь невыносимой.

Она ухмыльнулась в ответ.

— Скажи мне, — проорал я ей в лицо, — тебе-то какая выгода, что моя жизнь покатилась к чертовой матери? Зачем ты это сделала?

— Ты, я смотрю, по-прежнему мыслишь вопросами

выгоды. Собирался прожить во лжи до ее совершеннолетия, а потом помахать Глэдис ручкой?

— До какого совершеннолетия, старая ведьма? Я даже не знаю, где ее искать!

— Не жалуйся на свою бездарность, — были ее последние слова мне, и она захлопнула дверь.

Думаете, на этом мои мытарства прекратились? Нет, кто-то наверху (или внизу?) решил, что этого недостаточно, чтобы закончить ваять падшую тварь по имени Николас Фламинг.

Первые две недели ужасный стресс не давал мне вполне осознать глубину потери, приключившейся со мной в двух космосах одновременно. Затем, когда я воочию убедился, что способен сам убирать в доме, включать кофеварку и выносить мусор, что я не умираю во сне и не осмеливаюсь затянуть петлю наяву, что нарочито бодрым голосом отвечаю на телефонные звонки и однажды даже мило мурлыкал с симпатичной продавщицей мороженого, которую опустошил на пять брикетов — в надежде, что их ванильный запах привлечет мою Грезу...

И вот тогда наступила любовная горячка. Чуть окрепнув, мое тело вспомнило, на какой пронзительной ноте оборвали его песнь. Моя кожа тут же воспалилась от снедавшего изнутри жара, а губы бесконечно пересыхали от жадных воспоминаний. Не в состоянии умолить ту, от которой зависело мое спасение, я искал его в бесплодных мечтаниях, присущих любому — но лишь истерзал себя, не найдя ни одной капли успокоения. Я не мог уснуть: постель сотрясалась от ударов моего сердца, и его эхо заставляло меня скатываться с отзывчивых перин на пол, где в пыльной прохладе гномьего мира, с колоннами диванных ножек и продавленных сводов кресел, вибрация души глушилась, уходя в подземный фундамент. По венам текла отравленная кровь, и вскоре каж-

дая тень и стебель цветка представали в воображении демонической стрелой, искусно выпущенной в цель из мрака моей памяти.

Но, связанный по рукам и ногам любовью, я изменил ей впервые лишь спустя девять месяцев, хотя уже через два был раздавлен ее изменой. Да-да, я не оговорился.

Это был ненормально жаркий августовский вечер, о котором я, вопреки настойчивым советам психоаналитика (не подозревающего, как сильно я обманываю его), не хочу и не буду много вспоминать. Он необходим лишь как одно из звеньев платиновой цепи моей истории — увы, как бы ни старался я скоро пробегать по нему взглядом, без него она развалится. Я найду сильные и верные слова, чтобы описать пунктир событий и мои эмоции, но очень надеюсь, что от них на живом зеркале космоса разойдутся не слишком большие круги. Путь лучше они канут на дно тяжелыми камнями и навеки останутся там — разве от них зависят золотисто-розовые отражения закатов и рассветов, попавших в плен водной глади?

Я так долго старался убедить себя в том, что это была неточность восприятия, какой-нибудь очередной страх, заполонивший мое сознание и превратившийся в кошмарный сон. О, нет, я лгу. Разумом — если только позволено будет так назвать тот зыбкий и подверженный разноцветным видениям инструмент, которым я вынужден пользоваться — я осознавал, что все произошло именно так. Но мое нежелание придавать этому решающее значение, есть, в конечном итоге, ни что иное, как готовность принять житие моего нежного ангела во всех списках с оригинала. Что ж, пусть будет так. Это все равно ничего не меняет. Ничего не меняет, ничего не меняет... Я буду повторять это как мантру для особого случая — и верить, что ее целебное действие исправит ошибки в письменах.

В конце концов, я никогда не забывал, что она была

всего лишь ребенком. Несносным подростком, которому я сам дал слишком много — гораздо больше, чем было способно вместить ее сердце. Только два вопроса могут меня вернуть к этим воспоминаниям, но и на них я даю быстрый ответ: Зачем? И почему она сделала это? Тихая домашняя девочка с зашкаливающим интеллектом и врожденным отвращением к банальности и человеческой похоти. В отчаянном заблуждении, что этим она изгонит меня из своей души окончательно? Сотворит нечто, невыносимое для моих глаз, смертельное для моей любви? Наивная! И ее желание распрощаться со мной, и ее ужасный поступок я сразу же посчитал проявлением глупости и подтверждением того, как до сердечной боли беззащитны и доверчивы бывают дети.

Но есть и другой ответ на эти вопросы, и он впивается гораздо глубже и болезненней.

Быть может, не в силах повелевать миром взрослых и спасти нас, она, тем не менее, верно поняла ситуацию и затаила обиду на мать? Может ли такое быть, чтобы она втайне рассчитывала — та поймет сама, или кто-нибудь любезно донесет ей, что натворила ее непутевая дочь? Омерзение по отношению к плоти, живущее в душе этой женщины, возобладало бы над материнским инстинктом, и пропасть между ними расширилась до вселенских беспределов. Она перестала бы держать пальцы на ее тонкой шее, сдавливая каждый раз, когда девочка пыталась вдохнуть чуть больше воздуха, чем впускала в себя грудь ее родительницы. Но...

Малышка, похоже, испугалась разрушить свою реальность окончательно и утаила проступок. Не знаю, что было правильным, а что — нет. Сбилась она со своего пути, или все это было предначертано, и мы шли, как безвольные марионетки, ободряемые иллюзией самостоятельности?

Размечтавшись, я могу представить, как она сбегает

из дома, в жестокой искренности выкинув в пекле скандала вперед, прямо под нос матери, свои тонкие руки с ожерельем из синяков, подаренным *им* в тот вечер. Как еще раз зовет меня, и я мчусь, обгоняя дорожный патруль, к аэропорту, чтобы сесть на подогнанный ангелами самолет. Я бы отдал ее в лучшую школу, покупал бы ей самые красивые платья и кукол с небесно добрыми глазами. Я сделал бы ее королевой какого-нибудь маленького, но прелестного государства. И что бы ни осталось в ее прошлом (как ужасно это звучит в отношении моей Грезы!) — я пальцем бы до нее не дотронулся, пока она сама не прильнула бы ко мне.

Господи, что за чушь я несу! Она затеряется на полпути ко мне, в этом жестоком мире. Первый же попавшийся подонок снимет ее с поезда вместо меня. А рискни она обратиться за помощью к блюстителям порядка, как бы не оказаться ей в каком-нибудь вшивом приюте, откуда мать — я уверен! — не поторопится ее вызволить, превратив даже трагедию в назидание.

И знаете, какая страшная мысль вползла именно тогда в мой мозг, цепляясь за него давно нестрижеными когтями? Вот почему-то именно в этом месте, несуразно, с шероховатостью, доходящей до режущей остроты, ложился на фундамент моих размышлений вопрос: а спустя годы не пройдет ли она как-нибудь мимо меня? Не узнав, равнодушно отринув — когда мы будем в невыносимой близости разгуливать двумя туристами в одном из многочисленных дворцов ее до зубовного скрежета *исторической* родины? Не мазнет ли по мне взглядом, наполненным серой, с ничего не значащими крупинками пестроты, краской, в которую люди обычно окунают ненужную действительность вокруг? Если и я порой не узнавал себя прежнего в знакомом с детства зеркале родительского дома — какой спрос был с моей Спящей Красавицы?

Но пора уже покончить с этим. Итак, вот она, удручающе частая штриховка знойного вечера. Я, по жестокой божественной иронии, был тогда в ее стране, и три часа убил на сладкие улыбки и разъяснение замыслов очередной выставки — она удалась на славу, собрав неплохой куш и пронзив народную тьму лучом окультуренной Мечты. Я взмок под тонкой шерстью обязательного костюма и, примчавшись в гостиничный люкс, сбросил его, насладился легкой прохладой душа и облачился в одеяние для сна. Я намеревался навестить Евочку — если бы мне позволили силы, свои, чужие и общие. Так, просто отметить для себя, что цветы в ее комнате не увяли под палящим солнцем, и заброшенные куклы все же сидят на своих местах.

Ее не было дома. Глупая мамаша оставила ребенка в чужом городе, на попечение молодой, до мозга костей похотливой родственницы. И вот уже один из приятелей этой стервы вез мою крошку на свою квартиру.

Он все правильно рассчитал — учитель, педагог, психолог! Первая ученица в классе, дочь амбициозной дамы, она должна была испугаться за благополучие примитивной конструкции будущего, выстроенной для нее окружением. Мои надежды на то, что в ней проснется маленькая бунтарка, не оправдались — да разве не была она и со мной воплощением послушания и покладистости? Разве до этих злополучных летних деньков — ах, как жестоко звучат закаты и рассветы, не подчинившиеся надеждам! — не внимала она каждому моему слову, все дальше уходя от реальности по той радуге, которую я, в беспечном потакании собственным желаниям, нарисовал для нее?

Только ли запачканные жизнью беспризорники в пропахших тленом подвалах становятся жертвами подобных обстоятельств, или есть еще одна разновидность детей, заглатывающих приманку порока? Примерные,

лучшие, образцовые — с одной стороны. И отчаянно желающие не отставать в своем взрослении от других — с другой, затемненной и затаенной.

Я не буду возвращаться к зыбкой заводи ее собственных мотивов. Я не буду этого делать!

И как бы мне позаимствовать у лучей света их скорость, или у звука — его проницательность? Хорошо, давайте так. Я просил ее остановиться, я хватал ее за руки. Она смотрела сквозь меня, и своим холодным намерением сделала мое присутствие бесплотным. Он будто почуял что-то, на миг задержавшись и окинув взглядом лестничную клетку перед тем, как закрыть за собой дверь. Я бы заподозрил его в обычной трусости, но готов поклясться, что он принюхивался к дрожащему воздуху. Я остался снаружи, распластавшись на грязных каменных ступенях. Я хотел предоставить это ей — раз уж она так требовала от меня свободы. Но я был связан обетом, и когда она вдруг осознала, что натворила, мое сердце пронзил ее крик — мое имя, и я взлетел к ней в два взмаха крыла.

Что я мог сделать — отвергнутый и не воплощенный? Лишь поцеловать ее, чтобы хоть как-то облегчить ее страдания.

Оторвавшись от ее губ, я поднял взгляд. Он смотрел прямо на меня — глазами, наполненными ужасом. Он видел меня! Но быстро совладал с собой, скривившись в непонятной мне усмешке.

Ближе к утру, пройдя все круги ада, я сидел напротив их постели, вжавшись в простенок под окном. На улице шел дождь, отрезвляющий неумолимой свежестью, но где-то вдалеке раскаты грома сотрясали небо, еще раз напоминая о том, что ливень — не повод забывать о раскаленных углях, брошенных в мое нутро. Она открыла глаза и мы встретились взглядами. Я уже ничего не мог ей сказать — у меня просто не было сил. У нее тоже. Она

глядела невыносимо, неподвижно, бессмысленно и отрешенно — уж лучше бы она меня не видела. Ее взгляд сквозь меня был больше наполнен жизнью, чем эти же глаза, остекленевшие от жизни.

Спустя полвечности я кое-как поднялся на ноги. Ее любовник не был законченной сволочью, и я вполне мог бы увести ее оттуда. Да с самого начала, прояви она хоть каплю настойчивого сопротивления, он бы отпустил ее.

Но всего пара шагов — и я рухнул на пол, сраженный удушливой болью в груди.

Меня почему-то нашли в коридоре гостиницы, неподалеку от моего номера, в пижаме и каплях холодного пота. Хотя я искренне рассчитывал быть похороненным в саду ее дома. В лучшей клинике города, куда меня доставили уже спустя пятнадцать минут, гениальнейшие врачи ее страны пытались констатировать у меня сердечный приступ, но упрямая аппаратура выдавала лишь узоры бешеной тахикардии. Когда я сделал вид, что очнулся, две медсестры причитали, перешептываясь у моей постели: «Какой хорошенький... Конечно, такое пекло, а он все-таки художник...»

В полузабытьи я пытался отследить ее тень на дождевых тучах заболоченной земли. Я слышал ее, сидящей, как истукан, в поезде, на пути домой, затаившей дыхание и прячущей взгляд, натягивающей рукава свитера до костяшек пальцев. Я видел ее улыбчивое — улыбчивое! — молчание и лаконичные ответы родительнице: «Да, мам... Все хорошо, мам. Мы ходили в кафе и дважды — в кино. Э-э-э... „Чудовище“ с Жаном-Полем и другое, индийское... Пломбир с клубничным джемом, а еще с горячим шоколадом — да!» — тут ее потухшие глаза блеснули на сотую долю секунды. «Нет, было жарко. В синей юбке в цветочек».

Спустя несколько часов я потребовал, чтобы меня до-

везли до аэропорта. Сестричка, расчесывавшая мои волосы, спутавшиеся во время лихорадки, сделала круглые глаза и начала гримасничать профессору, приставленному ко мне по причине важности моей персоны. Никто не хотел меня отпускать — они еще не наигрались в Николаса Фламинга, и я опасался, как бы сюда не вломились журналисты, пронюхавшие столь радостное известие и успевшие сверить его с перечнем алкоголя в баре гостиничного номера. Но я проявил настойчивость и хотел сбежать прямо в больничной рубашке. Повторные приступы были детской забавой в сравнении с невозможностью устроить истерику и забиться в самый темный угол своей норы. Джон вызволил меня, и мои мечты сбылись. Я шаманил и избивал стены и мебель вокруг в течение суток, а потом вновь вернулся к Еве.

Я ведь простил ее сразу же. Слишком невыносимо было видеть ее отчаяние и боль, порожденные легкомыслием, чтобы еще и обвинять в чем-то. Конечно, я не предполагал такого развития событий: ничто в ее скромном жизненном опыте не говорило о том, что она рискнет пойти на подобное. Но, в конце концов, это случается каждый день по всему свету с тысячами девчонок ее возраста. И это совсем не главный узор в нашем волшебном панно из драгоценностей. И какое чудовищное благо крылось в приключившейся беде: вынужденный увидеть, как обошелся с ней этот негодяй с каменным сердцем, я простил самого себя. Я дал прощение своей душе, измученной укорами совести за тайные желания — слишком трепетные, неосязаемо нежные, чересчур глубокие, чем это дозволено неким искусственным стандартом любви, ревностно охраняемом цивилизацией.

В этом мире, населенном такими, как он, всего семь нот — но моя мелодия была сотворена из каких-то других. Я и до этого знал, какой непостижимой силой наполнена моя любовь к ней, но в тот вечер Бог сошел

на землю и, утерев мои слезы, сказал: «Посмотри, как ты любишь ее. *Я вижу*». Теперь я точно знал, что могу разделить с Ним свой секрет.

Я ходил за ней повсюду, и вскоре убедился, что она не собирается прыгать в порожистую реку со старинного моста. Не знаю, откуда нашлась в ней эта сила духа — возможно, не последнюю роль сыграло и то, что пусть не физически, но *метафизически*, этот длинноногий блондин все же не был ее первым мужчиной, и в моем королевстве снов я дал ей несоизмеримо больше ярких и сладких впечатлений, нежели он в реальности. Она оказалась неподготовленной к истине о разнице между любовью и банальным мужским желанием. Но, по крайней мере, и не была шокирована происходящим настолько, чтобы это мешало ей жить. К тому же, от безумства ее удерживало точное знание того, что она сама совершила этот выбор. Это жестокая правда, но она спасала. Человек никогда не захочет расправиться с самим собой: все суициды есть расправа с несправедливым миром. Груз своей ошибки не так тяжек, как вина Вселенной — наверное, потому что таковой вообще не существует, и непереносимой она становится в воображении человека. Парадокс. Но сколько жизней он мог бы спасти.

Спустя пару месяцев, когда она вновь ходила в школу, в классе появился влюбленный в нее мальчик, и она развлекалась с его сердцем, не подпуская к себе его руки и губы. Она ходила на вечеринки и вернулась к своему любимому занятию — танцам. Я успокоился, поняв, что дальнейшего падения в пропасть порока не запланировано в ее судьбе. Она по-прежнему сторонилась обычных человечьих забав, забирая у своих поклонников лишь их души — игра, которой, наверное, научил ее именно я.

Но она не видела меня. Она смотрела сквозь меня и едва не наступала мне на ноги, проходя в паре миллиметров от моего тоскующего по прикосновениям тела. Я

был нереален для нее — притворялась она или нет, я не знаю.

Однажды мне удалось разбудить ее посреди дневного света. Я был в стельку пьян — белые вина стали моей постоянной забавой с той поры, как она прогнала меня. Она занималась обычными домашними делами, никого не было рядом, и я прорвал-таки пространство своей болью и отчаянием. «Девочка моя! — кричал я. — Посмотри, я все еще здесь! Посмотри же на меня! Что бы там ни было, давай начнем сначала. Я буду ниже травы, тише воды, я буду делать все, что ты скажешь. Если хочешь, я буду приходить только тогда, когда ты позовешь меня — но позволь мне коснуться тебя, не отвергай меня...»

Как видите, я нес обычную дребедень всякого влюбленного. Она плакала, закрывала лицо руками и отпихивала меня ногой, поскольку я, ползая вокруг нее на коленях, цеплялся за нее, и она в кои-то веки чувствовала меня. Я тоже униженно рыдал и тем самым, похоже, причинял ей сильную боль. Она твердила, как заклинание: «Уйди, уйди, тебя не существует, ты демон!»

— Почему же я демон, любимая моя? — спрашивал я, пытаясь поцеловать ее в коленку, которой она, в свою очередь, старалась разбить мне нос.

— Так не бывает! Этого не может быть! Ты там, а я здесь!

— Ты чувствуешь меня, чувствуешь ведь? — мне удалось обхватить ладонями ее ножку повыше, и теперь Ева, тесно сжав колени, оттаскивала меня от себя, вцепившись в мои волосы на затылке. — Ты меня чувствуешь, значит, я здесь!

— Мама сказала, что ты бес, а я одержимая!

— О-о-о, нет... — прошипел я, — еще раз вспомнишь о своей мамочке, и я задушу ее во сне!

— Вот видишь! — закричала она. — Ты чудовище! Ты не можешь по-хорошему! Ты сломал мне жизнь. Уходи!

Она забралась в угол своей кровати — той самой, где мы провели столько чудесных ночей, рассказывая друг другу волшебные сказки и привыкая к мысли о неизбежных поцелуях. Она плакала, и я мучил ее жаркими признаниями и атаками еще час или два, но с некоторых пор в ее глазах поселилось новое чувство ко мне — страх. Этого я не мог долго выносить, несмотря на адские пытки сердца и тела. И потом... Я ведь, кажется, обещал слушать ее во всем? И когда она в тысячный раз крикнула мне: «Уходи!» — я, растоптанный полностью, уполз на коленях в свою лондонскую берлогу.

Я отступил, сраженный ее жестокостью не только по отношению ко мне, но и к самой себе. Она готова была истязать себя, лишь бы не видеть меня. Следовало ли мне уже тогда поверить, что ее любовь ко мне внезапно и непредсказуемо исчезла? Но что я сделал такого, чтобы заслужить эту кару? Я слишком отчетливо понимал, что только страх перед *реальной* жизнью подавляет ее тягу ко мне. Я не обидел ее, и то, что произошло той летней ночью, должно было только укрепить и оздоровить ее чувства ко мне. Она еще была слишком юна и чиста, чтобы лгать, трепеща в моих объятиях, обжигая мои пальцы своей раскаленной кожей.

Но я оказался недостаточно силен, чтобы решить все ее проблемы, которые она вдруг совершенно по-взрослому обнаружила в жизни. Раньше она доверяла мне и терпеливо ждала, пока я что-нибудь придумаю — я, ее старший друг, защитник, избранник, дарованный свыше. Почему ныне она не поверила мне, не согласилась с моим планом, не рискнула сбежать, усомнилась в том, что я буду ждать в самом большом городе ее страны, на перроне, куда прибудет поезд? Своими поцелуями — сначала братскими, затем по-настоящему мужскими — я, как мог, вытравливал из нее установки, привитые ее ближайшим окружением. Но в тот момент, когда стрела, звеня

от напряжения, казалось бы, попала в цель, они сработали вместе с ней! «Он обманул тебя, он воспользовался твоим доверием... Посмотри, разве может он сейчас, сию секунду вызволить тебя из очередной неприятности? Где он? Разве он реален? Может быть, он — иллюзия? И как ты могла поверить в иллюзию? Быть может, и с тобой не все в порядке? Ты больна?..»

Вот что шептали ей настоящие бесы, в зависти слетевшиеся полакомиться нашей любовью и решившие сожрать ее без остатка.

Но я сумел очнуться и от этого отчаяния, и в очередной раз восхвалил Господа за то, из какой прочной и гуттаперчевой глины он слепил мою суть. Во мне сочетались противоположные качества, противоречивость которых быстро подмечали все, кто был со мной знаком. На первый взгляд, я проигрывал в силе духа любому экземпляру мужского пола. Но это компенсировалось таким невероятным упрямством, что на тысячный раз — в том месте, где остальные уже падали в бессильной ярости — я брал высоты, неподвластные недавним соперникам. Секрет этого упрямства в том, что я лишен знаменитой непомерной мужской гордыни. Я могу долгое время неспешно плестись в хвосте, экономя энергию и попутно наслаждаясь радостями бытия — чтобы в один прекрасный миг, когда вожаки издохнут, все в пене, также неторопливо, с оглядкой, обойти их неподвижные тела и забрать то, что причитается мне по праву терпеливости. Я спокойно выношу насмешки, приученный к ним с детства, потому что знаю — меня ждет награда. И если кто-то посмеет усомниться в том, что мой приз — лучший, я, опять-таки медленно, но настойчиво, заставлю их признать обратное.

В молодости, купаясь в потоках льющегося на меня признания и богатства, я пребывал в уверенности, что люди способны разделить со мной эту радость и не ис-

пытывают зависти и злобы. И даже сталкиваясь с очевидной неприязнью, я прошел через многое, прежде чем осознал, насколько ошибаюсь в человеческой натуре.

Не знаю, часто ли встречается такое чудо в перьях: увешанный золотом и бриллиантами, с удовольствием источающий ароматы и благосклонность, я в то же время был настоящим простофилей. Злоязыкие недруги пытались создать образ деревенского дурачка, случайно обласканного судьбой. Они ошибались: моя недалекая доверчивость была уверенностью дофина, что он находится на троне по праву, и все искренне желают ему только блага. Так же, как и он им — ибо разве нашелся хотя бы один, кто просил его о помощи, и не получил ее?

Но время шло, и я неминуемо изранился об острые углы и недобрые взгляды. Поначалу я корил себя, недоумевая: что я сделал не так, раз зеркало мира отражает мне столь темные стороны жизни? Теряя уверенность, привыкая унижаться ради того, чтобы остаться в строю, я непрерывно работал над собой, очищая собственное эго, вылущивая свои мысли. Все тщетно: вокруг по-прежнему была одна неприязнь. Я истоптал еще много железных башмаков, прежде чем мне открылась жестокая, тщательно скрываемая от сотен тысяч «просветленных» истина: мы едины, но не равны. Мир всегда остается зеркалом, но иногда он отражает просто — настроение, а вовсе не отношение к людям. Библейские слова искрошились в прах под ударами судьбы: люди вовсе не обязаны относиться к вам так же, как и вы к ним. И порой просто глупо и беспечно растрачивать себя на доказательства любви к ним. Если мир рушится — никогда не грех себя уберечь.

Вот таким слабым, но изворотливым, всегда готовым поверить, но извлекающим уроки, я и оказался в очередном водовороте — то ли реальных событий, то ли бесовских эмоций, внедренных в мою душу. Я должен был выжить — раз. Я обязан был проследить, чтобы выжила

она — два. И поэтому мой разум, подсознание — все, что угодно — нашли сотни оправданий и лазеек, миллионы добрых лучей, по-иному бросивших светотени на пережитый кошмар.

Но было и еще кое-что. Хоть я и мог в буквальном смысле зарисовать или описать каждую нашу встречу в Небыляндии, я вполне предполагал какие-то временные искажения. «Возможно, — говорил я себе, — то, что чудится мне четвергом в июне, на самом деле было воскресным днем сентября. Или же год нынешний поменялся местами с тем, что грядет спустя пять лет по моему календарю». Да, я не допускал и мысли, что ее не существовало в моем временном пространстве. Но неточность могла достигать нескольких лет — какая разница!

И затем... (и этот факт сильно действовал на левое полушарие, заставляя рационализм сворачиваться под ударами очевидности, переживаемой сердцем): я не смог вовремя почуять, когда и как она окончательно выбросила меня из своей памяти. Видите ли, если бы я сам выдумал все это, то отдавал бы себе отчет, что постепенно теряю интерес к фантазийной музе, помогавшей мне жить и творить на протяжении двух с половиной лет. Но я не терял интерес! Это она потеряла его — ко мне! И не сразу, а так, как это и происходит в обычной жизни с обычными маленькими ведьмами.

Сначала она запретила приходить к ней, но не переставала думать обо мне. Если я попытаюсь перевести свои ощущения на язык обыденного восприятия, то это происходило примерно так: я звонил ей «по телефону», она поднимала трубку и упрямо молчала в нее. Но все-таки поднимала! Или наоборот: она «звонила» мне, и когда я опрометью, с самыми пылкими признаниями и слезами бросался к аппарату, то слышал лишь потрескивание космоса и ее дыхание. Но она оставалась на связи, пусть и считала меня недостойным своих слов.

А иногда это выглядело, как если бы я прогуливался у забора, за которым цвел прекрасный сад, взывая к ее состраданию, и она, прохаживаясь средь печальных синих цветов, говорила что-то — но не мне, а собственному сердцу. Она шептала мое имя и плакала обо мне, она скучала. Но стоило мне отозваться с готовностью служить ей и дальше — либо замолкала, либо продолжала свой плач, не обращая внимания на мое присутствие. Но поток ее мыслей тек в моем направлении. И это давало мне силы и веру. Я готов был подождать, пока перебродят ее детские капризы — если уж все, что с нами стряслось, так и не пробудило в ней женщину. Чему я, честно говоря, в глубине души был рад: если бы так произошло, мне пришлось бы долго себя уговаривать, что решающую роль все-таки сыграла моя любовь, а не ее глупые подростковые приключения.

Мой сон, который я старался сделать беззаботным, отгоняя прочь тоску, продолжался до тех пор, пока однажды я не услышал оглушающее безмолвие на том конце провода. И это было не прежнее молчание под аккомпанемент моей надежды. Это была пронзительная тишина.

Как я упустил из рук свою синюю птицу? В какой момент не удержал ее, и она вырвалась, не оставив мне даже яркого влажного пера?

Тяжелое напряжение души и подсознания дает мне лишь одно смутное воспоминание: я стою за ее плечом, пока она, сидя за столом в своей комнатке, записывает в дневник мольбы о прощении, обращенные ко мне. «Прости меня, прости, но я больше не люблю тебя... Я люблю его. Так получилось, он оказался сильнее. Я не знаю, наверное, что такое любовь, и почему она приходит и уходит. Мне тоскливо, Николас, при мысли, что я предаю тебя. Но в моем сердце почему-то больше нет тебя. Я чувствую себя предательницей, — (о, в какие детские глупости она облачала свою жестокость!) — но, на-

верное, так устроена жизнь».

«Девочка моя, ты просто запуталась!» — закричал я ей прямо в ухо. Но она совсем не слышала меня. Порой мне кажется, что, захлопнув ящик стола вслед улетевшей туда тетради, она уже не помнила моего имени.

Я тщетно разгадывал этот ребус два десятилетия, но так и не смог понять — что заставило ее стереть меня из сознания? Как такое возможно — видя мои портреты, слыша мое имя, голос в телевизионных репортажах — она вроде бы и помнила, кто я, но совсем не меня?

В ее уме пульсировало новое знание о жизни. Все, что я мог прочитать: «Я сошла с ума, и больше такого не повторится».

Хорошо, я работал с новыми предлагаемыми обстоятельствами. Я пытался понять, кто он — ее очередная любовь? У нее, школьницы старших классов, по-прежнему не было ни с кем близких отношений, но какой-то мерзавец все-таки прокрался в ее сердце. Я так и не узнал его имени, хотя импульсы и волны ее мозга нарисовали передо мной голографический портрет истинного мачо, косая сажень в плечах, образец атлета с модной сигаретой в зубах. Я был разочарован, но стерпел. Усилия выяснить, как обозначается и где обитает этот экземпляр, сбежавший из табуна диких мустангов, пошли прахом. Скорее всего, это был такой же нереальный персонаж, как и я, сошедший с глянцевых страниц или экрана телевизора.

Но Господь позволил мне узнать, с чего она вдруг вздумала отдать ему свое сердце. Это был удар под дых. Вражеский кинжал, садистски провернувший мои кишки и добравшийся до горла.

Она увидала его во сне.

Он приснился ей!

И она сочла это достаточным поводом, чтобы признаться в любви ему и окончательно вытолкать за дверь

меня.

И как, скажите на милость, мне нужно было разбираться, где истина, а где — иллюзия? Я имею в виду: где ее ложь, а где правда? Может быть, и мне всего лишь случайно повезло, и какой-нибудь Робин в зеленом капюшоне запросто мог оказаться на моем месте?

Вас рассмешил мой вопрос? Понимаю, мне следовало задать его иначе, чтобы успокоить чей-то недоверчивый разум: мол, это изначально была фантазия, обманувшая меня. Психическое отклонение, с помощью которого я выходил на новый уровень творчества. Думаете, я и сам не ставил себе таких диагнозов? Пусть так, но моя шизофрения набирала обороты. Я бы сказал даже — завороты, скручиваясь в бесконечное число змеиных колец.

Моя Греза вздумала меня надуть, заставив засомневаться — а любила ли она меня вообще?

Или это я — ей казался?!

Глава 10

Вернемся же вновь к реальности, из которой я так легко скатываюсь в свою душу. Я уже признавался, как оказался в ловушке телесности в конце долгого пути, наполненного приключениями, однажды взметнувшимися до градуса вседозволенности?

Сотрясаясь в любовной горячке, в одиночестве, я не тосковал по родному сердцу, которое можно было бы случайно и ненароком найти в вечерних рандеву. Это сердце уже и знать обо мне ничего не желало, и я перестал надеяться на его доброту. И если я смог убить свою веру, то подавить жалкие ростки чужих симпатий, претендующих на мое время, мне ничего не стоило. К ним ведь надо было подходить так, чтобы не опошлить, не унизить, не позволить догадаться, что это — действительно игра. Они так мило соглашаются и кивают головами, носят стоические маски сильных женщин — но почему-то выплевывают свои слезы в мое лицо, забыв, что все было оговорено, и ни один случайный повод не вставал между нами, сцепляя наши руки. А те облака... так ведь закат был красивым, разве ты не помнишь?

Да, и это случилось, но много позже, и было придумано не мной, а девушкой по имени Дорис. Она заставила меня выдавить из глотки эти слова: да, я ценю твой свет. И дело вовсе не в том, что мои вены вот-вот лопнут, если я тотчас и сейчас же не найду ласковую зверушку, приятную на ощупь, с пряным запахом и шелковистым мехом. В один прекрасный день мы оказываемся женатыми на них, этих мангустах с острыми зубками.

Прошло семь месяцев с той жуткой августовской ночи, прежде чем моя алчность наконец-таки одержала победу над душой. Конечно, я не избежал праведного

остервенения и злости, когда обжигающая боль от ее поступка чуть утихла. В какой-то мере я вновь проходил опыт юности — с тем отличием, что теперь любил по-настоящему. Неприятное удивление, скажу я вам — в почти тридцатилетнем возрасте обнаружить, что материя любви, сотканная из ослепительного сияния, по-прежнему не поддается контролю, да еще и скомкана в руках совсем уж юной особы.

Лихорадка, которой она меня заразила, еще не встретила сопротивление сердечного иммунитета, и потому быстро захватила все тело. Я не мог уснуть ночами, но и на дневном свету ее язвы не затягивались. Понимая, что в Лондоне, да и во всей Европе мне не удастся испортить себе жизнь без пристального внимания со стороны общественности, я перенес эксперименты по уничтожению души на американскую землю. Средства позволяли мне предаваться разврату в любом штате этой многострадальной страны. Несомненным плюсом было и то, что местная пресса фактически никогда и ничего не публиковала обо мне. И, как бы я ни улыбался прохожим, никто не мог узнать меня по пятнам ядовитой краски, въевшейся в кожу. Я имею в виду свой непрерывный творческий зуд, конечно же.

Смешно признаться, но, несмотря на старания Джереми в годы моей юности... Кстати, вы заметили, как быстро пролетело время и рассыпался в прах скелет того мальчика? Так вот, несмотря на его старания и подходящий антураж, я был совершенно неопытен в делах той плотской любви, которая не признает душевной близости.

«Наверное, они и не такое видали», — сказал я себе, впервые разглядывая циничных загорелых дамочек в коротких кожаных юбках, бесстыдно склонившихся к окну моей притормозившей машины.

Я начал с того, в чем душа уже давно не гостила. На-

верное, у этого существа был высокий класс по меркам своей касты, и привычный самец остался бы доволен. А я едва добрался до дома и проплакал остаток ночи, чувствуя себя осквернённым ребенком. Я никогда в жизни *так* не занимался сексом. Кажется, я пытался кого-то убедить в разнице женского и мужского миров? Что ж... Поверьте, я долго был исключением среди своих соплеменников.

В следующий раз я ощупывал материал придирчивей, и подобрал то, что еще отдавало нежностью на моих чувствительных пальцах. Это ввело меня в заблуждение, а оттуда привело к страшной ошибке: в забытьи, уже больше, чем в первом опыте, напоминавшем мое собственное желание, я потянулся к ее губам, чтобы поцеловать. Мне показалось, что моя удачная покупка едва удержалась, чтобы не влепить мне пощечину, осыпав меня отборнейшей бранью — с ужасной, адской хрипотцой в голосе, за пределами всяких представлений о соблазне. У них и впрямь очень странные суждения о том, что дозволено, а что — нет. Но я быстро выучил правила, и спустя несколько месяцев даже стал любимчиком в некоторых заведениях. Простота затягивает, знаете ли.

Я не сразу решился подыскать в этих зловещих оранжереях, пропахших гнилью, кого-нибудь, похожего на нее. Но однажды, где-то в центре Мексики, все же рискнул подойти со сбивчивой просьбой к молчаливому и на удивление вежливому хозяину одного неплохого притона. У него был свой подход к делу, и он старался не спугнуть таких отчаявшихся искателей, как я. Возможно, где-то в глубинах его карманов и лежали целые россыпи запрещенных порошков, а девицы, работавшие на него, не подозревали о существовании такого документа, как паспорт, но все вопросы он улаживал ласково и мирно. Потому, осторожно коснувшись моего локтя, подвел меня к небольшому патио, на котором, будто

птенцы, расселись около десятка самых юных его подопечных — кто-то на облезлых перилах, другие у кустов пионов на камнях, остальные вдоль песчаной тропинки.

— Нет-нет, — испуганно ответил я его щедрому жесту, — вы меня не поняли. Мне не нужны подростки. Мне нужна одна девочка, юная, но совершеннолетняя. Я должен сам выбрать.

Похоже, из всего перечня признаков, которые я, заикаясь, предоставил ему, его наметанный на причуды слух ухватил лишь один. Впрочем, разве в здешних краях это считалось странностью?

Старик пожал плечами.

— Сколько лет?

— Ей? — вздрогнул я, — четырнадцать...

— Так в чем же дело? — он опять поднял плечи и недоуменно посмотрел на меня.

— Дело не в возрасте. Она должна быть не четырнадцатилетней, а действительно юной. По-настоящему, а не по числу лет, понимаете?

— Ясно, — он скептически оглядел стайку еще плоскогрудых, с острыми ключицами и лопатками, но уже обметанных язвами жизни девчонок, — пойдем дальше.

Мы вошли в дом и поднялись на второй этаж. Здесь обитали более дорогостоящие представители сей жреческой касты. В отличие от смуглых обезьянок, гревших грязные ноги на раскаленных камнях двора, они содержались в благодатной прохладе и сумраке комнат. Однако мы проделали долгий путь, прежде чем отсвет любимого видения посетил мою тусклую реальность. Забавно, но девочки ее возраста выглядели старше, чем она — наверное, в силу своей особой занятости; в то время, как девицы постарше становились все более хрупкими и нежными. Парадокс этот становился для меня тем более невыносимым, что, наблюдая за своей возлюбленной, я давно предположил в ней ту же игру времени:

несколько обгоняя сверстниц в длине своих ног и на множество миль опережая их по уровню интеллекта, она впоследствии обещала явить долгую фазу ранней весны. Я не ошибся в своих расчетах, созерцая ее позже сквозь дым зеркал и узкие прорехи в каменной стене, выстроенной ею: в студенческие годы ее чаще принимали за школьницу.

Но вернемся к моему безумному эксперименту.

В одной из пыльных затененных комнат, приглядевшись к мраку, я обнаружил на смятой постели смутно похожее на нее существо — тонкокостную девушку лет восемнадцати, с которой меня и оставил ее покровитель. Нет, лицо у нее было совершенно иным, но грация линий тела и шатер блестящих ухоженных волос, закрывающий спину — все это отозвалось в груди стесненной болью. Правда, когда она встала и подошла ко мне, чтобы начать свой незамысловатый танец (не надо забывать, что я находился в знойных прериях, а не вишневых садах Японии), потустороннее изящество исчезло. Будучи уже не новичком в грязных делах, я знал, что этим особам все равно, как пройдет отведенное время — их интересует лишь толщина стопки купюр, оставленных на прикроватной тумбочке. Поэтому, когда она удачно попала в полосу света, льющегося в наполовину зашторенное окно, я попросил ее: «Стой там, спиной ко мне, и не шевелись, пожалуйста».

Она пожала плечами — точь-в-точь, как ее сутенер полчаса назад — и замерла, видимо, предположив во мне некую особо трусливую блажь. Я же просто сидел на кровати, не сводя с нее глаз, и в этом пыльном свечении ее абрис, потерявший индивидуальные черты, наполнял меня знакомым страданием. «Нет, оставайся неподвижной», — прошептал я, когда она вновь попыталась обернуться, дабы сверить свои домыслы с несуществующими фактами. Самое малое ее движение убивало это зыбкое

сходство и мешало моим сдавленным рыданиям.

Боясь, как бы она не испортила все своей простоватостью, я сам разрушил остатки волшебства, встав и подойдя к ней. Она была все же на пару дюймов ниже Евы — в этом царстве потерянных амазонок такая хрупкость была возможна лишь при невысоком росте — но волосы на ее макушке пушились точно так же, и я не выдержал и прижался к ним губами. В ноздри проник совершенно чужой запах, горечью обдав внутренности. Прикосновение к ее плечам окончательно разбило иллюзию в мелкое крошево, отозвавшись натруженной сухостью кожи под ладонями. Я отдернул руки и, буркнув что-то невнятное, кинул положенную сумму на постель.

Выбегая из гнусного притона, я столкнулся с его владельцем и не удержался от ядовитой ничтожной мести, въедливо уверив его, что девиц можно было бы лучше умащать маслами. И тем самым навеки остался в этом эскизе, как избалованный извращенец, не получивший желанную дозу нежности. Возможно, это и есть абсолютная истина обо мне — в том месте и в то жгучее время.

В дальнейшем я старательно избегал любых попыток подобрать созвучие к мелодии любовной тоски, выбирая взрослых женщин, объективно и в любой стране считавшихся красивыми в своей банальной яркости. С каждым моим круизом они становились все более дорогими — теперь я сторонился заброшенных домов терпимости, однажды отчетливо почуяв, что сквозняки в их углах отдают сырым запахом неустроенности и *ее* жизни.

Постепенно мой эскорт приобрел все черты продажной добропорядочности, хотя меня хватило всего на один год холостяцких похождений. Однажды я неизбежно и с чувством пронзительного отчаяния понял, что все эти женщины лишь отдаляют меня от Грезы, заполоняя сознание своими запахами, цветом и ненужными голосами. Я заперся в своей одинокой жизни, и больше

не впускал в нее даже этих, безопасных по сути, сестер продажного милосердия. А затем судьба жестоко предъявила права на мою душу, подослав улыбчивого демона из разгульного прошлого: в мою жизнь вошла Дорис — тот же класс, та же холеность, прежняя доступность, спрятанная под респектабельной эмансипированностью.

Так закончились мои похождения, и я в очередной раз столкнулся нос к носу с самим собой, осознав, что не смогу никуда убежать. Я пропустил себя через тысячи мясорубок смирения, и это была одна из них: я непригоден для жизни, но, слава Всевышнему, умею грезить и писать картины. Что мне еще оставалось делать?

Поначалу я ежегодно творил по выставке.

Стоит ли описывать каждую тщетную попытку? Вряд ли. Не могу сказать точно, сколько дней я потратил, стараясь до нее достучаться. Да и разве речь идет только о потусторонних опытах? Всю свою жизнь я подчинил идее ее существования. Каждое полотно, каждый вернисаж — были обращены к ней, а поначалу я регулярно выходил в свет со своим творчеством. Я использовал самый крохотный и смехотворный шанс. Однажды мне предложили проиллюстрировать простенький учебник по ботанике для школ среднего звена. Я не знал, успеет ли она подержать его в руках, стремительно вырастая из мальчишеских комбинезонов и переходя на высокие каблуки, и главное — в каких странах окажутся мои фиалки, георгины и березовые листья. Но я так тщательно вырисовывал каждую прожилку на листе, что не удивлюсь, если их зеркальное отражение вдруг выдаст мое нечаянное желание, зашифровавшее в линиях ее удивительное имя. Тем более, это было так легко сделать: оно находилось повсюду, пульсировало во всем, как сама жизнь, пристраивалось к каждому штриху, вырисовывалось в пляске лиственных теней на солнечном асфальте, искрилось в рождественском снегопаде.

Затем я согласился на участие в анимационных проектах. И небольшой, но дружной и веселой командой мы рисовали забавные, а порой и драматичные мультфильмы. Я ведь помнил, как она любила их — особенно старинный фильм о маленьком привидении, искавшем себе друзей. Я опустился до того, что изготавливал на заказ баннеры для молодежных лагерей, пытаясь и в их сокрушительном оптимизме оставить несколько лишь нам известных тайных символов.

Она стала моим путем. Как бы ни было порой больно идти по его острым ледяным камням или горящим углям, падающим прямо с небес — благодаря ей я открыл тысячи горизонтов, познакомился с сотнями людей. И в каждом человеке, в каждом дуновении ветра, мелодии, книге, отблеске солнечного или лунного света, во всем — было вечно ускользающее, но цепкое, как любимый аромат, напоминание о ней. Ева.

Я был безумцем? Что ж, еще большим безумием было бы оспаривать эту здравую мысль. Но это моя жизнь, и отказаться от нее означало отвергнуть самого себя. Это питало и разрушало меня одновременно. Она была музой, прекрасной феей из грез и валькирией, преследовавшей меня в кошмарах. Но ее вкус, пронзительной красоты звук и радуга цвета, открывшаяся мне, были в сто крат ярче и отчетливей серого мира, в котором я воплощен. В конце концов, разве не каждый из нас, творцов — безумец, питающий свои создания наркотической вытяжкой потусторонних откровений? И даже те, кто не отравляет кровь зеленью абсента и игривой метелицей порошков, находят способ истощить психику, отправляя душу на поиски сказочных сокровищ в запрещенные земли — сколь бы не предупреждали их о возможных последствиях.

Этот мир прекрасен, спору нет. Закаты и рассветы всегда великолепны, и прохладный шелест деревьев в но-

чи впитал в себя не иначе как звездную пыль. Все пропитано духом и разумом, но единство нарушено, и нет крепкой цепи любви между творениями Бога. И менее всего обручены те, кто считается их вершиной. Нет во Вселенной иного источника загрязнения и искажения Божьего замысла, кроме человеческой мысли. Был ли я виноват в том, что уже к двадцати годам осознал бесплодность поисков истины в тесной сети очеловеченных идей и связей? Почему никто из нас до сих пор не имеет права (смелости? правдивости?) сказать, откуда берутся мелодии и светотени, сплетения слов и звенящие дали? Почему мы так отчаянно цепляемся за материю, из которой сотканы? Почему оправдываем и превозносим человеческий разум, приписывая ему открытия и озарения?

Мы потеряли искусство баланса и заткнули образовавшуюся прореху синтетической идеей собственной самостоятельности. Мы поставили ее глашатаев на каждом углу, и они оголтело трубят в свои хриплоголосые горны о том, что мы все можем и со всем справимся сами. О, да! — мы оставили Бога для себя, нарядив его в разноцветные одежды. Ряженый и нарисованный, он пойман нами и заперт в узкие клети наших представлений. И мы ценим каждое свидетельство о Нем, словно эти оброненные перышки и крошки и есть вся полнота трапезы. Мы восхищаемся Его чудесами и без конца пересматриваем контракты: не найдется ли в них место и для маленького личного волшебства?

Но однажды утром мы просыпаемся и впрямь озаренные лучами чуда, и в ужасе понимаем, что это действительно контракт, а содержание следующего параграфа непосильно скудному уму, не сведущему в древних языках. Так дар Божий становится тягостной ношей в наших руках. Оборачиваясь вокруг, мы не видим тех, кто так же сгибается под его бременем, и стремимся сбросить его как можно быстрее — чтобы позже не пришлось

за него платить. Так мы отделяем Бога от себя, не желая иметь с Ним дела, потому что Он действительно просит Свою долю. Мы предпочитаем самостоятельность, и для поддержания мифа о ней лжем и придумываем обнадеживающие афоризмы о своей значимости и возможностях.

Но если лишить нас этой спасительной завесы, отобрать лукавые слова и пафосные гимны — что останется? Обнаженные и ничтожные в своей плотской оболочке, не будем ли мы вынуждены признаться, что крадем сокровища, не принадлежащие нам, и выдаем их за свои творения? Что, пользуясь родительской щедростью и долготерпением, тайком прокрадываемся в запретные (по сути) сады, дабы вынести в подоле ароматные плоды, извечно растущие в них? И что почти каждый раз нам приходится пользоваться услугами тех, кто охраняет богатые житницы, то сманивая их на свою сторону, а то, по глупости своей, будучи пойманными в их сети. Покорно выполняя их насмешливые приказы, мы не подозреваем о том, что и они — разыгранный фарс, прописанные заранее режиссерские команды. Переварив в желудках краденое добро, мы изрыгаем и исторгаем из себя нечистый помет, который при тщательном анализе все ж таки обнаруживает в себе свойства чудесных трофеев, а затем выдается нами за товар собственного производства. Вот и вся простая цепочка заблуждений и обманов.

Моя Ева была — оттуда же. Отвергая ее, я отвергал права Бога на свою жизнь.

Я в буквальном смысле свято верил в то, что однажды она проявится в моей жизни. Однажды преступивший законы и дозволенные границы, я был с позором изгнан из рая, но смиренно воспринял наказание, оставив Еве право определять меру и вес моей вины. Я бродил рядом, за незримой преградой, наблюдая за ее взрослением, слыша, видя, ощущая каждое движение воздуха вокруг

нее. Я мог перенестись к ней, как только желал этого. Но я был лишен ее осмысленного взгляда, она смотрела сквозь меня, однажды найдя в себе силы забыть детские сказки и приказав мне исчезнуть.

Какой-то жалкий глупец внутри меня надеялся, что с ее стороны это вынужденная игра на потребу общества, в котором ей приходилось расти. Что в один прекрасный день она обернется и позовет меня, выпорхнув из-под душных крыльев домашнего уюта. Может быть — рассуждал я — сама мелодичность ее походки, поступков, мыслей, переливы улыбки и сияние глаз сотканы из затаенного лукавства, кокетливой игры в молчанку, осознания моего почти постоянного присутствия рядом? И все эти божественные дары — только для меня, ибо долгое время в танце ее повседневности не было ни одной фальшивой ноты, неловкого па и некрасивого порыва. И как бы ни было мне больно, как бы не пожирала неудовлетворенная страсть мои одинокие ночи, превращая их в бессмысленность вечности, я до остановки дыхания наслаждался невероятной красотой ее души, наполненной чистыми помыслами и добрыми причудливыми фантазиями.

В тот год, когда ей исполнилось восемнадцать, я создал цикл картин, отличавшихся от всего, что рисовал прежде. Она стала совершеннолетней по законам своей страны, и более не было преград для любви. Каждое утро я просыпался с отчаянной надеждой, в сумасшедшей радости предвкушая тот недалекий миг, когда она наконец произнесет мое имя, разрушив каменную стену, посмотрит в мои глаза, прошепчет пароль — и, ведомые безошибочным чутьем любви, мы встретимся в этом жалком реальном мире и наполним его космическим светом. Под сводами какого-нибудь всамделишного вокзала, под гудки и ритмы взаправдашних поездов.

И творя в своей мастерской, я изобразил не ее, как

делал это раньше. На моих полотнах больше не было неясных далей и дымчатых абрисов, затуманенного блеска глаз и изменчивых линий тела Грезы — изменчивых не потому, что я не знал их, а потому, что она до сих пор была абсолютно *настоящей* девочкой в Стране Чудес, росла и преображалась с каждым новым днем. Что могло выразить любовь лучше, чем я сам? И там появился я — слабый и сильный, умоляющий и требующий, робкий и настойчивый. Разный, но осязаемый, живой, теплый и *воплощенный* — без всяких философских метафор, от простого и понятного слова плоть. Ведь именно этого мне так не хватало все эти годы. Антураж, интерьеры и пейзажи были столь же реальными. Каменные джунгли современного города, заброшенные окраины вымерших поселений и старинные улицы городов. Приглашающие альковы, расправленные постели, синий сумрак замерших в ожидании спален, борьба, молитва, агрессия, нега — таков был ядовитый коктейль моего замысла. Он удался — для меня, как для художника. Это была вершина откровенности, я содрал с себя кожу и писал собственной кровью. Я не побоялся предстать перед всеми, лишенный масок и одежд, на весь мир прокричав о своей затаенной боли.

Меня не услышали.

Не знаю, видела ли она мои творения. Надеюсь, что нет, ибо тогда мне придется собрать последние силы, чтобы простить ее за то, что последовало менее, чем через год. Скорее всего, у меня получится, но хотелось бы оставить хоть немного энергии на любовь к ней.

Но меня не поняли и другие. Мой любовный трепет, обнаженный до бесстыдства, физически ощутимый в фактуре краски, сочащийся сквозь поры на холсте, либо был отвергнут вовсе, либо — что еще хуже — подвергся ретуши прошлых идей и образов.

Я кричал о том, как душевная боль проросла в мое те-

ло и стала физической. О том, какой беспощадной, мучительной мощью наполнила она мое существо, готовое смести все преграды, лишь бы втащить Грезу из ее Неверленда в этот проклятый мир, и обладать ею сразу же и в том же месте, где задрожат в воздухе зыбкие врата измерений — будь это площадь перед собором, каменная мостовая или проходная аэропорта.

Те, кто принял меня и оставил в книге отзывов жестокие благодарности, увидели в этом романтическую страсть — сильную, но понятную и знакомую им. Для них я был все тем же рыцарем печального образа, и в одержимом лице изображенного мной героя они не нашли того, что я впечатал в него — изголодавшегося по нечеловеческой нежности маньяка. Я волком выл на Луну, а они опять слышали серенады, пусть и под иной аккомпанемент.

Мудрено ли, что после полнейшего провала вернисажей, распаковав саквояжи, стряхнув дорожную пыль со своих детей, прикасаясь к ним и вглядываясь в их наполненные слезами глаза, я пришел к горькой мысли о том, что мне не хватило таланта, чтобы передать потустороннюю любовную тоску? Я заработал просчитанный минимум, но горячо желаемый результат остался нулевым: мне не удалось проявиться в реальности тем, кем я был на самом деле. Меня опять не увидел никто — и *она* тоже.

Больше я не повторял таких опасных экспериментов по скрещиванию души и холста. Вскоре началась страшнейшая рефлексия: тенистые тона и золотая плоть моих картин начали вызывать у меня приступы удушливого стыда. Я содрогался каждый раз, когда вспоминал, что на эти полотна были брошены тысячи взглядов. Спустя полтора года после выставок я велел зачехлить их и выкупил подходящий бокс, в котором устроил им пышные похороны, удостоив напоследок распоряжений по темпе-

ратурному режиму и санитарным нормам. Конечно, сам я этим не занимался: я не желал видеть эти глаза, то подернутые бесстыжим экстазом, то алчные в своей целеустремленности. Меня мутило от заломленных в мольбах рук и чувственной складки губ, испепеленных несорванными поцелуями.

Нет, я не стал сверхчеловеком, и мне не удалось впредь с искусным совершенством похоронить и себя под пластами краски и грунтовки. То тут, то здесь из-под зеленой травы или густых сугробов вырывалось сияние моих стареющих глаз, в изломах пейзажей и портретных линиях угадывалась судьба автора, но... Я стал мудрее — если только можно назвать мудростью трусливое стремление следовать вкусу публики.

Я опустился до натюрмортов и писал портреты на заказ. Я устраивал передвижные выставки, наспех слепленные из десятков декоративных полотен — абстракций, фарсов, игривых примитивов, черно-белого кубизма. Так продолжалось до тех пор, пока однажды не позвонил Джереми.

— Малыш, я клянусь — в том вечере не осталось ничего, кроме нескольких снимков. Прости, что заставил тебя страдать все эти годы. Я никогда бы так не поступил. За это не платят, — сухим горьким голосом сказал он мне, и я почему-то поверил. — Давай начнем все сначала. Это будет фантастический взрыв. Век почти заканчивается, осталось всего ничего. Краски поблекли, ты видишь? Нас с тобой очень не хватает в этом мире. Давай повторим.

Как я мог отказаться? Помимо того, что я жаждал такого вора, способного лишить меня времени, которое пытало меня воспоминаниями и собственной никчемностью — впереди еще и забрезжил свет прежнего Млечного Пути. Аристократ Фламинг и делец Джойс вновь вместе. Разве не найдется места в вечерних ново-

стях, в рубрике «Теперь о никому не нужной культуре» для двух радостно сияющих рож, воскресших из ада?

И мы опять сработались. Если бы вы знали, как поощрял он теперь все мои начинания, с каким восторгом включил картины, написанные мной в одиночестве и лишь для самого себя, в наши выставки и экспозиции. И они гремели по всей Европе, еще оглушительней, чем прежде: ведь время не стояло на месте, и телемосты были уже эхом прошлого. Теперь в нашем распоряжении были куда как более эффективные сети, поглотившие всех без разбора.

Несколько строк (или страниц?) мне еще придется посвятить этой возрожденной реальности, часто спасавшей меня своей легкостью и земной красотой. Но, прежде чем окунуться в ее уплотненность — помните, я обещал вам возвращение из снов? — я добавлю еще несколько тягучих переливов в пейзаж подлунного дремучего леса, в котором оказался.

Итак, несмотря на упрямство Евы, я продолжал преследовать и атаковать ее каждый раз, когда ее сознание погружалось в обманчивые перины дремы. И однажды мои старания принесли неожиданный результат. В его послевкусии столько нюансов, что я и по сей день не могу разбить его на составные части.

Это был ноябрьский дождливый день. С большим трудом, но мне все же удалось найти ее в бесконечном пространстве боли — теперь это давалось сложнее, поскольку девочка подросла, и любила менять свое местоположение на планете. География ее путешествий была невелика по амплитуде, но непредсказуема — с неподдельным юным обаянием, порой вызывавшим во мне педагогическую агрессию.

...Окно за моей спиной озарялось лучами автомобильных фар. Я слышал гудение поездов неподалеку и тоскливое, дробящееся эхо привокзального мегафона.

Я стоял в осеннем полумраке, в шаге от преступления.

Это была комната студенческого хостела, населенная, кроме моей крошки, еще двумя девицами. Одна спала совсем близко: ее кровать стояла на расстоянии вытянутой Евиной руки — левой, и, судя по всему, негодницы нежно играли с пальчиками друг друга каждый раз, перед тем как заснуть. Другая оставалась за моей спиной, поодаль, у оконного проема. Моя возлюбленная не слишком крепко спала, и я физически ощущал сумбурный поток образов и обрывков мыслей, вываливающихся из темного короба ее подсознания на дикий луг зачинающейся дремы.

Я жадно разглядывал ее лицо, светящееся в полутьме. Такая отчетливость всех трех измерений случалась не каждый раз, и я не собирался упустить свой шанс. Ей было лет девятнадцать, но линии профиля и нежность кожи почти не отличались от того дня, когда она прогнала меня. Она, пожалуй, даже больше похудела, да губы стали приглушенно багряными и приобрели капризную резкость: студенческая юность в большом городе давала о себе знать дымчатым флером запрещенных сигарет. Ее совершеннолетие, сохранившее детскую прелесть, изводило меня, и я, не в силах сопротивляться, присел на краешек ее постели. Сердце стучало в горле, в животе падали с небес десятифунтовые бабочки... как вдруг она пошевелилась, затрепетала ресницами и что-то сказала мне.

Мне ли?..

Я почти припал ухом к ее рту, позвав по имени, и услышал в ответ... не свое. Отпрянув, я на минуту завис над ней, готовый излить желчь и ярость на ее мерцающий абрис, но двуличное чудище внутри меня заворочалось, требуя продолжения спектакля. Ее губы были в чрезмерной близости от моих, и я чувствовал дыхание на своей коже, под которой уже сворачивалась спекшая-

ся кровь. Дрожа и еле удерживаясь от того, чтобы не загрызть изменницу, я коснулся осторожным поцелуем, и она вновь позвала — его. Душа взвыла в темнице моего эго, и униженно затихла, раздавленная им и забившаяся в дальний угол вселенной — в надежде, что туда не долетят звуки наших ласк.

Я позволил ей надеть на меня угодную ей маску, как бы отвратительно не впивалась она в мое лицо. Но, плача и страдая, я получил то, что так легко шло в руки в этом дьявольском балагане. Соблазн был чересчур велик — гораздо больше моей совести и честности перед самим собой. Думаю, наутро она вспоминала этот сон, как кошмар, вышедший из-под ее контроля и потерявший изначальную цветочную сладость. Я слишком хорошо знал мою малышку, чтобы хоть на миг предположить в ней телесную алчность. Скорее всего, она желала чего-то легкого, как прикосновение лунного луча, но получила торопливую ненасытность, граничащую с жестокостью: я должен был все успеть, пока действовало чужое зелье, нечаянно попавшее ко мне.

Я ждал пять лет, почти две тысячи дней бродил рядом, словно привидение, проваливаясь в пустоту сквозь защиту, умело выстроенную ею. Моя нежность перегорела в желании, я был голоден, как зверь, и мне потребовалось еще не одно подношение, чтобы я наконец смог насладиться самим вкусом. А ведь когда-то я лелеял в сознании самые трепетные грезы. Я лепил и ваял каждый поцелуй, я отмерял нечеловеческую осторожность, чтобы завлечь свою добычу в темный омут. Но с течением времени, отвергаемый раз за разом, я растерял всю гордость и достоинство, превратился в раба, изможденного и озлобленного. И, почуяв беззащитность, набросился на нее с остервенением.

Но с той минуты, с того мига, когда я согласился на эту чудовищную ложь, началось мое падение на ниж-

ний круг ада, в очередное безумие. Возможно, я продавал душу — крупица за крупицей. Одна частичка света уходила из меня вслед за другой, и только расплата, неминуемо настигавшая в виде различного рода несчастий, открывала следующие космические потоки, поддерживавшие жизнь во мне. Иначе какому Богу я был бы нужен, растративший себя и свою вечную любовь ради этих мимолетных подтверждений собственного существования?

Но как я мог отказаться от этого? Пусть этот сон порой ускользал из моих рук, рассыпаясь излишне тонкой тканью, просачиваясь в небытие сквозь пальцы — но все же я чувствовал ее тепло и даже аромат, я ощущал ее тело, как сгустившийся воздух, и этого уже было достаточно, чтобы выжить.

Обманутая любовными надеждами, истосковавшаяся по своему никчемному избраннику, она позволила себе почувствовать мои прикосновения — а значит, уплотнила и себя для меня. Холодная пустота превратилась в порочный круг зависимости, но это уже больше напоминало земной сон.

Я так часто подумывал о том, чтобы порвать с этим миром — в нем не оставалось ничего, что могло удержать меня. Самое страшное: ничто не вызывало у меня интереса. Даже на примитивном физическом уровне. Мое тело исстрадалось за эти годы без любви — но кого я мог подпустить к себе? И вот теперь я нашел выход из темного лабиринта. Нет, это были те же закоулки Ада, но населенные уже более веселыми и сговорчивыми чудовищами.

Мне наконец удалось скомкать покров целомудрия, под которым она тщательно прятала свое сознание от меня. Она уже не могла отказаться от странных, необъяснимых всполохов, возникающих на грани эфира и тела, яви и сна — она нуждалась в этих прикосновениях, при-

ходящих ниоткуда, даруемых тенями и абрисами.

Но свято место пусто не бывает, как известно. И пусть ее прежние страхи с шипением свернулись в кольца и уползли в темные углы — на смену им пришли новые. Теперь она подозревала себя в безумии. Талантливо держа лицо и вовремя рисуя улыбку на нем, отлично справляясь с навязанными ей человечьими обязанностями, Евочка, тем не менее, старалась держаться вдали от людей, дабы случайно вырвавшимся вздохом не обнаружить свою причудливую тайну. Мне это было только на руку: добровольное одиночество, навязанное моим незримым присутствием, служило лучшей охраной от алчных самцов, всегда живо реагировавших на ее присутствие.

Но я никогда не слышал своего имени из ее уст. Только имя соперника, которое я утаю от всех, ибо оно слишком ядовито и весомо для меня, чтобы я нашел силы заменить его другим. Это был уже не тот детский герой, спустившийся со страниц журнала в ее сны после меня, а вполне реальный... Стоп. Кое-что я все же могу сказать, хотя узор истории и так уже спутан в разноцветный колтун. Но почему бы не прибавить еще одну правдивую арабеску к нему — пусть ее рисунок и делает постижение Божьего замысла уже почти невыносимым. Заметьте, я не сказал — невозможным.

Это был тот негодяй, в объятия которого она бросилась, пытаясь оттолкнуть меня. Видимо, он вновь встретился на ее пути, когда она вырвалась из родительского дома, как это делают все птенцы ее склада и возраста.

Конечно, я изнывал от ревности, но не понимал, что происходит. Нутром чуя его присутствие рядом с Евой, я так и не смог узнать, как далеко она зашла в реальной жизни. Единственной возможностью оставалось ее сознание, в которое я по-прежнему мог проникать — я имею в виду не раскрытую только что тайну, а мой тихий

шепот, незаметно гипнотизировавший ее, ступавшую по жизненному пути. Я убедился, что все-таки могу исподтишка внушать ей, что следует делать, а что принесет разочарования. И пусть она все помыслы отныне посвящала ему, но при очной встрече погружалась в смятение, не в силах сопоставить нервный джаз электрических разрядов, полученных во сне от меня, с его примитивным запахом.

Я держал ее в клетке — всю ее жизнь. Пожалуй, ей легче было бы уклониться от моих приказов, если бы она помнила меня. Но, не осознавая собственного прошлого, она была ведома им.

Что ж, каждый получает то наказание, которое заслуживает.

Выход в Реальность

Глава 1

Что-то взрезало мои веки — ослепительно, кратко, но неумолимо, и я проснулся.

Солнце заливало спальню и ее светлые стены. Огромные окна и голубые просторы за ними не оставляли ни одной спасительной тени. Лучи отражались от всего, заполоняя своей мощью душу, и я блаженно потянулся, вспомнив, что заслужил эти каникулы. Чем я мог сегодня заняться? Если легким ангельским крылом меня вдруг коснется вдохновение, я забреду в мастерскую — да-да, все же и в этом клочке рая я выделил маленький уголок для праведного труда. Может быть, просто попытаюсь вникнуть в суть своих полотен, привезенных сюда больше для связи с жизнью, нежели для работы. Мы с Дорис договорились, что это будут действительно беззаботные дни. Меня ждет море, душистая яркость фруктовых и овощных развалов, на которых я буду искать краски для ужина, резкая пряность приправ, вечерняя прогулка по берегу. Мы устроим романтическое свидание, отгородив наше счастье от других влюбленных десятком золотистых фонариков, утопленных в белом песке.

Наконец-то найден этот магический баланс. Кажется, я и впрямь повзрослел и стал мудрее. Жизнь вновь подарила мне свою сладость, словно вернув в прошлое — но уже выправленное, прошедшее беспощадную редакцию, лишенное невидимых шипов. Яду не в чем накапливаться: все прозрачно и воплощено лишь для цветения.

Я повернулся к Дорис и обнял, разбудив поцелуем. Она редко спит дольше меня, просыпаясь почти мгновенно и сразу же включаясь в задорный бег по кругу приятной суеты. Она невероятно живучая и деятельная, и за-

ряжает меня своей энергией, спасая от танатофилии. Вот и сейчас — не успел я опомниться, как она уже стояла, потягиваясь, у раскрытого окна, в зеленоватом халате, с шелковым блеском которого сливались ее светлые волосы.

— Что будем делать? — весело спросила она, оборачиваясь ко мне. Я пожал плечами и улыбнулся. Мы можем провести день, как и вчерашний, как и сотню предыдущих — и никогда не устанем от размеренности и предсказуемости тихого счастья, заполнившего нашу жизнь. Как можно устать от идеального равновесия, выверенного до мельчайшей крупицы? Нам хорошо друг с другом — настолько великолепно, что не возникает потребности искать допинги в чужих тональностях. С тех пор, как я согласился с Богом и уступил Дорис место на моем пути, предыдущие переживания все чаще кажутся несуразным кошмаром, рожденным монстрами подсознания. Даже юность, проведенная рядом с царственной Глэдис — и та обжигала кислотой неуверенности и постоянного напряжения.

— Пойдем на пляж, — предложил я, — а на обратном пути прикупим овощей для ужина, и я что-нибудь приготовлю. У меня есть смутное подозрение, что сегодня ночью мне приснился рецепт нового соуса — сливочного, в который попали ровно двадцать восемь капель лимонного сока.

Ей ведь столько и исполнилось недавно — моей жене. Мне нравится играть с нашей реальностью и ее образом. Нравится плести новый узор. Я строю новую жизнь. И никто не вправе упрекнуть меня в том, что я сам выбираю, что хочу в ней увидеть, а что — нет.

Смущает только одно: как ни стараюсь, я не могу превратить Дорис в свою музу. Она не проявляется в холстах, в каких бы медитациях я не настраивался на ее волну. Как будто в составе ее крови нет необходи-

мого компонента. На Майорке, ее воплощенной мечте, я практически не могу работать: солнце заливает душу, и полотна носят однообразные желто-бежевые тона. Запираясь в студии в Лондоне, я погружаюсь в спасительный сумрак, но из него проступают лишь тени прошлого, которых я боюсь все больше и больше. Кажется, я справедливо заклеймил их, как бесовское наваждение, и все попытки отразить их атаку молитвами и очищением души оправданы.

Страшно произносить, но когда-то я считал, что эти заблуждения и есть — мои мечты и сама духовная суть. Сколько боли причинила мне эта иллюзия, порожденная моей же душой! Вместо того, чтобы разобраться в себе, и выяснить причину саднящей муки, я пошел на поводу у чужого безумия и гордыни, заразив и себя их вирусом. А дело всего-то было в воспаленных юношеских желаниях, отсутствии смирения, породившего недовольство тем, за что и так можно было благодарить Бога всю оставшуюся жизнь. Любимая жена, творчество, деньги, мир у ног... Нет, мне этого было мало! Я вообразил, что достоин особенной любви, сошедшей со страниц запрещенных средневековых романов, чьи авторы попадали на костры инквизиции. Распоясавшейся гордости уже было недостаточно силы кредитных карт и земного таланта: меня снедали грезы о всемогуществе духа. И я поплатился за них — справедливо и непрекословно.

Иногда я вспоминаю Глэдис, чувствуя, что так и не смог разлюбить ее. И это неприятное ощущение, похожее на зацепленную обломанным ногтем тонкую нитку. Я смирился с давно обнаруженным пониманием: ни одна любовь не уходит навсегда — у нее остаются координаты, секретный код и собственное оружие, специально подобранное под впадины и выпуклости моей личности. Я завидую тем, кто умеет прощаться с прошлым, твердо заявив себе, что более никогда не попадет-

ся в его сети. У меня так не получается. Меня угнетает осознание того, что каждая из моих женщин знает тайную тропу ко мне, и при нужном освещении и правильной тональности муската я вновь окажусь в плену любой из них. Дела обстоят тем хуже, что наутро я трусливо сбегу, оставив их захлебываться надеждами. Или... и не было никаких надежд, а лишь стремление увериться в своей власти надо мной?

С бывшей женой у нас договоренность: мы не говорим о прошлом, не видимся без нужды (а это исключительно деловые вопросы), при встрече обходимся кратким приветствием. Если кому-либо из нас требуется что-то узнать друг у друга — мы набираем номер телефона. Она делала это, и каждый раз трубку поднимала Дорис, любезно передавая ее мне. Я звонил лишь однажды — справиться, как после развода обстоят дела со страховкой на наш дом. Глэдис все еще так же красива и грациозна, и я обхожу ее стороной, едва почуяв аромат гладиолусов, донесенный бездумным ветром. Не помню, почему мы расстались. Страсть утихла, чувства притупились, души привыкли — классический, хрестоматийный набор причин. Поссорились из-за какой-то ерунды, вроде моей неприспособленности к жизни — она разрушила все. Так бывает.

Женившись на Дорис, я купил дом неподалеку от Кала Мескида. Это была исключительно ее мечта и затея. Я бы переехал куда-нибудь в Нью-Йорк. Большое Яблоко манит меня своими знаменитыми контрастами, которые я нахожу не столько в облицовке зданий, сколько в шумном одиночестве. Действительно, там они доведены до парадокса, когда самая теплая компания друзей вмиг делает тебя одиноким, разбежавшись по огромному торговому центру в поисках скидок на жизнь. Или равнодушный поток плывущих к своим гаваням людей вдруг сворачивается в концентрический круг заботы, если ты

нечаянно потеряешь сознание от их тошнотворного мельтешения перед глазами. На Манхеттене знакомых порой встречаешь чаще, чем в собственном пригороде — и столь же быстрее их заводишь, обаятельно смахнув голубям крошки с уличного столика.

Но мы приобрели дом на Майорке. Пляжи, дайвинг (кто-нибудь из нас двоих им увлекался?), креветки, надувные чудища в аквапарке, солнце.

Что еще? Господи, что еще? Что я должен поведать вам, подскажите!

Мы с Дорис счастливы, но пока не собираемся обзаводиться потомством. Я позволю себе несколько строк на эту тему, если вы не против. Возможно, что не каждый из вас встречал подобные философствования в толстых томах знаний или мировой паутине.

Я, конечно, смирился с земным существованием и признал многие ошибки. Но ведь я не могу перестать быть самим собой, не так ли? По-прежнему бродить в пространстве снов, выуживая оттуда сюжеты для творчества, предсказывать собственное будущее, понимать, для чего я здесь. Просто я больше не позволяю демонам играть с моей душой, и не верю в их коварный театр теней и намеков. Отличительная черта настоящего мага в том, что он умеет работать с реальностью, а не уходит в иные миры, дабы там отстроить особняк и взрастить газон, отматывая пленку времени по своему усмотрению. Нет, я должен выуживать знаки и подпорки из того, что могу нащупать руками или провертеть в мясорубке своего разума. Пусть сердце по-прежнему работает, как магнит, но никто не позволит его изменчивому ритму определять ход событий. Все творится сбалансировано.

Итак, вынужден признаться: несмотря на спорадическое пребывание в лоне англиканской церкви (сколько-то раз в детстве, затем на венчании и пару заходов после), я не могу отпустить мысль о возможной правдиво-

сти теории реинкарнаций, приправленной домыслами бородатых каббалистов и дотошных очкариков Третьего Рейха. Если кратко: когда-то я подслушал, что вырваться из бесконечной круговерти земных страданий и перестать быть послушным хомячком в веселой Сансаре возможно с большей вероятностью в том случае, если тобой не оставлено потомство на планете. Глэдис детенышей не хотела: на Земле ей не нравилось. Для меня здесь тоже не лучший климат. Дорис умиляется на каждого встречного младенца, а я пытаюсь утопить ее в патоке сказок о прелестях жизни не обремененной супружеской пары. Так что здесь больше не о чем говорить.

В свободное от счастья и отдыха время я продолжаю работать с Джереми, и это выправляет мою неустойчивую психику, склонную к экспериментам с потусторонним. Он вернулся ко мне, наполненный идеями до краев своей неугомонной личности — крышка дребезжала и подпрыгивала, пока серое вещество кипело и возмущалось. Он и меня чуть было не залил этим полуфабрикатом чудес, опять проявив то свойство, которое некогда раздражало меня: захлебывающаяся алчность. Оказалось, пусть он и задирал нос все эти годы, хвастая на каждом шагу, что его дела идут в родных краях куда как лучше, чем у Николаса Фламинга, все было не так уж и радужно — а британская сырость хороша в меру. Он тоже истосковался по аплодисментам и восхищенным вздохам, по нарядной толпе посетителей и уличному сумасбродству. По придирчивым коллекционерам, в конце концов. Кстати, этой публике я когда-нибудь — в другом романе — уделю больше внимания: поразительно, но ведь у них хранятся осколки наших «Я». И меня не оставляет в покое зудящий вопрос: а что будет с моей душой, если она попытается отчалить в мир иной, не собрав воедино эти драгоценности. Хм... Я опять отвлекся. В последнее время я чересчур много размышляю о ве-

щах, не имеющих отношения к жизни. Нет, это не те опасные фантазии, которым я предавался раньше. Эти мысли вообще имеют глупый окрас и банальную формулировку: если бы, да кабы. Разве я что-то оставил за порогом своей судьбы?

С Джереми мы уже запустили три масштабных выставки, с которыми исколесили всю Европу, Россию и Азию. Первая называлась «Возвращение в Эдем» — веселая и искристая импровизация на прежние темы: мы словно изобрели машину времени, вернувшись в точку, где нити были разорваны. Мне легко работалось с этими сюжетами, хоть они и напомнили слишком многое. Но каждое движение кистью было наполнено величайшей очевидностью, согревавшей мою склонную к тщеславию душу: вы не забыли нас? О, мы продали десятки копий старых полотен, а некоторые безумцы скупали и новые их вариации — пронырливый Джереми позаимствовал идею римейков у синематографа, каково вам?

Однако второй цикл, изобретенный нами, источал уже совсем другой аромат. Джерри предложил вновь сыграть на контрастах, но предупредил меня: «Малыш, тебя почти не узнать. Я пока не рискую ставить нас слишком близко. Светотенью будут сами экспозиции». Так появилось многообещающее название «Тоска». И все действительно было заштрихованным и дождливым. Что-то о любви, которая близко, да не зацепить.

Третья выставка тоже пока не подвела, соединив в себе потоки прежних. Джереми по какой-то неясной мне причине, проникся восточными мотивами — я имею в виду совсем уж отстраненную от нас долготу. Видимо, собирался в очередной раз покорить Фудзияму и Янцзы: дивидендов десятилетней давности было уже недостаточно. Брал он действительно заоблачные высоты, назвав проект «Книга Перемен», и я покорно выписывал гексаграммы — из тех же тел и разбитых сердец. Какие-то

смутные окитайченные образы мелькали на дне черепной коробки, позволяя мне без сопротивления включиться в процесс работы, но я не мог до конца опознать их — и, тем более, поймать в фокусе своего пристального взгляда. Да, взгляда... Там действительно хранилось что-то от феи или фурии, запрокинувшей голову, глядевшей искоса. Нет, раскосо. Именно в таком ракурсе, чуть из-под вуали моего подсознания. Маленькая тайна, относящаяся до неведомого мне факта или впечатления.

Вот и все, о чем я намеревался рассказать вам. Теперь самое время пожелать счастливых деньков, хорошей погоды, достать приготовленный конверт, запечатать мое письмо и опустить в почтовый ящик. Кому оно предназначено? Адрес подпишите, пожалуйста, сами.

Глава 2

Я сопротивлялся этой сумасбродной идее весь первый год наших официальных отношений — пока, наконец, гнет пристальных взглядов ее родственников и фраз, брошенных невзначай, не стал пригибать мою шею ниже уровня ключиц. Матушка лишь однажды спросила: не собираемся ли мы подарить ей внука, как это уже неоднократно сделали мои сестры? Я пробурчал что-то насчет своевременности блюд и событий, и в моем семействе эта тема больше не поднималась. Тем не менее, Джон и Пэм... Нет-нет, вы перепутали, я имею в виду не своих приятелей. Вот ведь чудесное совпадение — точно так звали и родителей супруги! Не слишком ли однозначная и грубоватая игра высших сил спряталась в этом? Я бы предпочел оставить поле для догадок, но нет — каждый день мир напоминает мне, что я не сдвинулся с места ни на йоту. Все те же. Все то же.

Джон и Пэм не упускали ни одного удобного случая, чтобы напомнить мне о главном украшении любого брака — счастливом топоте детских ножек. Они мечтательно закатывали свои маленькие бюргерские глазки на порядочных поросячьих лицах, а я в ужасе наблюдал в сознании картины, рожденные под радиоактивными лучами их надежд. Детский плач, взрезающий тишину мастерской, перевернутые контейнеры с красками, расцветившими пол десятками луж, ядовитые растворители, от которых придется отказаться ради здоровья и жизни безмозглого малыша, жадным язычком изучающего мир вокруг. В торжестве ребячества и чужого детского счастья я превращался в мультипликационного героя, вынырнувшего из этих самых клякс и лужиц, оставленных моим наследником.

«Милый, ты все драматизируешь, — ласково сказала Дорис, — мы найдем способ отгородить твой мир от ребенка, которого ты почему-то считаешь маленьким варваром».

Что я мог ответить на столь весомый аргумент? Услышав подобные уверения, душа мгновенно ощерилась, явив свою двуличность: не младенческого погрома я боялся. Во мне зародился и расползался привычный для всех мужчин страх оказаться *не единственным*. Легко заменяемым на свою же копию, которая отныне будет подавать больше признаков жизни и надежд, чем я сам. Да, появление потомства казалось равносильным признанию собственной никчемности: Боже, я не выполнил Твоего замысла, я оставлю откуп, а Ты постарайся еще раз.

Странно, но я не сомневался, что речь идет о мальчике. Несмотря на нежную наследственность своего рода, в котором сыновья являлись большой редкостью, я был уверен, что опасность исходит именно от них, вооруженных рогатками и грязными футбольными мячами. Мальчишки, которые всегда мне были не по душе. Я предпочел бы лелеять девочку, как вы понимаете. Сейчас я догадываюсь: мне так трудно было смириться с самой мыслью о ребенке, что я сразу же отметал любую возможность стать отцом дочери. Мне нужны были аргументы трагичней и безысходней.

Разумеется, я надеялся, что управлять природой не так просто, и она еще покажет Дорис свой капризный лик. В конце концов, с современной экологией, средь пожарища постоянных стрессов, женщине не так просто забеременеть! В помощь мне были десятки трогательных мелодрам и даже шедевры литературы — быть может, и мне придется утешать плачущую жену, подбадривать ее, уговаривать бороться и дальше? Возможно, Бог на моей стороне, и не согласится с ее желаниями?

Счастливое известие грянуло через два месяца после того, как Дорис получила от меня согласие на прекращение приема таблеток, спасавших от земных цепей. Ко всему прочему, это было чудесное воскресное утро — один из последних дней нашего отпуска на Майорке. Я допивал чашку ароматного кофе, позволив себе забраться с ногами в удобное плетеное кресло на террасе. Кое-какие растения уже сбросили пышный цветочный наряд, их листья своей краснотой заменяли летнюю роскошь, но сад еще хранил очарование средиземноморского бархатного сезона. Все собиралось погрузиться в прохладный покой, исключающий даже намек на суету и круговерть перерождений.

Жена села напротив с загадочной улыбкой, выпрямив спину и не сводя с меня торжествующих глаз. Впрочем, я лишь догадался о том, что она неотрывно смотрит на меня, почуяв сгустившийся от радостного волнения воздух и подняв взгляд от свежей газеты, которую читал не столько из интереса к новостям, сколько ради убедительности штрихов собственного портрета. «У нас будет маленький», — пропищала она, не сумев выдержать необходимую ноту величия момента. Подпрыгнула на стуле, сжав кулаки перед лицом.

— Это хорошо, — смог выдавить я спустя некоторое время. Эти долгие секунды я сидел, уставившись на нее и ощущая, как все больше каменеет лицо, парализованное ударом судьбы. Видимо, мой взгляд был слишком отсутствующим, потому что Дорис, вновь подпрыгнув на стуле, помахала рукой у меня перед носом.

— Ники, я понимаю, ты ошарашен этой новостью, но нам надо многое обсудить, хотя... И-ииих! — она взвизгнула еще раз и замолчала на вдохе.

Тут я увидел все: тысячи, десятки тысяч видений, прокрученных в ее голове — с детства, заранее, и уж тем более, после знакомства со мной. Возможно, менялись

интерьеры, но этот радостный визг оставался прежним, отзвучавшим долгим эхо уже в миллиардах вариаций по всей планете. Разве мог я не разделить с ней эту волну? Она в любом случае была предназначена нам обоим. Какие бы страхи не хватали липкими пальцами мое привыкшее к самовольству горло, я был не в состоянии упрекнуть жену в самом течении жизни. Мне еще многое предстояло понять и принять, но в тот момент я смог лишь подключить разум, диктовавший мне реплики на пыльной дощатой сцене — древней, как сама человеческая история.

— Дорис, я счастлив, — твердо сказал я, понадеявшись, что вскоре выйду из ступора.

Я пребывал в нем еще девять месяцев, но все же смог кое-что предпринять. На следующий же день моя психика выдала весьма странную реакцию, характерную больше для неудачника, нежели счастливого папаши. Нетрудно догадаться, что могучим рычагом этого поступка был ужас перед неизведанным, заставивший меня бравировать — и, выражаясь житейским языком, блефовать.

— Я хочу, чтобы об этом узнали все, — заявил я Дорис, и на миг по ее лицу пробежали испуганные всполохи ненормального блеска моих глаз.

— Что значит... все? — пролепетала она, не успев откусить от тоста с джемом. Теперь ей полагалось есть за двоих, но эта привычка почему-то не исчезла и в течение десяти лет после родов.

— Все значит все, — решительно повторил я. — Возможно, это давняя боль, дорогая. Прости мне ее. Я так долго был неудачником, ты помнишь. Все судачили за спиной, обсуждая мои попойки и одиночество. Джереми — и тот не прикрывал вовремя рот, спрашивая у меня, словно у старой девы, когда я собираюсь обзавестись потомством. Я хочу этого ребенка, наверное, так же, как и ты. Пусть у нас не будет дороги назад.

К черту страхи и деревенскую магию: у нас все должно быть хорошо. Давай объявим это официально. Завтра как раз удачный перфоманс. Я сумею это обыграть, и репортеры сами зададут мне нужный вопрос.

Она помолчала минуты две, но была вынуждена согласиться, оторопело глядя на меня: я воистину был кладезем непредсказуемых даров. Разве могла маленькая Дорис представить, что ценная добыча, потом и кровью давшаяся ей, зайдет так далеко в своем ликовании о продолжении рода? Я готов был изображать надутую гордость, водя ее (столь же раздутую) за руку по улицам Лондона — лишь бы все видели, на что я способен.

Журналистам понравилась наша весть — как и родителям жены. Единственным человеком, укоризненно покачавшим головой, стала моя мать, заметившая — мимоходом, в краткое мгновение полета картофельной кожуры из-под ее ножа в мусорное ведро: «Ник, это как-то не по-людски. Женщину в таком положении надо бы прятать от лишних глаз, а ты ее выставляешь на всеобщее обозрение, как слона в зоопарке».

Я поперхнулся чаем, но о своем согласии с шуткой о слоне умолчал. Еще одна вещь, которая меня пугала и настораживала — тело принадлежащей мне женщины, которое неминуемо должно было измениться, невзирая на то, что мой плотский интерес и так был недоверчив и пуглив. Я переживал трансформации, обычного для каждого мужчины. Дорис превращалась из любовницы в мать, вектор ее внимания и любви менял свое направление, а за ним следовали и мои чувства. Но, в отличие от соседей, я был в более уязвимом положении, поскольку отчетливо осознавал происходящее. Мне не требовались психотерапевты, способные объяснить, что я больше никогда не буду беззаботно накидываться на ее прелести: ведь не только на них, но и в моей душе навсегда останется отпечаток великих последствий этих

легкомысленных игр. А еще более — момента рождения, превращавшего ее для меня во что-то вроде священной коровы.

Наверное, моя личность, проступившая в этих признаниях, вызывает отвращение. Но я всего лишь пытаюсь быть предельно честным — извечная ошибка, в ярком свете которой все остальные, вовремя замолчавшие, кажутся мудрыми и добрыми. Уверяю вас, в этой армии трусливых Питеров Пэнов достаточно солдат, и многие еще запишутся добровольцами.

Я находился в состоянии шока. Вместо того, чтобы еще больше прочувствовать тесную связь с Дорис, я впервые поглядел на нее, как на отдельного человека, живущего своими целями, задачами и желаниями. Когда-то она была моей помощницей и секретаршей, затем девушкой, женой. Но никогда ранее не выходила за пределы удобной голографической картинки — пусть признаются вам и другие мужчины! Нет, не все, но *подавляющее* (чувствуете, как трудно стало дышать?) большинство: на нашем пути часто встречается комфортная любовь, при которой мы не очень-то задумываемся о переливах женской души. Мы просто вместе строим жизнь. Легкая, необременительная, не вызывающая ревности и страданий — идеальная любовь, придуманная специально для счастливого брака.

И вот не только моя свобода, но и эта гармоничная любовь начала разрушаться. Дорис хотела ребенка и превратилась в отдельную Вселенную! Чувство собственности на нее должно было усилиться от осознания того, что она носит моего малыша, но — нет... Чем больше выпячивался ее живот, тем труднее было принять факт своего продолжения, а соответственно — и своего права на нее. Да я был готов отречься от всех прав, лишь бы они не повлекли за собой новые обязательства!

Как говорят, все ужасное — это прекрасное, доведен-

ное до предела. Но где эта граница? Прощай, вольный мальчишка Николас Фламинг! Скоро наступит тот неизбежный миг, когда ты станешь продолжать свою жизнь — не ради себя, но во имя *его*.

— И давай договоримся, — сказал я ей, — к черту все эти удивительные открытия науки. Мы не будем пытаться выяснить, кто это — мальчик или девочка.

Боже, как она стиснула зубы и не разжимала их до начала схваток...

Я пытался сберечь последние дни свободы и чарующих надежд, являвшихся мне иногда в грезах — хотя уже и не помнил, о чем они. Поверьте, девочка лишь украсила бы мой путь, став прекраснейшим цветком, подаренным свыше. Стоп. У меня смутное ощущение — не очень приятное, надо сказать — что когда-то я уже произносил или, по крайней мере, обдумывал эти слова. Так или иначе, она стала бы легкой ношей. Но мальчик — это крест на мне. Надежды на новый образ Бога. Изводящее взаимной любовью соперничество, беспрестанный зуд и беспокойство. А если он захочет стать художником? А если он переймет мой дар, и Господь умножит его вдвое, нет — втрое?! И однажды я увижу на его полотнах тени запредельных рассветов, которые не удалось поймать мне?

Не помню, как я добрался до элитного роддома. Время от времени откуда-то возникали журналисты, приманенные мной же и теперь ждущие очередных подачек. Они вопрошали меня о волшебных отцовских чувствах, которые должны были появиться в моем организме, как живительная мутация. Я присматривался к груди, ребрам, рукам — и не находил их там, но талантливо разворачивал и сворачивал перед их любопытными длинными носами мягонькие бежевые распашонки, и шутливо примерял на ухо крохотные шапочки, такого же нейтрального бесполого цвета. Мы с Дорис выполняли условия до-

говора.

До сих пор не могу до конца понять, почему не захотел узнать пол ребенка. Неужели я, закоренелый мечтатель, сознательно лишил себя возможности предполагать и высчитывать счастливые мгновения будущего? Или... оставлял за собой право на чудо, уговаривая высшие силы подарить мне (если уж так все неважно складывается) дочь, а не сына?

Дорис избавила меня от необходимости следовать новейшим методикам, призывавшим мужа держать жену за руку, пока она утопает в потоках крови и боли. Когда все было кончено, врач, принимавший роды, всего лишь просигналил мне в коридорном окошке. И я нехотя побрел прочь из круга солнечного света в палисаднике, приютившем меня, в дезинфицированную прохладу больничных коридоров.

— Мальчик! — радостно сообщил он, вероятно, подозревая во мне типичную для самцов гордость в воспроизводстве самого себя в миниатюре.

— Ах! — ответил я, как и подобает слабонервному известному художнику.

Он провел меня в уютную палату, соперничавшую в комфорте с нашей спальней — уж я-то постарался вложить максимальные средства в каждую секунду жизни своего вынужденного новорожденного счастья. Дорис полулежала на огромной подушке, придерживая у груди крохотный сверток с ярко-розовым пятном вместо личика. Воспоминания детства пробежали волнами по сердцу, и я знал, что сейчас увижу: жадный рот и слипшиеся сонные веки невиданного маленького животного.

— Сказали, что он должен поспать, а потом я его покормлю, — шепотом сообщила жена. Вид у нее был измученный, но в целом довольный.

Следуя интуитивно заученной роли, я с улыбкой протянул руки навстречу живому кульку и вмиг просиявшей

Дорис. Он был легким, как пушинка, и увесистым одновременно. Я чувствовал тепло его тельца сквозь тугие пеленки, и тотчас смирение, доселе незнакомое, полностью подчинило меня высшему замыслу.

Не пойте раньше времени гимны о моем прозрении — верно, вы не поняли, о чем я.

Существует ли в вашей душе или разуме понимание того, что смирение может рождаться из чувства глубочайшей безнадежности? В таком случае оно — ничто иное, как разновидность инстинкта самосохранения. Когда небо падает на голову и что случилось — уже не изменить, вдруг оказывается, что я все равно отчаянно хочу жить. И если цепи неизбежны — быть может, я найду удобное положение, при котором они не так сильно натирают щиколотки и запястья?

Ничего подобного я никогда не испытывал. Еще недавно я был преисполнен сомнений, хоть весьма удачно разыгрывал примерного семьянина, заботливо поддерживая жену под локоток, когда мы вместе выходили на улицу. Мне не составляло труда приносить ей ананасовый сок в постель и помогать по дому, поскольку она уже не могла справляться со всеми обязанностями. Я успокаивал ее страхи, такие естественные у каждой женщины перед первыми родами. Ходил вместе с ней на специальную дыхательную гимнастику. Тащил из магазина сумки с десятками книг о беременности. Вечерами мы сидели на диване в гостиной и изучали гору подарков, беспрестанно текущую в наш дом от родственников, друзей и общественности, довольной тем, что Николас Фламинг наконец-то стал похож на всех остальных. Я даже научился различать такие странные вещи, как молокоотсосы и диспенсеры для использованных памперсов.

Но все это время я жутко нервничал, и мои опасения вовсе не были переживаниями, обычными для будущих отцов. Но может быть, я опять что-то путаю, и пытаюсь

отделить себя от других? Идея свободы и самореализации — воздух для каждого мужчины, но все же позволю себе небольшую порцию снобизма: у всех ли она столь явно очерчена, или чаще остается неясной тоской, заключенной в понимании «не знаю, чего хочу, но знаю, чего не хочу»?

...Спустя несколько часов мы уже направлялись домой, и эти сорок минут пути навеки запечатлены в памяти, как момент истины, сменивший почти все мои внутренние настройки. Обрезанные бессердечным ножом акушера, крылья Николаса Фламинга остались далеко позади. Вероятно, исполнительный санитар, недолго думая, отнес их в огромный мусорный контейнер на заднем дворе этой фешенебельной клиники. Там им и предстояло загнивать до окончательной утилизации — вместе с отходами родильных кабинетов и абортариев. Бабочка обернулась в тлен, а из него вырос новый цветок — и я вынужден был признать это, рассматривая нежнейшую кожу и еще прозрачный профиль своего сына. Но лопатки саднило от свежих ран. Я приземлился, вочеловечился окончательно. Не умирать же теперь?

Возможно, тогда я не отдавал себе полного отчета в том, насколько сильным было это осознание, и какой болью скрутило оно мою душу. Благостное состояние шока длится до сих пор — а это говорит о мощи поражения. Последствия были предсказуемыми: я стал кичиться своим мещанским счастьем, изощряясь в способах доказать его. Нарочито картинные прогулки с женой и малышом, в сопровождении огромной корзины для пикника, визгливой болонки (приданое Дорис, заменившее моего дога, скончавшегося тихо и быстро после нашей свадьбы) и рюкзака, полного памперсов, сменной обуви и панамок для крохи. Фотосессии — по всем государственным, религиозным, городским и семейным праздникам. Майорка превратилась в отдельную главу семей-

ной повести: отныне это был не просто пляжный рай для двоих, а символ благополучия, растиражированный по всем европейским журналам. Ко мне стали захаживать редакторы изданий для домохозяек и их послушных мужей, и я давал им консультации по обустройству интерьеров. Среди клиентов множились почтенные семейства, просившие все — от клановых портретов до убранств детских комнат.

Как-то, просматривая домашнюю коллекцию прессы (жена настойчиво собирала материалы обо мне, а я больше полагался на Интернет, кишащий флибустьерами), я с неприятным удивлением обнаружил, что уже пару лет, как сменил манеру улыбаться. И теперь на каждом фото в мое лицо был вклеен один и тот же, сладкий, но строго отмерянный по длине и ширине смайлик. Разнообразие мимики и жестов было утеряно. Растворилось в глянце постановочных фотографий.

Разумеется, я люблю сына. Помните, я рассказывал, как в детстве ко мне пришло понимание любви к своим родным — несмотря на то, что они были далеки от меня, как... Земля от той звезды, с которой я прилетел? И сейчас я окунался с головой в обретенный смысл. Но я не имею права лгать — хотя бы здесь: я постоянно ощущал в бесконечном пространстве за спиной свою несостоявшуюся жизнь. Анализируя прошлое, я понимал, что так было не всегда, и моя невероятная юность вполне соответствует вибрациям этого жестокого напоминания, но затем, около тридцати, что-то произошло, и я сбился с тропы. Кажется, я проникся невероятной гордыней и ощущением собственного могущества, и высшие силы справедливо покарали меня.

...Уже тогда, на пути к нашему особняку, появилось имя для малыша. Дорис утомленно вздохнула и пожаловалась мне:

— Не знаю, надо думать, как его назвать... Если бы ты

разрешил поинтересоваться у врачей заранее о поле ребенка, у нас уже был бы точный вариант. Но ведь мы даже не предполагали имен! Где это видано... Все-таки, Ник, твои странности порой непостижимы для меня.

— Давай назовем его Артуром, — перебил я ее, — так звали моего деда.

Жена вновь слегка оторопело посмотрела на меня. Для ее семейства подобная устаревшая вычурность была чем-то вроде роскоши. Я опять удивлял ее: она и мечтать не смела, что сын будет носить одно из имен моего клана.

«Странно, — подумал я, вглядываясь в ее опростевшее после родов лицо, — что непонятного: это ведь и мой сын тоже».

Может, он и перенял какие-то признаки моего рода, но я быстро раскусил его. Проблема была в том, что, как я ни присматривался к нему, открыто или тайком, из-за угла и встав на голову — не видел сходства с собой. Он был мил и очарователен, как все дети, и в его нежности и повадках котенка я мог бы узнать себя. Но это была не игра генов, а мое персональное, извечное подобие всем детям, в чем мне неоднократно признавались те, кто попадался на пути. Это не мой сын был похож на меня — это я был почти точной копией всех потерявшихся, так и не успевших вырасти, мальчишек.

И, высыпая пуд соли на рану, реальность жестоко показывала мне: Артур был маленьким списком с другого оригинала — Дорис. Мысль проверить отцовство была отметена мною сразу же: супруга не стала бы так рисковать счастьем, давшимся ей с великим трудом. Я был слишком ценной добычей для нее. Но, глядя на ребенка, я мог лишь удивляться: если наличие сына бравировало законами генетики, утверждая, что моя мужская сила взяла верх, то... где и в чем найти свои черты? И повторюсь: мягкость детского абриса, кокетливость возраста,

эльфовский взгляд искоса — ничто не могло утешить меня, помнящего о том, что я всегда и всюду был таким же.

То, что я осознал сразу, как только родовая краснота сошла с его щек: теперь я никуда не успеваю вовремя. Он жил по собственному расписанию, и его алчному маленькому организму было все равно, где и во сколько у меня назначена встреча, и почему я хочу отдохнуть от суеты в ближайшем ресторанчике. Иногда я ловил себя на мысли, что совершенно зря злюсь и молча раздражаюсь на его присутствие в жизни — моя загруженность не была столь роковой, как рисовалось мне в воображении, оцарапанном новыми обстоятельствами. Мне вовсе некуда было спешить, я и так был известным на всю округу лентяем. Сделки не срывались, а приятели могли подождать. На душе скребла совсем другая кошка: задавленное понимание того, что он — моя главная цепь. И пусть сейчас меня не ждет за порогом ничего особенного — все же наступит день, и он сыграет роковую роль, спутав стрелки на часах или заковав меня в крепкие сыновние объятия.

Отныне я жил в омуте чувств, наполненном двумя противоположными потоками: удушливая близость и одновременно — вселенская дистанция между нами. Мальчику не исполнилось и четырех лет, когда он твердо заявил, что собирается быть моряком, как его прадед. Я с подозрением посмотрел на него: детские фантазии еще не означали, что малыш не передумает, и однажды я не застану его, перепачканного краской, возле мольберта. Но магия имени влила свою силу в нашу семью: он заразился той же неугомонной морской болезнью, что и тезка, в честь которого его нарекли. Кстати, дед Артур не только словарным запасом, но и всем внешним обликом, рыжим, косматым и пузатым, нарушал гармонию аристократичного рода. Он был типичным капитаном, и у меня голове до сих пор не укладывается, как бабушка

сумела воспитать сына, сделавшего счастливой мою мать. Вы еще не запутались в переплетениях ветвей генеалогического древа? Претензии не принимаются: раз уж я понял, где нахожусь, и с вами буду разговаривать о том же.

Макеты судов и корабликов с дистанционным управлением множились в нашем доме — признаться, я раздавил пару-тройку из них, не заметив, что фарватер лежит прямо под моими ногами. Истошный рев, напророченный мной еще несколько лет назад, был наказанием. Вскоре я получил новые обязанности и, будто приписной ремесленник, размалевывал фанерные корпуса бригантин и фрегатов. Исправительные работы папаши, провинившегося в недостаточном внимании к фантазиям своего чада. А ведь когда-то мне обещали, что наши миры не будут пересекаться орбитами!

«Что ж, — коварно приподнимал я бровь, — ты хочешь быть морским волком, малыш? Все, что угодно, только не лезь в мою мастерскую».

Не тут-то было. Однажды я заслышал легкий шорох за спиной, пока сосредоточенно раздумывал над рассветом в буковой роще. Дело было под Рождество, и меня посетил милый эльф в красном колпачке — лет семи отроду, не больше. Пока он стоял, ходил и приседал, склоняя голову то в одну, то в другую сторону, изгибаясь и изворачиваясь, чтобы понять мои замыслы на расставленных на просушку полотнах, я тщетно давил усмешку в губах.

— Ну, придумал что-нибудь? — спросил я его, заприметив огромное напряжение во внимательных серых глазах.

— М-мм... — начал он осторожно, — папа, а за это много денежек платят?

— Думаю, сын, ты и сам можешь ответить на этот вопрос. Тебе хватает, не так ли?

— А женщины тебя любят?

Неожиданно. Но по-мужски честно.

— Да. Надеюсь, ты не думаешь, что это всегда хорошо?

— Не знаю, не знаю, — пробормотал он. — Значит, быть художником выгодно?

— В последнюю очередь, уверяю тебя.

Мальчишка перевел взгляд с неоконченной картины на меня и замолчал. Глаза с каждой секундой наливались недоверием и обрастали колючками. Затем он медленно, с расстановкой, произнес:

— Я подумаю об этом, пап.

И вышел из студии размашистыми шагами, сложив руки за спиной. Красный колпак он сдернул с головы, и теперь не хватало только черного фрака и шейного платка, да толстой папки со счетами, зажатой в подмышке.

— О чем подумаешь? — крикнул я ему вслед, но остался без ответа, чувствуя себя полностью одураченным.

Теперь я все чаще старался брать заказы и искать клиентов как можно дальше от Лондона. Северное графство — замечательно, Мексика — куда лучше? Моя работоспособность возрастала по мере прибавления дюймов и фунтов наследника. К сожалению, она брала свои истоки не в истинном творчестве, поскольку я редко добирался до мастерской, рисуя фрески в старых городах на краю света. Особенно напряженным было межсезонье: рождественские мистерии, к которым готовились заказчики и летнее волшебство, искомое другими клиентами, требовали серьезной отдачи. В это время я бывал дома лишь раз в две недели, и вновь торопился в аэропорт. Как-то я вернулся, промокший и уставший: зонт понуро висел в руке, исковерканный ветром, ботинки уподобились затопленным кораблям.

Дорис, едва обняв меня, расхохоталась, и я понял, что это — всего лишь продолжение веселья, творившегося здесь и до моего появления. Протоптав путь потопа в гостиную, я застал на своем диване очередного репортера: он тоже заходился в беззвучном смехе. На полу, привычно возясь с очередным атомным авианосцем, сидел сынишка и, не до конца понимая, что происходит, растерянно переводя взгляд с матери на чужого дядьку, а теперь и на меня, так же смеялся.

На немой вопрос, застывший в моих глазах, был ответ, весело данный женой:

— Дэниэл (вот оно, имя местечковой звезды репортажей) спросил у Артура, не скучает ли он по тебе, и не сильно ли переживает, что его отец часто находится на другом конце света. А он... Ты знаешь, что он ответил?

— Что? — сухо спросил я, но мне пришлось еще три минуты ждать, пока все прохохочутся.

— Он сказал: ничего страшного, что папа далеко. Если на него нападут разбойники, или он попадет в авиакатастрофу, мы останемся живы, потому что не с ним.

— Ха-ха, — похвалил я сына и принялся смеяться вместе со всеми. У круга нет начала и конца.

...Часто я просыпаюсь среди ночи со смутным, беспокойным подозрением, что упустил нечто важное в своей жизни. Привидение за моей спиной, странно похожее на меня, но гораздо симпатичнее, подтянутое и одетое с очаровательной небрежностью удачливого пройдохи, беспрестанно шепчет мне на ухо, и я долго лежу, пытаясь понять, что это — белый шум радиоволн, бормотание старой лондонской канализации, или и впрямь — моя несбывшаяся судьба? Есть ли Артур на том пути, или там играет и растет какой-то другой ребенок? Дорис я точно не вижу, но кто должен был ее заменить?

Кажется, я когда-то точно знал, чего хочу, и искал это на бескрайних просторах земного шара. Кажется, я дал

ей имя, замерил рост и ощутил шелковые пряди волос под своей ладонью. Кажется, я был глупым мечтателем, и даже спустя четыре года от рождения сына попытался вновь создать ряд полотен, посвященных бесконечной и сладкой... Нет, не так: бесконечно сладкой грезе, выскальзывающей из моих рук.

К тому моменту, как я нанес последний сиреневый штрих на завершающую картину, я уже забыл, что хотел сказать. Вошла Дорис, я обнял ее рукой за располневшую после родов талию и прошептал: «Я живу с тобой, как в раю. У меня есть все, чего только может желать человек. Это я и хотел показать — воплощение мечты о счастье».

На одном полотне, в двух пустых комнатах, разделенных тонкой перегородкой, сидели мужчина и женщина — и не подозревали о существовании друг друга. Другое было похоже на тоскливый рев лайнера, взмывающего в небо и оставляющего позади исхоженную пустоту. Человек на третьей картине спал, уткнувшись носом в стену. Король грустил над своими богатствами на следующей. Еще четыре полотна были нейтральны, как солнечный день в Провансе, оставшиеся три — наполнены фруктовой глюкозой.

Я не знал, как иначе изобразить счастье. И не принадлежал себе, когда творил.

Глава 3

Привычный гул зала ожидания в Хитроу: нынешнее Рождество мы решили встретить в Париже. Это была моя идея, и ее истоки мне до сих пор неясны. Скорее, так: мысль о том, что я проведу четвертый сочельник подряд в одной и той же обстановке, была невыносима — вот что я хотел сказать.

Да, Рождество принято встречать в кругу семьи, и мне бы не хотелось нарушать эту традицию. Как только первый снег начинает свой танец на лондонских улицах, во мне просыпается непоседливый мальчишка, жаждущий услышать имбирные ароматы домашнего ужина и почувствовать материнский поцелуй на щеке. Но с некоторых пор семья разрослась, заполняя собой почти все пространство моей жизни. Каждый уикенд превратился в Сочельник. Разве это плохо? — скажет иной обыватель. Замечательно, только вот страшная изжога от избытка сахара, и его кристаллы скрипят на зубах.

— Дорогая, пусть малыш побудет с бабушками и дедушками в этот раз, — предложил я Дорис, и она, на удивление, согласилась. Повоевав еще немного с семейными коалициями и подписав дипломатическое соглашение между ревнивыми родителями мужа и жены, я спланировал чудесный романтический отдых во Франции. «Возможно, — размышлял я, — увидев, как падает тень Нотр-Дама на профиль супруги, я найду в ней новые черты». Любовный интерес между нами подозрительно быстро сошел на нет после официальной регистрации отношений.

Устроившись в кресле поудобнее, я приготовился к взлету, стараясь сосредоточиться на приятной замше-

вой обивке сиденья и милых улыбках стюардесс. Всем известно, почему они такие обаятельные: симпатичная девушка не может находиться там, где небезопасно, а значит, сами ангелы понесут на крыльях наш самолет. О том, как однажды в такой вот авиалайнер ударила молния, когда на его борту находились мы с Дорис, я старался не думать. Признаться, я боюсь летать — точнее, доверять свое тело этим огромным железным машинам, парящим в облаках. Порой мне кажется, что собственный дух и сила мысли могли бы удержать меня в воздухе, если бы я шагнул в пропасть или оступился на крыше небоскреба. Но заключив себя в тюрьму металлического корпуса, вправе ли я рассчитывать на чудо?

Вот тоненькие стюардессы и машут своими крылышками, чтобы успокоить таких паникеров, как я.

Насладиться усилиями и услугами авиакомпании, однако, не удалось. Некая тень, мелькнувшая впереди, на другом ряду кресел в двух метрах от меня, прорвала мое благополучие бурным потоком хлынувших воспоминаний. Я вздрогнул, но эта судорога запоздала на миллион лет в сравнении с осознанием факта, уже доложенного душой разуму.

Это Айрис! Она обернулась, словно услышав мои мысли, но ее глаза не выдали ни малейшего волнения. Это происходило, как в триллере: она повернула голову с уже состоявшимся, полноценным чувством, будто зная, кого увидит. Выверенное движение, цепкий взгляд, мгновенно нашедший мои расширившиеся от ужаса зрачки. И он был наполнен тем же оттенком, что и пятнадцать лет назад, когда я в последний раз видел его: приговор, в первом пункте которого — непримиримость, во втором — глубочайшее презрение.

Мне ничего не оставалось делать, как суматошно спрятать глаза под ладонью, уткнувшись в распахнутый

мир прихваченного где-то журнала. Сердце бешено колотилось, я хотел бежать, исчезнуть прямо с борта этого самолета — парашют, дельтаплан, или что там у них имеется. На собственные крылья уже давно не приходилось рассчитывать.

Айрис так же медленно отвернулась, и весь полет я провел, тщательно укрывая от нее лицо и душу. Я даже не успел разглядеть ее как следует, понять, состарилась ли она, и чем сейчас живет. Беспокоясь, как бы Дорис не почуяла мое смятение, я притворился, что засыпаю. Но мне требовалась порция алкоголя, чтобы немного унять нервную дрожь. Изобразив случайное пробуждение, я тихим голосом попросил жену подозвать стюардессу и сделать заказ — и тут же вновь нарочито провалился в якобы недосмотренный сон. Мне показалось, или я увидел резкий черный профиль и демонскую ухмылку своей бывшей приятельницы? Она всегда так реагировала на мою частую сеть, сплетенную из маленьких неправд и обманов.

Закрыв глаза, я судорожно обдумывал детали безопасного побега по приземлении, но так и не смог просчитать оптимальные ходы в узкой колее коридора и трапа. Когда шасси коснулись планеты, отозвавшись каскадом легких толчков в позвоночнике, я был уже наготове и, подхватив с полки небольшую (слава Богу!) поклажу, прижался к очереди, топчущейся в направлении выхода. Криво улыбнувшись на прощание стюардессе, выскочил на свежий воздух, не обращая внимания на оставленную позади жену. Три метра по асфальтированному полю, автобус, ворота невнимательной таможни, череда бутиков, приписанных к небесам. Та же суета, то же разноцветье.

— Ты никуда не денешься от обязательств перед ней, — четко сказал мне в ухо чей-то голос. Я даже не смог сразу понять, мужской или женский. Вздрогнул, обернулся. Прямо передо мной, расплывшись от чрез-

мерной близости — глаза ведьмы из моего прошлого.

Шарахнувшись от нее, я тут же отыскал Дорис, потерявшуюся в толпе, схватил ее под локоть и потащил прочь от своих страхов. Трусливо отступая, я случайно взглянул на отражение в одном из огромных зеркал, подчеркивающих роскошь Парижа на самом его пороге. В мишурном блеске светильников, удвоенных в нем, утопал маленький, полный человечек с аморфным лицом, растворившим былую тонкость в обрюзгшей слабости. Семенящий, перебирающий ножками, напуганный, со вздыбленным клоком непослушных волос над взмокшим от напряжения лбом.

Это я, твой демон Николас Фламинг, некогда заворожив тебя ночными полетами.

Не помню, как прошли рождественские каникулы с женой: я не мог перестать думать о случившемся. Какое-то время я злился на неприятное стечение обстоятельств, устроившее неожиданную встречу с прошлым. Айрис была заблуждением молодости, неудобным знакомством — я чувствовал себя отпрыском аристократического семейства, уличенным в дружбе с уличным вором. Разумеется, никто не заметил того, что произошло: Дорис оставалось только догадываться, почему у мужа испортилось настроение, и праздничный еловый запах не служит афродизиаком.

Я недоумевал: о чем собиралась мне сообщить эта чокнутая ведунья? О дьявольском наваждении, которому я остался должным? Мое персональное искушение, сотканное из плоти тончайших, изысканных бесов — из-за него я потерял первую жену, разучился работать по часам, одичал и начал сторониться людей. Это ему я был обязан?

Нам всем хотелось чего-то особенного, не так ли? И я продолжал убеждать себя в том, что прошлое — всего лишь грезы молодости, которыми я неосторожно поде-

лился с вероломными духами, тотчас подцепившими их своими острыми когтями и унесшими в атмосферные слои, ошибочно называемые небесами. Там-то они и застили мне весь остальной свет.

Себя я смог обмануть — вновь, на некоторое время. Но в ближайшем окружении нашелся человек, во что бы то ни стало мечтавший заполучить секреты моей души. Я говорю о своем партнере по цеху.

Мы были уже совсем взрослыми людьми. Точнее, я наконец-то повзрослел, а Джереми просто продолжал брести по каменистой дороге судьбы, усеянной пеплом, залитой лавой. Он был взрослым уже тогда — двадцать лет назад, во времени, оставшимся в моей памяти бесконечным осенним дождем.

Во-первых, я внезапно осознал, как много лет прошло с той поры. Возможно, кости юного Николаса уже истлели, и вовсе не конфетный аромат юности влечет меня к повторению пройденного, к ностальгическому узнаванию самого себя в голосе, взгляде и рукопожатии рыжеволосого посланца из прошлого. Этого аромата уже нет, так ведь? Нет, это что-то большее, чем неуловимый флер, шлейф воспоминаний. Это спасительная мощь холодных сводов роскошного склепа — я могу опереться о них, и они не подведут. Мне нравится искать защиту в горьком смирении: оно наступило давно — с тех пор, как я увидел свое отражение в зеркале, искаженное слабостью и страхами.

Во-вторых... Дайте мне договорить, это не надолго. Тот осенний дождь... Он нравится мне, знаете ли. Расстояние больше, призма тоньше, ракурс меняется — и все иначе ложится на израненное дно души. Черт возьми, моя юность была красива! А я струсил и сбежал от ее терпкой прелести. И вот маховик времени неумолимо прокладывает свой инквизиторский путь — и я не в силах вернуть тот изощренный декаданс. Возраст диктует

свои приоритеты, перины комфорта захватили меня в плен. Но я мужчина, и меня охватывает ледяное отчаяние при мысли, что я никогда уже не буду бродить по краю пропасти.

Как многогранна любовь, и в каких только образах она не является нам! Порой она даже не имеет объекта, приходя облаком фантазий или ядом эмоций в сосуде обстоятельств и ситуаций. Человеческая любовь к существу или божественная любовь — как энергия, из которой соткано все. Разве во втором случае она не должна пленить, в первую очередь, меня самого?

Потерянный, смятенный, желанный мальчик, которого я люблю. Да-да, вы не ослышались. И с каждым годом я влюбляюсь в него все больше — потому что легко любить то, чего уже не существует. Я наделяю его прекрасными качествами, я вижу безусловные оправдания всех его поступков. Его проще любить, чем самого себя. Поэтому я почти боготворю тот дождь — он впитал в себя тончайшие ноты его запаха, переливы всех красок. И единственный совет, который я могу дать тому мальчишке: оставайся под ливнем как можно дольше.

И я держусь за Джереми — из моего нынешнего окружения у него лучше всех получается сталкивать тучи и дергать за небесный рычаг, проливая на мою память ледяные потоки.

Он сознательно не оставляет меня в покое, хотя мы уже реже бываем вместе, чем в те годы: сказывается усталость от жизни, выносливости стало меньше, а семейных обязательств — больше. Мне сорок три, ему — пятьдесят пять. Признаться, выглядит он отменно, и выверенной гармонии мускулов на его теле только прибавилось. Я втихую завидую его подтянутому животу, рельеф которого близок к профессионально атлетическому. Каждое утро он совершает пробежку, и мне приходится лишь удивляться, откуда он берет силы в своем прокуренном,

испитом, истраченном организме — будь Джереми набожен, я бы приписал это духу. Он женат на очередной пустоголовой красотке, и я уже давно бросил подсчитывать количество его супруг и наложниц. Но никогда не упускаю случая сфотографироваться с кем-либо из его бывших, повстречавшись на светских раутах: моя темная сторона злорадно ухмыляется, раскрывая воскресный журнал и рассматривая неожиданную пару. Это моя маленькая месть альфа-самцу в стае примитивных животных, способ присвоить его самку. Или я ошибся, и это вовсе не дьявол во мне, а так, очередной нытик?

А вот и та самая тень — она пряталась в неожиданном месте: «При чем здесь Джереми? — шепчет она мне. — Посмотри, какие женщины могут быть рядом с тобой». Нет, еще глубже: «Не могут!» — обрываю я ее и захлопываю журнал. Рядом со мной не может быть таких женщин — высоких, точеных и отточенных, с пышной грудью и изящным станом, блестящими глазами и чуть надменной улыбкой.

Я приложил все усилия, чтобы однажды моя жизнь стала самой обыкновенной. И отныне рядом со мной — обыкновенные люди. Простите, я был слишком напуган глубиной неординарности, в которую когда-то погрузился.

Но он все же лезет в душу.

— Я наблюдал за тобой, Ники, — признался он, когда мы коротали время до открытия выставки, в теплый августовский вечер, где-то в самом центре Рима. — Мотивы твоих полотен — это ведь всегда одно и то же.

Я пожал плечами.

— Ну, что это значит? Столкновение реальностей, эти разбитые окна, взломанные двери, прорехи в стенах и прорванная бумага. Странный фон. А образ? Тебя я узнаю, но героиня? Это непроработанная отроческая любовь?

— Просто образ, Джереми, — лаконично пояснил я, — не ищи большего.

— Я такой же художник, как и ты, Николас, — усмехнулся он, — хоть ты мне все время в этом и отказываешь. Но твои картины — об одном.

Он помолчал и добавил:

— А помнишь, ты рассказывал мне о сне с девочкой? Из-за которого вы впервые рассорились с Глэдис.

— Мы повздорили не из-за него, — отмахнулся я. — Накопилась усталость, разве не понятно? Она просто выплеснула на этот образ свою забродившую ревность. И ты — ты, Джерри! — раззадоривал ее не раз, не так ли?

— У твоей супруги был детский взгляд на жизнь. Она хотела написать пейзаж, не испачкав кисти. Так не бывает.

— Да, мы оба были детьми тогда.

— Ну так что насчет того сна? Он повторялся?

Я промолчал.

— Он повторялся, Ники, — спокойно произнес он, допивая вино и глядя мне прямо в глаза. — И стал для тебя большим, чем просто вдохновение. Слишком много болезненности, дружок. Ты недооцениваешь мою творческую проницательность.

Всегда недооценивал, — горько добавил он и со звоном поставил бокал на стол.

— Может быть, — промямлил я в ответ, — навязчивое сновидение. Надо бы обратиться к психологу, но никак не доберусь. Да и нет острой необходимости, знаешь ли. Со мной все в порядке, я счастлив. А это... Что-то вроде мозоли на пятке — может, иногда и мешает, но не смертельно.

— Мозоли? — рассмеялся он. — Я сомневаюсь, что у тебя хоть раз в жизни были мозоли. Нет, ты можешь болеть только чем-то необычным и совершенно нечеловеческим. Это так на тебя похоже.

— Неужели?

— Да-да, и даже возраст девочки — и тот в твоем анамнезе.

— Пошел ты! — вскинулся я. — Опять со своими извращениями!

— Даже и не предполагал их. Уверен, ты и во сне явил образец целомудренного рыцарства. Я как раз — об этом. А ты меня и слушать не хочешь. Ники, если я не ошибаюсь, наш мир тебе не подходит — ты вечно воротишь от него нос, словно у тебя под ним кучка дерьма. Ты бы не стал привносить земные правила в свои грезы, разве не так?

— Что же ты тогда имеешь в виду, говоря о возрасте?

— Неординарность ситуации. Ты же ребенок, Николас. Ты остался им до сих пор. Ты никогда не пытался посмотреть на себя со стороны? Если подвергнуть твою судьбу препарированию, что мы имеем? Тысячи очевидных противоречий твоей мнимой взрослости и самостоятельности: мальчишка, удобно устроившийся под крылышком у самостоятельной и независимой супруги — я имею в виду Глэдис. Отсутствие богатого сексуального опыта. Кажется, у тебя было всего две партнерши к тридцати годам? В наше время вот это и считается извращением, дружок. Милый домашний интерьер с розовыми и голубыми подушками, двадцатью пушистыми питомцами и коллекцией старинных кукол... Почему бы тебе не завести маленькую подружку, с которой можно разделить свои незрелые интересы и прожить собственную юность заново? Постой... Твоя первая девушка ведь тоже была постарше тебя?

— Откуда тебе знать о моих женщинах, Джереми? У меня были девушки до Глэдис.

— Это были не девушки, а потаскушки. Они не в счет, дорогой.

— Тебе следует перестать топтаться по моей душе,

коллега.

— Может быть. Но мне интересно, почему так слепа публика? Я не встречал еще ни одной критической статьи, в которой обращалось бы внимание на эту твою особенность. При том, что акулы пера летят на жареное, а маленькие девочки издают особенный запах, а?

Помолчи немного! — он отмахнулся, увидев очередной мой разъяренный взгляд. — Сколько можно повторять: я не обвиняю тебя в этом пороке. Наоборот, я заприметил еще кое-что. Даже более удивительное, чем абрисы отроковиц на твоих первых полотнах после нашей ссоры. Ты стареешь, а она взрослеет, Ник? Теперь это вполне одобренная законом девица. Правда, сквозняки и туманы из ее прошлого остались прежними.

— Неужели это все так заметно, Джерри? — ошарашено прошептал я, обхватив голову руками.

— Нет, — ответил он, прикуривая и выпуская дым мне прямо в лицо, — я же сказал — они словно ослепли. Твоя последняя выставка перед нашим воссоединением была возмутительной. И великолепной. Я думал, ты на такое не способен. Нет, не в технике дело — в искренности. Но почему никто не обратил внимания на эти... девичьи ботиночки, выглядывавшие из-под твоей постели? Ты что, заколдовал картины?

— Наверное, нечаянно, — признался я. — Очень боялся, что это обнаружится, я хотел, чтобы поняла только... Черт подери, Джереми! Мы на полном серьезе разговариваем об этом?

Он хрипло рассмеялся и потушил окурок о тарелку. Айрис уже не могла в одиночку сделать свое черное дело — ее слова, вид, само существование были для меня испорчены устойчивым привкусом запредельного тлена. Но Джерри взял на себя роль юродивого, осмелившегося заявить о моем диагнозе.

Помню, как мы ехали с ним обратно, пересекая Ев-

ропу то самолетами, то поездами. Я старался не разговаривать, не в состоянии простить ему провидческую жестокость. Пытался ли он убедить меня в нашем сходстве, или просто играл на знакомых мне струнах? Я ведь зарабатывал миллионы, угадывая каждый последующий эпизод своей жизни. Знал наверняка, что будет за поворотом, какие запахи поджидают меня дома, какого цвета новое платье у жены... Нет, все не то. Я висками ощущал ритмичность нарастающего рокота воды в ванне, которую мне сейчас готовят дома. Знал (как видел), в какой позе сидит Дорис, левой рукой не отпуская кран с алой нашлепкой, а мизинцем правой — вальяжно пробуя жар воды. На секунду она замрет, переведя взгляд на ряд флаконов, гордых своими двойниками в бесконечных зеркалах вокруг, а затем выберет мой любимый — молодой и обволакивающий терпкостью кипарис. Не подозревая о том, что уже целую вечность я предпочитаю бунтарский и зрелый в своей неистраченной порочности сандал.

Я понимал, что сына нет дома, на улице, в городе, во вселенной — или это меня, Николаса, нет в этом мире для него?

Я предполагал, что в офисе подсчитывают убытки, нанесенные моим неуклюжим присутствием — в последнее время мой взгляд все чаще становился отрешенным и растерянным, и умные, талантливые люди не хотели иметь со мной дело, несмотря на все усилия рыжеволосого гиганта Джерри.

Знал, что через пару часов выглянет суровое западное солнце, столь долгожданное для меня, столь ненавидимое *ею* — вероятно, за снежную грязь, которую творит оно своими лучами на *ее* пути.

Ею... Кто она? Это я уже почти забыл. Далекий, еще несовершенный, неотшлифованный в своей детскости образ все реже посещал меня, оставшись в памяти набо-

ром нескольких живописных фраз. Я помнил, что у нее длинные, вечно растрепанные волосы, и нежная бледная кожа, и проницательные глаза, с каждым годом моей болезни все больше сиявшие лихорадочным звездным светом. Я не забыл, что по зиме у нее вечно трескались губы, а на запястьях не было выпуклости косточек, отчего линии их становились удивительно плавными. Я знал, что она морочила мне голову, гениально и без лишних затрат на расчет импровизируя на сцене моей неиссякаемой трусости. Временами я забывал, как ее зовут, а вспоминая, с отвращением отмечал, что ее имя представляется мне гадким, окровавленным и скользким комком, с чавкающим звуком выдернутым из груди.

Остатки ее образа я тщательно собрал и хранил в темнице своей души, где без всякого источника света они причудливо переродились в некое подобие величественной индийской богини, эдакой темнокожей Деви на громоподобной колеснице — почему-то с мечом в одной руке и поводьями в другой. Древние тайны с некоторых пор были страшны моему уму, и я торопился отступить на обочину ее дороги — туда, где размытая тропическими дождями дорожная пыль переходила в обманчивую в своей шелковистости траву.

Приятели, бывало, рассказывали мне вдруг распространившиеся по городу байки о странной, огромной птице с иссиня-черными крыльями, прилетавшей невесть откуда и приносившей с собой беду. Ее замечали на балконах и химерах, на обелисках и шпилях соборов, на городской башне с часами и деревянном столбике пригородной изгороди. Кое-кто умудрился узреть ее на капоте своего авто, но заканчивалось все одинаково. Банки лопались, конторы разорялись, строительство храмов прекращалось, закрывались газеты и распадались семьи, соседи сверху заливали мыльной водой, дитя из вундеркинда превращалось в одержимого. Птицу гна-

ли камнями, мэр тщетно целился в нее из своего именного ружья, в церквях жгли ладан, а в языческих шатрах причудливым орнаментом разбрасывали таро — все было без толку. Израненная и недоверчивая, неумолимой тенью приближалась она, сама выбирая пастбище и новые жертвы.

Нашлись, однако, хитрецы, умудрившиеся безнаказанно подглядеть за ее сверкающим оперением и даже заглянуть в алый камень глаза. Те, кто забывал откладывать на черный день, и чьи друзья были столь же чудаковаты, сколь бедны. Безумцы, не скрывавшие своих мыслей, чей дурной характер известен на всю округу. Шарлатаны, изгнанные премированными философами, наркоманы и пьяницы, знавшие больше, чем Кастанеда. Старые девы, предпочитавшие демонов растиражированным в своей сладости мальчикам, попадавшимся им на пути, и Казановы, столь безудержные в своей доброте к женщинам, что их не уважали даже обманутые ими мужья. Словом, это были грешники, ведьмы и падшие ангелы, а все добропорядочные, надежные и хорошие люди потеряли покой и деньги, дома и надежды. Посему птице дали имя — Алконост.

Мне порой казалось, что я тоже видел ее, но готический силуэт в полете преображался, и на землю сходила, слегка перебирая в воздухе ногами, Ева. Ибо зло — тут я мысленно поднимал указательный палец к небу — может превращаться только во зло.

Такие мысли слабым, но беспрестанным фоном звучали в моем сознании. Я старательно рассчитывал сметы и ставил подписи, безразлично выбирал букеты и колбасы, но неприятный психоделический мотив все время витал над дорогой, по которой я шел.

После встречи с Айрис и разговора с Джереми, она не выходила у меня из головы, поселившись в ней живучим и прожорливым семенем: а что, если это имеет под

собой основания? В конце концов, передо мной стоял удивительный выбор: либо объявить себя сумасшедшим, либо принять к сведению свои прошлые открытия, назвав ее чем-то большим, чем просто — Мечта.

Как долго я всерьез думал, что у меня получится забыть о ней? Глупец! Как я мог предположить, что секретарша, вдруг уговорившая меня разделить с ней судьбу, спасет от этого наваждения? Но я старался, старался заснуть еще крепче, упасть на самое дно этого сна реальности.

...Поначалу я не приходил к ней, воспользовавшись удобным предлогом в виде медового месяца — как смешно это звучит в современном мире, когда ко дню свадьбы на теле невесты не остается ни одной неизведанной родинки! Затем был отягощен новыми домашними заботами и беременностью жены. Еще двенадцать месяцев привыкал к роли отца. Четыре года — рекорд цинизма и жестокости! Но мое решение не было изъявлением забвения, нет. Мое сознание наполнилось остервенелой злостью на себя и на нее.

За страшные пять лет моего одиночества, до встречи с Дорис, мир привык видеть во мне спившегося неудачника, потерянного во времени вундеркинда, ставшего обычным художником — талантливым, но взрослым. Никто не знал истинной причины моей депрессии. Кроме, пожалуй, Джона, который допускал всю эту историю в виде одержимости мечтой о бессмертной возлюбленной — вроде как у Бетховена. Я исстрадался и высох, я испробовал почти все наркотики легкой и средней степени безумия, которая еще оставляла надежду на побег от них. Я побывал за это время в клинике, излечиваясь от навязчивой мысли о суициде. И если уж я так легко возненавидел себя — что сложного было в том, чтобы обрушить ярость на нее, свое творение, о котором я не мог сказать ничего, кроме: «навязчивая, маниакальная меч-

та»?

Позируя перед фотографами, нежась в лучах средиземноморского солнца, я ловил себя на злорадстве: смотри, девочка моя, я счастлив без тебя. У меня есть все, о чем может мечтать смертный. А что у тебя? Любит ли тебя кто-нибудь так, как тебе этого хочется? Что ты можешь позволить себе на уик-энд?

Я торжествовал в мещанском благополучии, обнимая Дорис, с каждым днем прибавлявшую в весе, будучи беременной — нет, не ребенком, но своим довольством. Я в очередной раз пал так низко, как только могло придумать мое слабоумие и трусливая душа. И я понял ужас ошибки, когда, не выдержав гнета постоянного контроля, мое астральное тело вырвалось из плена в одном особо беспокойном сне, которому (помимо привидения Айрис и жестокости Джереми) способствовала бутыль мадьярского вина, распитая на ночной террасе.

...Она была совсем другой. Такой же красивой, как и раньше, но другой. Ведущей мелодией ее сердца стал страх смерти. Я не мог понять, откуда он взялся, я настраивал антенны, я ухватывал пальцами вибрирующие нити, но... все тщетно. Ответ был скрыт. Вероятно, произошло что-то плохое, ведь главный вопрос, который занимал ее сознание, состоял из слов, произнесенных с таким детским отчаянием: я не умру?..

«Почему ты вдруг должна умереть, девочка моя?» — пытался я спросить у нее, но видел лишь ссутулившуюся от размышлений спину. Ветер ее мыслей по-прежнему был далек от моего образа, и наверное, от этого она чувствовала себя еще более потерянной — ведь ей не за что было уцепиться в центре пустой вселенной. Я не мог пробиться в ее сознание, и ситуация лишь усугублялась тем, что поначалу доставило мне такую радость: не думая о своем избраннике, она не оставляла шанс и для меня, привыкшего раньше проникать в ее грезы под чужой

маской. Юношеская самонадеянность и стремительность покинули ее, но я не мог найти причины. Одиночество и Неизбежность — я сутками ломал голову, расшифровывая это послание.

Не сразу до меня дошел ужасающий смысл ее состояния. Но когда он грянул, словно гром в разверзшихся надо мной небесах, ноги действительно подкосились.

Пусть она не помнила меня, и что-то неузнанное мной произошло с ее разумом, закрыв очевидные факты и совпадения наших линий жизни, по которым любая другая с ухарской гордостью прочла бы свою судьбу — но ее душа хранила в себе это знание, и реагировала и на Божий промысел, и на мое своеволие, изуродовавшее наш путь.

Почуяв, но не осознав мою измену, разве не была она все-таки растоптана ею — нет, не в банальной женской обиде, а перед лицом крушения высшего замысла на нашу любовь? Имеет ли смысл продолжение жизни души-близнеца, если вторая его половина отреклась от своего истинного предназначения? Силы стали уходить из нее, а краски — из внешнего мира. И виной было мое малодушие.

Я уловил в ее памяти лишь одно недавнее обращение к моему имени, никак не идентифицированное ею и оставшееся всего лишь фактом чужой биографии. Закрыв глаза, излучая и поглощая волны, я вижу электрический свет осеннего вечера, чувствую глянец журнального разворота под ее пальцами...

— Надо же, — усмехаясь, говорит она кому-то, — Николас Фламинг, известный художник, женился на своей секретарше. Ники, Ники... Ты ли это? Что с тобой стало, Николас Фламинг?

Но ведь и Дорис, и Артур были реальными, живыми, любимыми мной и любящими меня людьми. Несмотря ни на что. Так легко парить в облаках, не падая на зем-

лю — можно сохранить чистоту чувств и грез и бесконечно рассуждать о вечной любви. И так непросто жить здесь, вочеловечившись в мире, где сам воздух соткан из лжи. Обманывать, лукавить и — прощать. Вы же помните, что я говорил о смирении?

Глава 4

Это был старинный дворец, отведенный под многоуровневый выставочный комплекс. Золоченое великолепие, кудрявый летний парк — казалось, я попал в рококо и, взлетая вместе с игристым вином в крови, смешливо оглядывал себя в поисках лилового бархатного камзола. Все было поделено по кастовому признаку: мы, брахманы, смешанные с приближенными аристократами, бессмысленно фланировали по верхнему этажу, украшенному богемскими бокалами, столиками с икрой, дамскими драгоценностями, мужскими часами и — конечно же! — нашими с Джереми редчайшими работами. Этажом ниже сновал обслуживающий персонал, вышколенный до мельчайших штрихов, готовый языком слизать с наших ботинок каплю счастья, случайно сорвавшуюся с запотевшего хрустального тела.

Ну, и в самом низу — там, где и было объявлено долгожданное празднество духа — толпились почитатели нашего таланта. Те, кто пытался разглядеть высший смысл в том, что мы, в свою очередь, пытались им продать по цене входного билета. Это была низшая каста. Ибо, как сами понимаете, тем, кто наверху, мы продавались гораздо дороже. Ровно в стоимость души, уплотненной в периметре рамы.

Там, где стоял я, ветра Шампани с шипением обжигали нёбо. Там, где были они — холодила горло ледяная минералка, купленная у робота в киоске. Мне чуть жали новые итальянские туфли. Их ноги были стерты в кровь от долгой прогулки по каменным площадям жестокого лета. Я посчитал, что на частном самолете владельца галереи быстрее доберусь до прохлады своего особняка. Они сочли возможным потратить три евро на знакомство

с моим далеким силуэтом и — главное! — со второсортными работами. Потому как почти все, что происходило со мной рядом с Джереми, было второсортным и ужасно прибыльным.

Окна были открыты, и я время от времени сбегал к какому-нибудь из них, чтобы вдохнуть немного настоящего, не оттененного шанелью воздуха. К слову о воздухе: здесь не было ни одной моей девочки, если вы понимаете, о чем я. Все модели, нагло распластавшие свои зрелые прелести по пространству выхолощенного и выхоленного бытия — протеже моего партнера. Это его стиль: наручники, золотые кубки и мулатки. Моих картин здесь было несравнимо меньше, но ведь того и требовал хитрый замысел выставки под название «Hard@Soft». Все ультрасовременно, дабы донести до искушенного зрителя мысль о дуновении жизни в платиновых каркасах целеустремленности и успеха. Только для имущих. Только для имеющих. Только для поимевших. Ну, и для небольшого количества тех, кого поимели — за приличные деньги.

Да, я забыл: мне оставались приоткрытые окна, довольно большой простор неба и намек на тень от ангельских крыльев. Это была главная партия в нашем представлении. То самое дуновение жизни, без которого, я подозреваю, Джереми превосходно бы обошелся. Я стал воплощением божественного света — как всегда. Но почему-то выглядел полным идиотом. Но это если только сравнивать меня — с моими же работами. А если смотреть на улыбку и вполне приличный костюм, я получался почти таким же, как и все остальные.

«Малыш! — хлопал меня по плечу рыжеволосый гигант финансовой мысли. — Ну прости, не можем мы это сюда вставить. Ты же знаешь, я сам таких люблю. Ммм... Палевые, невинные... Но концепция, малыш, концепция. Зато все девчонки твои! Они ж от тебя с ума схо-

дят. А ты опять нос воротишь. Жена? Брось, я тебя знаю, не в жене дело. Скажи по секрету, малыш, скажи. Или это особый шик — отвергать то, что само в руки идет? Да ты сам дьявол, малыш, с такой-то гордыней. Ну что тебе с этих романтичных принцесс? Невинность? Эх, невинность... Мы не можем это афишировать, малыш. Пока это еще преследуется по закону. Но я знаю одно местечко...»

Пока он рассуждал дальше, я варился в ненависти к нему. Я ненавидел его за это тысячекратное обращение — «малыш». Оно слишком напоминало тот далекий вечер моей неоперившейся юности. Я ненавидел его за грязь на кончике кистей, за мразь в палитре красок, в которую он окунал каждую мою светлую грезу. И я презирал его за слепоту.

Невинность? Джереми, ты ягненок в сравнении со мной. Я не оставил ни клочка от ее невинности. Я изничтожал ее с воистину дьявольской (тут ты прав) яростью. Невинность — то, что отделяло ее от меня. Каждое утро я просыпался в надежде, что она поймет, что хочет меня. Каждую ночь я отчаливал в океан своих снов, выискивая маяк ее желаний. Но она молчала. Она отдавала себя другому — в реальности. Но, не в силах справиться со своим целомудрием, наколдованным, как ни странно, мною же — бежала от него прочь. И я вновь атаковал ее, заставляя почувствовать мой огонь. Она шла по заколдованному лесу с завязанными глазами, но я не оставлял попыток. Я ненавидел ее невинность.

И одновременно берег ее. Она была моей грезой, и я делал с ней, что хотел. По моему желанию она возвращала себе целомудрие, и по моему — теряла его без остатка. И пусть я уже совсем свихнулся, попав в плен своих же парадоксов, я не собирался прощаться с безумием. Я и ее заключил в его жаркие объятия. И она так же, как и я, не знала, что ей делать и кем быть. Но, потерянная и дез-

ориентированная на местности, как Алиса в Стране Чудес, невольно отдавалась порыву ветра и попадала в мой мир. И все начиналось сначала.

Так что ты прав, несносный Джереми: я сам дьявол во плоти.

А сейчас мы стояли, опутанные проводами и ослепленные вспышками фотокамер. Разъяренные запахом друг друга, возбужденные нашим, молоденькие журналистки в мини остервенело тыкали фаллической формы микрофонами в наши лица. Пока Джереми все заканчивал и заканчивал свою бесконечную, насквозь пропитанную важностью фразу, я терпеливо растягивал мышцы лица в приветливой гримасе, ожидая своей очереди сказать пару лживых слов — да и те у меня, как всегда, перехватит жадный до славы друг.

Это напоминало тающую на булочке сахарную пудру: липко, приторно, поздно. И бессмысленно. Я уже начал тонуть в своей никчемной глянцевой жизни, как вдруг болезненная пульсация пронзила мозг.

О, сколько боли пришлось мне вытерпеть за это время... Я знал ее классификацию наизусть, я читал ее систолы и диастолы, как книгу. Я бросал ей вслед тонкие стрелы, чтобы удержать, поддержать и исправить. Но сейчас боль была невыносимой — в своей сладости. Словно непрекращающийся зуд в коже. Легкий, но терпкий ожог. Млечный Путь из мириад невыносимых мурашей в затекшей ноге. Озноб наркомана.

И пусть я впервые столкнулся с подобным, но сразу же понял, в чем дело. Репортерша уже пихала свое любопытство мне под нос, и тут я как назло сорвался с места и ринулся прочь из зала. «Николас!» — зарычал Джереми. Но я уже несся, поскальзываясь на поворотах, и мои ладони оставили в воздухе подпаленный след, когда я промчался по спиралям лестницы.

Она была там, внизу! Я слышал ее шаги и звонкий го-

лос, сдерживаемый искусственным этикетом вернисажа. Я чуял ее аромат, сотканный из ванили, сливочного эскимо, солнечной пыли и едва уловимого скрипа кожаных сандалий. Биение ее сердца пробивало мою грудь снаружи, сливаясь с моим собственным. И я даже видел, во что она одета: белая юбочка-клеш — короткая, почти теннисная... воздушная зеленая майка, плетеная сумка... загорелые, оголенные руки и ноги. Все юное, июньское, *иньское*, настоящее, живое.

Я бежал, как лев за газелью. Я чувствовал привкус крови на губах. Ее трепещущая душа была в одном точном броске от моих когтей. Я бы набросился на нее и заключил в объятия сразу же, без объяснений.

Прохладные залы казались бесконечными, и я проклинал себя за плодовитость, вспарывая полетом созданное мною же пространство. Где-то позади летел Джереми, чертыхаясь и почти хватая меня цепкими пальцами за волосы на затылке. Мне пришлось таранить толпу посетителей у выхода, невежливо продираясь сквозь них, и на следующее утро газеты уже писали о моей заносчивости. Я выскочил на уличный зной, и от резкого перепада температур меня тотчас же залихорадило. Четыре часа пополудни, солнце еще высоко, людская толпа густа, суббота, вход в подземку, рекламные щиты, огромный город, все народы мира на его улицах. Разве что-то изменилось в сравнении со вчерашним днем?

Я остановился, как вкопанный. Вдаль уходил оранжевый трамвай, в полумраке которого виднелось яркое зеленое пятно, оттененное знакомым шатром волос.

Джереми крепко, но мягко взял меня за локоть и тихо позвал: «Ники...». Он не первый раз наблюдал мои странности, пусть (в отличие от Джона), никогда и не слышал от меня объяснений. О чем-то догадывался, и по неизвестной мне причине — пусть это будет прибыль, которую я приносил — нередко проявлял снисхож-

дение и даже сострадание. Хотя этого хватало ненадолго, и ему ничего не стоило сморозить в присутствии журналистов и телекамер какую-нибудь глупую шутку, в которой содержался понятный только мне, но от этого не менее леденящий душу, намек.

Кто-то внутри меня еще рвался поймать такси и устроить погоню за исчезающим в городском мареве трамваем, но тело уже отказывало, и я развернулся к коллеге на ватных ногах. Прямо перед моим взором, над входом в галерею, висели наши огромные портреты. О, их автор постарался на славу! Мне даже не потребовался натужный профессионализм, позволявший в любое время суток нарисовать на лице необходимую улыбку. Это была одна из лучших фотосессий, которые я помню. Я смог полностью расслабиться и даже позволил своим истинным мыслям отразиться в зрачках фотографа. И если с портрета Джереми сияла улыбка, способная рассеять любые тучи (вот он, секрет золотого зноя), то мой взгляд сканировал город насквозь.

Два здоровенных изображения на баннерах, каждый размером с окно.

Но почувствовала ли ты трепет, увидев мое лицо? Я бреду впотьмах в своей памяти, пытаясь ответить на этот вопрос. Нет, я не нахожу сильного волнения в твоем голосе и ритме сердца. Да, известные художники. «Ты знаешь, — говоришь ты подруге — я ведь была неплохо знакома с его творчеством в детстве. И не догадывалась, что он рисует до сих пор. Ничего о нем не слышала больше».

Да что с тобой, девочка моя?! Ты не можешь вспомнить меня, даже когда смотришь на мой портрет? Маленькая Венди, в какую грязь ты бросила мою волшебную пыльцу? Как ты смогла стать — *обыкновенной?*

Отчаяние, злость, ярость, боль. Легкая усмешка. Что-то свыше. Указующий перст? Или иронично приподнятая бровь? Все идет по плану? Эта очередная пытка впи-

сана в прайс Луна-парка? Да, хорошо. Я привык. И я слишком отличаюсь от многих. И потому обещаю: я завтра же разыщу в своей душе философское спокойствие. Я иссеку этот камень с зазубренными краями, ранившими меня, и найду в его центре драгоценную жилу. Я высеку магические искры, пробивая лбом стену. А пока что я просто теряю сознание. Хочу потерять сознание.

Гордыня не позволила мне рухнуть тут же, судьбоносно ударившись головой о переполненную урну, и я оперся на руку Джереми, пока тот, вслед за мной помутившись разумом и перепутав двери, проталкивал нас сквозь встречный поток ценителей искусства, с запозданием узнающих в нас героев дня. Мы вновь оказались в фойе, и озлобленные репортеры, стоящие поодаль, спохватились и размотали провода по направлению к нам. Очнувшийся Джереми уже со знанием дела лавировал в космосе и втолкнул меня в сияющий зеркальный зал помпезного клозета. «Ники, Ники...» — шептал он, засовывая мою голову под кран с прохладной водой. Но это не помогло, и уже не только ноги, но и руки подвели меня и, не в силах опираться на край раковины, я сполз на пол.

«Черт бы все это побрал, Николас Фламинг!» — заорал Джереми и дрожащими пальцами принялся набирать номер телефона — нашего менеджера, как я понял уже спустя пять секунд. Пока они вдвоем решали, в какую клинику звонить, я на мгновение пришел в себя: «Джереми...»

— Что, малыш? — он бросился на колени рядом со мной, припав ухом к моему рту.

— Камеры... Камеры видеонаблюдения... скажи им, мне нужна запись... За час до всего... этого...

Он недоуменно посмотрел, и его взгляд стал более настороженным. Медленно поднялся, отряхнув брюки и, не сводя с меня глаз, вернулся к телефонному разговору.

— Оранжевый трамвай... — чуть не плача, пытался объяснить я, но видел по его взгляду, что вавилонская башня рухнула и мы опять говорим на разных языках. Я замолк и закрыл глаза.

И пришел в себя в больничной палате. Уже второй раз за эту жизнь я оказался в клиниках твоей страны, Ева. На какой-то миг мне даже почудилось, что я вижу те же лица: аппетитная, аккуратненькая медсестра с плотоядной улыбочкой, светозарный и седовласый профессор, задумчиво перебирающий пальцами острую бородку. Моя жизнь словно комикс — я всегда это подмечал. Похожие друг на дружку, яркие картинки в косных рамках, а в закулисье — то, чего не видно, что лишь намеком отражается в печальных, как у побитой собаки, глазах главного героя: твоя жестокость. Но ведь и это — столь предсказуемо, все по законам мелодрамы или какого-нибудь индийского кино.

Меня ждал настоящий сюрприз: у постели больного восседала его жена. С присущей ей оптимистичной силой духа она прятала за сосредоточенным и целеустремленным выражением лица свои страхи и скорбь. Да, Дорис. Прости, я обманул тебя — быть замужем за всеми желанным Николасом Фламингом не так уж легко и приятно, как ты рассчитывала. Есть отдых на Мальорке и почтение в глазах соседей (разве не их уважительные поклоны были мечтой закомплексованной, слишком ординарной девочки?), а затем — эта внезапная хмурь и тревога, настигающая в чужой земле, посреди роскошного летнего пира. Кстати... Я повернул голову вправо и посмотрел в окно. Небо действительно затянулось тучами, и в приоткрытую раму текла терпкая зеленая прохлада. Я же сказал: мелодраматическая постановка.

— Гроза была, — пояснил внезапно раздавшийся голос Джереми.

О, вот же он: сидит с сердитым видом у противопо-

ложной стены палаты, вытянув длинные ноги и скрестив руки на груди. Сейчас начнет рассказывать, какие звездные войны провел со стадом журналистом, вызволяя мое бездыханное тело из... туалета? Двусмысленная ситуация.

Так и есть: он резко подтянул ноги и наклонил корпус вперед.

— Ты знаешь, как мне пришлось изворачиваться на ходу? Я сейчас даже вспомнить не могу, что им наплел. Ты вообще ел что-нибудь с утра? Это голодный обморок? Или усталость? Если ты устал, почему не говоришь заранее? Мы в одной упряжке, Ники, я не умею читать мысли, как ты.

Читать мысли, как я? Джереми, однако, ты меня удивляешь! За плотным облаком моего самодовольства и презрения к тебе, я не рассмотрел чуткие струны твоей души? Ты понял, как легко я это делаю? Не всегда легко, как я теперь узнал.

— Джереми... — мягкой девичьей партией вступила супруга, ласково осаждая нашего партнера по финансовым играм: она не хочет потерять дивиденды.

Тот замолчал и, поджав губы, отвернулся к окну. В моем горле заворочался комок недоверия и обиды. Я был слишком слаб, чтобы избежать предательских эмоций, но даже сейчас мне совсем не хотелось позволять жене решать возникшие проблемы. Не знаю, что произошло со мной, не помню, что снилось с тех пор, как я рухнул без сознания на шахматный кафельный пол, влажный от старания уборщиков — но я чувствовал, как с каждой секундой мое сердце черствеет. Точнее, его осколки покрываются льдом. И почему-то (я даже закрыл глаза, чтобы ядовитые лучи неприязни случайно не пронзили свою жертву) все это градом каменьев летит в нее. В Дорис.

Не в Джереми, который, как ни старается, все не может понять. И не в маленькую мучительницу, пустившие

свои злые корни в моем сознании. Нет, в Дорис. Словно я вернулся в прошлое, и все три тысячи дней, которые она преследовала меня, прежде чем плавным кошачьим жестом расстегнуть ширинку моих брюк, спрессовались в один уродливый несъедобный ком, и теперь скрутили глотку рвотным рефлексом. Я прервал поток ее мурлыканья:

— Джерри... Прости.

Он поднял взгляд, и до меня дошло главное в его словах: он не ничего не рассказал Дорис о том, как я ринулся вниз по этажам в самый разгар открытия. Мужская солидарность в нем всегда брала вверх, и он не считал своим долгом объяснять устройство мира окружавшим нас женщинам — даже если это были законные супруги.

— Ладно, — нехотя признал он, — что-нибудь придумаем. Знаешь, это все и на руку сыграло. Парочка коллекционеров решила, что сейчас произойдет что-то невообразимое, и шесть полотен купили. Никогда не знаешь, от какого случайного слова подскочит курс акций.

— Это точно! — подхватила покладистая Дорис. — У тебя талант, Ники. Чутье на деньги. Ты и в обморок без выгоды упасть не можешь. Повезло мне с мужем!

Она наклонилась и прижалась ко мне, отчего мои еще нестабильные легкие отозвались в сердце переменчивой систолой. Жена, конечно, переволновалась — только неизвестно, из-за чего больше: моего внезапного приступа неизвестного ей *запредельного*, или же количества красоток на здешних улицах? Джереми, скривившись, посмотрел на нас и поднялся со стула, видимо, решив, что влюбленных надобно оставить одних. У самой двери он обернулся и бросил, словно невзначай:

— Дорис, я отправил в твой номер кассеты с открытия выставки. Из них потом будут монтировать сюжет

на лондонских каналах. Пожалуйста, прихвати их.

Он выразительно посмотрел на меня, и я понял, о чем идет речь. «Спасибо!» — ответил я ему одними губами, сквозь которые с каждой секундой вытекала надежда на то, что жена, подозрительно сверлившая меня взглядом, ничего не поймет. Миссия была провалена в ту же минуту, а я лелеял предчувствия еще долгие часы.

— Джерри, — сказала она уже в самолете, куда меня все-таки отпустили придирчивые врачи, — ты, верно, что-то напутал. Я просмотрела те кассеты на нашей новенькой камере, прокрутила все до секунды — это просто данные видеонаблюдения за выставочными залами. Толпы народа, не больше. Я взяла на себя смелость, как помощница мужа, отправить их обратно в галерею с письменными претензиями. Что скажешь?

Тот пожал плечами. «Зачем он отдал их ей?» — внезапно осенило меня, и я вознамерился было задать этот вопрос своему партнеру, но очередной виток душевной усталости обледенил параболу намерений, и она с хрустальным перезвоном осыпалась на сбитую ось координат.

— Письменные претензии их удивят, да, Ники? — хохотнул он, обдав воздухом мои уже прикрытые глаза.

Я не стал ничего объяснять жене: в моем распоряжении не было не только нужных материалов, красок и кистей, но и точно уловленного сюжета. Чтобы передать чувство, меня охватившее, недостаточно подобрать слова.

С болезненной внезапностью в памяти стала раскручиваться история моей жизни. Потерянной жизни. Еще недавно я брюзжал и сетовал без всякой на то причины — подозревая все же в ладной картине судьбы подвох, спрятанный под важно колыхающейся толщей сладкого сиропа. Обычное сомнение богемного дельца с завышенной самооценкой. Вдруг я оставил что-то лучшее, качествен-

ное за порогом своего выбора? Затем мне напомнили о давней болячке, и тот же снобизм выплеснул ядовитый плевок на эту дерзость. И вот, знакомым дурманом, обволакивающим райским ароматом ударила в нос главная тайна, уже было похороненная под слоем жира в моем отяжелевшем теле. Эффект был столь силен, а наркотик — привычен, что зависимость возродилась в секунду. Прежние попытки найти тропинку к счастью, охраняемую миром духов, показались тщетой и пылью в сравнении с острым желанием и любовной тоской, пронзившей меня отныне. Глупые упреки, которые я бросал в адрес вечной возлюбленной, обвиняя ее в забывчивости, должны были, в первую очередь, покрыть густым пеплом мою собственную голову.

Однако меня поджидали новые испытания.

Разве способен я понять, каков мой истинный духовный путь, верную ли дорогу я выбрал и в нужном ли темпе иду? Такое случается только со мной, или же и вы нередко ловите себя на неприятной мысли, что все не так, как хотелось бы? И, возможно, в этом виновата именно ваша нерасторопность? Планы рождаются в голове и тут же угасают — только потому, что вы вовремя не заставили себя подняться с дивана. Маленькие усилия, почему-то не приложенные к исполнению мечты. Трусость, смущение, комплекс неполноценности. Но все это — полнейшая ерунда в сравнении с осознанием, что выбор был сделан неправильно, и вы сами перевели дорожные стрелки, перебросив состав на другие рельсы, и обязаны отныне прислушиваться к их гулу и следовать их направлению.

Совершая выбор, вы сплетаете кокон своего мира из новых нитей, и попадаете в сеть их причинно-следственных связей. Упс. Где теперь вы — настоящий?

Порой это накатывает огромной волной, не давая дышать и утягивая на самое дно депрессии. Все, что можно

сделать в этом состоянии — взывать к Всевышнему, умоляя Его подать руку и выдернуть из злого наваждения. Переход на следующий уровень никогда не может быть совершен самим человеком. Его задача — тянуться вверх и просить спасти.

... — Что это ты делаешь, дорогая? — спросил я, проходя мимо дивана в гостиной, на котором уютно сидела Дорис, обложившись распахнутыми фотоальбомами из прошлого.

— Решила вспомнить, как я выглядела пятнадцать лет назад.

Внезапно я понял, что лишь однажды смотрел ее старые карточки, и было это в натужный период знакомства с родителями, когда мы вот так же восседали на огромном, слишком мягком диване (отчего у меня потом весь день болела спина), и мать невесты восторженно совала мне под нос глянцевые сепии, яркие цветные картинки, черно-белые стильные портреты. Все, что можно придумать, Дорис на любой вкус — от голенького младенчика, болтающего ножками на клетчатом покрывале, до серьезной взрослой девушки с дипломом в руках, сквозь временной туннель белых носочков, косичек, задорных брекетов, хулиганских начесов на голове.

Я присел рядом и взял у нее из рук альбом — небольшой для начала, поскольку не был уверен в том, что смогу вместить в себя всю ее жизнь. Дорис в школе. Нескладная, но обаятельная, с двумя длинными тонкими косичками и румяными щеками. Задувает свечи на праздничном торте. Весело машет бадминтонной ракеткой. Плещется в морской волне, позируя кому-то из родных.

— У тебя была очень дружная семья? Хорошие деньки, да?

— О, нет. Родителям почти не было дела до меня. Их больше интересовал мой перспективный старший брат.

Я много болталась на улице, если хочешь знать.

Странное ощущение. Еще одна девочка была потеряна в своем детстве.

— Но почему? Ты окончила престижный факультет... Лингвист, секретарь.

— Они не были уверены, что я смогу пробиться. Учеба — это еще не все. Необходима целеустремленность, а они ее во мне не видели. К тому же, мама считала, что я значительно уступаю ей как женщина и будущая жена.

— Обычное дело у родительниц, — пробормотал я.

— Да, обычное. Но привело к тому, что я очень рано принялась доказывать свою женственность... на практике, — она усмехнулась и с вызовом посмотрела на меня.

И я задал вопрос, который раньше всегда останавливал плотно сомкнутыми губами.

— У тебя было много мужчин до меня?

— Достаточно. Но не переживай — большая часть из них была подростками и студентами младших курсов. Затем я поумнела. Хотя неуверенность в себе осталась. Поэтому, наверное, и влюбилась в тебя. Мне казалось — только любовь столь известного, необычного и талантливого человека сможет успокоить душевные раны. Чем огромней чувство ненужности внутри — тем более сильное лекарство требуется. И я доказала им, чего стою. *Чего бы это ни стоило мне*, прости за откровенность.

— Я все понимаю, Дорис, и ни о чем не жалею, — соврал я и поцеловал ее в лоб.

Я чистил зубы, вымещая досаду на деснах, отчего пенистый плевок в раковину окрасился в нежно-розовый цвет. Потерянная, никому не нужная Дорис, искавшая любви. Черт возьми! Разве я уже не встречал это на своем пути? Потерянная, никому не нужная Глэдис, нашедшая любовь во мне. Потерянная, никому не нужная Ева из моих снов, отчаянно нуждавшаяся хотя бы в капле любви. Сотни потерянных, никому не нужных почита-

тельниц моего таланта, с надеждой заглядывающих в мои глаза, счастливым случаем поймав меня, рысью пробегающего мимо своих же картин. Неужели и они увидели в моем взгляде обещание? Подслушали его в словах, продиктованных лишь вежливостью и доброжелательностью?

Сколько их, этих девочек, потерянных в детстве? Почему написана книжка о мальчишках, выпавших из коляски и оставленных невнимательными нянечками в парке, под сгущающимися сумерками? Кто-нибудь удосужился придумать сказку о заблудившихся девчонках? С какой стати они ищут маяк в моих глазах? Сколько снов на самом деле я видел? Где я — настоящий? Может, и нет никакого Николаса Фламинга, а есть лишь ангел, прилетающий ночами в их детские грезы? Но меня не хватит на всех! Родители, будьте внимательнее к своим детям — они готовы уйти по первому зову обаятельного духа, нахально залетевшего в приоткрытую форточку.

Зачем я узнал это? Откровения Дорис придавили душу очередным ненужным грузом, балластом, который я не осмеливался выкинуть. Как наша совесть обрастает дополнительными рычагами, которые могут использовать близкие и родные? Когда мы произносим само это слово — Совесть — всегда ли оно имеет смысл чего-то изначального, вечного и неизменного? Мы привыкли воспринимать ее именно так, как некий внутренний стержень, чуть ли не второе обозначение Души. Происходит это именно потому, что мы слышим воззвания окружающего мира к нашей совести с самого раннего детства.

Слово «совесть» часто оказывается в одной упряжке с менее привлекательным эпитетом «продажный». Для обывателя такое сочетание — простое обозначение греховной человеческой природы, вечно оказывающееся где-то вдали, в жизни других, соринкой в чужом глазу.

Для того же, кто мыслит более широкими категориями, не ища противопоставлений и заверений в собственной значимости, эти два слова являются не противоположностями друг другу и не досадным сопряжением, а естественным продолжением друг друга. Совесть — вместилище всевозможных разновидностей ответственности, от крохотных обещаний до клятв в вечной любви. Миллионы доказательств человеческой самонадеянности, позволяющей заведомо дать обет в силе и выносливости до конца жизни. Любой недостаток, как известно — оборотная сторона достоинства. Чрезмерно совестливый человек, осмелившийся взять на себя обязательства сохранять прежнюю маску и позицию даже при изменении ситуации, рано или поздно поставит себя в невыносимые условия — где и сломается под тяжестью самого себя.

Пообещать что-то — означает поклясться в собственной неизменности, что противоречит главному закону мироздания: вечному движению. Совесть — это не душа. Это всего лишь инструмент, с помощью которого вы удерживаете конструкцию своего мира и положение в нем. Кнопка, набор формул или манипуляций. Никто не вправе упрекнуть вас, если вы измените свое отношение и захотите пойти дальше.

Джереми, например, знал это, и не гнушался сбрасывать с совести лишнее.

Недели две назад он заглянул в мою мастерскую, в чертогах которой я, вдохновленный недавним происшествием и болезненным обмороком, уже сотворил новый цикл картин. Погоня была его сюжетом.

— Неплохо, — похвалил он, обойдя зал с обнаженными полотнами. — Замечательно. Великолепно. И, знаешь, что мне нравится? Довольно резко. Надо же, а мне никогда не приходила в голову эта тема. А ведь это, пожалуй, наша мужская суть. Пойдем, выпьем?

Спустя семь дней он разорвал со мной все контракты, с легкостью согласившись выплатить неустойку. «Понимаешь, Николас, — пожаловался он мне в телефонном разговоре, — я настолько устал, что готов деньги заплатить, лишь бы с тобой больше не работать. Особенно я устал от твоей предсказуемости. Мне скучно. Я набрал новую команду — молоденькие, куражистые мальчишки, совсем как ты когда-то. Нет, лучше тебя: они не бродят, как слепые лошади по замкнутому кругу. С тобой я никогда не продвинусь дальше, вынужденный подстраиваться под твою израненную душу. Так что... иди к черту, Николас Фламинг!»

Это был невыученный урок, формулу которого я вновь не смог понять. Возможно, он вернется ко мне еще раз, вместе с окончательно постаревшим Джереми. Признаться, наш второй разрыв был менее шокирующим и болезненным. Может быть, с годами он все же становится мягче и добросердечнее? Мне следует подобрать горсть звонких и увесистых слов, чтобы выложить мозаику новой потери и разъяснить — если не вам, то самому себе — ее внезапный узор. Но у меня уже нет сил на это: поспеть бы за своей загнанной жизнью.

Кстати, с того разговора прошло уже девять лет, а Джерри так и не создал больше ни одной персональной выставки, полностью сосредоточившись на покровительстве новым талантам.

Через полгода я выставился в нескольких залах и после этого также умолк на шесть лет. Мне достаточно было дивидендов и заказов от любителей семейных портретов. Словно искристый родник творчества иссяк во мне, оставив лишь застоявшиеся лужицы прошлых всплесков. Я воспитывал сына и участвовал в жизни Лондона — точнее, его пригорода, в котором обитал. Когда-то я был магом, влюбленным и художником. Теперь у меня есть семья, репутация, обязанности и солнечный отдых

на Мальорке — и я все равно зовусь Николасом Фламингом.

Кто-нибудь подскажет, как такое возможно?

Глава 5

Как-то повелось, что я принялся ездить в эту страну — уже не помню, что стало тому причиной. Постойте! Кажется, однажды я вспомнил, что видел во сне девушку, рожденную здесь. Да и платили тут хорошо: исторические условия необъятной земли, непредсказуемой на выпады и перепады, сформировали у ее жителей непреодолимую тягу к прекрасному, спокойному и мечтательному — пусть даже и подернутому пеленой дождя и сумрака. Им был необходим мой размеренный сплин, отраженный в бокалах с рубиновым вином. Или небесная даль, обнимающая бархатный луг. Соблазнительная греза в темно-розовом алькове. Пусть я не явил миру гения, но неплохо зарабатывал.

Светские рауты в здешних мегаполисах весьма отличались по своему настроению и ароматам от привычных мне европейских. Они походили на торжество новорожденной Империи, еще не до конца скинувшей подгузник варварства, но уже вкусившей сладкое молоко роскоши. Мужчины, будто мелкая рыбешка, ловились на крючок соперничества, изголодавшись по лести и чувству собственного превосходства. Мои картины расходились, как горячие пирожки, стоило кому-то из них похвастаться своим приобретением соседу за столом. Люди здесь совершенно не умели распоряжаться богатством, и потому оно легко проскальзывало сквозь их вспотевшие от волнения пальцы. У подавляющего большинства местных нуворишей в цепочке ДНК не было ни одного гена, ответственного за аристократическое достоинство. Они просто-напросто не обладали чутьем на каноны эстетики, элитарности, меры, объединяя все это банальным словом «престиж», для них являвшимся неким сплавом

популярности и дороговизны.

Конечно, встречались и другие экземпляры. Так, я познакомился с несколькими профессорами-искусствоведами, актрисами, потомственными музыкантами, директорами театров и галерей. Но они оставались лишь интерьером и атрибутами сцены, на которой разворачивался спектакль коммерции и презентаций. Иногда кому-нибудь из них удавалось отхватить действительно значимую роль, но чаще тон задавали иные персонажи, и совсем другие лица режиссировали происходящее.

— Хочешь знать подлинное соотношение состава? Так сказать, если снять с них все эти Гуччи, Дольче и Шанель? — спросил меня как-то представитель старинной ученой династии, отстраненно разглядывая публику на одном из балов. С гораздо большей симпатией он взирал на пузырьки игристого вина в своем бокале.

— Девяносто процентов — новоиспеченные дельцы. Они, в свою очередь, делятся на три очевидных категории. Половина заработала состояние на розничной и мелкооптовой торговле на местных рынках. Я имею в виду — базарах, если у тебя возникли трудности с переводом в берега своей ментальности. Сорок процентов — родственники или потомки политических и общественных деятелей, пользующиеся их покровительством в своем ежедневном нарушении закона. Оставшиеся десять процентов — только не пугайся, прошу — откровенно криминальная среда, городские авторитеты, причем многие из них недавно вернулись из тюрем.

Остальные, напрямую не имеющие отношения к бизнесу — интеллигенция, богема и действительно дворянское сословие. В последнее время их здесь привечают, приглашая вместо священников на подобные тусовки. Все они — жертвы и бессловесные рабы того большинства, о котором я тебе рассказал. Ловят каждый взгляд олигарха — по его руслу течет денежная река. Грызутся

между собой и интригуют страшнее, чем население тюремных камер. Не позавидуешь искусству. Хотя, возможно, у каждого из них есть тайная комната или ящик стола с любимыми творениями.

Это был диагноз и моей жизни, пусть она протекала в условиях знаменитой у иностранцев британской чопорности, доза которой выверялась столетиями. Или это всего лишь миф, придуманный экскурсоводами для скучающих туристов? О какой чопорности может идти речь, если меня с юности приучили рекламировать и продавать самого себя?

— А кто устраивает все это? — спросил я своего гида, подумав, что он, верно, горазд развлекать колоритными байками заезжего господина.

— Денежные мешки или второсортные политики, метящие ближе к трону, — без раздумий ответил он. — Сами художники здесь не при чем. Они должны быть признательны Богу за нестабильность в стране: изменчивая ситуация требует новых золотых пуговиц и тонкого шитья на камзолах следующего поколения помещиков. Захотел презентовать себя публике — зови лауреатов премий и истерзанных творчеством гениев.

«Все-таки, у нас иначе», — решил я для себя, и тут же призадумался: а как быть с теми десятками отказов, которые я получал от владельцев галерей — их извечной причиной, деликатно именуемой «несовпадением актуальности»? Далекий от политических передряг и местных сплетен, я всегда ограничивался рефлекторным раздражением на их слова и никогда не утруждался понять: а что означает эта актуальность? Помнится, у Джереми было невероятное чутье на нее, а у меня на первом месте стояло вдохновение. С чем должна совпасть пресловутая актуальность? Неужели с настроением нового кандидата в мэры?

Я пообещал себе в следующий раз внимательнее от-

нестись к подобным недоразумениям — заранее зная, что не сделаю этого, погрузившись в мир творчества. Достаточно было той горькой истины, что я должен прислушиваться к мнению публики, жаждавшей то пасторали, то готики.

О женщинах, блиставших на этих умопомрачительных по замыслу вечеринках, надо сказать отдельно. Словно тост по местной традиции — не помню, какой по счету, но обязательный. Конечно, я вращался в основном среди фотомоделей, телеведущих и просто жен олигархов и прочих воротил. Редко кто из супруг моих случайных знакомых продолжал собственную карьеру после заключения брака. Но не по этому признаку я смог поделить на категории (следуя примеру собеседника из недавнего диалога) мило щебечущую толпу в шелковых и кожаных платьях. Отчетливой границей между ними был тридцатилетний рубеж — для меня, стороннего наблюдателя и художника по совместительству.

Дамы до тридцати были полны надежд и позволяли себе череду легкомысленных выходок. Мужья снисходительно взирали на шалости своих избранниц и даже поощряли их — хоть многие из них стоили им миллионов. Они были всеобщими любимицами, и появлялись у вас перед носом с внезапной резвостью избалованных котят.

Женщины, перешагнувшие роковой рубеж, хмуро взирали на окружающих, подозревая в каждой молоденькой львице потенциальную соперницу. И были правы: по каким-то неведомым мне причинам, их мужчины действительно тоскливо озирались по сторонам, словно присматривая новую гавань для своих кораблей. Я тщетно силился понять, почему так происходит, но не находил ответа. Все это было столь непохоже на привычное мне светское общество Лондона и других европейских столиц, где тридцатилетние жены считались едва вошедшими в возраст королев, управляющих своими мужья-

ми — которые, в свою очередь, правили миром. Здесь же единственной валютой была юность и нежность кожи. Даже мне, вкусившему в астральных похождениях почти недозволенные, *ванильные* оттенки любви, был непонятен этот расклад. Но словоохотливые друзья объяснили причины: местные самцы были столь не уверены в своих силах, что предпочитали выбирать в спутницы девушек, наделенных красотой, но не обремененных интеллектом.

Этот факт сразу лишил меня надежды встретить Спящую Царевну в ослепительном блеске дорогого паркета и мраморных колонн. Хотя... Как знать, какими ветрами могло ее сюда занести — возможно, она и сама попала в денежные ловушки, пытаясь заявить миру о своих талантах. Я предполагал любой вариант развития событий. И всегда был начеку, присматриваясь к ее ровесницам.

Но оказалось, на меня рассчитывали те, кто был помоложе. Не все из здешних юных дев уже нашли себе пару — многие из них приходили с более удачливыми подругами. Двадцатилетние, наивные и циничные одновременно — их предлагали, презентовали, на них намекали, они были украшением стола. Не угостить ими *престижного* (помните, что я говорил об этом слове?) иностранца считалось дурным тоном и отсутствием гостеприимства. Отказать им — грубостью с моей стороны. Я быстро понял, что эти девушки являются чем-то вроде кровеносной артерии, придающей сомнительный оттенок жизни бездуховному и потенциально мертвому сообществу. Они переходили из рук в руки, долгое время даже не догадываясь, что являются живым товаром, и считая это романтическими приключениями в погоне за принцем.

Я не стал отказываться от развлечений и быстро научился уходить с ними после ужина в номера. Утром повторялась одна и та же история: наши планеты разводили орбиты, и я с улыбкой сообщал своей очередной игруш-

ке, что женат и не смогу оправдать ее надежд обзавестись богатым покровителем. Я нарушал правила, и вскоре они возненавидели меня — так что не имеет смысла считать количество экземпляров, попавшихся в сети моей холеной репутации. Вслед за девочками в крестовый поход против заморского соблазнителя потянулись те, кто их предлагал, и мне пришлось исключить из ежедневника ночные капризы. Все равно я почти сразу понял, что не найду свою пропажу в россыпи чужих драгоценностей. Мои трехчасовые романы с проститутками в далеком прошлом были наполнены большим драматизмом, чем эти интрижки.

Но прежде чем я совсем пресытился женщинами этой страны — столь охочими до иностранцев, словно мы и аромат издавали другой, и поцелуи наши были иными на вкус — меня угораздило-таки испачкать свою репутацию в одной пренеприятнейшей истории. Позже я очень переживал, что она в искаженном виде просочится на страницы газет, и Греза, которую я теперь искал с удвоенной силой, узнает о ней и наполнится презрением к учителю рисования из детства.

Она нашла меня в мастерской — я имею в виду грязную историю. В дверь постучали, и я открыл. Я не мог поступить иначе: всегда оставался шанс, что это будет моя запредельная вечная любовь. На пороге стояла дама неопределенного возраста, хрупкая, миниатюрная, чрезмерно загадочная. Лицо пряталось под черной вуалью с десятками бархатных мушек, бриллиантовые перстни украшали руки в таких же замогильных перчатках. Над головой по-прежнему был раскрыт зонт, с которого стекали струи недавнего дождя. Я оглянулся, чтобы посмотреть в окно. Сияло солнце. Все это чрезвычайно интриговало.

Пожалуй, она сильно переигрывала, и потому ее театральная сексуальность слишком отдавала бабушкиным

коричным печеньем, но сеть была накинута профессионально.

— Я проследила за вами после вернисажа, — доверительно сообщила она грудным голосом.

— Вот как? — осведомился я, судорожно соображая, что сказать дальше.

— Мне не нужно от вас ничего (с придыханием), но вы обязаны спасти мое растоптанное достоинство.

— Э-э... — я вытаращил глаза. Я не знал слов этой роли.

— Мой муж, — она откинула вуаль и прижала руку в перчатке к сильно накрашенным глазам. Вид у нее был ухоженный, но потасканный. Весь облик словно срисован с парижской гетеры начала двадцатого столетия, — мой муж, тоже художник, бросил меня, откупившись парой особняков и разменяв мою любовь на ласки какой-то глупой девицы. Я видела вас в наших гостиных, не отпирайтесь, вы знаете нашу жизнь...

— Что я могу для вас сделать? — сухо спросил я. В моем представлении этот вопрос уже звучал, как очевидный отказ, продиктованный самой ситуацией.

— Напишите мой портрет. Я заплачу любые деньги. Мне нужен портрет именно вашей кисти, — она зачем-то взяла меня за руку. — Только это поможет пережить унижение и поднять самооценку.

Я облегченно вздохнул. Разговор велся уже на понятном мне языке.

— С этого и надо было начинать... Простите, а как вас зовут?

Она назвала имя — громкое, княжеское, удобное даже для моего английского слуха и столь часто встречающееся в мировой литературе. Я намеренно опускаю его в своем повествовании, дабы случайно не потревожить еще десятки тысяч его обладательниц.

— Хорошо, — ответил я, — я напишу вас. Сейчас по-

смотрю, когда возможно назначить сессию.

Когда я обернулся, отыскав ежедневник в завалах на столе, она уже лежала — обнаженная, но в перчатках и чулках, на моем диване. Дама очевидно солгала: с самооценкой у нее было все в порядке.

— Постойте! — запротестовал я. — Во-первых, мы не обговаривали жанр. Во-вторых, мне нужно определиться со временем.

Она надула губки, и без того сдобренные силиконом, но жанр уже обсуждать не приходилось.

Спустя три недели и пять непродолжительных встреч, портрет фальшивой аристократки был готов, и напоследок она приберегла свое главное угощение. Стыдно признаться, но мне не очень понравилось: ведомая неугомонным желанием отомстить мужу, явив образ роковой красотки, она была столь напряжена, что перешла все дозволенные границы нервозности и экзальтированности. Я словно сопрягался с мотком электропроводки, находящейся под высоким напряжением. Все искрило, взвизгивало, судорожно подскакивало, не позволяя мне расслабиться и найти нужную волну удовольствия. Большей дисгармонии в пастельных оттенках своей постели я никогда не переживал.

Однако весьма рассчитывал на удачное использование работы: новая знакомая пожелала выставить ее на собственных раутах, известив прессу и телевидение о своем громком успехе у знаменитого британского художника. Дело в том, что мне все же удалось исподтишка воплотить свою извечную задумку, тысячекратно приукрасив образ натурщицы и заодно посягнув на магию намерения. Мы решили, что это будет не простой портрет, а игра смыслов с ощутимыми намеками на состоявшийся роман.

Жене я все объяснил, пристально глядя в глаза, отчего она лишь улыбнулась и сказала: «Разумеется, Николас,

тебе нельзя терять этот рынок. Я давно заметила, что ты пришелся им по душе».

Поэтому картина называлась «Мечта в сетях». Возможно, первое впечатление от бесконечных вуалей и черных шелков заказчицы мутировало в моем сознании в идею пикантного ажура, сотканного из света и мрака. В удаленной перспективе полотна присутствовал и ловец — точнее, тень от него. И пожалуй, именно она, зыбкая, но узнаваемая, и стала упомянутым намеком, раскрывая в домыслах наш умысел.

Зачем мне это понадобилось? Сейчас, по прошествии времени, я понимаю, что и связь, и картина стали моим очередным стратегическим просчетом. Не обладая способностью додумывать все до конца и верно понимать реальность, я постарался ухватиться за те ингредиенты, которые имели самый пряный цвет: страна, идея и... попытка эмоциональной провокации. Последнее было новым приемом, и диктовалось многолетней усталостью от постоянного присутствия имени соперника в моей голове, куда оно передавалось по тонким проводам из сердца Грезы. Я хотел вызвать у нее ревность, наивно полагая, что ее предпочтения — всего лишь обычная женская вредность. И манипулировать ею можно с помощью такого же обычного мужского цинизма.

Иногда я будто просыпался в другой мир — более ясный и понятный, и с горечью признавал то, что чаще гнал от себя: она совсем не помнит меня. Я превратился в мимолетную картинку из ее детства. Глупое увлечение, эпизод с просмотром альбома журнальных репродукций — в удобном кресле, под обволакивающий небо вкус молочного шоколада. Но душа не могла долго выносить это, и я убеждал себя: пусть она, нынешняя, и не отдает отчета в этом, но та маленькая девочка, спрятавшаяся в глубине ее сердца, помнит меня и по-прежнему стремится ко мне. Именно для нее я пытался использовать

этот электрошокер, чтобы вернуть к жизни — через внезапную боль, оскорбление, но хотя бы так.

Ничего не помогло. Мои представления о реальности жили отдельно от нее, и любому стороннему наблюдателю с первых строк стало ясно то, что мной было осознано много позже: история превратилась в небольшой скандал, не получивший подтверждения даже у вездесущих папарацци. Лишь порция грязи в сосуде с эликсиром судьбы, и все. Мне оставалось утешать себя проявленным благородством и добровольными усилиями, направленными на восстановление имени и репутации своей случайной приятельницы.

Глупости! Если бы я вдруг бросил жену — разве возродился бы мой интерес к ней из-за мазни какого-то известного художника? Нет, отчаяние и нарочитость такого поступка выставили бы ее в неприглядном свете. Самая ничтожная картина человеческих отношений: женщина, пытающаяся удержать мужчину, которому она не нужна.

После этой интрижки мне пришлось поменять диван, с юности стоявший в моей мастерской и даже побывавший со мной в заокеанской жизни. Когда нанятые рабочие выносили его, сквозь сжатые зубы поминая уличными словами и архитекторов старого Лондона, и неудобный грузовой лифт, и собственную зависимость от звонкой монеты, меня вдруг пробрал приступ сардонического хохота. Я столько лет оберегал святая святых — зал, в котором рождались все творения, не позволяя даже жене склонить меня к любовным играм в этом капище! Это был мой самый любимый Дворец, отстроенный специально для той терпкой и интимной душевной тайны, имя которой не знал никто — несмотря на то, что все мои полотна носили его смысл, а некоторые были напрямую озаглавлены им. И вот выброшенная кем-то драная кошка завлекла меня в свой план мести, а я даже не задумался над тем, что вытворяю. Что

со мной происходило? В какой очередной сон бессмыслицы и безбожия я погружался?

Как жена реагировала на мои эксперименты? Понятия не имею, я не спрашивал. Долгое время я вел кочевой образ жизни — не только по Европе, но и по собственному дому, засыпая то в гостиной, то в мастерской. Внешне это подозрительно напоминало прошлый опыт с Глэдис — с тем исключением, что теперь мне некуда было податься, когда Морфей смыкал мои уставшие от дневного света веки. Затем, приучив и себя и Дорис к бесспорному факту моего отсутствия в спальне, я выторговал право на отдельную комнату, чувствуя себя при этом разговоре подростком, отстаивающим мечту об уединении. Ей, вечно претендующей на истинную роскошь, эта мысль показалась разумной — она напоминала дворянский уклад ушедших столетий.

Иногда мы предъявляли супружеские претензии на тела друг друга и, наверное, были вполне довольны покоем, царившим в нашем доме. Скорее всего, мы одновременно заразились инфантильностью и скрытой формой уныния, прячущего свой истинный лик под маской зрелой мудрости. Возможно, все началось после рождения сына, но...

Меня не покидает догадка, что я мог бы отдать супруге куда как больше огня и страсти, если бы видел в ней пульсацию встречного желания. Химия начинается с женщины — за мужчиной остается лишь обязанность обеспечить действие законов физики. Почему женщины теряют свою жажду, как только на свет появляется потомство? Это что-то вроде достигнутой цели? Недаром так часты супружеские измены с их стороны: они останавливают взгляд на других самцах, желая теперь увековечить чужой род.

Некоторые из этих самцов — черт подери, почти все, кроме меня! — так вот, некоторые из них тоже имеют

право на официальное Большее.

Однажды в гости зашел Джон, которого я и так видел слишком часто. Я любил своего друга, но все годы, связавшие наши судьбы воедино, вынужден был сопротивляться его крепкой земной природе, посягавшей на мою индивидуальность. Он был приспособлен к существованию на этой планете куда лучше, и мне нередко приходилось прислушиваться к *его* советам и следовать *его* указателям.

Конечно, эта дружба оставляла в глубине души немало неудобных вопросов: например, моя печень, испорченная совместными вечеринками — она не позволяла принять его заботу, как нечто, наполненное исключительно добром и светом. Я хорошо помнил, как он спаивал меня, дабы с большей легкостью внедрить — не столько в мое сознание, сколько в летопись свершившихся фактов — свои методы жить. Ну да ладно. Не мое дело — оспаривать равновесие, установленное высшими силами на земле. Возможно, мы действительно не способны управлять обстоятельствами, и Джон был единственным способом сохранить мою жизнь для того, кто заслуживал тех сокровищ, которые я смог найти.

Так вот. Он пришел и, переминаясь с ноги на ногу, сообщил неожиданную и весьма неординарную новость: оказывается, уже год, как их отношения с Анной (вы помните эту счастливую страдалицу, пойманную в его крепкие объятия?) претерпевают страшный кризис. И все из-за того, что он наконец (восклицательный знак, воздетый к небесам палец, сияние прозрения!) нашел свою настоящую половину, истинную и вечную любовь. Где-то далеко, в Америке. Была она моложе и стройнее той, которая когда-то пришлась ему по нраву — именно по причине небывалого сходства натур и характеров.

— Но... Джон... — сказал я. И замолчал.

Слишком много было в его решении, и он сам это

знал. Он стоял с понурым, виноватым видом — не хватало лишь кепки, которую можно смять во вспотевших от волнения руках. Анна была его главным аргументом, знаменем и верой, с помощью которого он увлек и меня в бесконечный крестовый поход в поисках вековых традиций и житейской мудрости. Это было его «ноу хау», предъявленное мне, он ручался в нем и взял на себя обязательства — не меньшие, чем свои брачные клятвы перед алтарем. Он опутал меня уверениями и обещаниями, что счастье неизбежно. И я, следуя примеру, все силы бросил на то, чтобы выстроить его. Да, с самого начала я чувствовал лживость и надуманность этой простой человеческой радости — но речь не о ней. Я поверил не в нее, а в то, что *так надо*, и мой друг знает это точно. Не забывайте истину, которую я не раз повторял на этих страницах — я не понимал законов этого мира, но хотел выжить. И прислушивался к словам близких.

А ведь он любил Анну несравненно сильнее, чем я — Дорис. И большей ликующей искренностью была наполнена его реальность с ней.

Я не сказал ему, но он перестал быть моим лучшим другом в тот момент, когда я узнал об их разводе. Пусть это было ошибкой, верить в то, что его бог домашнего уюта — верховный и настоящий, но... Это моя прерогатива — менять иерархию мира, раз уж меня так настойчиво и последовательно вынуждают выстраивать его самостоятельно.

Теперь и каждый взгляд на Дорис приправлялся новым оттенком: она словно была сомнительным подарком, оставленным им в моей судьбе. Если он разрушил то, во что верил — может быть, и я имел право сломать всего лишь то, с чем вынужденно согласился, чтобы не опуститься на самое дно? Благодарность по отношению к ней, как к ласковой спасительнице, осталась бы навеки. Но мы не можем из благодарности добровольно

накидывать на себя цепи, не так ли?

Эти мысли посещали меня все чаще, хотя впереди были еще годы одиночества среди шумной толпы людей — близких и далеких. Боль обострялась воспоминаниями, набирающими силу с каждым днем, но эту, внутреннюю сторону своей жизни, я покажу чуть позже. Необходимость постоянно прятать лицо, обнаруживающее страдальческий оскал, вернули меня к практике алкогольных возлияний. Как только Дорис выходила за дверь и пересекала улицу, направляясь к офису, я выуживал виски из бара. Я не стыдился ее совершенно — а она совсем не упрекала меня.

Итак, вернемся к апогею моего печального рассказа о путешествиях по горам и долам той земли, в которой где-то, как-то, но должна была обитать Греза. Я допустил ошибку, позволив себе пуститься в очередной виток телесных приключений, которые, если и имели отношение к романтике, то не к моей. Вслед за телом в пропасть увлекся и дух — и я, пытаясь залечить раны доступными способами, случайно сломал очередную ветвь волшебного древа и позабыл тонкий пласт языка, еще недавно доступный мне. Бесконечные ступени Вавилонской башни, разрушаемой нами в течение жизни. Вы тоже наблюдаете библейскую историю в повседневности? Душа огрубевает и теряет суть слов, еще вчера доступную ей.

Конечно, у меня были оправдания, когда я подходил на каком-нибудь рауте к следующей искательнице вечной любви. Пробуя их на вкус, я словно пытался приблизиться к той, которую ждал — через ее страну, в которой женщины так жадны в своей тоске по нежности и ласке, что готовы уверовать в любую чушь.

Все женщины, кроме нее. Я проверял.

Я думал — быть может, пойму этот особый рецепт национального блюда, этот знаменитый простор души,

впускающей в себя любой сквозняк, лишь бы он приносил с собой запах жизни. Готовность слиться с тюремным камнем и эшафотом, морозной вьюгой и дремучим лесом, с чужой исковерканной судьбой. Нет, и тут я ошибался. Она не была похожа на них, привычных к крепким напиткам и папиросам, неизбалованных заботой. Она была соткана из моего же бархата, ценила дорогие вина и легкий французский флер. Была капризна, как принцесса — хотя это они купались в роскоши и деньгах, а она влачила жалкое, с их точки зрения, существование в мире книг, мечтаний и нечаянных радостей. Я шел по ее соплеменницам, как по указателям, но ни одна из них не привела к ней. Истоптанные башмаки, избитые ноги, лохмотья, смрад.

И посмотрите, как низко я пал, растеряв силы. Минуточку, приготовьтесь. Сейчас перед вами развернется еще одна страница драмы, способная вызвать нервный смех, переходящий в рыдания. Ничтожество во всем его неприглядном тщедушии. Позвольте сразу пояснить, как такое стало возможным. Я совершенно заплутал в густом тумане фарса, созданного мной из двух реальностей: сновидческой, в которой было можно все — я подчеркиваю это, чтобы напомнить об изменчивой ткани грез; и действительной, где так же любое мое предложение растратить свой дух и душу легко отзывались в человеческих сердцах. Это была коварная синкопа, мертвая петля, соединившая два вектора вседозволенности.

Теплый апрельский день, исторический квартал столицы ее родины, булыжная мостовая под ногами, набухающие почки деревьев. Я чуть расстегнул пальто и ослабил шарф: становилось жарко, солнце поднималось все выше, и мне требовался этот свежий ветерок, доносящий издалека запах ванильного мороженого, подсыхающих лужиц, горячих гамбургеров и жареных каштанов. Я наслаждался прогулкой по беззаботной улице.

Я увидел ее издалека, хотя совершенно не предполагал такую жестокость со стороны Вселенной. Она шла мне навстречу, средь толпы, точно так же радуясь новому дню и апрелю. Жизнь остановилась в моем теле, чтобы спустя секунду вновь взорваться фонтаном невиданной силы. Но этот миг вместил в себя слишком многое, и не разрешился от потустороннего бремени, навеки поселив тяжесть в сердце.

Я умер и возрадовался одновременно. Разум отказал мне — он не поспевал за Космосом, устроившим этот страшный экзамен. Но я улыбался — широко и открыто, я ускорил шаг, чтобы быстрее сравняться с ней. И она поймала мою улыбку, ответив на нее. Добрые, лучистые глаза, прекрасное молодое лицо, растрепанные ветром волосы.

— Привет! — сказал я ей.

— Привет! — с готовностью откликнулась она.

— Малышка, пойдем со мной. В отель... Выпьем кофе, поднимемся ко мне...

Видели бы вы, какое недоуменное презрение и отторжение залило ее личико, еще недавно доверчивое. До меня самого не сразу дошел весь чудовищный смысл сказанного мной. Что я наделал, спутав сон и свою никчемную жизнь? Привычной формулой я попытался завлечь в сети свою божественную любовь. Неслыханное кощунство, отвратительный эпизод.

После, оцепенев от ужаса, я до глубокой ночи просидел на постели в номере, впившись ногтями в кожу лица — я хотел содрать ее, так горела она от стыда.

Она сбежала, не оглядываясь, пождав упрямые губы, так и не доставшиеся мне, не вспомнив меня и не пожелав продолжить знакомство с тем, в кого я превратился.

Глава 6

Вчера было Рождество. Я поклялся не делать этого, но не сдержал обещаний, хотя каждый фотон души выл от боли: пролетел еще один год — что за смысл? В прошлый раз, ненавидя себя за способность верить, любить и надеяться, я как сомнамбула пришел в храм на окраине города и, просидев полтора часа на остывшей деревянной скамье, молил тебя найти меня в наступающем году. Служка меланхолично обтирал подсвечники, время от времени искоса поглядывая в мою сторону.

В этом году все, на что меня хватило — выйти во двор позади дома и упасть в снег на колени. Дорис хлопотала вместе с Артуром, заканчивая приготовления к ужину, вот-вот должны были подъехать родители. А я едва нашел в себе силы улыбаться и, сославшись на легкую головную боль, выторговал право на пятиминутную передышку. Я утирал слезы снегом, не обращая внимания на ожоги холода. Я не понимал, какое колдовство заставляет меня раз за разом повторять этот обряд, ставший глубже исповеди, чище причастия — он словно стирал с моей души то неверие и проклятия, которые я посылал в адрес судьбы в течение года. Молясь и умоляя, я чувствовал себя обманутым дураком, который не в состоянии сопротивляться высшей воле. Кто-то решил, что я должен страдать, и как бы я ни старался убедить себя в том, что могу быть счастлив — ничего не получалось, словно это нарушало чьи-то предписания. Я столько раз слышал притчу о кресте, сколоченном по индивидуальным меркам каждого, и наизусть выучил ее мораль, беспощадно указывающую на мое заблуждение о тяжести ноши. Но никогда не мог понять: только ли я не способен влиться в общечеловеческий узор обычной жизни,

или каждый из соседей носит в душе ту же боль, вынужденно улыбаясь и зажигая рождественские свечи?

Итак, моему безумному страданию уже семнадцать лет, и почти двадцать — моей не менее ненормальной любви к призраку, о котором я не знаю ничего, кроме образа, имени, души, характера, голоса, взгляда. Всего, что касается любого из нас в реальности — за исключением того, что я не могу сказать наверняка: она *существует*. За эти годы я сотни раз ставил диагноз и Николасу Фламингу, и мирозданию, обвиняя поочередно то себя, то космос в сумасшествии, трусости, отчаянных надеждах, порожденных не выкорчеванными детскими фантазиями. Не знаю, чего больше в этом: тоски по настоящей любви — или несогласия смириться с фактом безбожия в нашем мире? Ибо, если мечты чистого детского сердца не сбываются, то Бог либо монстр, либо вовсе отсутствует.

Со мной не происходило ничего действительно страшного — что касалось и настигало семьи друзей и родственников. Ни потерь, ни болезней, приковавших к постели. Но вся моя жизнь стала драмой бесконечного напряжения, неудовлетворения и бега по кругу, как верно выразился когда-то Джереми. Возможно, что Бог все-таки есть, и следит за равновесием: наверное, я растрачиваю свое здоровье на заблуждения и грезы так много и остервенело, что нет и смысла наказывать меня чем-то реальным.

Вот, пожалуй, самый удобный приговор моему безумству: я стал жертвой собственной склонности к бесплодным мечтаниям. Моя Греза — ничто иное, как стремление и желание найти идеальную пару, душу-близнеца, абсолютное совершенство любви. И — ничего больше. Ее не существует, она — мой вымысел. Я больше не чувствую осязаемости снов молодости, хотя и по сей день пользуюсь их наэлектризованным эротизмом.

Если бы я думал иначе — следовало бы признать, что я разрушил ее жизнь. Разве я могу позволить себе окунуться в такую нестерпимую вину? Мне надо работать, поддерживать успех и воспитывать сына, помогать родителям и выполнять тысячу и одну обязанностей. Я мужчина, и мне нужно держать на своих плечах весь мир.

Но откуда эта пульсирующая болезненность, настигающая сквозь все покровы запредельности? Она врывается в мои сны, и я вижу чужую повседневность, разворачивающуюся вдали от меня, ее переживания, мысли и мечты. Я слышу слова любви, сказанные ею — другому, и наливаюсь злобой и ревностью. Я испытываю настоящие, наполненные горячим дыханием эмоции, которые дают пищу вдохновению и, несмотря на свой яд, заставляют меня существовать — в надежде, что я когда-нибудь все же встречу ее и смогу раскрыть ей глаза на истинный орнамент судьбы. И там, в своих грезах, я совершаю преступление за преступлением, я иду на все, лишь бы держать ее в когтистых лапах, не позволяя жить и любить в полной мере — если это не принадлежит мне.

Я запутался в двух противоречивых фактах, они напоминают мне верткие, хлесткие тела маленьких змеек, шейки которых приходится сжимать, дабы они не вывернулись и не ужалили, но и хвосты их уже истерзали руки. Если она — моя Греза, то какое имеет право сбегать от меня и любить другого? И если она — моя Греза, разве не волен я приказывать ей все, что хочу?

Обе фразы кажутся вам одним и тем же утверждением? Нет, они наполнены двойственностью и сомнениями, и я настолько истончен и измучен ими, что способен уловить даже то, что скрывается за простой семантикой слов. Я привык к зеркальным коридорам — бесконечным, вероломным. Я видел наш мир в мириадах его отражений, осколками и репризами, римейками и аллюзиями, изучив самые скрытые его мотивы и почти всю

(осмелюсь в этом признаться) полифонию. Поэтому надежды на взаимопонимание с теми, кто предпочитает смотреть на свою узкую колею, нет никакой.

Я с детства нашел себя — занятие, которому другие мужчины посвящают всю долгую жизнь. Осознав в младенчестве, что стану художником, я высвободил энергию и время для поиска любви. Вот и вся подоплека вечных упреков и насмешек, брошенных в мою сторону. Обвинений в излишней романтичности и недостаточной мужественности. Пожалуйста, примите объяснение: мне не приходится скитаться по миру, пытаясь понять, в чем реализовать и проявить себя. Я не заливаю свою профессиональную никчемность алкоголем. Не доказываю другим, что я отличный политик, врач, математик и сварщик. Я есть у себя — с трехлетнего возраста. И все, что мне остается делать — искать *Ее*. Теперь понятно, что ваши издевательства — ах, этот Николас Фламинг, да он и знать-то ничего не хочет, кроме любви, и ни о чем другом думать не может — не имеют под собой никакого основания? Я всего лишь более развит и чуть нежнее обласкан Богом. Но мой путь — увы, он не дает никаких доказательств этому, кроме признанного таланта художника. Больше всего я боюсь показать свое истинное лицо, пряча его за оговорками и отговорками.

— Что это? Ваш любимый сон?

— Нет, с чего вы взяли? Просто фантазия.

— Фантазия? Вы имеете в виду — Мечта?

— Мечта? О чем может мечтать такой человек, как я? Вы же видите, что у меня есть абсолютно все. Я счастлив, как только возможно на этой планете.

— Но женский образ, часто повторяющийся на ваших картинах — откуда он?

— Просто Муза. Вы же слышали, что у каждого Творца есть своя Муза.

— Она не похожа ни на одну из ваших жен.

— А при чем здесь мои жены?

— Тайная любовница?

— Вы так банально воспринимаете смысл Музы?

— Понятно. Значит, она приходит к вам из других миров?

— Что? Какие еще другие миры? Я крепко стою на ногах и никогда не предаюсь бесплодным фантазиям.

— Но... я вас не понимаю.

— Разумеется, не понимаете. Не в состоянии понять, что «бесплотный» и «бесплодный» — не одно и то же.

— Почему же? Вы считаете, что никто, кроме вас, не способен проникнуть в сердцевину творчества и его механизмы? Ваша Муза не бесплодна, она дарит вам вдохновение и полотна.

«Нет, ничего вы не понимаете», — упрямо говорю я и захлопываю дверь перед носом возможных друзей и помощников — словно не сам же и поставил всех в тупик. А что будет, если я посчитаю их достойными главной тайны? Продолжение было бы таким?

— Знаете, мне кажется, что моя Муза существует на самом деле, но я пока ее не нашел.

— Да, и это понятно. Вы ищете женщину своей Мечты.

— Да нет же. Мы с ней действительно встречаемся. Во снах, и... я слышу, как поток ее мыслей течет сквозь мое сознание. Она где-то там, проживает свою жизнь, упрямо отказываясь поверить, что такое возможно, и я люблю ее, невзирая на время и пространство.

— Вы хотите сказать, что телепатически общаетесь с неизвестной вам особой? Простите, но мне кажется, будут серьезные проблемы, если мы опубликуем это признание в следующем номере. Не знаю, Николас, я разрываюсь между профессиональной склонностью к скандальным историям и человеческим желанием увидеть еще не одну вашу работу. Но позволяют ли выставляться

пациентам психиатрических клиник?

Все пустое. Моя жизнь надежно сколочена. Никто не сможет проникнуть прозорливым взглядом сквозь лоснящееся благополучие этого мирка, срисованного с яркой бездушной картинки на коробке с соком. Далеко не сразу я осознал, что мое упоение сложившимся равновесием — очередное бесовское наваждение, величайшая ложь, когда-либо возникавшая на пути. И я стою на шаткой планке между жизнью и смертью, трусливо ощупывая ступнями ее вероломную гармонию, всего лишь из страха перед собственной несамостоятельностью, не позволившей мне обрести силу внутри.

Это неприятное знание все время подспудно ворочалось во мне, оставляя свой след если не в словах и поступках, то в моем мертвом взгляде, который я после, с чувством кладбищенского ужаса, обнаружил на фотографиях недавних лет. Но со всей очевидностью я столкнулся с пониманием ошибки однажды вечером, возвращаясь в особняк из офиса.

Во многом это был необычный день: Дорис осталась дома ухаживать за чуть приболевшим Артуром, а я, напротив, отправился разгребать накопившиеся за несколько дней бумаги и счета. После работы, оказавшейся на удивление продолжительной и изматывающей (для меня, непривычного к подобным занятиям), я даже решил прогуляться в одиночестве, хотя погода обещала пролиться небольшим дождем. Да, возможно кому-то мои критерии неординарности покажутся смешными. Но поверьте, для человека, опутанного известностью и счетами в банках, внезапная перемена маршрута по соседней улице — уже новизна. Дорогие курорты и другие планеты не в счет: там всегда одно и то же.

Так вот, сворачивая к скверу неподалеку от дома, я приметил под старым дубом мужчину и женщину, бурно выяснявших отношения. Обрывки фраз, долетавшие

до меня, позволяли заключить, что они вместе достаточно долго, и предупреждены о сюрпризах и чудищах, прячущихся в тенях. Они отчаянно решали какой-то важный для себя вопрос, мучаясь от невозможности совместить острые углы душ — как, видимо, делали раньше, не замечая их, и ладно спаривая общую жизнь из своих пазлов. Он ожесточенно жестикулировал, она — стояла, прижавшись спиной к стволу дерева. Он тряс ее за плечи, она молчала. Он, обхватив голову руками, отворачивался, безумно вращая глазами в поисках выхода из реальности, в которой уже не было сил находиться — она коварной кошкой набрасывалась на него сзади, вымещая страдание на его плечах, выкрикивая обвинения. Он отталкивал ее, затем прижимал к себе, они жадно целовались, и вновь находили повод для упреков. Казалось, это будет продолжаться бесконечно.

Столь же бесконечно, как моя тоска по настоящему.

Я жадно всматривался в эту сцену голодными глазами, пытаясь без остатка впитать в себя весь градус надрыва, срывающийся с их голосовых связок и остервенелых взглядов. Никогда в реальности я не испытывал ничего подобного, и в то же время моя душа носила в себе знание об этой любви. Может быть, я в очередной раз приукрашивал воплощенный мир, но наконец-то нашел подходящее зеркало, в котором была способна отразиться заскорузлая болячка, спрятанная на самом дне моего «я». Столько лет я выключал свет в этой части своего существа, нарочито обходя стороной, придирчиво смахивая пыль с других предметов и старательно не касаясь ее. Покрывшись коростой, она не переставала гноиться под ней, но я рисковал жизнью, игнорируя угрозу. Она вопила ко мне через этих влюбленных, отчаянно борющихся за свои чувства. И я впервые понял, что заблуждался последние годы.

У меня никогда не было такой любви в реальности.

Жалкое человеческое счастье, олицетворенное домашним ужином при свете камина, предсказуемость бытия, просчитанные невзгоды — все, к чему я стремился, показывало свою отвратительную изнанку, плюя в лицо избитой истиной: у жизни нет смысла. Как проживешь — так проживешь. Я содрогнулся: маленький Ники в моем сердце закричал от боли и страха: «Нет! Я не об этом мечтал!». Мне не нужна такая житейская мудрость. Предательство собственных рассветов, учиненное трусливыми существами, у которых не хватило сил стать тем, кем их задумал Господь. У жизни нет итога — а значит, нет пути.

Это ли не самое страшное?

К чему тогда многочисленные религии и учения о душе? Знание о Боге? Разве не исключает эта ужасная истина саму возможность существования Бога? Разве не бросает она вожжи в лицо, хлестнув по щекам? Зачем Бог, если у жизни нет смысла — и, соответственно, замысла? Или это другой Бог — такой же слабый, как и я, беспомощный, не видящий наперед?

Но... даже я могу предвидеть, и тысячу раз доказывал это. И во мне пульсирует знание о том, что предчувствие и желание — суть моя дорога, и я могу дойти до дворца. И все эти желания и пророчества будто рождались не во мне, а навязчиво стучались в сознание, как послание свыше.

Так как же Бог может быть беспомощным и недальновидным — если даже я, человечье ничтожество, предсказывал свою судьбу?

И тем более, если Его нет — к чему заявлять о правах на жизнь и свободу? Нет Бога — нет души. Так зачем нужны гуманные законы, если мы всего лишь бесцельно бредущие куски мяса? У одного куска мяса быстрее проводимость нейронов мозга, у другого — крепче мышцы. Почему же мы настаиваем на неприкосновенности лич-

ности? Ведь ресурсы планеты ограничены, а мы бесконечно плодимся. Не разумнее ли уничтожать неудавшиеся экземпляры — если в нас нет искры божественного духа?

Опасные размышления, но правдивые.

Вот к чему может привести человеческая трусость, визгливо утверждающая, что у жизни нет смысла, и ничего с нас не спросят на рубеже миров. Нарушая первую ступень логики мироздания, человек старается не заглядывать дальше — а увидел бы неминуемую расплату за собственное нежелание *состояться*, как образ и подобие Бога.

Если у твоей жизни нет смысла — есть ли смысл продолжать ее?

И разве к нынешнему мещанскому счастью я стремился, обжигаемый лучами своей юности?

Мне не довелось узнать истинную любовь в реальности. Только во сне. Мне, художнику, беспрестанно ищущему ее в светотени и смешении красок, пишущему только ее, поклоняющемуся — ей...

Не знаю, знакомо ли вам противоестественное ощущение безбожности, чудовищное одиночество, накатившее вследствие какой-нибудь незначительной, на первый взгляд, ошибки — неудачно подобранного слова, или бесстрашно прочитанной книжки с сомнительным портретом автора, или ухарского сеанса с верчением столов. Впрочем, у иных оно бывает и от слишком усердного чтения псалмов. Сердце бьется ровно и спокойно, ноги шагают твердо, и на голову не сыплются камни с соседних крыш. Но душа... Душа сжалась в комочек и подвывает, глаза — ее зеркало — напряженно всматриваются в окружающее пространство, будто и сам воздух грозит распасться на таинственные миры, из которых вдруг пахнёт — нет, не множеством желанных откровений, но омерзительной свалкой нечисти,

пляшущей на ваших грехах. Будто приоткроется дверь, и все искомые тайны мироздания хлынут на вас разом, на ходу превращаясь в гротескных химер, и погребут вас под своей лавиной.

А тем временем ничего не происходит. Но вас не покидает ощущение приблизившейся смерти — не обыденной и физической, а настоящей, двойной,[1] именем которой обычно называют обобщенное и персонифицированное зло. Кажется, вот-вот грянет неизбежное, и сам Господь не пошлет малейшего слугу вам в помощь, и скажет напоследок: *поделом ему*.

Меня это чувство посещает довольно часто — возможно потому, что я до сих пор не смог притянуть в свою жизнь любовь. А Бог, как известно, и есть — любовь.

Я участвую в благотворительных акциях, притворяясь, что искренне проникаюсь чужой болью. Но я потерял саму способность к настоящему состраданию — с тех пор, как в голову закралась мысль, что я был жестоко и насмешливо обманут собственным разумом. С тех пор, как я объявил тебя своей Мечтой, а значит — выдумкой. Помогая чужим детям, я рассуждаю о собственном отцовстве, призывая всех становиться родителями. «Раньше я не мог так прочувствовать беззащитность детей, — рассказываю я очередному длинноносому газетчику. — Это проходило мимо меня, но мой сын, наблюдения за ним, его горести и победы научили меня понимать, в чем соль жизни».

«Что ты не мог прочувствовать, лжец? — смеется некто внутри меня. — Ты никогда не страдал о детях и не выискивал невозможные способы помощи им? Ты

[1] По одной из версий, слово «дьявол» (diabolus) происходит от «dia» (duo, два) и «bolus» (укус, смерть), так как он несет двойную смерть — и тела, и души.

не метался от ангелов к бесам, предлагая хоть кому-нибудь из них купить твою душу — за способность всегда быть рядом и оберегать? Ты не содрал свою кожу, чтобы сделать из нее плащ-невидимку, которым можно укрыть чужого ребенка от всех зол, подстерегающих ее на жизненном пути? Ты лжец! И старый болван».

«Уйди прочь, — изливаю я шипение на ненавидимый мной внутренний голос. — Ты всего лишь безумец, обманутый наивной гордыней. Ни тебя, ни *ее* — не существует. Ничего, кроме реальности и моих больных грез о любви».

Последней попыткой обмануть судьбу и собственный эгоизм стала выставка, состоящая из работ, созданных специально для страны, которую я исколесил и облетел, не оставив неузнанным ни одного лоскутка ее плоти. В общем-то, и проходила она только там. Я возлагал слишком много надежд, обманувшись ее внезапным — а потому, казалось, божественным — зачатием.

Это произошло цветущей весной, в земле, которую я условно обозначаю Королевство Кривых зеркал — из-за своей давней потерянности в нем. У меня не было никаких планов и предположений. И когда в одном шумном ресторане ко мне подсел хрупкий паренек, упрощенно и пресновато напоминавший меня самого в его возрасте, и предложил организовать вернисаж «из чего-нибудь, находящего отклик именно в здешних сердцах» — я сразу вспомнил, что у меня уже готовы полотна, подходящие под его определение. Выставку было невозможно не заметить: почтительный поклон и дифирамбы, разливаемые художником, отразились на всех телеканалах, в молодежных изданиях и местных фестивалях искусств. Возможно, что и граффити на бетонных заборах сошли с некоторых моих холстов. Успех был невероятным. В трех университетах мне даже вручили профессорскую шапочку и мантию, и я со страхом ду-

мал о предстоящих лекторских выступлениях.

Все без толку. Она по-прежнему думала о *нем*, пропустив очередной мой умысел. Я чувствовал переливы ее меланхолии, приобретавшей темные и смертельно опасные оттенки. Она часто размышляла об уходе из мира, не в состоянии понять, почему не воплощаются самые простые человеческие желания. Из Ангела-хранителя, которым я некогда поклялся быть для нее, я превратился в беса, стоящего за ее плечом и крепко хватающего за руку каждый раз, когда она собиралась сделать шаг навстречу той судьбе, которую считала привлекательной. Я внушал ей мысли об отвращении, страхи и сомнения. Я пытался удержать ее, навязав роль моей личной, собственной Грезы и Музы, и лишив права... на жизнь.

Возможно, мне, по своей привычке, следует найти еще тысячу слов, чтобы передать все оттенки оправданий и объяснений, изобразить витую арабеску и... что там еще бывает? И, наверное, рано ставить печать о качестве мудрости, посетившей меня — оно еще успеет вернуться, то словоблудие, пьянящее зелье, уже попавшее в вашу кровь. Но иногда мне и самого себя хочется обезглавить простыми и краткими приговорами. Посему оставим это. Полноте.

Вы видите этот усталый, наполненный фетровой пылью театра, жест руки, прикрывающей глаза? Сколько раз он уже встречался здесь, как моя порочная и лживая отметина?

Кстати, я не говорил вам? У нее родимое пятно лилейного абриса, королевского окраса — на правом плече. Уже знаете? Да, мне часто кажется, что и нечего больше сказать.

Глава 7

Мне снится, или я уже был здесь? Нет, не только в этом месте — хотя я привык видеть его цветущим и ухоженным, а сейчас почему-то чувствую осенний тлен в воздухе. Чудно для здешних широт. Возможно, эти сумасбродные ученые и правы — с климатом что-то происходит. Но чудится ли мне это дежавю? Разве я уже не был здесь, в этой точке кипения собственной души? Вот что я имею в виду. Разве уже я не просился, измученный отчаянием, в ее дом, к опасным советам и знаниям?

Время нынче другое — может быть, мне повезет чуть больше? Особняк обшарпан, известка потеряла летнюю свежесть, ступени угрожающе поскрипывают под моими набранными фунтами. Паутина, пыль, иссушенные листья забились под скамью на террасе.

Черт возьми, Айрис! Открывай же! Звонок не работает? Так ведь я уже целую вечность разбиваю кулак о тщедушную дверь. Можешь вызывать полицию — скоро я вынесу ее прочь.

Шаркающие, шепелявые, шипящие звуки за тонкой деревянной перегородкой. Что-что скребется под моим сверлящим взглядом, и спустя мгновение я вижу тронутое патиной изображение из прошлого: дверь приоткрылась и лохматая голова старой негритянки посверкивает белками из сумрака.

Нет. Ее глаза помутнели. Если теперь она плохо видит осязаемый мир — сможет ли разглядеть потусторонний? И тут же тугими змеиными кольцами меня захватывает в плен паника, и я судорожно выдавливаю вопрос, обращенный уже не к ней, а к Всевышнему:

— Ты можешь мне помочь?

К моему удивлению, она не захлопнула дверь перед

моим носом, а молча впустила, и я очутился в знакомом холле, где и пыль, казалось, все так же висела в воздухе, подрагивая от космических токов.

Старая, уменьшившаяся в росте, немощная... Спейсер в руке. Я шел вслед за ней по лабиринтам комнат и переходов, выученным когда-то наизусть, и мысли обгоняли друг друга, устраивая чехарду через сотни извилин — я даже не знаю, наберется ли столько в моем мозгу? То ли по старой привычке, то ли в состоянии шока от собственного решения и поступка, я впадал в неприятный бредовый транс, в котором само пространство ее дома теперь виделось мне отсеками космического корабля, или искривленными, наклонными плоскостями зазеркалья. Старый диван стал спасением: голова кружилась, тошнота вцепилась в кадык и лизала его изнутри телячьим языком.

Айрис внимательно выслушала меня: сколь ни старался, я ни приметил ни тени привычного сарказма в ее больших, навыкате, глазах и уже совсем старческой складке рта. Мой рассказ был сбивчивым и нервным, но куда как более откровенным, чем все, что я позволял себе ранее в беседах с ней. Я и сам уже видел закатные лучи на своей дороге: мне сорок шесть, и завидное здоровье никогда не было моей отличительной чертой. Но теперь, когда я был готов выслушать любые обвинения, политые презрением и грубой насмешкой, она лишь смотрела на меня с жалостью. И от этого становилось вдвойне больнее.

— М-да... — резюмировала она после моего монолога, — я думала, ты встретишь ее вскоре после расставания с Глэдис.

— Почему же так? — растерянно спросил я. — И, Айрис... Разве все это не может быть ошибкой?

Она усмехнулась:

— Тебе бы хотелось надеяться на это, не так ли?

— Да, хотелось бы. Так же, как и знать, откуда пришел ее образ. Он сжигает меня изнутри почти всю жизнь. Страшно представить — с тех пор, как я впервые осознал это, прошло двадцать лет. Я ничего не могу делать в полную силу — она словно стоит за моим плечом и одергивает меня на каждом шагу. Я не наслаждаюсь в достаточной степени: в моем сознании слишком много места отведено под понимание того, *как* все это могло быть. Мне остается только утешать себя, что это всего лишь привычка грезить. Этакая муза, посещающая каждого художника или поэта. Но она порой творит ужасные, невообразимые вещи со мной...

— Нет, малыш, боюсь, я не смогу тебя успокоить. Она существует. И ты знаешь это не хуже меня. Но почему же вы до сих пор не встретились?

— Ты считаешь, я допустил какую-то ошибку?

— Надо подумать. Но давай договоримся: как бы ни хотелось назвать что-то ошибкой, все произошло наилучшим образом.

— Я пытаюсь так думать, но мне это дается с трудом. А вот ты, Айрис, и впрямь изменилась. Добрее стала.

Она вскинула на меня взгляд, наполненный такой пронзительной болью, что я тут же пожалел о своей фамильярности. Она действительно была уже другим человеком, и не мне судить, какими путями ее вел, изводил и привел-таки Господь.

— Давай сначала. Ты не отпускал ее с тех пор, как она прогнала тебя.

— Я старался все время быть рядом, чтобы она не натворила глупостей.

— Но это не помогало?

— Нет, — вынужден был горько признать я, — не всегда.

— Что ты считаешь ее ошибками?

— Тот случай. Зачем она пошла к нему? Почти сразу,

просто-напросто из моих объятий. Такая маленькая.

— А для твоих объятий она не была маленькой?

Я оторопело посмотрел на свою знакомую.

— Айрис... У нас были особенные отношения!

— Я тебя еще раз спрашиваю, — ее голос стал жестким, словно его вновь застудил ветер, ворвавшийся из молодости, — для того, чтобы спать с тобой, она была достаточно взрослой?

Я ощутил что-то знакомое в свистящих вихрях вокруг своих мыслей. Кажется, однажды уже состоялся разговор — может быть, о другом, обнадеживающем, предвкушающем, но это было! — и вот я вновь пытаюсь удержаться на земной поверхности, потому что спутанные веревки чувств и построений, утерявших за эти годы логику, начали стремительно расплетаться, продирая нутро, прошивая его новыми размашистыми стежками, перекраивая душу. Я так мучительно и долго искал ошибку, а теперь она с наглой блистательностью предстала прямо перед моими глазами, заявляя, выплевывая мне в лицо обвинения: неужели ты раньше этого не видел?

Изворотливо, талантливо, я старался убедить себя в том, что не совершил ничего дурного. Я и сейчас крепко держу за хвост это оправдание, потому как ни одна сверстница той, *моей* Евы, за все это время, а также до него, не считая моего отрочества, не вызвала у меня ровным счетом никакого интереса. Никакой патологии. Болезни. Психического нарушения. Извращения и отклонения. Кроме одного: непреходящего, всепоглощающего, самодовольного чувства собственности на ту, которую я однажды обнаружил в своих снах.

— Да, — сказала Айрис, подтвердив свою не угасшую способность читать мысли, — ты обращался с ней, как с чем-то, принадлежащим тебе по праву. Ты ни разу не усомнился в нем.

Я вскочил с дивана. Виски ломило, губы начали

нервную пляску.

— Черт возьми, в чем ты меня обвиняешь? Может, это всего лишь наваждение, а я должен корить себя за несдержанность в собственных снах? Откуда я знаю, чем занимаются в них мои соседи? Разве это не может остаться личной тайной? Пусть даже в ней и рвется наружу темная сторона!

— Тогда зачем ты пришел ко мне? Пожаловаться на кошмары? Купи снотворное и спи без проблем.

— Хорошо, — сдался я в тысячный раз и устало опустился на диван. — Но во многих странах это уже возраст согласия. Она была... очень смышленой и развитой девочкой. И действительно сама хотела этого.

— А я и не обвиняю тебя в преступлении согласно уголовного кодекса. Я всего лишь хочу спросить тебя: почему ты не подумал о ней, если она была не в состоянии это сделать?

— Да я только этим и занимался! — выкрикнул я.

— Разумеется! — Айрис также повысила голос. — Как каждый влюбленный дурак. Но я не это имею в виду. Я спрашиваю: ты подумал, каково ей будет с этим жить?

— Ее сверстники вели себя, как свиньи. А я предложил ей настоящую любовь. Неужели предпочтительнее какой-то грязный мальчишка и его нецензурная брань?

— И твоя любовь осталась на страницах популярного романа? И будоражила ее не больше, чем туманное описание любовных сцен? Она сидела на уроках, и иногда ее мысли нечаянно улетали вдаль, заставляя краснеть? А учителя одергивали ее, и она послушно возвращалась к заданиям?

— Нет, — сдавленно прошептал я. — Айрис, а это ты откуда знаешь? Я не рассказывал тебе — она бросила школу.

— Интересно, почему? Уж не потому ли, что ты, подобно инкубу, атаковал ее своим чрезмерным внимани-

ем? У тебя дар, Николас, а ты использовал его для своих дьявольских развлечений.

Я съежился под хлесткими ударами ее слов. Со всей жестокой безусловностью, она была права. Почему раньше я не задумывался над тем, что для Евы все это так и выглядело? Я укорял ее за средневековую смиренность перед религиозными догматами, за монашеское послушание, за трусость. Разве я мог забыть, как она нанизывала на четки молитвы перед сном, пытаясь прогнать меня из своего сознания — в то время, как я покорно и устало ждал, сидя в изголовье ее кровати, невидимый, но все еще чуемый ею? Для меня было не важно, хочет ли она моего присутствия — главное, я понимал, что она у меня под присмотром.

— Айрис, я бы вел себя так и в реальности, — сказал я. — Да, вынужден согласиться.

— Нет, в реальности все было бы иначе, дорогуша. Ты бы наверняка — уж в твоих искренних намерениях я не сомневаюсь! — взял бы на себя ответственность, и девочка бы ясно видела свой будущий путь. А так... В этих астральных путешествиях... Что она должна была думать о своей жизни? Как ты мог ее защитить и поддержать?

— Нет-нет, — запротестовал я, — а вот это неверно. Я все эти годы неплохо ее защищал!

— А Божьей воли, значит, не существует? — усмехнулась знахарка. — Ты у нас по собственному почину превратился в ангела-хранителя?

— Ладно, — пресекла она меня, заметив мою готовность отстаивать кажущуюся картину мира, — пойдем дальше. Что ты знаешь о ее нынешней жизни?

— Она выросла... — пробормотал я очевидную банальность. — Да, окончила какой-то университет, стала невыносимо умной. Она уже не совсем такая, какой я знал ее в детстве. Тогда она была, что ли... послушнее, наивнее, веселее. Теперь я чувствую много депрессивных

мыслей в ее сознании. Возможно, это от неудач в личной жизни.

— Подробнее! — потребовала Айрис.

— Что тебе сказать? — почти разозлился я. — Я не хочу, чтобы у нее была удачная личная жизнь. Каким идиотом нужно быть, чтобы желать ее замужества?

— Ты пытаешься мне сказать, что можешь как-то влиять на ее решения? — колдунья с пристальной настороженностью посмотрела на меня.

— Иногда у меня получается менять ее настроение. Я всегда чую, когда к ней подходит какой-нибудь самец.

— Объясни мне, как это происходит, черт тебя подери, Николас! Как у тебя хватает сил?

— Я много времени трачу на эти практики, иногда даже в ущерб делам. Я использую каждую удобную минуту, чтобы погрузиться в это состояние. Со стороны это выглядит, как если бы я просто прилег отдохнуть. Даже в самолете.

— Расскажи мне, как ты управляешь ее мыслями.

— Если мне видится, что она общается с мужчиной, я представляю, что набрасываю пелену на ее сознание. Вот и все. Но это касается только того, кто ей нравится. Остальных она сама отшвыривает, — я усмехнулся, — невероятно привередлива.

— Но у тебя есть соперник?

— Да, — желваки на моих скулах заиграли джаз по своему почину, — она влюблена в него уже целую вечность.

— У них роман?

— Как я могу знать? Я ведь просто чувствую, Айрис! Чувствую и иногда вижу. Я уже забыл, где проходит граница между вымыслом и реальностью. Вторгаюсь в ее сны, и при этом даже не могу с уверенностью сказать, какими она сама воспринимает их. Но то, что у них совсем не благополучные отношения, это факт. Я не всегда

могу сообразить — вокруг нее постоянно кто-то вьется. Мне бы хотелось думать, что у меня получается...

— Деспотично разрушать ее жизнь, — закончила она за меня.

— Я могу управлять и его сознанием, — не без злорадства ответил я. — И мне все равно, что ты думаешь по этому поводу.

— То есть, ничего не изменилось, — резюмировала моя собеседница. — Ты как был безмозглым тираном-самодуром, так им и остался. И как же ты вторгаешься в его мысли?

— У этого кобеля не слишком-то стабильная психика. Я бы сказал, он и сам не без способностей. Пожалуй, это естественно: только такой и мог ее привлечь. Я просто визуализирую: стены между ними, сети, туман. У меня есть помощники. Айрис, ты забыла, что сама их мне подбросила? Моя душа в ломбарде, и я пользуюсь процентами. Что удивительного? Мне уже нечего терять. Они сходятся, сплетают объятия — я разрубаю их. Если я не могу держать ее за руку — то хотя бы не выпущу ее душу. Я уже смирился с ее любовниками, но Мендельсону подпевать не стану.

— Допустим, я верю, что ты можешь это видеть. Но с чего ты взял, что все это — дело твоего намерения? Не слишком ли ты высокого о себе мнения?

— Нет, — язвительно парировал я, — это Господь не хочет, чтобы девушка нашла свое счастье.

— Может, у нее просто отвратительный характер, у этой твоей Евы, — спокойно заметила она, доставая из кармана аппарат. Теперь он заменял ей ту великолепную курительную трубку.

— Даже стерва рано или поздно начнет мучиться одиночеством. Для Евы такового не существует, поверь мне. Я никогда в жизни не встречал женщину, столь пренебрегающую возможностями создать брак. Думаю, она все

равно ощущает мое присутствие рядом, пусть и не признается себе в этом.

— Но ты же говоришь, что она влюблена в другого. Вот эта любовь и удерживает ее от принятия решений.

— Ошибаешься. Она время от времени пытается «насолить» ему, завязав никчемные романы, но ее терпения надолго не хватает. Но мой главный аргумент таков, Айрис: если он ей нужен, а я здесь не при чем — почему она просто-напросто не выйдет за него? Для такой красотки это труда не составит.

— Но ты же говоришь... Да... — задумчиво произнесла она, — все-таки, какое-то вмешательство явно присутствует. Даже если не ты в данный момент ведешь ее, она почему-то сама все разрушает. Задавленные впечатления. Программа несоответствия. Такое происходит только в том случае, если женщине действительно есть, с кем сравнивать своих мужчин. Но почему же она забыла тебя?

— Я не знаю, Айрис, — прошептал я, схватившись за голову, — это самая большая загадка во всей истории. Уточню: она забыла не меня, а то, что между нами было.

— То есть?

— Она отлично помнит, что был (и, возможно есть) такой художник, Николас Фламинг. Однажды мне пришлось стерпеть жесточайшую пытку — я подслушал ее разговор с друзьями, в котором она рассказывала, что меня преподносили на уроках рисования в ее детстве, как яркого представителя нового импрессионизма. Она говорила обо мне, излагая биографию, вплоть до городка, где я родился, до гороскопа, до черт характера. И при этом я слышал гулкую пустоту в ее сердце. Только усмешка на лице, когда кто-то первым произнес мое имя и завязал этот разговор. Усмешка, Айрис... «Как же, как же...», — словно говорила она.

— Так усмехаются женщины, когда слышат имя быв-

шего любовника, но желают сохранить тайну, — подытожила экстрасенс.

— Да. Но ее сердце молчит.

— Молчит ее разум, Ник. Ты все путаешь. У нее огромной силы блок на всей вашей истории, и появился он там именно потому, что ты чуть не разрушил ее жизнь. Могу только сказать, что тебе в какой-то степени повезло. Если бы она все хорошо помнила, то знала, какие путы ее держат — и смогла бы от них избавиться. Но, поскольку она не понимает, что с ней происходит, то и не управляет ситуацией. Откуда ей знать, почему другие мужчины кажутся ей неподходящими?

— Как мне ее вернуть? Давай проведем какой-нибудь обряд. Ты ведь мастер колдовства, Айрис.

— А вот тут я тебе больше не помощник.

— Что ты имеешь в виду?

— Николас, — довольно мягко обратилась она ко мне, — мне остается только попросить у тебя прощения, что я сыграла в твоей судьбе эту роль. Разумеется, ты и без меня нашел бы возможность вляпаться в близкие отношения с миром духов. Но я — увы! — укрепила твою веру в то, что это нормально и полезно. Я не настолько глупа, чтобы посыпать голову пеплом и проводить время в раскаянии по поводу своей клиентуры — это всегда обоюдный выбор, и я не воплощение дьявола. Но я хотя бы могу отказать тебе сейчас.

— С каких это пор ты мыслишь религиозными категориями? — усмехнулся я.

— Тебе бы тоже не мешало задуматься об этом. Ты по-прежнему готов идти на все — вот что меня удивляет.

— Если бы ты знала, как мне осточертела моя жизнь!

— Ты сам ее выстроил именно по такому плану.

— Хорошо. Но тогда в последний раз объясни мне: что это вообще такое? Души-близнецы и связь между ними?

— Возможно. Это был бы самый большой Божий дар. Воплощенная сказка о детях и их Всесильном Отце. Но будь готов и к тому, что это — игра потусторонних сил. Она также развернулась неспроста, и ее целью не является твоя гибель. Бог не однорук, и держит все нити. Это ничтожное человеческое сознание наделяет левую половину могуществом, равным Источнику всего сущего. Сами о том не желая думать, люди признают существование дьявола, как еще одного божества, с которым Бог якобы не может справиться. Огромная ошибка. Так что, если это и «бесовское наваждение» — оно тоже необходимо. Чтобы привести тебя в нужное место, в нужное время.

Мне не дано этого знать. И никому не дано. Есть еще тысячи вариантов. Быть может, ты сам порождаешь это в своем мозгу, а затем электроны твоего пути собьются в сгустки, и ты встретишь все, что вспыхивало в фантазиях.

Могу дать только один совет: не сомневайся в своем сердце.

Она откинулась на спинку кресла и вновь потянулась за своей прыскалкой — тем же завершающим разговор жестом, которым раньше доставала трубку из бездонного, пропахшего табаком, кармана. Обескураженный, я поднялся с дивана. Чуть замешкавшись, сказал ей, прикрывшей глаза:

— Айрис, я навещу тебя как-нибудь, если ты не против...

— Конечно, малыш, — ответила она без улыбки, и веки ее даже не дрогнули.

Старая, больная женщина. Потерявшаяся в своей жизни и заблуждениях. Впрочем, это удел каждого из нас, судить ее было бы глупо. «Она словно невольная свидетельница и ровесница моей боли, — вдруг подумал я. — Ровесница? Да. Если ты наполнен болью, то и два-

дцать лет превратят тебя в дряхлого старика. Существуешь ли ты, Айрис, за пределами моей истории? Разве я видел когда-либо твоих клиентов? Или ты — лишь луч высшей силы, осветивший отрезок моего пути?»

— Пока, Айрис.

Она не ответила.

Я вышел на залитую сентябрьским солнцем террасу. Справа от ее небольшого сада стоял еще один старый особняк. Я видел, как возится с цветами у его стены пышнотелая женщина лет сорока, да мальчишка замер над большой распахнутой книгой на ступенях перед дверью. Я подошел к забору и, облокотившись на него, окликнул хозяйку: «Мэм!»

Та взвизгнула и, выронив крохотную мотыжку из руки, резко выпрямилась.

— Ох, сэр, и напугали вы меня, — спустя секунду она уже расплылась в улыбке. Все же, вид у меня весьма респектабельный. — Сюда нечасто заходят люди, видимся со всеми по приглашениям.

Я начинал узнавать эту майамскую болтливость.

— Извините. Я хотел спросить: вы ведь общаетесь со своей соседкой?

— Айрис? Да, разумеется. Уж не знаю, что и делала бы с его болячками, — дама кивнула на паренька, — если бы не ее советы. У нас очень теплые отношения. Правда, в гости она предпочитает заходить только по праздникам. Говорит, знаете ли: «У вас своя жизнь, у меня — своя. За помощью обращайтесь, а нити не путайте». Но мы на нее не в обиде за такие слова. Можно понять, у нее столько людей дома перебывало.

— Это Айрис, все верно, — улыбнулся я. — Но скажите, к ней приходит медсестра или кто-нибудь из социальных служб?

— Это вы правильно подметили, сэр. Раньше мэрия ее поддерживала, а сейчас у нее почти нет денег на опла-

ту страховок. Как я поняла, все ее сбережения съедаются налогами на дом. Знаете, это был престижный район лет двадцать назад. Здесь жили богатые люди. Сейчас квартал застраивают на юг, и мы уже, получается, живем на окраине... А налоги прежние, будто мы владельцы дворцов...

— Послушайте... — с невежливой нетерпеливостью перебил я ее. Мне совсем не нужны были эти долгие разъяснения. Жизнь Айрис и ее квартала, когда-то исхоженного моими молодыми неугомонными ногами, разворачивалась у меня под кожей, словно была моей же судьбой, переложенной на язык и истертую пленку старого кинематографа. — Могу я вам доверять?

Женщина возмущенно посмотрела на меня, как будто услышала оскорбление из уст давнего знакомого. У меня и впрямь было ощущение, что я очутился в середине двадцатого века, средь живой наивности и порядочности небольших американских городков. Может быть, координаты вновь сбились, и болезненная хорда подвела мои крылья?

— Извините, — уточнил я, заметив ее взгляд, — если я дам вам деньги на медсестру для Айрис, они достигнут своей цели?

— Можете не сомневаться, сэр. И обратите внимание: я не задаю лишних вопросов о ваших мотивах. Хотя понятное дело, сыном вы ей быть не можете...

— Хорошо-хорошо, — улыбнулся я, в очередной раз убедившись, что искривлено и время, и пространство, — я старый приятель, и неплохо знаю ее характер. Она отвергнет мою помощь, а мне больно смотреть, как... Возьмите деньги, а позже я вышлю еще.

Я протянул ей небольшую пачку купюр, которая умещалась в портмоне. Мы еще немного поболтали о солнечных сторонах сада и падении нравов, обменялись адресами, и я распрощался с новой знакомой,

тщетно силясь припомнить, видал ли я десятилетия назад какой-нибудь дом по соседству с особняком нашей колдуньи.

Почему-то мне не захотелось оставлять Айрис в своем прошлом. Вероятно, это было связано с неуютным чувством собственного властного одиночества на жизненном пути, о котором я вспомнил раньше. Я боялся, что она действительно является лишь картинкой, образом, помощником, посланным мне свыше и оставленным на туманной дороге. Там, в гулкой пустоте, из которой — все, и в которую — все. Мне не нужна была такая власть, с ней я чувствовал себя бессильным божеством, не способным провидеть ближайшее будущее. Колосс на глиняных ногах. Я должен был точно знать, что Айрис — существует. И все, что со мной происходило, было реальностью. Ведь точно так я мог бы отмести и Глэдис, и своих родителей, сына, жену, самого себя. Что творилось в моей голове — шизофрения или неизведанные наукой сверхъестественные способности — это второстепенно. Соль истории была в том, что я не мог от этого отказаться, как от собственной жизни. Пусть ее узор был настолько причудлив, но это был мой рисунок.

— Николас! — услышал я строгий оклик, выходя на песчаную дорожку, ведущую к калитке. Айрис стояла на террасе, сгорбившись и опершись на трость, которую я раньше не видел.

— Да, дорогая, — я подошел к ней.

— Возьми это, — она сунула мне в руку сложенный листок бумаги. — Не знаю, что ты делал у моей соседки. Она глупая, хоть и порядочная женщина. Слетай по этому адресу. Скажешь ему, что от меня. Я почти на сто процентов уверена, что он сможет тебе помочь. В отличие от меня, нынешней. Только умоляю, не забрасывай его своими долгими объяснениями — они ему не нужны. Его

слова будут попаданием в цель. Но готовься к любому повороту событий.

— Ладно! — она сердито махнула рукой. — Проваливай, слишком много времени я на тебя трачу.

Не попрощавшись, повернулась и доковыляла до двери, с треском захлопнув ее за собой. Я развернул бумажку. О, Господи! Без всяких предупреждений она послала меня... в Китай! Стучаться вновь было бы бесполезным занятием. Я свернул листок и сунул его во внутренний карман куртки, твердо сказав себе, что все обдумаю в тиши собственной гостиной.

Как бы не так: я уже не принадлежал себе. Точнее, не смог успокоить ту часть своей личности, которую успешно подавлял последние — страшно сказать! — тринадцать лет. На раздумья тот юный, сумасбродный Ник оставил мне, зрелому и умудренному опытом, ровно час, схватив за шиворот и отправив на очередной рейс авиалайнера.

...Я опять шел за кем-то. Шел по песчаной тропинке, руками предусмотрительно спасая лицо от неизвестных мне кустистых растений, растущих по ее бокам — разлапистых, похожих на огромные папоротники. Хозяин сада и еще невидимого дома уводил меня вглубь, и я невольно задал себе вопрос: «Может быть, это очередная роковая ошибка? Почему бы мне не принять решение самому? Кто-то вновь ведет меня, чтобы рассказать о моем будущем...». Я даже споткнулся, задев неудобный маленький камешек носком туфли, не приспособленной к здешним широтам.

Принять решение? Какое? Разве не этим я и занимался все предыдущие годы? Полноте! У меня опять останутся в запасе одни лишь знаки вопроса, которые я свяжу между собой шелковой нитью своих ничтожных замыслов — забыв, что при первой же попытке сделать шаг в сторону, она натянется с неожиданной для своего

материала резкостью, и исчертит мои ладони красными штрихами.

Мы поднялись по нескольким ступеням, ведущим к небольшой террасе — эффект от прикосновения к дереву был странным, оно отозвалось замшевой мягкостью, словно я ступал по траве, а не лестнице. Я зачем-то пытался запомнить ненужные мелочи, детали — худенькую женщину, согнувшуюся в углу над плетением бамбуковой шляпы, попугая в клетке, свитки с иероглифами на стенах, надоедливую череду колокольцев в дверных проемах. Мы шли долго, и я потерял счет комнатам и лабиринтам, хотя со стороны дом выглядел чуть приукрашенной лачугой, затерявшейся в огромном саду.

В одном из помещений он остановился и уселся на пол, поджав ноги. Я остался недоуменно стоять, ожидая продолжения восточной театрализации. Он смотрел на меня несколько минут, и выдал одну единственную фразу:

— Отпусти ее. Совсем.

Я переспросил, но не получил ответа. Колдун отвернулся от меня и занялся перебором каких-то керамических плошек, очутившихся тут же. Потоптавшись еще немного, я развернулся и побрел к выходу, обнаруженному мной быстро и внезапно — будто и не было этих сумрачных переходов из комнаты в комнату.

...Следующие несколько недель стали для меня очередным сеансом пыток. Кажется, что в настоящем Аду уже и витков столько не наберется — девять... Или девяносто девять? Я все спускался и спускался по черной каменистой спирали, погруженной во мрак, но время от времени озаряемой вспышками молний. Иногда над ухом раздавался, обжигая кожу, пронзительный свист: то взмывал в грозовые подземные небеса острый, шипованный хвост чудовищного змея, случайно обнаруженного мной при очередной попытке осмысления себя. Какие-

то из монстров по-прежнему одерживали надо мной победу, другие были повержены, но и это не приносило облегчения: по здешним правилам я почему-то был обязан волочь с собой их обмякшие туши. Оставлять их здесь означало возродить к жизни на благодатной почве заблуждений и пороков.

У меня действительно не было выбора — все остальное я уже испробовал. И пусть я так и не понял, что означали слова китайского ведуна на самом деле (возможно, он всего лишь призывал меня отпустить восвояси грезу и собственную мечтательность, а вовсе не реального близнеца моей души), но я покорился им с каким-то озлобленным облегчением. Оказалось, за эти годы я смертельно устал от постоянной ответственности за свои решения не только в реальном мире, но и в эфирном. Разумеется, я выглядел слабым и беспомощным в глазах друзей и врагов: мне приходилось справляться с двойной нагрузкой.

Сразу же в сознание ворвался поток ненавистных мне эмоций, испытываемых ею, но не имеющих отношения ко мне. Была она реальной женщиной, или мыслеформой, которую я наделил чрезмерной энергией, но она переживала и *выживала* — там, где были раскинуты мои дырявые никчемные сети. Она добилась своего, уложив меня на лопатки и воплотив желания в жизнь. Ей больше не нужны были бесконечные романы без продолжения, десятки поклонников и тысячи прикосновений: путь к алтарю с избранником был свободен. И какой приговор моей алчности и тирании! — едва я расцепил свои сведенные многолетней мукой пальцы, как он резко обернулся и пристально посмотрел на нее. «Ева, — прошептал он, — я столько лет как привидение брожу по твоим следам, отыскивая тебя, словно призрак. Я так хочу быть с тобой каждую минуту своей жизни, так в чем же дело?»

Он украл мою роль, страсть, поэму, придав ей грубую огранку — иначе и не могло быть, хоть она не сразу это и поняла. Увидев его хищный оскал, она в ужасе отпрянула от него, испуганно оглядывая свои израненные крылья: в руках у мерзавца были огромные, кривые и ржавые ножницы, которыми он пытался остричь их, дабы уместить добычу в свою клеть. Сейчас, чуть призадумавшись над ее встревоженным лицом, я опасаюсь, что она сумеет сбежать и от меня — пусть я работаю с другими материалами, и мое ремесло несоизмеримо тоньше и благороднее, а клетка просторнее и светлее, но... Клетка?

Неважно, не стоит решать проблемы заранее — благоразумнее делать это по мере их возникновения. В данный момент мое тело скручено болью от пронзающих его раскаленных шомполов видений — вульгарных и простых, как сама земная жизнь. Я пытался понять, почему страдание захватило меня в плен — элементарная ревность отступала на задний план, оставляя право голоса совершенно иным, трудно постижимым чувствам. Я и ранее мог ощущать и проживать вместе с ней ее любовные приключения, но они не отравляли меня столь невыносимо омерзительным ядом и не вспарывали плоть и сознание. Более того: давно, на заре ее юности, я уже видел эти печальные сцены их будто бы любовного соития. В чем же дело? — спрашиваю я себя, и нахожу ответ, почти непереводимый на человеческие языки.

Будучи неотделимой частью ее — и вновь вступает тихая, но изводящая партия скрипки: мечтой и грезой, близнецом, порывом ветра, ренессансом великой идеи, но все же, еще раз — будучи неотделимой частью своей Евы, я чувствую и разрушение ее надежд, и каждое падение, и непрерывную эволюцию бабочки, и кризис личности, рождение и апокалипсис — все, все, что проживает она. Потому слезы и застилают сейчас зеркало мира

от меня: ее глазами я вижу, как умирает мечта о большой любви. Точнее, мне кажется, что она погибает: любовь вечна, и не может уйти — теперь надо лишь найти то место, откуда на самом деле все эти годы раздавалось звонкое журчание ее источника.

Но это где-то там, за пределами моей жалкой человечьей сущности — то, что вплетено в замысел и предначертано. А я, Николас Фламинг, сутулюсь и втягиваю голову в плечи, пытаясь забыть его ненасытный взгляд и ее закушенные губы.

— Дорогой, у тебя остеохондроз? Сходи к врачу, — советует жена, тщетно выправляя ладонями мой согбенный последними неделями загривок. Я соглашаюсь — так проще, чем объяснять, что я уже жажду оглохнуть, лишь бы не слышать постоянную трансляцию жизни на другом конце провода. Почему, отпустив ее, я не потерял этот дар?

Годы нежного шепота согласия и беззаботной болтовни влюбленных. Теперь — настороженность, смирение, готовность понять, недоумение, обида, горечь, боль. Вот уже несколько ночей она плачет, а я ничем не могу ее утешить. Но она сильная девочка, и наступает момент, когда она принимает обычное, но важное решение: она не будет страдать из-за него. Я вижу поток радостей, постепенно заполняющих ее дни, кропотливую работу осознания, приведения в порядок своих убеждений, осторожные шаги на пути к понимаю самой себя. Первые образы, обнаруженные в сердце.

«Знаешь, — торопясь изложить то, что так трудно уловимо, говорит она, — я теперь знаю, *каким* Он должен быть. Это тонкий и эмоциональный человек, но он умеет держать равновесие в жизни. Быть может, даже немного мещанин — в хорошем смысле слова. По крайней мере, благовоспитан и не современен. В чем-то консерватор, но романтик. Я вижу его большой, крепкий дом, в кото-

ром много книг, картин и изумительных вещей, но знаю, что он часто путешествует. Кресло-качалка, камин и морской прибой. Он уже не слишком молод, и надевает очки, когда садится читать. В нем нет ничего от того викинга, о котором я мечтала раньше: он не физической силой обеспечивает спокойствие и надежность. Но от него веет именно этим. Что-то из старых времен, черно-белых фильмов. Какая-то любовь — однажды и на века. Обычная жизнь — необыкновенная верность».

Однажды, ведомая судьбой, она нащупывает тонкий корешок высокой книги на старом стеллаже, и, опрокинув его геометрию, вытаскивает из стройных рядов альбом с репродукциями еще живого, но забытого многими художника. Забирается с ногами в кресло и медленно открывает его на случайной странице. Листает, разглядывая переливы цвета, и с каждой перевернутой страницей улыбка все больше освещает ее лицо. Она вспоминает собственное отрочество, из глубокого омута поднимаются к поверхности обрывки моих пейзажей, портретов, впечатлений и эскизов. Она узнает их — заново, как взрослый, попавший в потерянный сон, где он бродит по родительскому дому, с трепетом и счастливым комком в горле притрагиваясь к предметам, стенам и солнечным зайчикам на перилах лестниц. Она еще не видит своего отражения в моих зеркалах, и ни о чем не говорят ей названия картин, огненно, призывно кричащие ее собственным именем. Память так зыбка, постижение наполнено страхом, и она не в состоянии пока перешагнуть узкий порог между «совпадением» и «умыслом». Закрывает книгу и, прижав ее к груди, замирает, погрузившись остановившимся взглядом в свою душу.

...Но, как водится, все начинается с того, что как-то я увидел чудесный сон.

Я бежал по вязкой пустоте смутно знакомой уличной

галереи, скудно освещенной янтарными фонарями. Причудливые образины встречных цветов и кустарников выскакивали наперерез, усиливая камертон детства и дерзости, звезды перемигивали сквозь разводы облаков. Каким-то дополнительным чутьем, вторым осознанием, будто за плечом шел мой двойник, наблюдающий и помнящий *все*, я фиксировал эти мгновения в вечности, чтобы впоследствии вернуться к их судьбоносной наполненности и волшебству. У меня было много времени — но я гнался за ним, боясь упустить хоть секунду. Я не понимал ничего, но летел стремительно, определяя цель и обещая ей свою силу. И с каждым шагом, с каждым невероятно легким рывком вперед, превращающим движения в вечную мечту о бестелесности и парении, я терял свою состарившуюся оболочку, обросшую болью и страхами, превращаясь, обращаясь, заклиная себя — собой же прежним. Кожа наливалась упругостью и цветом, волосы отрастали под лунным светом, мышцы удлинялись и крепли, кости выпрямлялись, а глаза приобретали бесовской оттенок юности. Только таким она, нынешняя, могла меня узнать.

И когда я влетел в ее комнату, шумно, бесцеремонно толкнув дверь и едва успев остановить собственную скорость и нахальство, Ева встрепенулась и повернула голову.

«Николас?» — изумленно спросила она и проснулась, распахнув глаза, наполненные счастьем и ужасом одновременно.

Вы чувствуете эти бесконечные обрывки мыслей, недоработанные гранки, перечеркивания и спутанные пряди? Поначалу я боялся их, предполагая в них торжество бессмыслицы и крушение надежд. Но теперь вижу истину даже в этом неприглядном беспорядке: это всего лишь ростки нового, которые в недалеком будущем распустятся и превратятся в прекрасные деревья нашей изу-

мительной истории — она, кстати, подходит к концу, осталось всего два года, и раны начнут затягиваться. Еще долгих два года... Нет, лгу: они пролетели стрелой, словно и пророчества сбывались, и небо сворачивалось в свиток, и времени не стало — чтобы облегчить боль избранных.[1]

Два восхитительных, искрометных, бурных года, наполненных радостью и страданием, отчаянием и такой невероятной надеждой, балансирующей на тонкой грани святости и кощунства, что я, купаясь в ней, не мог до конца осознать: как человеческая душа способна выносить все это?

[1] Отсылка к библейской фразе: «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни» (Евангелие от Матфея, 24:22).

Глава 8

Вспышки фотокамер, змеиные клубки проводов, тянущихся от треног операторов. Мерный гул сотен голосов, сплетенный из дрожащих нитевидных волн, исходящих не от ртов и глаз, а от бабочек, галстуков, звенящих бокалов, небрежно накинутых шарфов, бриллиантовых заколок и чуть влажных декольте. Далее, по периметру: жалюзи на огромных окнах, отороченные черным бархатом с редким и до экстаза элегантным вкраплением стразов особой огранки. Резко очерченные силуэты ширм, исполосованных тем же черным вперемешку с красным, розовым и белым. Посреди зала, словно вразброс, неожиданно и крайне неудобно — низкие столики темного дерева, заставленные дорогими бокалами и бутылями коллекционного вина. И, наконец, мои работы на стенах, закованные в границы удлиненных прямоугольных рам — опять же, черных и очень жестких. Везде полумрак, точнее — полусвет, изливающийся из ультрамодных в своей лаконичности светильников на потолке. В некоторых залах приходилось перестраивать электросеть и менять лампы, чтобы добиться необходимого эффекта. Я сказал — эффекта? Опасность, порочность, пронзительная грусть, неразборчивость связей и всепоглощающее одиночество, зарождающаяся любовь и ускользающая своевременность — или, напротив, полнейшая никчемность?

А теперь немного изнанки. Разумеется, мной все измышлялось иначе. Однако новый менеджер казался человеком, знающим свое дело, а теплые отношения, установившиеся между нами за пределами контрактных обязанностей, превратили меня в доброго приятеля, готового с легкой улыбкой недовольства соглашаться

на многое ради воплощения давней мечты. Какой именно? И той самой, и еще одной, на холщовом полотне которой теплыми красками тщательно прорисована таверна с друзьями, засидевшимися допоздна средь солодовой соблазнительности пены, подсушенных даров осени, свисающих с потолка — на лоснящихся от избытка внимания стульях, за такими же истисканными столами. В общем, все должно быть золотистым, приветливым и очень простым. Противоположным мне и чуть-чуть похожим на Джона. Как, скажите на милость, ради этих мгновений проживания долгожданного единства с миром людей не отказаться от собственного «Я»?

Итак, двенадцать картин однообразного формата, хотя их содержимое стало очередной порцией драгоценного эликсира, выжатого из сердцевины души. Шесть мужских и женских образов, иссеченных из окаменевшего страдания. Мужчины были моими клонами, почти неуловимо отличаясь друг от друга длиной волос, разлетом бровей и алчностью украшенных перстнями пальцев: художник почти никогда не может удержаться от портретного сходства и автобиографичности. Они уходили и приходили, проступая сквозь стены дождя, из озерной темноты зеркал, отворачивая лики к утонувшему в ночной мгле окну. Я, признаться, подарил им лучшую часть своего гардероба — и с удивлением обнаружил, что почти весь он состоит из глубокого черного и пропыленного серого. В фантазиях моих порошков и масел, тронутые светом и тут же поглощенные мраком, они обернулись, как один, в тоскливый цвет мокрого асфальта. Все были бледны и затуманены своей печалью, превращаясь в смутную штриховку, в тон пейзажей и интерьеров. Но мне удалось добиться удивительного эффекта: несмотря на приглушенность, они настырно стремились возродиться и присутствовать, и этому помогала

диспропорция величины полотна и фигур. Узкие, высокие картины — два метра вверх, не более семидесяти сантиметров в ширину — и эти брошенные, прекрасные в своей монструозности маньяки, занимавшие почти все пространство, оставляя улицам, городам и планете жалкие пиксели позади себя.

Женские образы были иными, хоть и для них я отвел такие же тесные клетки. Наверное, в тщетной попытке отмщения — или же, находясь под гипнозом охотничьего инстинкта. Они удалялись, не пойманные, вглубь своих комнат и миров, уменьшаясь до размеров сказочных фей, но были отчетливо вкусны в своей пленительной тонкости и бархатных платьях насыщенных дьявольских цветов: темно-лиловых, темно-красных, темно-синих.

Героини носили в себе что-то от Маргариты Булгакова, но я боялся предположить в них путы брака, и с дотошной очевидностью прорисовал их задумчивое одиночество. Мужчины были менее уловимы в своем настроении: драма ощущалась, но я не смог отделить зерна реальности от плевел желаний (или наоборот?) и сам запутался в их падениях в яму порока и отчаянные попытки удержаться на островках надежды.

Но, повторюсь — и те, и другие были отвратительно одиноки, будто заражены неизлечимой разновидностью этой болезни, которая заставляет в страхе бежать прочь не только редких друзей, но и случайно нанятую экономку.

Дорис как-то забрела в мастерскую (с тех пор, как она получила статус матери нашего ребенка, я вынужден был открыть для нее эту дверь, как высочайшую благодарность), пожевывая яблоко и запивая его зеленым чаем. «Прошлым летом на Адриатике, вид из окна отеля был чудесный... У нас все так хорошо, Ники, почему бы не тебе не сделать серию морских пейзажей?». Я улыбнулся: «Чтобы у нас и дальше все было хорошо, я должен

оставить свою темную сторону здесь, на полотнах. Понимаешь?».

«Понимаю, — вздохнула она, — на вернисаже дядя Бен из Японии все время спрашивал: отчего у тебя такие мрачные картины?».

Я ответил молчанием, сосредоточившись на кончике кисти, порхающем по холсту. В безопасном его участке — в присутствии посторонних я не смог бы изливать свою душу. Это был донельзя простой, но эффективный способ сказать «До ужина, милая, и не забудь о розовом вине».

Когда все было готово, я показал свои зеркала Генри. Он стремительно прошелся меж ними, в обычной сутулой манере, не вынимая рук из карманов и чуть нервно покачивая головой в такт мыслям. Но эта поверхностная, на первый взгляд, быстрота не обижала творца во мне: я знал, что у нового партнера цепкий ум и сердце, как проходной двор, готовый впустить что и кого угодно.

«Пахнет отсыревшей от одиночества квартирой и слезами, — сказал он. — Согласись, не самый презентабельный аромат. Нужно добавить глянца и неискоренимой, ироничной ухоженности, которая отражала бы торжество циничного житейского фарса над душевными муками. Зритель должен слышать запах *ее* духов, которые она нанесла, чтобы подарить тем, кто отвлечет ее от боли, и чувствовать вкус виски, которое *он* откупоривает, пусть наедине со своим бредом, но с тем, чтобы потом разделить его пары с *ее* многочисленными отражениями. Понимаешь?»

Я понимал. Точнее, с радостью готов был понимать. Меня всегда прельщало *Искусство Жить*, собирая в отдельную папку сознания картинки из модных журналов — то брызжущие нахальной яркостью, то палевонежные до осязательной дрожи. Ароматические свечи, богатая кожа книг, воздушная драпировка портьер, чья

привлекательность вовсе не в дороговизне, а в неуловимом сходстве с оттенком ворса зубной щетки, поставленной в прозрачно-зеленый стаканчик (ах, это, конечно, аллюзия с теми часами, что повисли в пространстве долгого коридора), в одной из ванных комнат, в пяти милях отсюда. Но все подобрано так мастерски, что проделав сей путь, вы донесете впечатление, не расплескав ни капли, и верно соберете все пазлы. В конце концов, или я не художник? Все это было в моей голове, но претворялось в жизнь, увы, не мной. Я хорошо помнил холостяцкое время, когда единственным порогом, отделявшим меня от смирения со вчерашним бельем, были труды домохозяйки, а также секретарши, заслужившей затем и звания жены. Всю красоту, рождавшуюся во мне, я с легкостью выплескивал на полотно, но с огромными усилиями обустраивал свой быт — хотя всегда хорошо знал, что именно хочу видеть вокруг себя. Но на реальность словно не хватало сил, им на смену приходили деньги.

Это как раз та мелодия из какофонии моей жизни, которая вводит всех в заблуждение. Вся эта холеность, престиж и аромат магнолий, витающий вокруг моего унитаза. Они подходят ближе и изумляются: «От вас пахнет... приятным теплом, не больше». Они ошибаются: я ношу духи по-женски, осторожно касаясь кожи смоченными в них кончиками пальцев. Но сквозь звездную пыль и марципановую крошку Млечного Пути — откуда я, несомненно, и прилетел — всегда настойчиво бьет в нос мой собственный запах. Их это разочаровывает, помогая опреснить образ, вскоре доведя его до чудаковатого деревенского простачка — а это так легко сделать, играя с моей добротой!

Она была единственной, кто не ждал от меня ничего другого. «От тебя так хорошо пахнет, — сказала она еще совсем малышкой, прижимаясь к моему плечу, — только

вот твои духи... такие необычные. Я думала, и у женщин-то таких не бывает». Я засунул в рот шоколадную конфету и, выдохнув на нее, спросил: «А теперь что?». «Зимние каникулы!» — рассмеялась Ева.

Но я до сих пор помню все это лучше, чем она. Обескураженная случайным открытием, спровоцированным моим астральным нахальством, Ева понемногу впускает меня в свою душу, уже признав вопиющий очевидностью факт, что в детстве я был неотъемлемой частью ее мира вдохновения и красоты. Что ж, мне не привыкать питаться крохами с чудесного стола, сглатывая слюну и оглядывая роскошное пиршество. Я утешаю себя: это в любом случае — значительный шаг вперед в сравнении со вчерашним днем. Она уже вплела меня в узор жизни, с легкостью приняв, как добавку к коктейлю своей личности. Я чувствую сквозь пространство и время, как мутирует ее кровь, узнавая саму себя.

У этого отремонтированного телеграфа есть и побочный эффект: сейчас, находясь в сердцевине ее страны, я не могу понять, какое расстояние нас разделяет. Иногда ее мысли врываются в мое сознание с такой оглушающей силой, что я невольно вздрагиваю и оглядываюсь — то ли с надеждой, то ли из священного страха увидеть ее совсем рядом, стоящую за плечом. Но нет, все тихо и пусто.

Последние месяцы наполняют душу новым сортом горечи: ведомый неуемным желанием приблизить ее, я, кажется, вновь нарушаю запреты мудрых людей, направивших меня советами (каким далеким эхо разносятся их слова теперь, когда счастье кажется почти ощутимым), и понукаю ее жизнь нетерпеливым свистом кнута. Не мне недооценивать себя: я — слишком многое, чтобы каркас ее судьбы остался неповрежденным. Ей придется свернуть на другую дорогу, оставив то, что она любила, позади. Никто и ничто не могут стать препятствием на нашем пути. И пусть мне до спазмов в горле жалко

смотреть, как ранят ее осколки разваливающегося дома и прежних стремлений, я вижу солнечный свет за крутым поворотом.

Моя Мечта уже подумывает о том, что нам неплохо бы встретиться. Понимая, что затерялась в тумане жизни, Ева интуитивно обращает свой взор туда, откуда она началась, и находит там — меня. Пристально вглядываясь в мое лицо и мои же творения, она смутно догадывается о некой потусторонней связи, соединяющей сердца, делающей похожими тела, бликующей в невероятной идентичности душ, режущей непримиримой противоположностью духа, но... Не помнит ни одного моего поцелуя и признания, подаренного ей.

А сейчас я стою под прицелами камер и заставляю себя все успевать — улыбаться, отвечать на вопросы, освещать замыслы, показывать полотна, управлять миром. Официальная презентация окончена, постепенно редеет и толпа журналистов, жаждущих моего покаянного объяснения происходящему. Проходит еще час, и в зале остается лишь разобщенный поток ценителей искусства, напоминающий сонный муравейник. Время от времени ко мне подходят дамы с горящими глазами, пытаясь донести важную мысль о своем понимании и проникновении в душу творца. Их спутники тут же, рядом, из вежливости внимают нашим разговорам и даже отпускают выверенные замечания. Иногда стайка девушек порхает с места на место, намеренно передразнивая мое передвижение по экспозиции — разноцветная, душистая сеточка, в которую они хотят поймать слишком крупную добычу.

Я слышу за спиной визгливый женский голос и вздрагиваю...

— Мистер Фламинг!

— Да? — оборачиваюсь и вижу невысокую девушку с растрепанными короткими волосами. Глаза с поволо-

кой, подобострастная мимика губ — вся на взлете, в полупрозрачном экстазе. Кажется, я уже видел ее где-то?

— Я всего лишь хотела поблагодарить вас за творчество. Не знаю, как вы отнесетесь к этому, но иногда... — она делает задыхающуюся паузу и даже удачно отводит взгляд, чтобы затем вновь пронзить меня им. — Иногда я чувствую, как мое сознание связано с вашим. Я будто приникаю в ваши мысли, или вы — в мои. Вот, давеча, прошлый цикл картин... Половина из них я предчувствовала, проживала. Вы ловите луч света, идущий из моего сердца — или я подхватываю ваши идеи. Я не знаю.

Она еще долго говорит что-то в этом духе, и улыбка медленно сползает с моего лица — я даже не удосуживаюсь попридержать ее, утомленный бесконечной сансарой издевательств, учиняемых мне шаловливыми равновесными силами Космоса. Это как зеркальный лабиринт, в стенах и переходах которого чудищами отражаются ваши самые сокровенные тайны. Череда фальшивок — слава Всевышнему, легко узнаваемых мной, давно выучившим горькую истину о соответствии внутреннего и внешнего.

Она еще долго несет на дно моего сердца свою важную правду, и даже использует пароль, взрывающий мозг: «Души-близнецы... Неужели вы не слышали об этом?» Диастола падает с обрыва, но я строго смотрю на девицу, стараясь сакральной молитвой изгнать беса из реальности — почему они всегда вторгаются только в нее, словно не в состоянии проникнуть в мое подсознание и разрушить дух? Какая страшная горечь кроется в этом факте?

В последнее время я чаще наталкиваюсь на таких вот, убежденных и обманутых, пытающихся обмануть и меня. Они бросают намеки, говорят моими же словами, подкрадываются и соблазнительно смотрят снизу вверх. Может быть, мои чары начали рассеиваться, и боль вырва-

лась наружу, став легко читаемой? Или же я так наследил в потусторонних мирах, что любой человек, хоть однажды соприкоснувшись с этими творениями, чует запах автора, едва погрузившись в сон? И может наблюдать за мной — там, в межгалактических похождениях? Или отпечатки моих алчных пальцев сплели густую сеть, в которую попадают все, осмелившиеся присмотреться?..

Однако моя неприступность берет вверх, и сумасшедшая... Постойте! Кого я назвал сумасшедшим? Осколок собственного зеркала? Так или иначе, речь бедняжки постепенно затихает и, погрузившись в затаенную и затемненную печаль, она мягко отступает назад — и скрывается от меня в небытии. Да, я видел ее и раньше. И какая разница, в своих ли горячечных снах, когда метался по тропам, выискивая ту, единственную, хватая за плечи и разворачивая лицом к себе всех, кто попадался на пути? Или попросту на каждой выставке, давно поняв, что стал объектом увлекательной охоты очередной израненной самки — амбициозной, не соизмерившей силы?

За ней уже выстроилась небольшая очередь из желающих пообщаться со мной. Нет, они просто с улыбками отдают цветы — какая щедрость, какая жалость: я раздарю их обслуживающему персоналу зала, гостиницы, аэропорта. Девушки не заговаривают со мной, немного испуганные подсмотренной чужой ошибкой, но я нахожу несколько ласковых слов для каждой из них. Они сменяют друг друга, как фигуры в народном танце, расступаясь бесконечными ручейками: на раз — шаг ко мне, два — моя партия, три — уплывает в сторону.

Вымотанный творческими обязанностями, я стараюсь не заглядывать далеко вперед, чтобы не обременять мозг лишней информацией, и вхожу в контакт глазами лишь когда новая жертва моего обаяния встает передо мной. Так происходит и сейчас. Зыбкая дымка фигуры в сером атласе приобретает свои точеные очертания, я

концентрирую внимание и... замираю.

Ева протягивает мне цветы, едва заметно приподнимая уголки рта — такая аристократичная, нещедрая улыбка, отстраненный взор, наполненный мнимым спокойствием. Болезненный опыт прошлых промахов мгновенно кристаллизует во мне гранитную глыбу выдержки, и я буквально впиваюсь взглядом в ее непроницаемые зрачки, стремясь разнести айсберг забытья и непонимания в крошево. Нет, кажется не так... Взрыва не происходит, но я ведь могу оставить на этой холодной поверхности каплю жгучего яда. И он продолжит свою разрушительную работу, даже когда за мной захлопнется дверца лимузина.

— Thank you, — мелодично говорит она, и ее голос сладкой льдинкой обжигает мой слух, скатываясь в гортань. «Кто ты? Что ты? Ты ли? Когда же...?» — кричит душа, пока глаза молниеносно собирают из разрозненных обрывков, клочков, словесных описаний, клякс и звуков ее образ, запечатлевая и доказывая: да, она. Как и тогда, в ужасно постыдном пекле моего апрельского провала. Она. Ее волосы, абрис лица, губы, плечи, глаза. Знакомые, но еще чужие. Рядом, но пока что в разных мирах. На расстоянии руки, не напряженной, согнутой в локте. Пространство колышется, сместив слои, волшебная пыльца щиплет нос, или... Это слезы?

Нет, я стал другим. Я хладнокровен, разум экстремально просчитывает все варианты, я галантно возвращаю ее слова, делая ударение на втором, и не забыв поставить многозначительную паузу вместо точки — в то время, как она твердо и жестоко оборвала ею свою скупость.

— Thank You...

Еще одна ее улыбка — на сей раз с вкраплениями удовольствия, легкой иронии, рассеянной без адреса, и... облегчения? Я оказался не таким уж страшным вблизи,

девочка моя?

Сердце мечется в грудной клетке, пока я слежу, как она медленно и задумчиво выходит из зала. Быть может, я хочу броситься вслед, но, наученный горьким опытом, понимаю: надо достроить этот дворец до конца, чтобы беззаботно распахнуть его огромные окна, вливая свет и выветривая запах краски. Все уже хорошо, куплет начат, и стрела мчится к цели. Если я сейчас схвачу ее за руку — убеждая, умоляя, предлагая — возможно, она поддастся напору и харизме, не в силах отказать магии утерянного детства. Но сколько сил мне придется потратить на объяснения, куда и зачем я ее веду, и почему все это предназначено — ей? Рано или поздно она начнет отбиваться и сопротивляться, не в состоянии принять, что весь этот огромный мир существовал так давно и только для нее.

Нет. Я вымощу ее путь ко мне огромными неподъемными плитами — так, что она, бредя по топкому болоту жизни, предпочтет ступать по ним, всем существом ощущая их надежность и безопасность. И однажды остановится у моего порога, понимая, что нет смысла оставаться снаружи, и придется его переступить, чтобы все же узнать суть Игры. А уж там я подхвачу ее, ногой захлопнув тяжелую дверь.

Покинув эту великолепную сцену — одну из лучших в моей жизни за последние двадцать лет — я ныряю в спасительное тепло подогнанной для меня машины и, закрыв глаза, усмехаюсь, чувствуя, как утерянная нежность вновь разливается солнечным зайчиком по груди: «Какая же ты стала взрослая и красивая, Ева. Из черт лица уже исчезла юная неопределенность и невнимательность. Еще немного, совсем чуть-чуть осознанности, и уйдет эта растерянность и мятежность, которую я все же, несмотря на твою несомненную и почти безупречную выдержку, сумел прочитать».

Как и обещал, я выстраивал наш общий мир, используя каждую подвернувшуюся возможность. Столько телевизионных шоу, публикаций и интервью по самому ничтожному поводу, у меня еще не было. Дома я почти не оставался, а когда приходил — падал замертво на диван, стоящий в холле у лестницы. В голове даже крутилась шальная мысль передвинуть его ближе к входной двери: иногда я просто отсыпался в течение ночи, прибыв накануне вечером и торопясь к очередному самолету ранним утром. Тревожить семью не было смысла.

Нет, все не то. Тревожить себя семьей не хотелось. Загруженный, расписанный по минутам, обязанный всей Европе, я каждое свободное мгновение посвящал грезам и размышлениям. Хроническая усталость играла на руку, и я не тратил время на успокоение и погоню за нужным ритмом дыхания. А привычка контролировать сны обеспечивала необходимый процент полезного действия и в таком, казалось бы, никчемном состоянии.

Я принялся за старое, лепя и малюя свои сны. Теперь я при определенном нажиме мог проникнуть в ее царство грез, и можно было вновь начать общение. Мне нужен был волшебный поцелуй, чтобы разбудить спящую красавицу. Я нашел красивый горный пейзаж, и полуразрушенную лестницу (кажется, построенную майя или инками), летний день и — ее саму. Чтобы чуть больше впечатлить ее, я раскрутил карусель Хроноса в обратную сторону — дальше, чем позволяла моя продажная совесть, остановив ее в совсем уж хрустальных палатах, на двенадцатом лете жизни. «Что ж, притворимся средневековыми героями, моя принцесса! Этого ты не сможешь не заметить», — сказал я и обрушил на ее хрупкий отроческий скелет всю силу объятий и мощь самого что ни на есть соблазняющего поцелуя. Я помню ее широко распахнутые от удивления глаза, хотя и не до конца понимаю, на какой октаве это было:

во сне или по пробуждении. Отныне она носила в себе это возрожденное знание истинной любви, пусть и приправленное недоумением от собственных эмоций в адрес героя сна. Злорадное ликование заполняло мою душу: Принцесса Дормида[1] обнаружила, что я способен вызывать у нее сильное желание.

Но и теперь она умудрялась не признаваться себе в том, в чем мы оба были повинны. Я слышал ее мысли, текущие в мой мозг: «Надо же, — рассуждала она, — я и не знала, что так бывает. Да, во сне, но куда теперь мне деться от этого точного понимания, что такие поцелуи случаются? Он целовал меня, не пытаясь сказать: „Я хочу тебя“, он каждым своим движением и посылом проникал в мою душу, уверяя: „Я хочу, чтобы ты хотела меня“. Это какой-то совершенно иной уровень чувственности и любви».

Вы слышите, Евы становится больше? Вы чувствуете, она приближается?

Мне нужно стать единственным — заново. Сколько раз я пытался сделать это, но ошибка заключалась в том, что я строил будущее на развалинах прошлого. Теперь же строгие и непримиримые определения ушли из моего сознания, солнце иначе бросило лучи, и тень сместилась. Среди руин я отыскал несколько полезных вещиц — некоторые из них вызвали бы жадный интерес у антикваров. То были не только милые украшения: канделябры, медальоны в бронзовой оправе, истертые временем фарфоровые кувшинчики с прелестными чайными розами, но и восхитительные изобретения человеческой мысли — калейдоскоп, морской компас, заводная ярко-крас-

[1] Princesa Dormida (исп.) — Спящая Принцесса. То же, что и Спящая Царевна в русской сказочной традиции, а также Принцесса Греза — в поэтической.

ная модель автофургона, мячик на резиновой веревке, скакалка, отломанный окуляр от микроскопа и странная конструкция из жестяных коробок с просверленными отверстиями и продетым в них шнуром, связывающим все воедино. Некоторые из этих предметов я долго вертел в руках, но чутье мага подсказывало, что в нужный момент им найдется применение, и они сыграют фанфарную решающую роль. Ту самую каплю, которая резко, с ахающим звуком, наклонит чашу весов, шарик покатится по желобку, колесо закрутится... Стоп. Мое дело — держать взгляд на цели, а Вселенная сама подберет механизм.

Я хотел сказать другое, но опять ушел в бесконечные миры и лабиринты образов, запахов, цвета, мелодий. Многое из того, что ранее казалось болезненным, а потому — неприемлемым, нынче получило оправдание и нашло свою нишу. Но мусор я вымел, и фундамент заложил новый. Уже взрослая Ева должна была — внезапно или постепенно — понять, что из всей череды мужчин, любимых, обласканных ею, или просто подсмотренных, именно я — то, что она искала. Она имеет право сомневаться в выборе маленькой девочки, если до сих пор не убедилась в жизненной необходимости доверять детскому сердцу, но пусть же посмотрит на меня с высоты пройденных лет!

Я сделаю отступление от своего плана, и расскажу, что сводило меня с ума на протяжении этих двух лет. В проживаемом чувстве была и бездна страха, скрутившего внутренности, в том числе и душу — и такая же бесконечность праведной злости на то, что мое незримое присутствие не является для Евы поводом жить и радоваться. Мне, все время стремящемуся прочь от тяжелых мыслей, способных увести в чащобу бессознательного и смертельного, ее склонность к меланхолии казалась досадной генной мутацией. Расплатой за — увы! — состо-

явшиеся грехи. Я тут же одергивал себя, опровергая диагноз, и вспоминал, что, будучи потерянной еще на заре юности, она и не могла чувствовать иначе.

Но все развивалось по нарастающей. Печаль захватывала в плен ее разум каждый раз, когда построенный ею мир рушился. Она не могла принять неизбежность этого процесса, и острота боли порождалась той необыкновенной любовью, которую она вкладывала в каждую крупицу созданного и выбранного. Будь она чуть равнодушнее, чуть отстраненнее — как другие люди, и я сам — возможно, легче переносила бы подлость, предательство, обманы, жестокость и прочие обычные вещи. «Убей меня! Убей меня, я прошу тебя!» — кричала она кому-то, сильнее и выше себя, каждый раз, когда с безжалостной скоростью и ощутимостью напарывалась на несоответствие своей души и созданного человеком мира. В какой-то момент она раскрывала глаза и смотрела вокруг без прикрас, отчего ледяная тоска сковывала ее желание жить. Единственный доступный свет находился в ее сердце, и Ева распахивала дверцу, и выпускала его оттуда. Чтобы убедиться, что он — никому не нужен. И тогда она закрывала ее, и видела с кошмарной ясностью мир таким, какой он есть. Серым. Безжизненным. Каменным. Склизким. Смрадным.

Только природа и космос оставались за пределами этого ужаса. Но она жила среди людей.

«Девочка моя, — шептал я, пытаясь разгладить ее свернувшиеся от страха и отчаяния искристые ворсинки, разжать стиснутые губы и сведенные судорогой веки, — да, это так, и я давно выучил наизусть: любовь почти никому не нужна, она трудна и опасна, она призывает к самопожертвованию. И в нашем мире, закованном в эгоистичную плоть, сама себя ставит под сомнение. И есть только три вещи, с помощью которых можно достучаться до человечьих душ, чтобы незаметно высадить в их почву

крохотное зернышко. Знаю — ложь и мерзость. Знаю — хочется сохранить чистоту. Но запомни: деньги, секс и лесть. Вот ключи, открывающие их дверцы. Отворяешь, бросаешь семя — и бежишь прочь, не оглядываясь.

Помнишь Содом и Гоморру? Увидев истинное сияние, они проявляют любовь, как могут. Жестоко и грубо, единственным доступным им способом. Но нам нельзя оказываться в таких ситуациях. Времена уже не те. Главное — найти друг друга, чтобы напитать свои души и избавиться от этого вечного голода, который они не способны утолить».

Был конец сентября, когда я проснулся от пронзительной боли, сплавившей все мое существо в один кусок горячего металла. «Николас! — звала меня Ева, как когда-то в детстве. — Ники! Ты нужен мне, пожалуйста, приди!» Обрывки ее воспоминаний лихорадочной лентой завертелись в моей голове, будто я падал в пропасть, именуемой смертью. Она узнала меня — окончательно и бесповоротно, увидав свое отражение в моих расширенных от многолетних мучений зрачках. Слава Богу, она не была раздавлена памятью, и шок издавал аромат сладкой эйфории: в нем слишком много было цветочного, звездного, влюбленного.

Чудеса не свершились мгновенно, и я еще больше года уговаривал Принцессу Грезу придти ко мне по реальным, железным, асфальтовым, облачным путям. Но это время было всего лишь ускоренным курсом обучения, прерванного когда-то. Я ощущал себя иначе: окутанный сиянием, утерянным давно, я находился в уютном коконе нашей любви.

Кровь будто стала греть меня изнутри в два раза сильнее, чувствительность обострилась — это было похоже на прежние ощущения в те далекие годы, но теперь не дурманило до головокружения, а приводило в приятное расслабленное состояние. Я чувствовал постоянное

тепло на всей поверхности тела, оно разливалось, как сладкий сироп, но не было однородным и одинаковым: словно где-то консистенция была гуще, где-то тоньше, а потом все менялось местами. Будто кто-то прикасался ко мне, оставляя жаркие отпечатки пальцев и губ, которые испарялись с моей кожи, согревая пространство вокруг. А вместе с ним — и весь человеческий мир.

Я вновь был волшебником.

Глава 9

Не знаю, когда я осознал, что все попытки найти Еву там, где она родилась и живет, будут бесплодной отработкой собственных грехов. Конечно, слово «бесплодный» здесь не слишком уместно. А я, до костного мозга обеспокоенный сегодня лишь насущной реальностью, не в силах думать о посмертной награде. Да, мне по-прежнему видится наша история, как полет стрелы, выпущенной в цель — предопределенную, данную свыше, обязывающую ко многому, но... Для меня куда важнее заземлиться настолько, чтобы воплотить мою Грезу.

Хватит, к черту эти заоблачные рассуждения о карме, реинкарнациях, аватарах, замысле Бога! Я не могу больше утешать себя тем, что мы с ней — Кришна и Радхарани, Осирис и Изида, и еще целый ряд языческих и космических сущностей, рассыпавшихся на мириады ядовитых ртутных шариков, чтобы отравить собой привычную всем матрицу. Где моя настоящая любовь? Где она, единственная, которая будет счастлива рядом со мной? Не как королева или жена богатого художника, а как женщина, опьяняющая и меня этим необыкновенным состоянием — быть любимым мужчиной?

И я понимал, что не получу ее здесь. Сделав миллионы шагов навстречу и столько же рывков в этой долгой погоне, я нарушил равновесие, и любовь превратилась в опасный чугунный шар, грозивший скатиться по наклонной доске качелей и раздавить предначертанную мне избранницу. Требовался ее решающий ход. Всего один — но наполненный такой силой веры, надежды и неизбежного смирения перед лицом неизвестности, что баланс мгновенно восстановится. Игра явит свое блистающее великолепие. Ей так не хватало моей само-

надеянности и сумасбродства, позволявших верить в реальность любого намерения — тем ценнее будет ее готовность творить, пребывая в сомнениях, преодолевая страх.

И я разослал по всему миру весть о том, что намереваюсь устроить творческий вечер, фейерверк и раскрытие тайн своего таланта. Ближе к Рождеству, разумеется.

Во-первых, я чувствовал себя уютнее и спокойнее в это время, овеянное хвойными и сладкими ароматами, укутанное еловыми ветвями и забавными одеждами, сам цвет которых согревал и ободрял больше, чем любые признания.

Во-вторых, я рассчитывал на действие магического эгрегора, наполненного чаяниями и загаданными желаниями всех, кто прибудет на мой праздник.

В-третьих, у *нее* была такая детская душа, и никто не умел наслаждаться искрами зимних торжеств и морозными узорами так, как моя Ева. С наступлением декабря она начинала творить настоящий культ Рождества и Нового года, каждый раз придумывая что-то новое, мастеря игрушки, сочиняя колдовские ритуалы. Лучшего сорта пряников, на которые можно подманить упрямицу, не существовало.

За неделю до торжества я выяснил, что все билеты раскуплены, и ценители скромного гения съедутся со всего света. Гостей намечалось около тысячи, и всю осень моя голова была забита решением организационных вопросов, связанных с арендой помещения, маршрутами таксистов, свободными местами в гостиницах и закусками на праздничном столе. Дорис неохотно и вяло помогала мне, измученная последним годом и переменами, которые были очевидны в моих глазах.

Я вынудил ее вспомнить, день за днем, фразу за фразой, канву наших истинных отношений, подведя к жестокой, но определенной истине: этот брак был удачной

сделкой, принесшей немало приятных минут обеим сторонам. Я старался объяснить ей, что жизнь не останавливается, и обыкновенное счастье всегда лежит на каминной полке — стоит лишь протянуть руку. И надо быть бесконечно благодарным Всевышнему за удивительный узор, соединивший наши судьбы, пусть и не навсегда. Так же, как и я буду навеки благодарен целеустремленной, по-своему сильной и, конечно же, доброй Дорис за то, что она спасла меня, озарив любовью и подарив сына.

Но она не способна принять мои рассуждения, и все глубже морщинки в уголках ее серых глаз, и я вижу в них эту непрерывно саднящую боль от пролитых в темноте слез. На этом месте следует замереть на мгновение, услышав недовольный ропот обывателей, приписывающих мне циничную жестокость. Вот уже припоминают и разрушенную историю любви с Глэдис, ставшую ненужной, отдавшую мне все, что могла...

Постойте! А что, по-вашему, я должен сделать сейчас? Вы прочитали мою исповедь почти до конца, видели всех демонов и ангела, плачущего за плечом — тоже. Вы вольны наклеить на меня любой ярлык — мечтатель, безумец, одержимый, маг, творец снов. Но кто вправе заявить, что я должен отказаться от самой своей сути и восхитительного чувства подозрения в существовании замысла на меня — только потому, что неисповедимые пути Господни причиняют боль его неразумным созданиям? Позвольте же дописать эту историю, в робкой надежде на то, что именно мне суждено своим отчаянием, болью и самой любовью доказать — ни много, ни мало! — существование Бога.

А разве я не этим занимался все годы, пока вы подбирали себе похожее на вас существо, способное оценить ваши кулинарные пристрастия и смириться с вашими болячками? Да, я тоже поиграл в этой пьесе, но —

неожиданный выстрел после двенадцати лет брака и тысячелетия бездарного малевания — никогда не забывал, что стою на сцене. И наступит вечер — тихий, пропитанный звездной влажностью и конфетным ароматом. Я выйду в мир, в открытый космос, чтобы вдохнуть в себя воздух жизни.

Пока я рассуждал о вечном, осталась всего пара дней до моего праздника, а я до сих пор не знаю — приедет ли Ева? Я улавливаю ее настроение и готовность совершить этот шаг, я молюсь днями и ночами, чтобы добрые духи выстлали шелком ее путь ко мне, и ни один вероломный камушек не попался ей под ноги. Но я истерзан сомнениями, и уже не только страх перед отвратительной возможностью обнаружить в Космосе пустоту вместо Бога, но и обычные мужские опасения посещают меня, выдавливая минуту за минутой из жалких часов, отведенных на последние штрихи и осмысление. Всего пара дней — а я до сих пор не уверен, что превратился в того, кем должен был стать. Не испугают ли ее мои годы, въевшиеся порохом и солью в кожу лица, омывающие глаза слезящейся кислотой, залегшие скорбной складкой рта? Смогу ли я дать все, что ей требуется — как мужчина, друг, помощник и покровитель? Понравится ли ей мир, который я построил для нее?

Мы с Дорис уже почти не разговариваем, я не хочу видеть друзей, а теперь и автомобиль заглох, когда я наконец закончил долгие переговоры о цветочных декорациях и стоимости омелы в моем личном Рождестве. До дома тридцать минут пешком, я звоню механику и прошу позаботиться о прошлогоднем Бентли, брошенном у офисного центра.

Уже вечереет, и пространство наливается прозрачным синим цветом, пронизанным розовыми и янтарными всполохами фонарей и неона. Улицы украшены гирляндами, витрины заманивают соблазнами Сочельника,

легкий морозец раскрывает грудную клетку, впуская в нее волшебных птиц — они добровольно рвутся в заточение сердца, чтобы наполнить его верой в чудеса. Но я уже настолько загнан, что не знаю, где живет моя вера. Я сам заставил себя подойти к этой границе, но вы можете хотя похвалить меня — за отвагу.

Я иду излюбленным маршрутом, и вскоре черный чугун перил речного моста охлаждает разгоряченную надеждами руку.

Не знаю, когда я приметил тонкую фигурку, стоящую впереди, на расстоянии взмаха крыльев от меня. Быть может, я давно вижу ее и просто иду — в назначенное время, в нужное место, с правильными мыслями?

Она также неуловима, как и раньше, хотя до нее всего несколько шагов. Смотрит на воду, в которой, далеко под нами, тает не первый, но все еще застенчивый снег. Я не могу определить ее возраст — он замер на стыке всех грез, воплотив в себя и мечтательность юности, и спокойствие зрелости, и шаловливость детства. Родственность ее лица мгновенно проникает в мою кровь и оплетает вены.

Она поворачивает голову и улыбается мне, влюбленно и испуганно глядящему на нее. И мне так хочется протянуть руку вперед, в предупреждающем жесте, успокаивая и уверяя: не бойся, не убегай, это действительно я — Николас Фламинг. Как тогда, в сердцевине вьюжной январской ночи. Двадцать три года назад.

Я никогда не думал, что эти шаги будут даваться с таким трудом. Я миллиарды раз представлял себе, как голодным и ласковым зверем бросаюсь к ней, чтобы заключить в объятия. Но сейчас я едва переставляю ноги, подбираясь к ней, словно долгая лента моей жизни вдруг обернулась тяжелой змеей вокруг шеи, опутав все члены, переломав ребра. Остановившись на миг, всего лишь на долю секунды зависнув в столь знакомом бесконеч-

ном вакууме между мирами, я вдруг вижу перед собой множество путей, из которых мог выбрать любой...

Но, как всегда, ступаю на самый сложный, тонкими щупальцами любви распознав в ее отважном и отчаянном, радостном и болезненно напряженном взгляде — то, что знал уже половину жизни: это невероятное дитя, умеющее пересекать время и пространство и нашедшее в себе силы верить в то, о чем могли знать наверняка только ангелы, пожалуй, больше других нуждается в тепле и заботе.

— Здравствуй, Ева.

— Здравствуй, Николас.

...Так и началась моя самая большая любовь, давшая соки и цвет всей моей жизни, украсившая полотнами картин множество европейских галерей, проиллюстрировавшая десятки книг. Любовь, существовавшая вечно, как сама душа — даже если однажды она была расколота пополам, чтобы извлечь из очередного путешествия самый главный урок.

«Что же было дальше?» — спросите вы, едва догадываясь, что следующий эпизод лишь вызревает на кончике кисти мастера. Но, не теряя умения вмиг облетать время и пространство, я все же могу набросать несколько штрихов.

...Каждая женщина однажды делает выбор — быть по-настоящему любимой или по-житейски счастливой. Под перевод: быть любимой, как немногие, или быть счастливой, как все.

Быть Музой гораздо тяжелее, чем просто женой. Хотя, возможно, я ошибаюсь, и для истинной Музы нет ничего горше, чем погрузиться в житейское счастье.

Я пытаюсь дать ей это счастье, но она бесконечно убегает, вынуждая и меня осваивать и покорять те дали, которые еще вчера были скрыты в тумане и имели неясную перспективу. Она не расслабляется ни на минуту и,

стоит замешкаться, как я отстаю от нее, и она насмешливо смотрит на меня с очередного скалистого выступа — пока я, кусая губы от боли, покрываю кровью еще с десяток каменных футов. Она валится с ног от усталости и ранит своими истериками, нервно закусывая их сигаретами на холодной террасе, но отказывается провести лишний вечер у камина. Она словно боится, что начнет играть не свою роль — и я действительно, лукаво и подспудно, пытаюсь ее навязать. Чтобы отдохнуть самому. Хоть немного. Но она ловит меня в начале моих же расчетов, и наносит очередной удар. Она кричит, что не боится потерять мою любовь, что я могу разменять ее на сотни послушных и удобных, но более всего ей страшно увидеть меня — потерянного.

Когда она вдали, я чувствую, что обладаю ее душой и сердцем — но у меня нет ее тела. Когда я овладеваю ее телом — я вижу, как ускользает ее душа, и слышу, что молится она вовсе не мне.

Я хотел быть Мужчиной. Она хотела быть Женщиной. За то, что другим дается легко и просто, нам пришлось бороться почти всю жизнь. Но и получилось у нас, пожалуй, лучше многих.

И в конце пройденного пути, оглянувшись назад, я внезапно осознаю, что состоялся, распустившись, как индийский лотос. И вижу свое имя в списке земных богов. А разве не в этом смысл вочеловечения? Разве не должен мужчина раскрыть в себе образ Бога, и женщина — не для этого ли дана ему в помощницы? Разве любовь существует для юбилейного ужина в кругу детей и внуков? Или она направлена к небесам, и находят ее лишь те, кто пытается увидеть Бога — а не себя и своего возлюбленного?

— Может ли величайшая гордыня сосуществовать рядом с величайшим смирением? — спрашивает меня серебристый детский голосок, доносящийся сквозь гул

ветра из прошлого.

— Может, — отвечает ей молодой мужской голос, такой робкий и тихий, что мог принадлежать бы шестнадцатилетнему юноше, — это называется «миссия».

Бесконечно взлетают качели, на которых сидят, обнявшись, двое влюбленных, похожие, как брат и сестра.

Бесконечно крутится колесо, издавая пронзительно радостные звуки жизни, словно вселенская шарманка очаровывает замершего среди звездопада слушателя.

Бесконечно танцует Мир в своей беззаботной — как кажется Ему — игре.

И ты бесконечно проваливаешься в сон: один за другим, все дальше и дальше, со сладким головокружением падая в пропасть, у которой нет дна — ни острого и смертельного, ни бархатного и безопасного.

И никогда тебе не суждено проснуться.

Оглавление

Предисновие 5
Глава 1 7
Глава 2 24
Глава 3 53
Глава 4 67
Глава 5 97
Глава 6 113
Глава 7 125
Глава 8 153
Глава 9 183
Глава 10 205
Ловец Снов 211
Глава 1 213
Глава 2 242
Глава 3 253
Глава 4 282
Глава 5 299
Глава 6 321
Глава 7 345
Глава 8 380
Глава 9 393
Глава 10 421
Выход в Реальность 441
Глава 1 443
Глава 2 451
Глава 3 468
Глава 4 485
Глава 5 503

Глава 6 519
Глава 7 531
Глава 8 553
Глава 9 570

Мария Мелех

Сны Бога

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Мария Мелех — писатель и поэт. Кандидат исторических наук. Живет в Карелии. Пишет о жизни и любви. К своим историям и персонажам относится как придирчивый исследователь. И предметом изучения всегда оказывается многомерность будто бы очевидной реальности, глубина и непостижимость человеческого восприятия.

Они все время были на Земле — сновидцы и путешественники по иным мирам. Таков и Ник Фламинг — знаменитый, талантливый художник, любимец женщин. Но под маской благополучия спрятана мучительная тайна: он любит ту, что приходит к нему в видениях. Он ищет ее повсюду, оставляя свои картины, как знаки. Но возможно ли воплотить любовь среди лжи и ошибок, из которых герой выстроил реальную жизнь, пытаясь скрыть свой секрет? Существует ли Она на самом деле? Или это всего лишь муза очередного безумца?

ISBN 978-5-4483-6559-1